Борис Дмитриевич Четвериков Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)

Четвериков Борис Дмитриевич Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)

Борис Дмитриевич ЧЕТВЕРИКОВ
КОТОВСКИЙ
Роман
Вторая книга романа "Котовский" - "Эстафета жизни" завершает дилогию о бессмертном комбриге. Она рассказывает о жизни и деятельности Г. И. Котовского в период 1921 - 1925 гг., о его дружбе с М. В. Фрунзе.
Бориса Дмитриевича Четверикова мы знаем также по книгам "Сытая земля", "Атава", "Волшебное кольцо", "Бурьян", "Малиновые дни", "Любань", "Солнечные рассказы", "Будни", "Голубая река", "Бессмертие", "Деловые люди", "Утро", "Навстречу солнцу" и другим.

Книга вторая

ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ

П Е Р В А Я Г Л А В А

1

Когда можно считать, что кончилась в Советской России гражданская война? Когда прозвучал последний выстрел? Самый последний, после которого действительно настала тишина?

Григорий Иванович Котовский часто размышлял об этом, перебирая в памяти отгремевшие бои, минувшие атаки, походы, треск вырвавшихся вперед пулеметных тачанок, сверкание обнаженных клинков.

Кончилась ли гражданская война в тот день, когда генерал Деникин, бросив свою разбитую армию на произвол судьбы, отплыл из Новороссийска на французском военном корабле? Это был март 1920 года. Генерал избегал смотреть в глаза своим унылым адъютантам. А французские матросы еле сдерживали смех, глядя на побитого белого генерала.

Впрочем, может быть, гражданская война прекратилась в тот день, когда в феврале 1920 года Иркутский ревком вынес смертный приговор Колчаку за измену отечеству? Тогда иркутский финотдел принял по описи 5143 ящика и 1680 мешков с золотыми слитками, которые хотел увезти с собой Колчак, прихватив это золото, видимо, на память о любимой родине.

А может быть, считать концом гражданской войны взятие Блюхером Перекопа? Или тот знаменательный день 15 ноября 1920 года, когда французский адмирал прислал на крейсер "Корнилов" барону Врангелю насмешливую радиограмму: "С почтительным приветствием желаю счастливого пути до Константинополя"? Или тот блистательный день 16 ноября 1920 года, когда командующий Южным фронтом Фрунзе телеграфировал Ленину: "Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован"?

Но пулеметные очереди продолжали прорезывать тишину, выстрелы из-за угла продолжали выхватывать из советских рядов лучших людей. Котовский при одном воспоминании о гибели боевых друзей и соратников приходил в ярость:

- Дорого вам обойдутся эти злодеяния, господа империалисты! И напрасно стараетесь.

Разве можно заставить солнце не взойти над землей! Разве можно остановить половодье, замедлить приход весны!

И так щемило сердце, когда сознавал, что невозвратимы утраты, что больше никогда не придется ему увидеть светлой улыбки комиссара Христофорова, брызжущей жизнерадостности красавца Няги, рассудительного спокойствия папаши Просвирина, буйной отваги Макаренко, верности долгу многих и многих, сложивших головы в жарких схватках с врагом.

- Эх, ребятки, ребятки! - горевал Григорий Иванович. - До чего же мне жаль вашей загубленной молодой жизни! А случись начать все сначала, не задумался бы опять повести вас в бой. Зачем же и жить, если не для блага матери-родины? И разве жизнь измеряется днями? Жизнь измеряется славными делами!

Тут Григорию Ивановичу вспомнился командир полка, который сожалел, что Котовскому не удалось "отбояриться от корпуса". Котовский при одном этом воспоминании потемнел и нахмурился. Брови у него сдвинулись, глаза стали острыми.

- Леля, ты не помнишь, как звали пехотного командира, который хвастался, что у него превосходный квас приготовляют?

- Это Мосолов, что ли? - тотчас откликнулась Ольга Петровна из соседней комнаты. - Как не помнить! Он еще говорил, что вы выполнили на сто процентов заданную норму по защите революции и теперь имеете право на перекур. Мосолов это! Комполка, Павел Архипович Мосолов.

Котовский и сам помнил, что Мосолов. Но у него была такая манера: если ему человек не очень нравился, он нарочно путал, перевирал его фамилию, а то уверял, что и вовсе ее запамятовал.

- Мосолов? Ты точно помнишь? А не Мозгляков? Ишь ты! Мосолов! Приезжай, говорит, роскошным квасом угощу. Выполнили, говорит, заданную норму по защите революции. Гадость какая! Вот ведь и командир, и даже коммунист, кажется, а как рассуждает! Леля! Как это у Ленина говорится? Мелкобуржуазная стихия страшнее всяких Деникиных? Верно. Хорошо сказано! Еще кровь после гражданской войны не засохла, а этот Моргунов - или как его? - уже квас заваривает, изволите ли видеть, требует перекура! Права на перекур! Нет, голубчик Москаленко! Коммунистом нельзя быть от сих до сих, только от восьми утра до пяти пополудни, только в приемные часы. Коммунистом нужно быть всегда и во всем, в каждом поступке, в каждом помысле. Иначе ты не будешь коммунистом...

Вот тут и определи, когда кончилась гражданская война!

Ну хорошо. Управились с Петлюрой. Гонялись за бандой Грызло, истребили Гуляй-Гуленко и еще десяток-другой "гуляев". Кажется, все? Можно заняться мирным трудом? Не тут-то было!

Сгинул черный барон, но гуляет по Северной Таврии батька Махно со своим сподручным - анархистом Волиным-Эйхенбаумом. Убийства, грабежи. Вырезывает семьи советских служащих от мала до велика, не щадя ни детей, ни женщин. Нападает даже на штабы советских воинских частей. Одно за другим поступают неутешительные сведения. Вот раздеты догола и убиты двенадцать красноармейцев. Вот ограблен ветврач. Убит каптенармус, везший обмундирование. Еще и еще убийства, еще ограбления. Махновцы делают дерзкие вылазки и прячутся в балках, степях. И где ни копни - в селах, на хуторах - всюду напрятано оружие.

Помнит все передряги этой изнурительной степной войны Григорий Иванович. Задача поставлена - в кратчайший срок очистить от банд Украину. Включились в это дело 1-я Конная, 2-я Конная, 4-я армии. Хорошо поработали богучарцы. Решительно действовала Интернациональная кавалерийская бригада. Вскоре нащупали махновский отряд Каретникова. Загнанный в деревню Андреевка и окруженный со всех сторон Махно использовал небрежность как раз вот таких пентюхов вроде Мосолова и прорвался на север. Для его преследования были созданы специальные летучие отряды. Наконец Махно вынужден дать бой в районе сел Федоровка - Акимовка, разбит, и куда же ему податься?

Конечно за кордон! Конечно в Париж! К своим хозяевам!

Вот вы и прикиньте! Всего лишь Махно, а возни сколько? Считать ли эти кровавые стычки продолжением гражданской войны? Считать ли, что гражданская война кончена, если в одну только Тамбовскую губернию понадобилось отправить против эсера Антонова кроме бригады котовцев отряд особого назначения, взвод батареи, полк кавалерии, полк особого назначения ВЧК, автоброневой отряд имени Петросовета...

Редко удается Григорию Ивановичу размышлять обо всем этом в одиночестве. Всегда кто-нибудь да заглянет: тот пришел за советом, этот с жалобой. Приезжали старые соратники по боевым походам. Григорий Иванович успел приглядеться к каждому. Когда он высмотрел, что у мальчика, прибившегося к бригаде еще в Тирасполе - у Кости Гарбаря, - музыкальные способности? Когда заметил, что Миша Марков ведет дневники, и составил для него план будущего? Когда решил послать командира Николая Криворучко на Военные академические курсы?

Григорий Иванович Котовский рассылал по всем направлениям своих кавалеристов. Эти по возрасту демобилизованы, так пусть разводят сады, выращивают сахарную свеклу - скоро стране будет нужно много опытных красных агрономов. Те пусть едут получать образование.

Котовский, как сеятель, разбрасывал семена, как садовник, делал прививку диким яблоням. Пусть растут люди, пусть учатся, много понадобится верных ленинцев для построения социализма.

2

Проводил он в учение и Мишу Маркова с Оксаной. Пришли они прощаться, сели на краешке стульев рядком. Оксана смущается, даже порозовела.

- Залюбоваться на вас можно! - сказала Ольга Петровна. - Такие славные ребята!

Тут уж и Марков растерялся:

- Какие мы славные? Самые обыкновенные.

- Не спорь. Да и время сейчас такое - обыкновенных нет, повывелись.

Оксана и Ольга Петровна накрывали на стол, возились по хозяйству и беседовали, причем попутно Оксана получила множество практических советов.

- Непременно учись, - говорила Ольга Петровна, протирая тарелки, сейчас вся Россия учится. Дорожи каждым часом, ничего не откладывай, чтобы после не жалеть. Кто знает, что еще будет? Всякое может быть.

Мишу Маркова увел к себе Григорий Иванович. Глянул Миша в кабинете Григория Ивановича на огромную, во всю стену географическую карту. Вот она, Советская держава, раскинулась! Дороги, дороги, куда хочешь, туда и поворачивай.

Котовский сразу поймал его пытливый взгляд.

- Хороша? - широким жестом охватил он цветные пятна губерний, голубые извилины рек, кругляшечками обозначенные города и села. - Наша!

В голосе его звучала гордость. Так хозяин показывает свои угодья леса, пасеки, пастбища.

Марков уезжал в Петроград. Он уже знал Москву, поэтому ему не так страшно было ехать в большой незнакомый город. И потом - ведь с ним Оксана!

Котовский говорил и как будто вглядывался во что-то, что еще не ясно видно:

- У капиталистов все держится на необразованности. Когда народ мало знает, его легче обманывать. Что ни набреши, всему поверят. А нашей стране нужны умные, образованные люди. Я заметил - ты пишешь дневники. Раз у человека потребность записывать мелькнувшие мысли, значит, у него писательская жилка. Учти. Писатель - это знаешь что такое? Это, брат, звание! И ответственность! И труд! Не все выдерживают, а ты выдержишь. Уж если такие походы одолел, значит, луженый, значит, силен.

Котовский задумчиво смотрел на Мишу.

- Конечно, талант нужен. Есть у нас дуболомы, воображают, что в писатели можно назначать - выдал ему направление, дал справку об уплате членских взносов, - и готов Лев

Толстой. А дело-то, видать, посложнее. Тут с кондачка нельзя подходить. Вот если бы по садоводству, я бы тебе все растолковал. А насчет писательства - это пускай с тобой Крутояров опытом делится. В гражданскую он военным корреспондентом разъезжал, тогда мы с ним и познакомились. Занятный человечина. Толковый. Спрашиваю, какие курсы надо кончать, чтобы в писатели удариться? Для этого полагается, отвечает, чтобы жизнь трепала, чтобы живого места на тебе не осталось, чтобы ты сто профессий перепробовал, сто раз умирал, да не умер, и голода хватил и достатка... Я его останавливаю - не довольно ли, а он мне еще двадцать статей перебрал: и что язык свой надо так понимать, чтобы каждое слово факелом горело, и что все знать - все ремесла, все науки, всю историю, знать больше, чем все академики, вместе взятые, больше, чем лесорубы, рыбаки, охотники, сталевары, акушеры, звездоплаватели... Спрашиваю - ну а сам-то он так-таки все и знает? Все превзошел? А он мне по-латыни: scio quod nihil scio - единственное, что знаю, - что ничего не знаю. Дело, говорит, в том, что все это яйца выеденного не стоит, если нет таланта. Спрашиваю, а что такое талант? Этого никто не знает, и если, говорит, кто-нибудь будет уверять, что знает, врет, собачий сын.

- Может быть, критики знают? - робко спросил Марков.

- Критики? Едва ли.

- И вы, Григорий Иванович, не знаете? - совсем упал духом Марков.

- Ну, я-то знаю. Талант - это от большой души. Как пение птицы. Только и талант ни черта не стоит, если направлен во зло человеку. Талант предназначен, чтобы правде служить, революции. А если талант хитрит, виляет, на сторону мировой буржуазии переметнется - будь он проклят такой талант, пропади он пропадом. Понятно?

- Конечно понятно. Если, например, живет в каком-нибудь городе изобретатель. Думает-думает - и для смертной казни электрический стул изобретет...

- Вот-вот! На нем на первом и надо этот стул испробовать!

Мише Маркову пришлось по душе предложение Котовского, и он собирался еще что-то добавить остроумное, но тут раздался голос Ольги Петровны:

- Мужчины! Долго вы там будете тары-бары растабаривать? Им на поезд скоро, а я их даже еще не покормила!

Когда настал час расставания, Миша почувствовал, что у него что-то защипало в горле. И как ни храбрился, робость его охватила, так бы, кажется, бросился к мамаше котовцев Ольге Петровне и спрятался у нее, как маленький, в коленях от всех бед.

Опять - и уже в который раз! - все летело кувырком, все рушилось, ломалось. Ведь как ни воевал Миша, как ни щеголял отвагой и выправкой, в душе он все еще был юнцом и постоянно чувствовал спокойное руководство и опору, всегда знал, что рядом - Котовский, что Котовский не ошибется, Котовский выручит, Котовский - и командир, и отец родной, и начальник, и воспитатель - изберет самый правильный путь и поведет по нему.

Марков не мыслил себя вне рядов котовцев. Он вжился в этот простой и трудный солдатский уклад, стал настоящим конником и полюбил товарищей сильных, честных, отважных людей. И коня полюбил, понял его нутром, сноровкой, добился того неизъяснимого состояния, когда конь и всадник нераздельны, составляют одно целое, молниеносно принимают решение и каким-то особым чутьем избирают лучший для данного случая поступок. Овладел Марков и строевым делом - слитностью со всеми всадниками, умением по первому еле уловимому знаку начальника точно и согласованно выполнить команду. Все эти навыки стали второй натурой Маркова, его существом, плотью и кровью. Сможет ли он примениться к новым условиям? Завершалась еще одна полоса жизни, а впереди все было так неясно!

И почему это жизнь так устроена, как будто все время перебираешься в ледоход через широкую реку? Льдины плывут, сталкиваются, крошатся. Еле успеешь прыгнуть на новую льдину, как та, на которой стоял, дает трещину, расползается и исчезает бесследно в бурлящей пучине, как будто и не было ее никогда.

Давно ли это произошло, когда они с отцом с лихорадочной поспешностью собрались и

ушли из дому? На всю жизнь осталось в глазах видение: в распахнутой двери силуэты двух женщин. Ветер развевает их волосы, треплет подолы. Женщины стоят неподвижно. Это мать и сестра Татьянка. Жалость, страх, смешанные с отчаянной решимостью, овладели тогда Мишей. "Прощайте! Мы уходим! Дорогая сестренка! Милая мама!" - кричало все его существо. Но они молчали - и он, и отец. И шли все дальше от дома - навстречу ветру и неизвестности.

В тот день кончилось лазоревое детство. А детство бывает только раз. В один миг разлетелось вдребезги глубокое детское убеждение, что домашний мир неподвижен, нерушим, что мама, сестренка, пятнистая кошка Марта, пыльная улица в железнодорожном поселке Кишинева и пыхающий дымогарной трубкой отец - все это установлено раз и навсегда, на вечные времена, как Птоломеева система, что все это создано специально для Миши, чтобы ему было удобно и хорошо.

Потом и с отцом разлучились. Тоже как-то внезапно. Ушел он поспешно, было даже неловко, что он уходит из отряда. Ушел - и как в воду канул. Был отец - и нет его. А вокруг все безмятежно, как будто ровным счетом ничего не случилось, как будто бы Миша не расстался с отцом, как будто бы никто и не уходил. По безучастному небу все так же плывут улыбчивые облака. Так же, как всегда, рождаются студеные рассветы, так же добрые деревья машут ветвями утомленным путникам, такие же непоседливые люди проходят и проходят мимо. А отца нет... Где он? Жив ли он? Хуже всего неизвестность. А дням какое до этого дело? Бегут как ни в чем не бывало!

Хорошо быть составной частью чего-то незыблемо прочного. Котовцы. Раз навсегда установленный уклад. Могут быть раненые, могут быть убитые, но это ничего не нарушит. Так же всегда на своем месте будет командир, так же стройны ряды, такие же будут привалы и водопои, такие же сигналы в атаку...

И вдруг теперь все изменилось, все исчезло, все растаяло, как клок дыма на пронизывающем ветру. Марков оказался один, сам по себе. Все нужно решать самому. Страшно и непривычно!

Григорий Иванович смотрит понимающими грустными глазами: разлетаются соколы!

- Адрес написан на конверте. Письмо хорошенько спрячь. Да чего там, найдешь и без адреса, не маленький. Язык до Киева доведет. Едешь ты к настоящему человеку. Писатель. Книги пишет. Неужели ты его не видел, когда он к нам приезжал? Тогда прошел слух, что бригаду расформируют, что бригада не нужна, а он после такую статьищу накатал - любо-дорого! Вознес до небес, а злопыхателей уж так раздраконил, только перья летели. Не помнишь? Небритый такой. В очках. На всякий случай запомни фамилию: Крутояров, Иван Сергеевич. А то письмо потеряешь - будешь как в лесу по Питеру бродить. Большой город, я там бывал. Знаю.

- Зачем же? Я не потеряю...

- Значит, Оксана, договорились: пиши сразу же, как доберетесь до места, - в свою очередь наказывала Ольга Петровна. - Все запомнила?

- Все, Ольга Петровна! И что улицы надо не дуже швидко переходить, сначала подывись влево, потом подывись вправо... и что домашнюю хозяйку из себя не строить, получить специальность... и что, если яйца всмятку варить, надо досчитать до ста и вынимать... и что обязательно в Эрмитаж сходить...

- Забудешь что - в письме спрашивай. Постой, хоть поцелую тебя! И тебя, Миша! Не робейте, ребята!

- Да, да! Не робеть! Не хныкать! Марш-марш! Колонна - по два! В атаку! Ура! Фамилию запомнил? Крутояров!

Миша Марков подхватил несложную поклажу, взял за руку Оксану, и они пошли.

И долго еще стояли на крыльце и махали им родные, близкие, дорогие комкор Котовский и Ольга Петровна.

Вокзал был рядом. На перроне было безлюдно.

- Как же мы теперь? - спросила Оксана, растерянно озираясь.

- Держись за меня! - ответил Миша, храбрясь. - Была команда - не хныкать. Вопросов нет?

3

Можно ли без песни побеждать? Можно ли без песни вообще жить? Песня сопровождала бойцов Котовского во всех походах. Почему-то особенно полюбилась всем русская народная песня "Скакал казак через долину". Ее пели на привале, после горячего боя, после ратных подвигов. Пели - и как рукой снимало усталость, словно после глотка студеной колодезной воды. Пели - и молодела душа, остывали горячие головы. Хорошая эта песня, она стала своеобразным гимном котовцев. Было и еще много хороших песен, так же как и много хороших, за душу хватающих голосов.

Бывало, как зальются, как уйдут в верха запевалы - будто за сердце схватят и не выпускают до последнего словечка песни.

Савелий мастер был запевать, а песен знал без счету. Каждый, кто пришел в бригаду, принес и щедрой рукой подарил всем на радость свои превосходные песни, а ведь нет больше нигде на свете таких задушевных, стройных, то задумчивых, то беспечно-удалых песен, как в нашей стране. Савелий знал песни, какие любят в пензенских деревнях, знал и раздольные волжские, и песни Приуралья. Где Савелий, там и прибаутки, и раскатистые взрывы смеха, около Савелия любят собираться.

- Запевай, Савелий, время дорого.

- Пели, пели, да есть захотели, - отговаривался Савелий, но больше для фасону, чтобы покуражиться.

- Хоть одну, дядя Савелий, еще в котлах не закипело.

- Да ну вас, что вы меня, старика, подбиваете, вон у вас молодежи сколько, покличьте Ивана...

- Ивана-а? Он поет как нищего за суму тянет! А ты у нас - райская птичка!

Савелий польщен. По его лицу видно, что выбирает, с которой песни начать. Тут уже кружок теснее собирается, все настораживаются, все готовы подхватить. А Савелий зажмурится, сморщится, а как откроет глаза - это уж другой Савелий, стряхнувший с себя все мелочи, отодвинувший все пустые заботы, Савелий - вдохновенный певец.

А все вокруг заулыбаются, лица засветятся - вот она, крылатая песня, с ней можно идти - не споткнуться, сражаться - не отступить, работать - не умаяться.

Не кокуй-ко ты, моя кукушка,
Не кокуй-ко ты, моя рябая!

заводит Савелий. И сразу дрогнет, сожмется сердце, казалось бы, и песня не печальная, а слезы навертываются на глаза - от восторга ли, от потрясения ли.

Савелию только начать. Закончил одну, наперебой заказывают другую. Сначала пристанет к пению несколько голосов, потом больше, больше. Стройный, согласный хор сливается в трехголосье:

Прощай, сторонушка родная,
Прощайте, милые друзья,
Благослови, жена, не знаю
Иду на смерть, быть может, я...

И после этой протяжной - задорная, разухабистая:

Как во поле-полюшке
Елочка стоит,
Елочка стоит
Кудреватая...

Давно уже пора на ужин. Нехотя расстаются с чародейством, с песенным волшебством. Но впереди целый вечер. А тут присоединятся к любителям пения украинцы... А кто встречал хоть одного украинца, который не знал бы множества изумительных украинских песен и не владел самым превосходным голосом? Они научили бойцов петь "Ой у лузи", "Реве та стогне", научили песне о вдове, которая "брала лук дрибненький", и о той дивчине,

которая "в синях стояла, на козака моргала". А там затянут кавалеристы-молдаване свои протяжные дойны...

Из поездки в Петроград, куда ходили бить Юденича, котовцы привезли новые песни, которым научили питерские рабочие, сражавшиеся в одном с котовцами строю. Полюбилась с тех пор бойцам песня про кузнецов, чей дух молод, "Смело, товарищи, в ногу", с большим чувством, стройно и торжественно исполняли "Интернационал".

И где бы ни заводили песни, везде непременно оказывался юный пулеметчик Первого кавполка, общий любимец Костя Гарбарь.

Он старался быть достойным звания котовца. Выполнял важные поручения, пробираясь в тылы врага. Однажды попал в плен, не растерялся, бежал и принес сообщение о расположении войск белополяков, за что был награжден орденом Красного Знамени. Он уже не ограничивался тем, что подносил патроны. Он стал пулеметчиком Первого кавполка Отдельной кавалерийской бригады Котовского и участвовал во всех боях.

Но вот кончался бой, и Костя снова превращался в застенчивого паренька, со звонким голосом, удивительным слухом и впечатлительной душой. Ольга Петровна часто видела, как он слушал пение птиц, не перестававших петь даже в те грохочущие годы. Костя испытывал неизъяснимую любовь к пернатым. То он бросал крошки голубям, галкам, воробьям где-нибудь на задворках деревни, то мастерил скворечник... А когда в освобожденном от вражеской своры городе политотдел бригады проводил митинг, устраивал спектакль, тут уж никогда не обходилось без живейшего участия Кости.

Заветной мечтой Григория Ивановича было создать духовой оркестр. А время было такое, что не до оркестров, да и откуда было взять необходимые инструменты, где добыть музыкантов?

Григорий Иванович распорядился, чтобы выискали среди бойцов таких, кто умел играть на чем-нибудь.

- Пусть он хоть на балалайке "Барыню" может отколоть, - объяснял Котовский, - или даже совсем ни на чем не играет, но наклонность у него к музыке есть, слух есть!

Второй приказ - бережно собирать музыкальные инструменты, какие попадутся среди трофейного имущества.

- Что попорчено - починим. Что непригодно - выбросим, - говорил Котовский командирам полков и эскадронов. - А музыка вот как нам нужна! Музыка дух поднимает, музыка - это знаете какое великое дело! Там, где человек давно бы свалился без сил, под музыку он промаршируют от востока до запада.

И ведь добился своего Григорий Иванович! Уже в двадцатом году - на что трудный год! - в бригаде появился оркестр, свой великолепный оркестр. В нем было человек четырнадцать - пятнадцать музыкантов. Когда они принимались с усердием за работу, получалось очень внушительно: стекла дрожали.

Устраивали иногда и спектакли. Обычно на спектакль приходили и местные жители, и бойцы. Перед началом оркестр играл революционные песни, особенно хорошо получалась "Варшавянка". Исполнялись также старинные марши. Начинался митинг с вопроса о текущем моменте, потом выступали ораторы по темам: "Что такое капитализм", "О бюрократизме", "За что мы боремся". После выступлений пели "Интернационал", а затем шла пьеса "Червонный огонь", или "Мартын Боруля", или "Сватанье на Гончаривцах".

Костя был одним из самых усердных участников шумового оркестра и хоровой декламации "По рельсам дней". Он старательно выговаривал:

Звуков гроза!
Враз тормоза
Грохнули, грянули,
Дрогнули, прянули
В даль! - говорят.
В путь! - говорят.
В даль! В даль! В даль!

По окончании спектакля непременно устраивались танцы, и тогда оркестр, к полному удовольствию местных красавиц, старательно отбивал такты падеспани, краковяка, играл вальсы "На сопках Маньчжурии", "Оборванные струны" и в заключение при шумном одобрении присутствующих наяривал русскую "Барыню" и украинский гопак.

Как любил свою "музыку", так он называл оркестр, Григорий Иванович Котовский! Как гордился своим детищем! Иногда он сам присоединялся к оркестрантам и играл на кларнете. Лицо его делалось серьезным, сосредоточенным. А музыкантов до того воодушевляло участие в оркестре командира, что они буквально творили чудеса. Играя на слух, они вскоре разучили попурри из оперы "Запорожец за Дунаем" и фантазию "Колосья" на темы русских народных песен.

- Слыхали? - спрашивал Котовский. - Орлы! Даже из оперы могут! Квалификация!

И тут же отдавал строгое приказание:

- Выдать музыкантам все как полагается по форме, чтобы были красавчиками, - ведь музыканты у всех на виду! А вы, музыканты, постарайтесь, чтобы ремни были всегда подтянуты, обмундирование аккуратно пригнано, чтобы трубы блестели ярче солнца! Понятно?

Затем Григорий Иванович рассудил, что оркестру не пристало ездить на разномастных лошадях. Подобрали одинаковых белых коней, один к одному, и Котовский часто проверял, хорошо ли у них расчесаны гривы, ровно ли подстрижены хвосты.

- Чтобы картинка была! Лошадь человеку - крылья! Запомните. А музыка - она поднимает человека вверх, благородные чувства рождает.

После одного концерта Григорий Иванович вызвал к себе Гарбаря, обнял его за плечи:

- Молодец, Костя! Здорово у тебя получается! А я все смотрел-смотрел на тебя и думал - а ведь у парня талант, у парня музыкальные способности обнаружились, нельзя, думаю, зарывать в землю талант, довольно стыдно будет зарывать талант!

Костя слушал, похвалы ему нравились, но дальнейшие слова командира заставили его насторожиться.

- Так вот, Костя. Я все взвесил, все обдумал и считаю, что настало время тебя в люди выводить.

"В какие люди? - встревожился Костя. - Разве может быть на свете более почетное место, чем бригада Котовского, дивизия Котовского, кавалерийский корпус Котовского?"

- Мы должны, - продолжал Котовский, ласково разглядывая Костю, любуясь им, - мы обязаны помочь тебе стать хорошим, образованным музыкантом - таким, чтобы ты вполне изучил это дело. Что говорить, приятно послушать "На сопках Маньчжурии", хорошо этот вальс звучит, любят его. Но это еще узенькая тропинка у подножия высоченных утесов. Давай, Константин Андреевич, брать неприступные выси, крутые подъемы. Ты мой питомец, и я позабочусь, чтобы ты серьезно занялся музыкой, чтобы ты стал настоящим музыкантом.

Этот разговор расстроил Костю. Не подшутил ли над ним командир? Не мог же он на самом деле посоветовать учиться музыке? И кому посоветовать? Пулеметчику! Бойцу, прошедшему все военные дороги! Коннику Котовского!

И назавтра Костя размышлял о странных речах командира:

"Главное, еще называет меня по имени-отчеству! Никто еще никогда не называл меня так!"

Думал, думал, да и позабыл об этом разговоре. Вдруг вызывают в штаб.

Явился. Порядок знает.

А в штабе ему сообщают, что по приказу командира корпуса Константина Гарбаря переводят в музыкантскую команду.

Кровь прилила к щекам Кости. Он почувствовал себя оскорбленным, униженным, как будто его ударили по лицу.

Выскочил из штаба и даже не может сообразить, в какую сторону ему надо. В музыкантскую команду! Его, строевика! Его, бесстрашного пулеметчика! Да за что же это, за какую провинность? Что он, обозник какой-нибудь, тыловик, чтобы его в музыкантскую

команду зачислять?!

В полном расстройстве чувств, весь опустошенный, окаменевший, шагал Константин Гарбарь по улице. Удар казался ему тем более болезненным, что исходил от обожаемого командира, которому он беспредельно верил.

Хорошо же! Он службу знает. Приказ есть приказ, и надо его выполнять.

Явился, как полагается, к краскому Сорокину и отрапортовал четко, бесстрастным голосом, что "прибыл в ваше распоряжение такой-то, такой-то боец-пулеметчик Первого кавполка". Отрапортовал, но голос зазвенел и осекся, подступили непрошеные слезы. Это привело в еще большее отчаяние: не хватает, чтобы разревелся, как мальчишка!

Но встретил ласковые, умные, чуть улыбающиеся, все понимающие глаза капельмейстера полка Ивана Дмитриевича Сорокина. Казалось, он проникает в самые сокровенные мысли, участливо расспрашивая Костю о его родных, о его детстве, рассказывая о себе:

- Вы знаете, Гарбарь, мне так посчастливилось: окончил в Петрограде класс военных капельмейстеров и получил назначение в такую прославленную воинскую часть! Я повстречал здесь истинных ценителей музыки. Впрочем, музыку нельзя не любить. Мне очень понятны слова гениального Глинки: "Музыка - душа моя". Как это верно!

Сначала Гарбарь слушал капельмейстера насупясь. Очень боялся, что его начнут утешать или уговаривать. Но Иван Дмитриевич был чуткий человек. Главное, он на самом деле любил музыку самозабвенно, даже исступленно, и невольно заражал этой любовью других. Вместе с тем он был застенчив и скромен до чрезвычайности. Скажи ему кто-нибудь, что он человек большой культуры, что он редкостный знаток музыки, особенно русской, - Иван Дмитриевич переполошился бы, замахал руками:

- Да ну вас совсем! Какой я знаток! Какая там культура!

Прошло немного времени, и Гарбарь перестал стыдиться своего нового назначения, понял, что не зря Котовский откомандировал его в музыкантскую команду. Теперь Константин Гарбарь недоумевал, как он мог обидеться на то, что его сделали избранником, поверили в его талант?

Начались настойчивые, упорные занятия. Сорокин учил Костю игре на трубе. Он был требователен, не довольствовался малым, не любил делать кое-как, лишь бы что-нибудь получалось. Он хотел, чтобы музыкант не только овладел инструментом, но и глубоко знал свое дело. Поэтому старался привить любовь к музыке, к народной песне, стремился расширить кругозор оркестрантов. Костя узнал от учителя множество таких вещей, о каких раньше не имел и понятия. Костя занимался элементарной теорией, изучал историю музыки. И удивлялся: как же он мог жить, ничего этого не зная?

- Давно известно: с тех пор как возникло различие между скотом и человеком, - надо быть человеком, а не скотом, - говаривал Иван Дмитриевич. - Но если кто-нибудь упрямится? Мне, товарищи, крепко запомнилось чье-то утверждение, что только для злых людей не существует песни. На самом-то деле, ну как же без песни? Вы только подумайте! Наши лучшие люди - революционеры, большевики - уж, кажется, боролись, рисковали жизнью, томились в тюрьме - вроде бы не до песен. Ан нет! Я близко знаком с одним человеком, он вместе с Лениным, в тех же краях отбывал ссылку. Так он рассказывал: только соберутся, бывало, вместе, там, в сибирской глуши, непременно поют. Поют "Смело, товарищи, в ногу", "Замучен тяжелой неволей", "Вихри враждебные"... Это так естественно и понятно: песня душу возвышает, песня крылья дает! Кстати, знаете ли вы, кто песню "Смело, товарищи, в ногу" написал? Не знаете? Так я вам расскажу. Она написана в Бутырской тюрьме, написал ее Леонид Петрович Радин, а исполнена она была впервые самими политическими, когда их вывели из Бутырки, отправляя в этап. Да, друзья, песня - это великое дело. И какие прекрасные песни создал наш народ!

Иван Дмитриевич смущенно замолк.

- Извините меня, пожалуйста. Я немного увлекся. Но ведь есть вещи, о которых нельзя спокойно говорить. Продолжим занятия.

Но извинялся он напрасно. Слушали его всегда с удовольствием. За короткое время оркестранты поняли своего учителя и привязались к нему. "Красный маэстро" - любовно называли его.

А Костя Гарбарь вступил в волшебный мир чудес. Что ни день - новые откровения. Все наводило на размышления, все изумляло, заставляло по-новому смотреть не только на музыку - на всю жизнь. Все повергало в трепет и смятение. Ведь у Кости фактически не было детства. Сразу солдат, партизан, сразу - бои, трудные переходы. Все сразу, вдруг, без интервалов, без постепенных перемен. И учиться не оставалось времени. Теперь приходилось наверстывать.

И Костя нажимал. Хлынули в его сознание широким потоком самые разнообразные факты, обобщения, теории. И все необходимо было усвоить. А чего можно достигнуть без труда?

Костя целый день ходил как в тумане, узнав, что Петр Ильич Чайковский за двадцать восемь лет композиторской деятельности создал 76 опусов, 10 опер, 3 балета. Да кажется, чтобы написать одну такую оперу, и то не хватит самой длинной человеческой жизни! И легко сказать: опус. Чего стоят такие "опусы", как шесть симфоний! А концерты?!

Когда Костя, поехав с Иваном Дмитриевичем в Москву, впервые услышал музыку Чайковского в отличном исполнении, он даже заболел. Это было настоящее потрясение. Были они на опере "Евгений Онегин". Костя не поверил Ивану Дмитриевичу, что "Евгений Онегин" только через пять лет после создания попал на большую сцену, что "Руслан" Глинки после первой же постановки был снят с репертуара на пятнадцать лет, что "Каменный гость" Даргомыжского был встречен враждебно и публикой и критикой и тоже снят с репертуара, что так же не повезло и "Борису Годунову"... Все это Костя слушал недоуменно.

Он был зачарован, он бредил музыкальными образами, мелодиями. Иван Дмитриевич, счастливый, что его ученик так жадно впитывает впечатления, рассказывал о "могучей кучке", о том, что Алябьев написал более ста романсов, Варламов - более двухсот пятидесяти и что многие романсы Глинки устарели из-за безвкусных текстов. Иван Дмитриевич рассказывал и сам то и дело напевал. Или подбегал к пианино и наигрывал отрывки из арий, романсов... И трудно сказать, кто больше увлекался - учитель или ученик.

Так вот и шли дни. И шла учеба. И складывались определенные вкусы, определенные взгляды. Константин Гарбарь становился взрослым. А Котовский, оказывается, глаз с него не спускал, был в курсе всех его переживаний и успехов.

Котовский не только сам присутствовал на концертах и слушал выступления духового оркестра, давно уже перешедшего от незамысловатых полечек к исполнению серьезных вещей. Котовский настоял на том, чтобы послушали его "музыку" Михаил Васильевич Фрунзе и Александр Ильич Егоров. Котовский знал, что Егоров женат на пианистке и сам отлично разбирается в музыке. Во Фрунзе Котовский ценил опытного полководца, образованного марксиста, но знал также о его пристрастии к литературе, о его дружбе с Фурмановым, о его любви к пению.

В этот вечер оркестранты страшно волновались. Начиная концерт, их красный маэстро, бледный, с выступившими каплями пота на лбу, прошептал:

- Ну, ребятки, не подкачайте! Сегодня у нас такие слушатели... Душу выверните, но покажите, на что вы способны!

Концерт понравился. Фрунзе задумчиво сказал:

- Какие неисчерпаемые запасы вдохновения таятся в народе! И какая же прекрасная жизнь будет на земле, когда коммунистическое общество даст возможность каждому выявить все свои способности, всю красоту души!

Егоров, прищурясь, молча слушал, что говорит Фрунзе. И только после долгой паузы вздохнул:

- Казалось бы, отвоевали - и дыши полной грудью. Так нет же, и сейчас не затихают бои. Я сужу по своей работе в Коллегии военной промышленности. Ох трудно! Это вам не шашки вон, в атаку марш! Там враг виден сразу - вот он весь, руби. Здесь его нужно еще

распознать, еще решить, как с ним поступить дальше, действовать ли убеждениями или гнать взашей. Сложное время.

Все трое - Котовский, Фрунзе и Егоров - стояли возле самого оркестра. Фрунзе был коренаст и внушителен, широкоплечий Егоров с открытым русским лицом был ему под стать, а Котовский, словно отлитый из бронзы, складный и сразу привлекающий к себе внимание, дополнял эту живописную группу.

Вскоре после этого памятного для Гарбаря дня его вызвал Котовский.

- Поздравляю, товарищ музыкант! - воскликнул Котовский, как только Гарбарь появился в дверях. - Теперь перед тобой будет открыта широкая дорога. Иди и не робей! Отправляем тебя в Москву, все уже согласовано и утрясено. Будешь слушателем военно-капельмейстерского класса. Дальше сам посмотришь, что и как. Мой же наказ один: всегда находись в гуще сражений!

4

Что касается Савелия Кожевникова, то тут вопрос был ясным. Савелий благополучно добрался до своей Уклеевки - деревни на шестьдесят дворов, раскинувшихся на косогоре.

Это случилось в феврале, а февраль - бокогрей, широкие дороги, он предчувствует весну, солнечные деньки, цветущее раздолье. Встретили Савелия с почетом: герой! Ни одной избы не миновал Савелий, у всех откушал хлеба-соли. И все приговаривал:

- Наша кобылка ни одних ворот мимо не проедет, все заворачивает!

А кругом братья да сватья, одни близкие, другие дальние родственники, что называется, нашему огороду двоюродный плетень. Блинами потчуют. Савелий давно блинов не едал, но знает, как макать блины в сметану:

- Где блины, там и мы! Накладывай!

Однако видит: живет народ не густо. Совсем разорен, землю-то засеяли осколками да минами - пустырь! Все надо начинать сначала. Спасибо товарищу Ленину: продразверстку заменил справедливым натуральным налогом. А то отощали до последней крайности: день не варим, два не варим, день погодим да опять не варим. И это где? В Пензе, испокон веку славившейся урожаями! Где яблони и вишни цветут!

Савелий за годы скитаний чудес наслышался, повидал жизнь. Рассказывает землякам:

- Теперь все по-новому будет. Не так, как в старину, все по приметам да на глазок: ранний сев ярового начинали с Юрия, средний - с Николы, поздний - с Ивана, огурцы сажали на Леонтия-огуречника, а овес полагалось сеять, когда босая нога на пашне не зябнет. Или взять, к примеру, садовое дело. В наших краях выходили в полночь потрясти яблони - это считалось для пользы урожая. А какая в том польза? Дело будет вернее, коли руки приложить, а поработаешь до поту - так и поешь в охоту, и будет чего поесть.

Правильно рассуждал Савелий, одного не учел: безлошадной стала Пензенщина. А без лошади какое хозяйство? Слыхать, тракторы будут выданы, а до той поры хоть пропадай.

И вот надумал Савелий написать Котовскому, слезно просить о подмоге.

"Дорогой отец и товарищ командир! - писал Савелий. - Вел ты нас в бой, учил побеждать, а теперь пришло время одерживать победы над недородом. Мелка река, да круты берега. Ответишь отказом - не обижусь, а только вся надежда на тебя. Мы знаем, что всегда ты откликался на людское горе. Без коня, сам знаешь, трудно поправиться. На чужом коне в гости не ездят, а без коня и одной борозды не проведешь. После полного разорения мы вроде как погорельцы..."

Письмо было обстоятельное. Савелий рассказывал о всех деревенских делах, полный отчет представил своему любимому командиру. Сообщил, что межи в Уклеевке уничтожили, хозяевать будут по-социалистически, что отстраиваются, и лес в сельсовете уже отпущен, и что он, Савелий, по поручению схода передает красному командиру революционный привет.

Много писем приходило в Умань командиру корпуса. Писали со всех концов и по самым разнообразным поводам. Бывшие бойцы и командиры бригады просили взять их обратно в корпус. Обращались и с другими просьбами. Один хлопотал, чтобы ему поставили протез. Другой благодарил за материальную поддержку. Писали Котовскому с большой

любовью, были трогательны и искренни их обращения к "дорогому, незабвенному нашему папаше, командиру славного 2-го кавкорпуса".

Ни одно письмо не оставалось без ответа, ни одна просьба не оставалась неудовлетворенной. Ольга Петровна не раз слышала, как Котовский наказывал:

- Командир - воспитатель своей части, он служит примером для массы не только на службе, но и в личной жизни. На нас смотрит народ.

Ольга Петровна думала:

"Эти слова следовало бы поместить в служебном кабинете каждого начальника, каждого командира, каждого руководителя - все равно, на военной он службе или на гражданской".

Не раз Ольга Петровна замечала, что высказывания Григория Ивановича содержат ценные мысли. Вот только нет времени записывать. А жаль. Особенностью Котовского было умение схватывать самое основное.

"Может быть, - думала Ольга Петровна, - сказывается привычка давать команду - команда должна быть предельно ясна и лаконична. Может быть, играет роль и то обстоятельство, что он всегда с народом, с простыми, простосердечными людьми. С ними нельзя хитрить, нельзя говорить уклончиво, туманно. С ними либо молчи, либо руби правду-матку".

Получив письмо от уклеевского председателя, Котовский тотчас справился, нет ли в корпусе лошадей, ставших непригодными к боевой службе. Такие лошади нашлись.

- Если нашлись лошади, - решил Котовский, - то должно найтись и зерно "Рассвету" для посева!

Савелию сообщили, что он может приезжать за подарком. Он приоделся, расчесал бороду и приехал важный, представительный, в сопровождении приемочной комиссии, состоящей всего из двух человек, как он отрекомендовал их, - два брата Кондрата.

От зерна долго отказывался, а когда уломали, стал вымерять, прежде чем дать расписку в получении:

- Без меры и лаптя не сплетешь.

Григорий Иванович пригласил всех к обеду. Тут опять пошли савельевские побасенки да прибаутки - одна другой занятнее. Усаживаясь за стол, он заявил, что, сколько ложка ни хлебай, не разберет вкуса пищи. А когда его земляки стали из вежливости отказываться, Савелий посоветовал:

- Не поглядев на пирог, не говори, что сыт.

Но прибаутки прибаутками, а о делах успел поговорить и горячо благодарил за помощь.

Котовскому было приятно видеть, как человек стал иным только потому, что при своем основном деле. Повадки другие, сознание, что отныне положение уравнялось: Котовский над корпусом, а он, Савелий, над урожаем командир.

Однако за степенностью просвечивали, как солнечные зайчики сквозь облачную хмурь, прочная любовь и уважение.

- Теперь уж вы к нам наведайтесь, - говорил он, - не погнушайтесь. Не все такая сермяжная жизнь будет, ужо поправимся. Кабы не проклятая война, давно бы расцвела Расеюшка лазоревым цветом на свободе.

А потом как бы по секрету добавил:

- Мое соображение такое: они, подлюки, - те, кто с интервенцией лезет, - для того нас и ворошат, для того нас и от дела отрывают, чтобы после Советскую власть охаять: вот, мол, глядите, люди добрые, ничего у них из социализму этого не получается! Ай неправильно говорю? Скажи?

- Не пройдет у них этот номер! - жестко ответил Котовский. - Мы пушечки-то приготовим, чтобы не повадно было нос к нам совать.

- Это-то да! Свинье в огороде одна честь - полено...

- Пушечки приготовим, а тем временем и по хозяйству сообразим. Такая расчудесная

жизнь у нас пойдет, что любому-каждому станет ясно - вот какое устройство надобно для всех на земле. А что капиталисты злобятся - так им на роду это писано.

- Всю ночь собака на луну пролаяла, а луне и невдомек, - поддакивал Савелий.

- Луна далеко, а мы и близко, да не укусишь.

Погрузили в вагоны лошадей, которых корпус передавал коллективу "Рассвет". Савелий распрощался, прослезился напоследок:

- Многих ты человеком сделал, дорогой наш командир! Ох многих!

Забрался в вагон, вспомнил что-то и выпрыгнул снова на платформу.

- А что, правда или нет, будто международная буржуазия жалуется: большие, дескать, убытки понесли они в России, что, дескать, очень это им обидно?

- Пишут, восемь миллиардов всадили.

- Еще бы немного - вся Россия - фьють?

- Вроде того.

- Плачутся?

И наклонясь к самому уху командира корпуса:

- Когда волк примется хныкать, жаловаться на горькую волчью судьбу и проливать горючие слезы, держись подальше от волчьей пасти, не заслушайся смотри, сожрет!

- Знаю! - отозвался Котовский. - Я это хорошо знаю!

Савелий с минуту смотрел ему в лицо и, видимо вполне успокоенный и удовлетворенный, снова полез в вагон.

Поезд все не трогался. Савелий подошел к окну. Котовский смотрел на пензенского чудодея, любовался и гордился им.

"Какая цельная натура! Какое сердце! - думал он, улыбаясь. - Кабы не уймища обязанностей, кабы не корпус, не все заботы и неотложные хлопоты махнул бы с ним в деревню и работал бы агрономом! Вот бы свеклищу вырастили! Вот бы поставляли государству хлеба! Такие бы дела заворачивали, что любо-дорого посмотреть, что небу жарко бы стало!"

Савелий как будто догадался, о чем думка у его командира, крикнул из окна:

- Благодать у нас в Уклеевке! Греча цветет! Эх, командир, нам бы с тобой вместях действовать! Ведь земля - она памятная, она благодарственная, она на ласковое слово сторицею воздает. Ты не обижайся на меня, старого болтуна. Любя я! Разве не понимаю, что ты птица большого полета? Очень даже понимаю и чувствую!

Как бы одобрительно отзываясь на слова Савелия, раскатисто закричал паровоз:

- Ого-го-о!

Вагон качнулся, лязгнул и двинулся.

В Т О Р А Я Г Л А В А

1

Тишина... Полная тишина. Советская страна занята мирным трудом: исправляет взорванные мосты, очищает пашни от осколков снарядов. По железным дорогам снова должны мчаться нарядные поезда, на полях снова должны колоситься золотые урожаи.

Россия в эти дни походила на жилище, в котором только что похозяйничала шайка грабителей. Все перепортила, переломала, что могла, разворовала, разграбила и ушла с мешками награбленного, перешагнув через лужи крови, стынущие у порога. Что и говорить, добыча была богатая. В Архангельске передрались из-за складов льна. Англичане ухватили больше, чем американцы. На Кавказе вывезли всю нефть, в Черном море угнали все корабли. Японцы грузили на свои суда что попало: каменный уголь, лес, ценные меха... Ничем не брезговали.

К 1920 году уровень экономики России был низведен до уровня экономики царской России второй половины девятнадцатого столетия.

- Вот с чего приходилось начинать.

Тишина была обманчивой! Коварной была тишина! Правда, уже никто не засылал войска на нашу землю, не выгружал оружие в наших портах. Но там, за рубежом, отливали

новые пушки, готовя нападение на Страну Советов, разрабатывали новые планы, вынашивали новые заговоры.

"Русский Рокфеллер", как называли его в парижской прессе, известный в коммерческих кругах фабрикант Рябинин был одним из тех, кто создал в 1920 году в Париже Русский торговый, финансовый и промышленный комитет, так называемый Торгпром. В Торгпром входили бежавшие из России банкиры, промышленники, нефтяные короли. Торгпром располагал огромными средствами. И хотя он объявил, что будет бороться с большевиками на экономическом фронте, на самом деле отнюдь не ограничивался одним экономическим фронтом, участвуя в любом мероприятии, направленном против красной Москвы.

Живя в Париже, Рябинин подчеркнуто говорил только на русском языке, хотя владел и французским, и английским, и немецким. Будучи вхож в самые аристократические круги эмиграции, он с нарочитой грубостью заявлял:

- Вы тут, поди, только по-французски? Ножкой шаркаете? Вот и прошаркали матушку-Россию.

Рябинин - что греха таить - недолюбливал французов, недолюбливал Америку, уверял, что американцы - даже не нация, а так, какое-то ассорти. Но больше всего ненавидел немцев. Считая, что он так богат, что может позволить себе не стесняться в выражениях, Рябинин бранил всех, но упрямо доказывал, что русские правители, русские "хозяева жизни", как он называл, - превосходные, достойные люди. Ведь Рябинин не терял надежды, что в России еще вернутся старые порядки, что Рябинин России еще понадобится.

На званом ужине у какой-нибудь графини Потоцкой или княгини Долгоруковой Рябинин любил произносить длинные тосты. С бокалом шампанского в руках он ораторствовал и не обращал внимания, что кое-кто из присутствующих пожимает плечами. Если это скучно и неинтересно хорошенькой дочке княгини Долгоруковой, то найдутся и серьезные люди... Пусть послушают! Это им полезно!

- Коммунистические ораторы, - пускался в рассуждения Рябинин, уверяют, что все мы дураки. Царь у них болван, министры - кретины, помещики ходят с плетками и лупят крестьян. Для темного народа это, может быть, лестно, что все дураки, а посему - бей буржуазею, товаришши, ура. Но, господа, неверно же это! Вот недалеко от меня сидит Феликс Феликсович Юсупов. Нуждается ли он в ликвидации неграмотности? Да он Оксфордский университет окончил! Вот мы и объединили в Торгпроме наши капиталы и наши сердца, чтобы вернуть Россию, сбившуюся с дороги, на правильный путь - на путь капитализма!

Рябинин говорил на эти темы всюду, где только бывал. Ему казалось, что этим он поддерживает затухающую надежду русской эмиграции. Но Рябинин не ограничивался одними словами. Недаром он встречался с некими весьма подозрительными субъектами, вроде известного главаря русских эсеров Сальникова, недаром заседал на конференциях различных обществ, комитетов, совещался с председателем Русско-Азиатского банка Путиловым, прикидывавшимся этаким рязанским мужичком, со знаменитым миллиардером худощавым брюнетом Жоржем Манделем, который известен всему миру как Ротшильд, наконец, бывал даже в таких организациях, как кутеповский "Союз галлиполийцев"...

Вся жизнь Рябинина была посвящена одному: борьбе с непонятным, новым и ненавистным, имя чему - коммунизм.

2

Десятый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков) не успел начать своей работы, как пришло сообщение из Петрограда: в Кронштадте поднят мятеж, на город наведены жерла орудий.

Остров Котлин, где находится Кронштадт, с давних пор называли "орешком", который не раскусишь. Остров расположен в двадцати четырех верстах от дельты Невы, в восемнадцати верстах от порта Терриоки. Заговорщики удачно использовали момент. Они выступили, когда сильно поредели старые кадры моряков, ушедших защищать завоевания революции. На смену им во флот попало немало так называемых "жоржиков" и "клешников"

самой разношерстной братвы, которую нетрудно подбить на любую авантюру.

В целом план восстания был разработан опытными людьми. Вдохновителями являлись, как выражаются в дипломатическом мире, "некоторые иностранные государства", руководителями - обиженные на революцию царские военные, а подстрекателями - все те же меньшевики и эсеры. Лозунги подобрали подходящие: "Советы без коммунистов", "За свободную торговлю", "Власть Советам, а не партиям". И газеты капиталистических стран кричали, что это не мятеж, это народная революция.

Как оживились некоторые правители, которые места себе не находили со дня установления Советской власти! Как зашевелились эмигрантские круги! Кое-кто распределял уже министерские посты... Торгпром прислал из Парижа два миллиона финских марок, считая, что на такое дело денег не жалко. Проявил трогательную заботу и французский посол в Финляндии. Ведь изменники родины подняли оружие во славу иностранных торгашей, зарившихся на русскую нефть, на русские леса, на русское золото. Иностранцам было глубоко безразлично, кто будет управлять Россией в случае переворота: немудрый царь или плохонький президент, лишь бы они слушались и давали потачку "деловым людям".

Известие о Кронштадтском мятеже не вызвало растерянности у депутатов Десятого съезда: не впервые приходится отражать вылазки врага. По предложению Ленина для ликвидации мятежа были немедленно направлены в Петроград триста депутатов съезда.

Весна в 1921 году была поздняя. В марте на московских улицах было еще совсем по-зимнему. Но Петроград встретил сырыми туманами, коварной оттепелью.

Делегаты съезда спокойно и решительно приступили к делу. План был разработан еще в Москве. Совещания проходили также в пути, в вагонах. Этим людям казалось, что они не предпринимают ничего необычного, невероятного. Надо штурмовать. А как штурмовать? Только по льду. Выбора-то нет! И никому из них даже в голову не пришло, что подобный штурм многими был бы сочтен немыслимым.

Да, они шли по тающему льду Финского залива на штурм неприступной Кронштадтской крепости, расположенной на острове и, казалось бы, недоступной для сухопутных сил. Они шли по тающему льду на штурм крепостных бастионов острова Котлин - эти неистовые большевики! Они были, видимо, из той породы, о которой гласила надпись на медали, выбитой при Петре в честь славной победы над шведской эскадрой: "Небывалое бывает".

Да, они шли по тающему льду... Иногда лед проваливался. По наступающим били из орудий, били наугад, ночная тьма не позволяла вести прицельный огонь, а те, кто наступали, облачились в белые маскировочные халаты и двигались одновременно с нескольких направлений: от Ораниенбаума, от Красной Горки, от Сестрорецка, от устья Невы.

Когда снаряду все-таки удавалось попасть в цель и два-три человека исчезали в пробоине, те, кто шли рядом, смыкались, и цепь неуклонно двигалась дальше.

Восемнадцатого марта над Кронштадтской крепостью снова взвился красный флаг. Делегаты съезда, петроградские коммунисты, курсанты военных училищ, красноармейцы 501-го Рогожского полка, 499-го Лефортовского полка, славные участники боев с колчаковской армией и еще многие участники этого штурма, может быть, сами себе не верили, что могли совершить такие чудеса.

3

В дни Кронштадтского мятежа одним из первых прибыл в Гельсингфорс хлопотливый, непоседливый американский резидент Гарри Петерсон. Он за последнее время осунулся, почернел, движения его стали порывистей, скулы острей, голос резче: и борьба, которой он посвятил жизнь, - борьба против Советской России, - пока не давала никаких результатов, и в личной жизни полная неразбериха.

Гарри помнил наперечет все мероприятия, затеваемые за последние годы для уничтожения коммунизма. Нельзя сказать, чтобы эти заговоры, военные походы и восстания были бездарны, непродуманны. Нет! В них было вложено немало тонкого расчета и

кругленьких сумм. Разве не достаточно популярны были Керенский и Краснов, и разве плохо их финансировали? А монархическая организация Пуришкевича?

Гарри даже оживился, и нечто, отдаленно похожее на улыбку, появилось на его невыразительном одеревенелом лице.

"Клянусь предками, неплохо было задумано: громить винные склады и, так сказать, на базе "рашен водка" произвести государственный переворот! Картинно! Помнится, эта организация носила вполне приличное название "Русское собрание" - ничуть не хуже других. Кстати, ведь это Пуришкевич придумал во времена Николая Второго "Союз русского народа", который был в действительности "Союзом против русского народа"? Тот же Пуришкевич!"

Петерсон горько призадумался:

"Олл райт! Краснов... Пуришкевич... А какие результаты? Краснов арестован, отпущен под честное генеральское слово, и слова не сдержал. А Керенский? Этот старый дурак удрал, переодевшись - с этакой-то мордой! - в женское платье. Пуришкевича тоже поймали, он прятался в кухне, напялив на себя поварской колпак. И что у них за пристрастие к переодеваниям?"

Гарри откусывает кончик сигары и выплевывает его.

"Какие же выводы? Пункт А: белые вожди не популярны. Пункт Б: использование наемных убийц и ничем не брезгующих проходимцев - лучший способ поддержать пошатнувшийся престиж".

Гарри Петерсон самодовольно ухмыльнулся, очевидно вспомнив кое-какие моменты из собственной практики: может быть, убийцу Урицкого Канегиссера, может быть, выстрелы в Ленина террористки Фанни Каплан... может быть, банды, которые он перебрасывал через границу в Советскую Россию, или предстоящую посылку в Россию полковника Свежинского с заданием убить Ленина.

Так размышлял Гарри Петерсон, скучая в чистеньком номере гельсингфорсской гостиницы, помещавшейся на главной улице - Эспланаде, и поджидая вестей из Кронштадта, где вот уже сутки шло сражение.

Когда надоело торчать в номере, Гарри вышел прогуляться. Погода была отвратительная, с моря дул пронизывающий ветер, налетая какими-то шквалами. Памятник Рунебергу, мокрый и унылый, тускло поблескивал на пьедестале. Прохожие быстро шли по панели в резиновых плащах или с зонтиками, вот-вот готовыми вырваться из рук и взмыть в безнадежно-серое непроглядное небо.

Продрогнув, Петерсон вернулся назад. Город ему не нравился, погода не нравилась, все раздражало. Прошел в ресторан, с неприязнью оглядел пустующие столики и потребовал бутылку вермута. Придрался к чему-то и сделал замечание официанту. Пить расхотелось, вернулся в номер, лег на диван, стараясь думать о чем-нибудь постороннем, не относящемся к делу, о чем-нибудь игривом, легкомысленном. Но ничего такого не приходило в голову.

"Я правильно сделал, что включился в кронштадтское мероприятие. Тут пахнет жареным, и надо держать ухо востро, мигом кто-нибудь перехватит самые жирные куски. И в Архангельске, когда там высаживался десант, и в грандиозной ставке на Колчака, и в Одессе - всюду только и гляди, что утянут пол-России из-под носа. Вот и приходилось следить друг за другом, а при случае и подставлять ножку. Где высадились на русский берег французы, немедленно появлялись англичане и американцы, а уж в Омск - кто только туда не понаехал в ожидании дележки! Даже захудалая Турция, даже невесть кто! Все так и не сводили глаз один с другого и правильно делали: никому не хотелось опоздать к пирогу и получить пригорелую горбушку. А как же? Не каждый день представляется случай заглатывать такой лакомый кусочек, как Сибирь! Шуточка сказать - Сибирь! Мигом бы освоили. Разве приятно смотреть Соединенным Штатам, как расхватали подоспевшие раньше пираты всю Африку, Азию - со всеми их алмазами и золотыми россыпями, со всеми бананами, черт их побери! Кто только не нажился! И французы, и англичане, даже, прости господи, голландцы, чтоб им было пусто с их голландским сыром, даже эта мелкоплавающая

инфузория Бельгия... А тут - Сибирь... Всемилостивый бог! Мигом бы синдикаты, тресты... Местное население к чертям собачьим... Голова кружится, как подумаешь, какие перспективы намечались! И все шло успешно до самого этого города с трудным названием... как его? Бу-гу-руслан. А потом... Всем известно, что было потом. Хотел бы я посмотреть, что это за птица - этот красный полководец с трудной фамилией... как его? Фр... Фрунзе. Откуда он только взялся?"

4

Размышления Петерсона прервал стук в дверь. Петерсон все понял, лишь только увидел пришельца: это явился генерал Козловский собственной персоной. У него был несколько обескураженный вид, но свое смущение он старался прикрыть бравадой:

- Милль пардон... Вас, может быть, удивляет столь внезапное вторжение? С корабля, выражаясь фигурально, на бал! Впрочем, не с корабля, а с катера!

Один ус у него был спален. Рука забинтована, он поцарапал руку, прыгая в шлюпку.

- Не рассказывайте! - остановил генерала Гарри Петерсон, едва тот собрался докладывать. - Я сам расскажу, что вы намерены сообщить: все шло сначала успешно, потом неуспешно. В заключение появился какой-нибудь Фрунзе...

- Как! Вы уже знаете? - изумился генерал. - Вот это, милль пардон, по-американски! Да, именно так и было. Первое наступление мы отбили. Они вызвали курсантов, пригласили делегатов какого-то, милль пардон, коммунистического съезда... Насчет Фрунзе - не знаю, а Тухачевский - да, Тухачевский там был. Это у них восходящая звезда... И еще, как его?.. Ворошилов. Луганский рабочий, говорят. И какой-то Фабрициус... Или Фаброниус... У меня имеется полный список, если пожелаете ознакомиться...

- Скажите, пожалуйста! Суворовы!

- Бр-р! Не хотел бы я им в руки попасть!

- А этот... долговязый? Погиб? Бывший командир линкора?

- Вилькен? Мы отбыли из Кронштадта в одном катере, и как раз вовремя. Вилькен продрог, потребовал к себе в номер коньяку и принимает, милль пардон, ванну.

Гарри Петерсон сухо попрощался с генералом. Давно ли он так же выслушивал неутешительные вести от Тютюнника?

Собственно говоря, теперь можно было со спокойной совестью уезжать. В этом скучном городе делать больше нечего. Гарри Петерсон всю ночь проворочался, вздыхая и охая. Он не любил неясности. Он все понимал, все в жизни было для него бесспорно, взвешено, распределено. Он жил безошибочно. Но никак у него в голове не укладывалось одно обстоятельство. Хорошо, скажем так, - Кронштадт восстал. Петерсон добросовестно изучал историю. Он знает, что в 1914 году здесь взорвались на русских минах три германских крейсера и эсминцы. Ничего не могли поделать с Кронштадтом и в годы революции ни немцы, ни английская эскадра. И вдруг русские... Что за дьявольщина? Кронштадт неприступен? Так или не так? Какая же сила заставила этих господ усмирителей бунта идти на верную смерть? Проваливаться под лед? Гибнуть под пулеметным огнем? Выполнять чей-то абсурдный, ни с чем не совместимый безумный план наступления? Петерсон понимает, когда выходят на ринг два опытных профессиональных боксера. Оба отличаются бычьей силой, оба с ограниченным, примитивным умом, но с железными бицепсами. Оба хотят разбогатеть, стремятся получить денежное вознаграждение, выбиться в люди, хорошо есть, хорошо одеваться, щеголять, разукрасив грудь медалями и жетонами, покупать женщин, нанимать репортеров - словом, шикарно жить. Естественно, что при таких условиях они ставят на карту все, идут ва-банк. Это Петерсону понятно, тут есть логика, тут есть последовательность, тут есть смысл. А тем что надо, голытьбе? Допустим, одних перестреляли, оставшиеся завладели Кронштадтом. Что дальше? Какая выгода? Завтра опять тот же скудный паек, те же лишения. Что ими движет? Страху на них нагнали? Поставили позади идущих на штурм пулеметы? Голова может лопнуть от таких размышлений! Ничего не понять! Абракадабра! И все они такие - эти русские. И литература у них не как у людей. Например, Достоевский! Гарри не мог его читать, он чувствовал, что, прочти еще одну

страницу - и он станет бросаться на людей или уверять всех, что он - Иисус Христос. Бред! Чистейший бред! Раскольников стоит на коленях... Иван Карамазов запросто беседует с чертом... Нет уж, увольте!

Сейчас Гарри Петерсон штудирует Ленина. Надо! Надо изучать противника, выискивать у него слабые струнки. Агентура добыла обширнейшие материалы - книги, газетные статьи, стенограммы, даже секретные приказы и шифрованные телеграммы. Тоже ничего не уловить. Какое-то неистовство! Дерзость невероятная! Другой давно бы спасовал. Фронты. Подвохи. Измена. Бунты. Кроме того - зверский голод, надо же это понять, - полнейшая разруха - ни патронов, ни топлива - форменным образом ничего, ноль, пустое голое место...

Гарри устал думать, строить догадки. Голова как свинцовая. Главное, сколько ни думай, ничего не понять, все иррационально, дико, в других каких-то плоскостях...

Гарри встает с постели, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу, а потом вглядывается в мутную мглу, как в провал, в дыру мироздания.

Кажется, все-таки светает. С трудом, но светает. Нет! Довольно! Сегодня же прочь отсюда! Иначе в самом деле сойдешь с ума. Но он не успокоится, ни за что не успокоится, пока не уяснит все до конца. Именно потому, что он чего-то недопонимает, как, может быть, недопонимают и все, кто борется с этими безумцами, - именно потому и постигают неудачи, преследуют неудачи - подумать только! - их, владык мира, их, всемогущих, их, владеющих людьми, техникой, миллиардами!

5

Перед отъездом у Гарри Петерсона состоялась встреча с Сальниковым, которого он знал ранее и который вдруг вынырнул как из-под земли. Петерсону нравился этот худощавый щеголь с вкрадчивым голосом и холодными глазами, да и не удивительно, что нравился: оба они любили рисковать, оба с увлечением плели бесконечные интриги, оба находили прелесть в темных заговорах и - как это называется в кругах уголовных преступников - в "мокрых" делах.

Петерсон был сдержаннее, пожалуй, бесцветнее. Сальников отличался отчаянной дерзостью, бурным темпераментом, вел крупную игру, не останавливался перед самыми бесстыдными сделками, полагая, что в борьбе все средства хороши.

Кажется, не было на свете человека, который не знал бы этого, на первый взгляд заурядного имени. Кто-то из журналистов даже называл его в обширных обозрениях "авантюрист номер один". Его элегантный сюртук и лакированные ботинки видывали в приемных министерств и правительственных учреждений то в Лондоне, то в Париже, то в Копенгагене, то в Вашингтоне. Он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Для него, казалось бы, не существовало ни пограничных кордонов, ни обязательных виз. То он разгуливал по Москве, то инструктировал мятежников в Ярославле. Сегодня вел конфиденциальную беседу с генералом Гайда, обосновавшимся в Праге после разгрома Колчака. Назавтра оказывался в Италии.

Он бывал всюду, где можно встретить сочувствие борьбе с коммунизмом, его лично знали правители государств, мечтавшие о превращении России в колонию, матерые шпионы, орудовавшие на советской земле, белогвардейские генералы...

Петерсон хотя и не подал виду, но очень обрадовался встрече. Даже скука прошла! Даже этот маленький городишко с большими претензиями, даже эта богомерзкая погода - на все он взглянул другими глазами. Вот когда можно узнать самые свежие новости! Вот когда можно поговорить с человеком своего круга!

Впрочем, маленькая поправка: с человеком своего круга, но отнюдь не заслуживающим полного доверия. Нет, Гарри Петерсон никому не доверяет и придерживается того взгляда, что можно сколько угодно считать всех без исключения честными, но жить среди них следует так, словно все они отъявленные негодяи и мошенники. Гарри даже подумал, приветливо здороваясь с посетителем и как будто бы широко, открыто, доверчиво улыбаясь:

"Нельзя поручиться, что регистрационная карточка на этого субъекта не хранится в

секретных сейфах французского Дезьем-бюро... Не исключена возможность, что он связан и с английским Интеллидженс сервис... Но это еще туда-сюда. Однако я надеюсь, что он не состоит агентом Чека? Это было бы уже слишком!"

Для Гарри Петерсона имело большое значение, что Сальников - русский, уже одно это взвинчивало. Что бы Гарри ни говорил, что бы ни делал, в нем всегда сидела, как заноза, мысль о Люси, которая, теперь непонятно даже, была жена его или не жена. Гарри охотно прощал себе, если поступал с кем-нибудь вероломно, и считал это в порядке вещей, даже ставил себе в заслугу. Но чтобы с ним обошлись вероломно! Нет, этого он не мог простить, не мог даже помыслить об этом.

Он помнил каждое слово, каждое движение мускула на лице Люси и на физиономии княгини Долгоруковой в тот памятный день расставания. Он много думал об этом, все взвесил, все расценил. Для него было громом среди ясного неба сообщение, что мать и дочь решили ехать в Париж. То есть как так решили? Кто решил? Предварительно это не обсуждалось, не было ни тени намека на их намерение. Ехать в Париж! Без него! И помимо него, как будто он не был главой дома!

Гарри догадывался, что все это - штучки дорогой мамочки. Люси никогда бы не додумалась. Люси - премиленькая дурочка, и это ей очень к лицу. А чертовой княгинюшке захотелось тряхнуть стариной, покрасоваться в тех сферах, где она как рыба в воде. Чего лучше - Париж! Там русских графов и князей больше, чем правоверных в Мекке. Ну и ехала бы одна, гладенькой дорожки, что называется! Так нет же, и дочку потащила! Видите ли, девочка хандрит, девочке необходимо рассеяться! Чума бы тебя забрала с твоим рассеянием! И он-то хорош! Надо было воспротивиться! Главное, Люси не выпускать из рук, на худой конец даже отправиться с ними, а через недельку княгиню оставить где-нибудь в Марокко, или на Мадагаскаре, или в Конго, где-нибудь в малярийных болотах, а взбалмошную девчонку увезти. Теперь поздно обо всем этом думать, упорхнули птички. И что он скажет патрону? Расхвастался: "Роскошное имение!.. Старинный род!.." Вот тебе и имение! Вот тебе и старинный род! По сей день Гарри не может придумать, как распутать всю эту историю. Как нарочно, все время приходится иметь дело с русскими, говорить по-русски, да Гарри и сам любит щеголять хорошим произношением, русскими народными поговорками, идиомами... И каждый раз где-то в тайниках его сердца отзывается: "Люси"...

- От всей души сочувствую вашим неприятностям! - любезно улыбаясь и безупречно владея голосовыми средствами, мимикой, интонацией, произнес Сальников.

Гарри вздрогнул, на миг ему почудилось, что Сальников выражает сочувствие по поводу семейных невзгод, а не по поводу неудавшейся кронштадтской авантюры.

- Мои неприятности - это и ваши неприятности, - в тон собеседнику ответил Гарри, вполне овладевая собой.

- Тем более досадно проиграть этот тур. Ведь удалось поднять Кронштадт и одновременно раздуть разногласия внутри коммунистической партии. Этакий "двойной нельсон"! Представляете? Сознайтесь, сделано это умелыми руками.

Гарри усмехнулся. В голосе Сальникова прозвучали горделивые нотки автора, довольного своим произведением.

- А разве плохо была задумана, - возразил Гарри, - например, операция, охватывающая чуть не два материка - Европу и Азию, когда адмирал Колчак ринулся с востока, а с тыла ударила армия Юденича? Было учтено все, вплоть до солдатских портянок. Но какой-то злой рок висит над нами. Всякий раз повторяется одно и то же: прекрасное начало и плачевный конец.

- Сэр, - перешел на английский язык Сальников, - эта гостиница... как вы полагаете, - вполне удобное место для откровенных разговоров?

- Можете быть спокойны на этот счет, - развеселился Гарри, в свою очередь хвастая техникой и предусмотрительностью. - Я всюду вожу с собой специалиста по электрическим установкам и микрофонам, не говоря о том, что смежные номера всегда занимают мои сотрудники, а перед окнами и в коридоре дежурят мои люди.

- В большом ходу поговорка "стены имеют уши". Но чем лучше пол и потолок? Вы меня извините, сэр. Будь это не Гельсингфорс, а ваша постоянная резиденция, я бы никогда не позволил себе коснуться этого вопроса. Но у меня какой-то дурной характер: люблю видеть собеседника в лицо, и мне не нравится, если торчит одно его ухо. Хотя убежден, что болтливые опаснее злых, как гласит народная мудрость, но с вполне серьезным человеком предпочитаю и полную откровенность и полный tete-a-tete*.

---

* Tete-a-tete - с глазу на глаз (франц.).

Гарри Петерсона такая предпосылка тоже устраивала, он тоже любил беседовать без свидетелей, а в случае надобности применял механическую запись.

Да! Теперь он определенно не жалел, что приехал в этот ужасно приличный и ужасно скучный городок. Накопилось много вопросов, в которых более компетентного консультанта, чем Сальников, он и не желал бы. А так как беседа принимала более интимный характер, Гарри нашел своевременным и уместным извлечь из шкафика бутылку превосходного мартини. Теперь они повели разговор, поудобнее усевшись в неудобных гостиничных креслах и время от времени потягивая ароматный напиток.

Сальников несколько раз пытался перейти на английский, полагая, что Петерсону легче будет на родном языке выражать сокровенные мысли. Но Гарри снова возвращался к русскому языку, показывая, что в совершенстве владеет им и даже не растягивает "а" и вполне справляется с буквой "ч".

- Вы упомянули о разногласиях внутри коммунистической партии. Очевидно, вы имеете в виду "децистов", троцкистов, "буферную" платформу и прочее в этом же духе? Не кажется ли вам, что значение этих разногласий несколько преувеличивается?

- Надо брать весь комплекс явлений в их совокупности, чтобы составить суждение о данной ситуации, - теряя легкость построения фразы, начал тоном лектора Сальников. - Давайте вспомним, что этому предшествовало. Когда Ленин выступал на съезде Советов и совершенно определенно говорил о временном отступлении, то Лев Давидович Троцкий резюмировал, что кукушка прокуковала конец Советской власти. Тут имелось в виду все, вместе взятое: и голод, и разруха, и восстания в деревне, и усталость. Если уж договорились до таких вещей, то, видимо, речь идет не о каких-то там частных тактических расхождениях и спорах. Троцкий только подытожил, или, как говорится, поставил точку над "и".

- Но ведь господин Троцкий и сам коммунист?

- Троцкий - все что угодно по мере надобности. Когда ему удобно - и коммунист. Был момент, когда бундовцы возлагали на него надежды. Напрасно. Бундовцы для него недостаточно масштабны. Но если будет выгодно, он, не задумываясь, установит для евреев черту оседлости. Троцкий - это прежде всего Троцкий. Я так полагаю, сэр.

- Да, да, я знаю характеристики этого деятеля, сделанные многими, в том числе отзывы Ленина.

- Ленина?! - переспросил Сальников, думая, что ослышался. Он никак не ожидал и со стороны Петерсона ссылки на такой авторитет.

Но Гарри не обратил внимания на вопрос, будто не слышал его, и продолжал, щеголяя памятью и осведомленностью:

- В юности Троцкий ходил по Одессе в синей блузе и писал психологическую драму. В тысяча девятьсот третьем году был меньшевиком. В девятьсот четвертом порвал с меньшевиками, в пятом снова примкнул. Ленин отмечал его ультрареволюционную фразу и отсутствие мировоззрения. А зачем умному человеку мировоззрение? У вас, господин Сальников, есть мировоззрение?.. Но продолжим о Троцком. Блок ликвидаторов. Противник Ленина. Впередовцы. А в девятьсот семнадцатом примкнул к Ленину. В Брест-Литовске поступил вопреки директиве Ленина. Приехав из Брест-Литовска, публично признал свою ошибку. И тут же сколотил оппозицию. И кажется, снова признал ошибку? Или не признал? Мне кажется, эта маневренность говорит в его пользу. Ведь так? В мировой прессе его окрестили "красным Наполеоном". Не кончит ли он островом Святой Елены? А вы какого

мнения о нем? Фигура это или не фигура - вот что меня интересует.

- Если вы позволите напомнить, - с напускной скромностью вкрадчиво промолвил Сальников, - один далеко не глупый англичанин выразился примерно так: Троцкий так же не способен равняться с Лениным, как блоха со слоном.

- Я знаю, о каком англичанине вы говорите: Локкарт. Остроумно. Но блохи кусаются.

И Гарри понял, что от Сальникова нельзя ожидать другой оценки Троцкого, так как Сальников сам мечтает стать диктатором России. Он замолк и стал внимательно разглядывать Сальникова, решая вопрос, годится ли в диктаторы этот поджарый джентльмен - хладнокровный убийца, талантливый мистификатор и прирожденный дипломат. Конечно, если его поставить у власти, он, как и Троцкий, откроет границы для предприимчивых людей и быстро превратит Россию в нормальную капиталистическую страну с каким-нибудь страшно революционным названием. В этом Гарри Петерсон не сомневался. Но удержится ли он? На какие слои общества он опирается? Какими приманками снова загонит в стойло вырвавшегося на свободу и нюхнувшего вольного ветра дикого вепря, этот разбушевавшийся не в меру народ?

Сальников в свою очередь изучал Петерсона. Они не в первый раз встречались. Сальников знал, что за спиной Петерсона крупные капиталисты. Но еще Сальникову было известно, что, кроме поддержки любого мероприятия, направленного против советского режима, у Петерсона ничего не было за душой. Сальников старался определить, насколько влиятельны деловые круги, которые представляет этот американец. Денег у него много. Но ведь у голландца Детердинга их еще больше!.. Что касается аппетитов, то у всех они хорошие. Пасть, пожалуй, шире всего открыта у немцев... Эти с удовольствием заглотали бы весь божий мир и запили его кружкой пива.

Так оба долго молчали и обнюхивались, как собаки, встретившиеся на дороге. Сальников при этом осторожно отмечал, что не всякий гриб в кузов кладут, а Петерсон пришел к неопределенному выводу, что qui vivra, verra поживем - увидим.

Гарри Петерсон первым прервал молчание:

- Господин Сальников! Вы не обидитесь, если я признаюсь в своих сомнениях относительно очень популярной в России партии, - я имею в виду эсеров...

Сальников вежливо слушал. Но Гарри заметил какое-то движение, какой-то жест, выражающий протест.

- Знаю о ваших контактах с эсерами, но вы - особая статья: если вам понадобится, вы образуете еще десять таких партий и придумаете для них недурненькие платформы. В сущности, партия - это когда один говорит, а все остальные поддакивают. Не сочтите за комплимент - я не умею говорить комплименты, - вы из той породы, которая делает игру. Так устроен мир.

Сальников опять шевельнулся, как бы протестуя против слишком откровенной похвалы. Гарри ответил на это афоризмом:

- Скромность - результат опытности, сэр! Так говорят на моей родине. Но продолжим об эсерах. Я по должности изучал русские политические течения и нахожу большое сходство между русскими эсерами и русскими анархистами. Только анархисты призывали убивать всех подряд, а эсеры - на выбор.

- Не совсем так, - лениво процедил Сальников. - Или даже совсем не так.

- Эсеры, - продолжал Гарри, явно вызывая на спор и на откровенность, - это партия, у которой много жертв и мало толку. И потом, согласитесь: в ваших рядах слишком много провокаторов.

- Это характеризует только полицию, а не нас.

- Каляев и Шпайзман повешены, Покотилов и Швейцер погибли при взрыве, Дулебов и Бриллиант сошли с ума...

- Сэр! Вам следует писать историю революции!

- А провокаторы? Один Евно Азеф чего стоит.

- Азеф - любопытнейшая фигура, если хотите знать. О нем будут писать монографии.

Это поэт насильственной смерти. Но разгадка его загадочности прозаически проста: деньги. Он любил цитировать Гейне: основное зло мира то, что бог создал слишком мало денег. За деньги он готов был любого убить, Плеве так Плеве - ему безразлично. Его мировоззрение укладывалось в формулу: Je m'en fiche - плевать. В этом смысле он вполне современен!

- А эта ваша... Жученко? Которую разоблачил Бурцев? Лучше бы вам, мистер Сальников, свою, новую партию создать, чтобы на ней не висели тени прошлого. Как вы думаете?

- Я так и поступил, сэр. Только у меня не партия, у меня армия: зеленые братья. Вы правы, когда говорите, что эсеры - это и устарело и дурно пахнет. Дряхлые Брешко-Брешковские и Марии Спиридоновы - пыльный архив. Я уже не говорю о таких ископаемых, как Авксентьев, Вологодский. Сейчас другие времена, другая тактика, а все эти психопатки - это старо, как диккенсовские дилижансы. К чему такая бравада: спрятать в дамскую сумочку браунинг, подойти, выстрелить и затем терпеливо ждать, когда для тебя намылят веревку.

- Значит, вы отрицаете террор?

- Террор - да, но не политическое убийство.

- Да-да. Я в общих чертах представляю этот новый стиль работы. Например, предупредил поручик Соловьев советские органы о готовящемся перевороте в Ярославле, а через несколько дней Соловьева случайно убили в гостинице. Или комиссар печати Володарский... Кажется, тоже ваша работа?

- Милостивый бог! Вы даже такие мелочи храните в памяти? Но это же обычная вещь! Вы приводите примеры из политических будней. В меню политических деятелей есть такое блюдо: устранение нежелательных лиц. Ничего особенного, все так делают, каждое мало-мальски приличное государство, каждый деятель, даже каждый ревнивый муж. Какой же это новый стиль? В Америке нежелательных наследников упрятывают в психиатрические больницы. В Древней Руси их заточали в монастыри. Не вижу тут принципиальной разницы.

- В какой-то степени вы правы, - примирительно промямлил Гарри. Кстати, троцкисты тоже не брезгуют этим... стилем?

- В политической борьбе, сэр, нет недозволенных приемов.

- Извините, я, вероятно, утомил вас. Но хочется, знаете ли, во всем разобраться. Да! Что я хотел еще спросить... Вы сами лично видели Тухачевского?

- Михаила Николаевича? Конечно. Его, как и Фрунзе, на самые опасные участки посылают. На врангелевском фронте он командовал Первой и Пятой армиями. Я слышал, что его прочат на пост начальника Военной академии. Последнее, что я знаю, впрочем так же, как и вы, что он командовал войсками, взявшими Кронштадт.

- Вот поэтому-то мне и хочется составить о нем полное представление. Фрунзе - тоже бывший офицер?

- Каторжанин. Никакого отношения к военному делу не имеет.

- А кто такой Фабрициус?

- Коммунист. Работал в подполье. Это все, как бы вам сказать, ленинская гвардия. Ленин их выискал, Ленин их воспитал.

- А Котовский? Слыхали о таком?

- Еще бы! Крупный такой мужчина. Я его один только раз видел. В Одессе. Между прочим, друг Фрунзе. Одного поля ягода. Хорош.

- Все они хороши. Скажите, но разве плохой генерал, например, Ханжин? Разве не безумно храбр Каппель?

- Сэр! Плохо глиняному горшку, если на него падает камень. Не лучше, если он падает на камень сам.

- Вы все отшучиваетесь. Но в чем же все-таки тут дело? Мне рассказывали о Шкуро. Это нечто феерическое! Кадр для кино!

- Да, вероятно, это потрясает. Скачут во весь мах на вороных конях, на черном бархатном знамени красуется волчья разинутая пасть, в атаку идут под марши духового оркестра... Черт знает что такое!

- Я допускаю, что пустой номер - Тютюнник, что слаб Пилсудский. Но сколько кричали о Колчаке! Боже мой! Министр Сазонов называл его русским Вашингтоном! Сэр Сэмюэль Хор кричал, что Колчак - джентльмен. Черчилль клялся, что Колчак неподкупен. "Нью-Йорк таймс" воспевала на все лады этого "сильного и честного человека". Где он, этот сильный и честный человек? В какой гниет канаве? И почему, объясните, опытных кадровых генералов колотят и колотят голодные, плохо одетые мужики, которыми командуют агроном Котовский, ссыльно-каторжный Фрунзе и кто еще там? Какой-то Тухачевский? Какой-то Буденный? Примаков? Егоров?

Редко случалось, чтобы Гарри Петерсон приходил в такое возбуждение. А Сальников вежливо улыбался, вежливо слушал, пил маленькими глотками вино и сверкал лакированными ботинками.

Впрочем, вежливо слушая, он думал:

"Вряд ли ты, голубчик, на самом деле взволнован! Мы оба из того сорта людей, которые уже ничего не делают искренне. Мы всегда как на сцене, даже наедине с собой".

Кажется, он был прав. Гарри Петерсон, внезапно успокоившись и вдруг позабыв о печальной участи Колчака, которая за минуту до того его так тревожила, спросил с самым простодушным видом, хлопнув Сальникова по колену:

- Сегодня мы так свободно касаемся любых, даже неприкосновенных тем. Можете не отвечать на мой вопрос - и это последний! - вы ведь не сторонник диктатуры пролетариата?

- Разумеется!

- Но в то же время не сторонник и капиталистической системы? Диктатуры буржуазии?

- Да, эти две силы борются между собой. А я ни с теми, ни с другими. У меня своя линия.

- Вот-вот. Я понял вас. Я потому об этом спросил, что нашел любопытнейшее высказывание господина Ленина.

- Ценю вашу осведомленность о взглядах этого лица! Что же утверждает советский вождь?

- Он утверждает, что есть два борющихся лагеря и нет третьего, не может существовать третья линия, это иллюзия, обман или самообман. Есть французская песенка "Entre les deux mon coeur balance"*. Так вот что я хотел бы, мистер Сальников, с вашего разрешения сказать: раз уж вы ненавидите коммунистический строй - а вы его ненавидите, - значит, ваше сердце с нами, и вовсе оно не балансирует между двумя непримиримыми мирами. Следовательно, и задача у нас с вами одна - свержение Советской власти. Сто фронтов наших разбито, сто надежд рухнуло, сто вариантов не удались? Примемся за сто первый! Так?

---

* "Entre les deux mon coeur balance" - "Сердце мое между двух балансирует" (франц.).

6

Генерал Козловский сразу же после ликвидации Кронштадтского мятежа и встречи с Петерсоном отправился отчитываться в Париж. Это вошло в обычай: проиграв очередную кампанию в борьбе с большевиками, являться в Париж с повинной, искать новых покровителей или садиться писать мемуары.

Прежде всего Козловский поехал к князю Хилкову, которого знал еще по Петербургу.

- Победителей не судят, - сказал он вместо приветствия, - а что делают, милль пардон, с побежденным? Браните, позорьте, что хотите делайте, пришел с повинной, не обессудьте.

- Не вы первый, не вы последний, - снисходительно ответил князь. - Вы уже были у Рябинина? Это обязательно. И не откладывайте. Сегодня же. А вечером будьте у княгини Долгоруковой. Если вы ей понравитесь, ваша репутация спасена. У нее политический салон...

И особо доверительно добавил:

- Запросто бывает даже великий князь Дмитрий Павлович... Да вы сами все увидите. Очень милый дом. Чисто русское гостеприимство.

- Да ведь я только что видел в Гельсингфорсе супруга ее дочери, господина Гарри Петерсона! - обрадовался Козловский. - Какая удача! Я могу даже прийти, чтобы передать милейшей Люси горячий привет от муженька!

Но князь Хилков замахал на него руками:

- Не вздумайте! Гарри Петерсон здесь вовсе не упоминается, с ним раз навсегда покончено, а Люси считается девушкой, незамужней, завидной невестой... Нет уж, найдите какой-нибудь другой предлог.

- Ах вот как? Спасибо за предупреждение! Значит, так я и поступлю: никакого Гарри Петерсона не видел, знать ничего не знаю и знать не хочу! Вот уж правда, что, не спросясь броду, не суйся в воду! Ай-ай-ай, какого маху бы я дал, это была бы вторая моя проигранная битва!

Рябинин тоже встретил Козловского довольно благодушно:

- А! Отвоевали? Подробности можете не рассказывать: почтеннейшая французская газета "Матэн" за две недели до начала Кронштадтского восстания уже сообщила подробнейше, что восстание произошло, и очень успешно. Словом, выболтала все секреты, как последняя сплетница. Вот после этого и делай невинное лицо, что мы знать ничего не знаем, что восстание вспыхнуло стихийно и никакого генерала Козловского мы не посылали. Ох уж эти мне журналисты и писатели, всех бы я перевешал на одной веревочке!

- Милль пардон, вы сказали - журналистов? Да-да-да!

- Не унывайте, генерал. Вы понесли поражение и славы не стяжали. Зато мы, коммерсанты и промышленники, одержали крупную победу. Только что получены вести из России: новая экономическая политика! Нэп! Не слыхали? Еще услышите. Смена вех, вот что такое новая экономическая политика. Нас, людей дела, вынуждены позвать на выручку! Я всегда говорил, что Ленин умный человек. Он понял, что без нас не обойтись. Теперь вопрос только времени. Будут и иностранные концессии. Все будет. Образумились! Поняли наконец, что без Рябинина у них ни черта не получится!

Козловскому стало ясно, почему Рябинин обошелся с ним милостиво. Новые надежды вселились в Рябинина, новые мечты.

- Теперь можете складывать оружие, не понадобится! - восклицал Рябинин. - Сегодня они приглашают нас торговать, завтра вручат нам министерские портфели... Этого и следовало ожидать. Ну, а при наличии делового правительства и послушного парламента мы даже не против смирного импозантного монарха... По английской выкройке!

Выслушав все эти горделивые мечтания "русского Рокфеллера", Козловский направился к великолепному особняку Долгоруковой, у Елисейских полей, в центре Парижа.

7

Княгиня Мария Михайловна Долгорукова весьма удачно и ловко увезла свою дочь Люси из Молдавии, от нудного Гарри Петерсона, избавив ее от неудачного замужества, а себя от невыносимой скуки. Теперь она чувствовала себя как рыба в воде.

Мать и дочь Долгоруковы поселились в Париже и быстро освоились с новой обстановкой, блестяще демонстрируя непревзойденное искусство ничегонеделанья. В этом оказывал им посильную помощь князь Хилков, постоянный их спутник и завсегдатай в доме.

Князь Хилков тоже обретался в Париже в числе эмигрантов, покинувших петербургские гостиные, бросивших на произвол судьбы тульские, рязанские и прочих губерний имения. Так как он был не менее предусмотрителен, чем другие обеспеченные люди его круга, и держал изрядные суммы в заграничных банках, то сейчас ему не было надобности пускаться в сомнительные аферы, работать каким-нибудь официантом или шофером такси. Он и раньше не засиживался в Петербурге - то фланировал по набережной Сены, то обозревал развалины Рима, то вдыхал аромат роз в лучезарной Ницце. Прежде всего заботясь о хорошем состоянии желудка, князь умеренно ругал красных и позволял себе скептически относиться к бесчисленным рецептам спасения России. В эмигрантских кругах осуждали за это князя. Находились и защитники, уверявшие, что он просто бравирует.

На четвергах княгини Долгоруковой князь Хилков охотно выслушивал ретивых

сторонников крестового похода против коммунистического мира. Но с не меньшим удовольствием слушал он сонаты и ноктюрны, которые поверхностно, но в общем довольно прилично исполняла на рояле Люси. Он любовался этой ветреной, пустой девчонкой и почтительно ухаживал за ее maman.

При всей своей бесшабашной, разнузданной жизни Люси неизменно сохраняла кроткий ангельский вид и с трогательной наивностью взирала на божий мир фарфорово-голубыми глупыми глазками. К ней никак не подошло бы банальное выражение "меняет мужей, как перчатки". Нет, она меняла их значительно чаще, с тех пор как упорхнула от скучного, вечно занятого Гарри Петерсона. И она благословляла небо, что у нее крайне снисходительная мамочка, которая не только не останавливала, но даже поощряла все проказы дочери.

Марию Михайловну порою коробил вкус дочери. Спору нет, каждому поколению свое. Но, например, этот долговязый швед, с которым Люси не стеснялась появляться в обществе... или - того хуже - этот усатый поношенный адмирал с багровой апоплексической физиономией и зычным басом... Очень моветонно*! Но ведь время такое: столпотворение! Вавилон! Последние дни девочку забавляет вихляющийся поэт из русских эмигрантов... Ну и пусть! Была же Мария Михайловна в детстве по уши влюблена в гувернера? Этот поэт страшно кривляется, напускает на себя томность, картавит... Ни капельки мужского характера! Подписывает стихи нелепейшим образом: "Жорж Грааль-Шабельский", хотя настоящее его имя - Павел Николаевич Померанцев. Люси зовет его мосье Жорж...

---

* Move ton - дурной тон (франц.).

При всей видимости рассеянной светской жизни в доме княгини Долгоруковой вершились и другие дела. Здесь удобно было устраивать полезные деловые встречи. Очень часто, чокаясь хрустальными бокалами, посетители княгини обсуждали новые замыслы, новые походы против коммунистов. Недаром здесь появлялся то мрачный вешатель генерал Меллер-Закомельский, с его пышными усами и подусниками, то какой-нибудь скользкий пронырливый молодой человек, явно связанный с Дезьем-бюро, то рыжеватый немец фон дер Рооп, который прихлебывал из рюмки, словно это был не лафит, а баварское пиво. И ни для кого не было секретом, что Меллер-Закомельский ищет протекции, пронырливый молодой человек назначил здесь кому-то встречу, а фон дер Рооп, всегда считающий единственно правильной только свою точку зрения, хлопочет о поддержке какой-то новой нацистской партии, которая в конце 1920 года приобрела газету "Фелькишер беобахтер", и в этой газете обещает завоевать весь мир.

Мария Михайловна прилагала немало усилий, чтобы ее приемы походили на приемы петербургской знати. Она старалась каждый раз преподнести нечто примечательное: какую-нибудь знаменитость, какую-нибудь сверхкрасавицу. Князь Хилков понимал, что для Марии Михайловны ее журфиксы стали страстью, и тоже делал все, чтобы четверги в доме Долгоруковых были популярны в Париже.

Один раз им удалось залучить балерину Кшесинскую, которая открыла в Париже балетную студию и вообще сумела удержаться на поверхности, не пойти ко дну. Мария Михайловна демонстрировала ее, как выигравшую приз скаковую лошадь.

В другой раз намечено было пригласить Юсупова. Он успел промотать все состояние и теперь открыл в Париже ателье мод. Но все-таки он был персоной: ведь он женат на племяннице Николая Романова! Царя!

Привел как-то князь Хилков и писателя Бобровникова.

- Очень известный романист, - говорил князь. - Выпустил массу книг. Я-то не читал, но по отзывам прессы... Впрочем, прессу я тоже не читал.

Бобровников Марии Михайловне не понравился:

- Почему у него такой не писательский вид?

- Чем незначительнее писатель, тем у него более "писательский" вид, пояснил князь. - А этот, значит, настоящий.

Бобровников присоединялся то к одной группе людей, то к другой, но явно чувствовал

себя не в своей тарелке. Какая чепуха все эти пересуды парижских будней, анекдотов, сплетен! И что за таинственные беседы где-нибудь в отдаленной гостиной каких-то подозрительных субъектов? Тоже мне - салон толстовской мадам Шерер!

Бобровников исподлобья разглядывал это сборище разношерстных людей и придумывал, как бы он изобразил их в своем произведении. Если подойти с этой точки зрения - богатый материал для наблюдения!

Все остальные чувствовали себя, как видно, преотлично. Русские фабриканты без фабрик, сахарозаводчики без сахарных заводов и нефтяные короли без нефти разглядывали картины на стенах или оживленно беседовали. Несколько дам, сверкающих вывезенными из России бриллиантами, с преувеличенным вниманием рассматривали, расспрашивали, тормошили очаровательную Люси. Так скучающие гости в ожидании ужина играют с хозяйским котенком.

Вскоре появился великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя. Он понимал свое двусмысленное положение, так как и царя уже не было, и сам он теперь не великий и не князь. Он несколько даже переигрывал в скромность и демократизм. Как-то торопливо здоровался, зачем-то усиленно кланялся. Его явно стесняло особое положение, и он передвигался по залу затрудненной походкой, будто внезапно очутился среди толпы совершенно голым и теперь не знал, как прикрыть грешную наготу.

Дмитрий Павлович неоднократно просил не выделять его, не соваться с неуместным в данном случае придворным этикетом. И все-таки дамы млели и дурели в его присутствии, говорили, как на сцене, неестественно громкими голосами, некстати приседали и дарили великого князя преданными верноподданническими улыбками. Мужчины же становились не в меру серьезными, натянутыми и, как на похоронах, говорили вполголоса и грустно.

Только представители делового мира не чувствовали никакого стеснения. Иностранцы откровенно разглядывали августейшего гостя, как редчайший музейный экспонат, добытый при раскопках древнего кургана. А русские промышленники и банкиры попросту не замечали его.

Когда у Долгоруковой впервые должен был появиться Рябинин, Мария Михайловна опасалась, что явится мужичок в поддевке, стриженный под горшок, в русских сапогах со скрипом, - что-нибудь вроде ее подрядчика в имении Прохладное.

Но князь Хилков дал ему блестящую характеристику:

- Если хотите, это аристократ нового типа. Не знаю, насколько он породист, но можете не сомневаться, что это высокообразованный, воспитанный человек.

- Не скажете ли вы еще, что он был в институте благородных девиц, что для него нанимали бонн и гувернеров? - съязвила Мария Михайловна. - Откуда у него возьмется воспитание? Скажите спасибо, если его сапоги не смазаны дегтем!

- Вы угадали, княгиня, у него именно были бонны и гувернеры. Учился он в Сорбонне, денег прорва, сейчас состоит в Торгпроме вместе с самыми что ни на есть воротилами. Словом, фигура. За манеры можно не беспокоиться, владеет несколькими языками, изъездил весь свет. Не скрою, есть у него странности, да кто же из нас безгрешен? Он чуточку - как бы сказать... рисуется тем, что он русский, что может себе позволить удовольствие быть русским и требовать уважения к его русским вкусам, взглядам и привычкам.

- Но это не так уж плохо! Я тоже люблю, например, чтобы на столе у меня были не только французские вина, но и русская водка и малороссийская запеканка с отплясывающим вприсядку запорожцем на яркой этикетке...

- Тем более вы поймете Рябинина. По размаху он вполне бы мог занять место президента в России. При иной ситуации, конечно.

Опасения Марии Михайловны оказались напрасными. Пришел действительно элегантный, прекрасно одетый, представительный человек. Держался он свободно и даже несколько властно.

В дальнейшем Рябинин стал бывать у Долгоруковой запросто. Он хотя и презирал аристократов, но вместе с тем искал у них популярности. И когда явился на этот раз почти

одновременно с генералом Козловским, то только и было разговоров, что о перемене курса в России, о новой экономической политике и новых надеждах.

Т Р Е Т Ь Я Г Л А В А

1

Ольга Петровна знала, как заполнены хлопотами и заботами дни ее мужа, какими вопросами он занят, какие дела его волнуют. И все-таки она не смогла бы перечислить всего, что делал Котовский. Ведь он был не только командиром дивизии, или командиром корпуса, или командиром бригады, он еще был коммунистом в полном, глубоком значении этого слова, наконец, он был советским человеком, а ведь это высокое звание ко многому обязывает.

Взять, например, только одно событие: страшный недород, а в результате повальный голод в самых плодородных районах Поволжья, Украины и Северного Кавказа. Непосредственной причиной недорода была засуха, но, если вдуматься, это являлось следствием войны и интервенции, прошедших орудийными колесами по засеянным полям, проложивших кровавый след по всему российскому приволью.

Хлеба не было. Ели кору деревьев, ели лебеду. Голодало до тридцати миллионов людей. Смерть хозяйничала в этих местах. Встречались целые поселения, поголовно вымершие, от мала до велика. Кто уцелел, в отчаянии уходил в города, но чем могли поделиться с несчастными горожане? Они сами перебивались на скудном пайке.

Душераздирающее зрелище - мертвые бурые поля, окаменевшие комья земли на пашне, голая пустыня, мертвенно-серая полынь да поблекшие плети повилики... Стаи ворон, с разинутыми от жажды клювами, взъерошенные, голодные, перелетали с одного поля на другое, зловеще каркая.

Надо было срочно спасать людей. Надо было накормить их, а также обеспечить зерном будущие урожаи.

Ленин обратился с призывом к украинским крестьянам: надо помочь голодающим, надо поделиться с Поволжьем избытками, надо выручать людей из беды.

Страна еще не оправилась от опустошительной войны, от нашествия. Страна была разорена. И все-таки каждый старался уделить хоть что-нибудь из своего скромного достатка.

Весть о бедствии разнеслась по всему миру.

- Надо помочь русским!

Отовсюду протянулись дружественные руки. Да и как могло быть иначе? Международная солидарность трудящихся нерушима.

Когда весть о постигшем Советскую Россию бедствии достигла Парижа, разные слои общества встретили ее по-разному. Рабочие стали создавать комитеты помощи. Газетчики стали смаковать различные ужасы в связи с голодом и недородом хлеба. Рябинин снова наполнился надеждами и размышлял, как бы получше использовать сложившуюся обстановку. Не без его влияния создавалась в Париже "Международная комиссия помощи России". Именно России! Не Поволжью, не местностям, пострадавшим от засухи, а России!

- Это звучит! - ликовал Рябинин. - Это впечатляет! Но воображаю, какие условия им поставит Нуланс! Ведь это твердокаменный человек! Человек-монумент!

Рябинин не ошибался. Возглавил Комиссию помощи тот самый Нуланс, который пакостил Стране Советов уже в 1918 году. Это он в числе других ему подобных налаживал тогда блокаду Советской России, а ведь это и привело русский народ в состояние разорения и нищеты, это и привело к голоду.

Рябинин вполне отдавал отчет, какие последствия блокады и интервенции неизбежно настанут. Слова Рябинина, что костлявая рука голода схватит за горло большевистские Советы, были подхвачены белогвардейской печатью. Эти жестокие, живодерские слова стали лозунгом, стали программой. Пусть, пусть они дохнут с голоду, наши земляки, наши братья, наши соотечественники, раз они не хотят жить, как жили! Не давать им ни крошки! Пусть вымрут в своей вольной стране! Все - и малые и старые!

По Парижу ходил забавлявший всех рассказ, как графиня Потоцкая по поручению "своего большого друга" барона Корфа явилась сообщить потрясающую новость Марии Михайловне Долгоруковой. Над этой историей, может быть и приукрашенной, смеялись до слез.

- Можете себе представить хорошенькую графиню Потоцкую в роли докладчика по экономическим вопросам?!

Рассказывали, что графиня прониклась сознанием, будто ей поручено важное дело. Когда она вошла, у нее было странное лицо, напугавшее и Марию Михайловну, и князя Хилкова, или, как его называли запросто в домашнем кругу - "дядюшку Жана".

- Господа! - воскликнула она, войдя и даже не здороваясь. - Господа! У них голод! Это просил вам сообщить барон!

Она стояла в позе оперного трубача, извещающего о выходе принца. Это ей шло. Ей вообще все шло, и она это знала. Знала, как зачаровывают мужчин ее синие с поволокой глаза, ее крохотный ротик и капризный выгиб бровей.

Видя, что никто ничего не понял, она пояснила:

- Да, да, представляете? У них совершенно нет хлеба! Совершенно!

- В самом деле, - неуверенно промолвил дядюшка Жан, - я что-то такое слышал... На Поволжье.

- Я услала барона по одному своему делу. Он хотел сам все рассказать, а пока попросил, чтобы я поздравила.

- Но если голодают... - не поняла Мария Михайловна, - чего же тогда поздравлять?

- Барон уверяет, что, если мужики начнут голодать, они начнут бунтоваться. И тогда мы сможем вернуться в Россию. Вообще мне тут не все ясно. Например, если нет хлеба, неужели они не могут обойтись? Мне вот доктор категорически запретил есть хлеб.

- Вот видите! - повеселел князь. - И вы все-таки не бунтуете! Вами даже император Николай был бы доволен...

- Пожалуйста, Жан, не затрагивайте хоть его! - простонала Мария Михайловна. - О вас же мне давно известно, что вы неисправимый циник, у вас нет ничего святого!

- Неправда, есть святое: это вы, княгиня! Вы - моя религия!

- Жан!

...Несколько дней графиню Потоцкую нарасхват приглашали во все дома, чтобы от нее самой выслушать эту новость. Таким образом, весть о том, что в районе Волги умирают от голода тысячи людей, обернулась в избранных кругах белоэмигрантов веселым анекдотом.

Тем временем Международная комиссия помощи России заседала, выносила решения...

- Помощь голодающим? Мы ее окажем, но при условии... безоговорочного контроля над действиями Советского правительства! - ораторствовал Нуланс. - Им сейчас некуда податься, они приперты к стене. Только при этом условии контроля будет оказана помощь голодающим! Всем ясно? Sine qua non*. Мы к ним пошлем экспертов!

---

* Sine qua non - непременное условие (лат.).

Эти притязания были отвергнуты Советским правительством. Тогда по установившейся традиции прибегли к помощи все тех же эсеров, той части, что успела легализоваться и сделать вид, что отошла от своих позиций. Группа представителей эсеров, слегка разбавленная кадетами, предложила создать на общественных началах "Комитет помощи голодающим" - Помгол.

Им разрешили. Однако, зная повадки этих сомнительных радетелей о благе народном, присматривали за ними. Вскоре перед Дзержинским лежали неопровержимые доказательства преступной их деятельности. Нашли у них даже схему... да, да, схему, где уже заранее разрабатывались детали так называемого переустройства России.

Феликс Эдмундович с горечью сказал:

- Вот для чего им понадобился Помгол. Даже народное бедствие эта публика использует для политической борьбы и заговоров. Спят и видят государственный переворот

в России. И уже намечается верховный правитель! Все их помыслы только и ограничиваются захватом власти. А как властвовать, как устроить жизнь - это у них вопросы второстепенные.

Дзержинский нахмурился:

- Арестовать! И этого негодяя арестовать, у кого в дневнике нашли запись: "И мы, и голод - это средства политической борьбы"!

2

На Украине решено, чтобы каждые двадцать человек прокормили одного голодающего. Котовский берется за дело. Помощь голодающим рассматривать как одну из боевых задач! И зорко следить, чтобы все, что предназначено для голодающих, срочно доставлялось им, - только им и только срочно!

Ведь памятен зловещий эшелон, который год или два назад мчался по рельсам через Страну Советов. Да можно ли забыть то трудное время? Злобное, ощетиненное кольцо блокады. Разутая, раздетая, нетопленая Советская республика. Голодная смерть смотрит в лицо. И вот в Петрограде, где каждый вагон на счету, каждое ведро каменного угля - величайшая драгоценность, формируется эшелон. С какой надеждой смотрят на него изголодавшиеся питерцы! Эшелон - это спасение! Он направится туда, в хлебное приволье, в восточные районы. Там его нагрузят спасительными продуктами, чтобы накормить почерневших от голода питерских рабочих, истощенных, измученных женщин, синевато-прозрачных, трогательно-беспомощных детей...

Свисток. Семафор открыт, жезл вручен, эшелон трогается, разболтанные вагоны ходят ходуном, гремят, грохочут, поезд набирает скорость и отчаянно дымит. Версты, версты... станции, полустанки... Изрытые окопами поля, разбитые водокачки, дважды взорванные и дважды починенные на живую нитку мосты... Ах, скорей бы, скорей бы! Вся надежда на него! Скорей бы он добирался до места!

Но вот эшелон благополучно прибыл на станцию назначения. Там уже ждут его. Криво улыбается начальник станции. У него уже все условлено, все подготовлено.

- Прибыл? Ладненько. Поставить на шестнадцатый путь.

Эшелон стоит на шестнадцатом пути. Стоит неделю, стоит другую. Ветер пронизывает насквозь пустые изношенные вагоны, они обрастают инеем, колеса примерзли к рельсам...

- Стоит? Ладненько. Перебросить его на двадцать второй путь.

Но вот какое-то движение, какое-то оживление. В тулупах, с фонарями в руках идут хмурые заспанные проводники. Прицеплен паровоз. Рывок, еще рывок. Эшелон пятится, ползет сначала назад почти за станцию, в открытое поле, где мигает зеленым глазом семафор. Стоп. Свисток. Эшелон движется теперь уже вперед и оказывается на главном пути, у перрона.

- Отправляется? Ладненько. С богом!

Свисток. Семафор открыт, жезл вручен, эшелон трогается, разболтанные вагоны гремят, грохочут, раскачиваются, поезд набирает скорость и отчаянно дымит...

Версты, версты... станции, полустанки... И наконец, после длительных стоянок, после отчаянных нечеловеческих усилий снабдить его и топливом и подой, пустой эшелон благополучно добирается до голодного, холодного Питера, где так его ждут.

Начальник станции криво усмехается:

- Прибыл? Превосходно. Загнать его на шестнадцатый путь. А затем снова отправить туда, в хлебные районы, и так гонять взад и вперед порожняком, пока господа защитники революции не передохнут с голоду!

Да, Котовский помнит, такие эшелоны гоняли в самое трудное время засевшие в разных "Викжелях" озверелые враги, гоняли порожняком на радость белогвардейщине, на радость банкирам и лордам и всем ползучим гадам, обитающим на земле. Котовскому часто мерещится этот эшелон, мысль о нем преследует его неустанно. Когда он знает, что затрачены впустую государственные средства на никчемное дело, Котовский говорит, бледнея от ненависти:

- Это он, это он, тот самый зловещий эшелон!

Когда путаники, бездельники только болтаются под ногами, замедляя движение, Котовский снова видит пустые вагоны, перегоняемый взад и вперед порожняк.

Бойтесь зловещего эшелона!

3

- Как ты считаешь, Леля, можно жить, если не веришь в человека? По-моему, нельзя. Ведь если не верить, то что же тогда останется?

- Надо верить! - твердо отвечала Ольга Петровна.

Котовский задавал такой вопрос всем. Криворучко на это мрачно отозвался, что человеку отчего бы и не поверить, а если это не человек, а только притворяется человеком?

Котовский безгранично верил в хорошее, что заложено в каждом, во всех людях. С отвращением и ужасом смотрел на лодыря, негодяя, способного есть чужой хлеб, выискивающего теплое местечко и провозгласившего девиз: "Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать". Котовский недоумевал, глядя на такого нравственного урода: как это можно продребезжать через всю жизнь порожняком, как тот эшелон?

Но у него никогда не опускались руки, он всегда надеялся, что проснется в человеке то хорошее, что ему присуще, он верил каждому человеческому существу.

Сколько, например, возился и нянчился Котовский с Зайдером, человеком с темным прошлым и грязной душой!

Когда в Одессе была установлена Советская власть, Зайдер пришел к Котовскому и попросил принять его в отряд. Кем? Кем угодно! И начал он в бригаде вроде как по снабжению орудовать. И так орудовал, что вскоре на него стали поступать жалобы: там незаконно отобрал, тут незаконно взял словом, мародерством занимается. Несколько раз вызывал его Котовский, усовещал, предупреждал, что так дело не пойдет. Зайдер клялся и божился, что это в последний раз, что больше это не повторится, а если уж пошло на откровенность, то для кого он старался? Овес забрал у мужика? Так ведь сам-то Зайдер овса не ест? Овес-то Орлику достался?

Увы, Зайдер не исправлялся. Опять и опять всплывали на поверхность некрасивые его дела. Посоветовался Котовский с комиссаром. Решили, что нельзя этого человека в бригаде оставлять. Удалось пристроить Зайдера в военизированной охране сахарного завода.

Зайдеру новое назначение понравилось:

- Люблю сахарок. Могу и вам в случае чего подбросить. По старой дружбе. А что?

- Ничего подбрасывать мне не надо, а если это шутка, то плохая. Постарайтесь оправдать доверие на новой работе.

Ушел Зайдер, как всегда, с сознанием своего превосходства, с непоколебимой уверенностью, что уж он-то умеет жить.

А Котовский размышлял после его ухода:

"Скользкий он какой-то. Услужливо-нагловат и нагловато-услужлив. Выгнать бы его в три шеи к чертовой бабушке, но тогда он и вовсе по наклонной плоскости покатится. А тут все-таки при деле, все-таки среди трудового народа. Приглядится, обживется, может быть, и усвоит советский стиль работы".

Всякая несправедливость, всякое пренебрежение в работе и распущенность в личной жизни приводили Котовского в бешенство. После всего пережитого - после тюрьмы и каторги, лишений и гонений, а затем непрерывных боев и переходов - он стал вспыльчивым и несдержанным. Ольга Петровна просила его:

- Если ты вспылишь, если почувствуешь, что не можешь сдержаться, поворачивайся немедленно, иди ко мне и на мне израсходуй свою вспышку и свое раздражение.

Иногда Котовский вскипит, разъярится да вдруг вспомнит наказ жены - и сразу отляжет от сердца, только махнет рукой и рассмеется:

- Следовало бы с тобой покруче, да ладно, как-нибудь в другой раз.

Оснований для тревог предостаточно. Хотя и закончилась гражданская война, но и теперь не унимается вражеская рука. То там, то здесь появляются бандитские шайки. Здесь они подожгут ссыпной пункт, там внезапным налетом обрушатся на сахарный завод или

ворвутся и перережут весь служебный состав железнодорожной станции.

Котовскому поручена охрана ссыпных пунктов Переяславского уезда, и он отдает приказ послать на каждый охраняемый пункт самых дисциплинированных, самых надежных бойцов бригады.

Центральный Исполнительный Комитет призывает напрячь все силы для изжития топливного кризиса. Объявлен топливный трехнедельник. Воинским частям Украины приказано принять участие в проведении этой кампании.

Насколько серьезно положение с топливом, видно из тех мероприятий, которые проводятся в армии.

- Топливный кризис принял угрожающий характер, железные дороги Республики остаются без топлива, - напоминает Котовский. - Топливный кризис в свою очередь сказывается на доставке продовольствия голодающим Поволжья. Требуются экстренные меры, чтобы справиться с этой бедой!

Котовский, в то время начальник 9-й кавдивизии, разрабатывает детальный план действий.

Курсанты дивизионной школы на все время трехнедельника переходят в оперативное подчинение чрезвычайной тройки. Курсанты, назначенные десятниками, получают по три пилы и по восемнадцати человек рабочих, обязанных выполнить определенный суточный урок - три кубические сажени дров. Группа курсантов занята точкой и правкой пил. Другие помогают сельским властям подобрать возчиков. Курсанты освобождаются от строевых занятий. Малейшее уклонение от работы рассматривается как невыполнение боевого приказа и ведет к преданию суду революционного военного трибунала.

Можно представить, как дружно начинают фырчать пилы, как звонко отдается в лесных трущобах говорок топоров. Даешь три кубические сажени дров на каждую группу пильщиков! Даешь топливо стране, истерзанной интервенцией и озверелой контрой, но полной молодого задора и неистощимой энергии!

Голод в Поволжье, а находятся такие куркули, что скрывают фактически засеянные площади, показывают меньшие, да и по тем не выполняют нормы продналога.

Снова Котовский круто берется за дело.

- Мы разместим полк в селах, не сдавших продналога! - гремит голос Котовского. - И обяжем эти села довольствовать полк фуражом до той поры, пока не будет стопроцентной сдачи продналога! Небось тогда поторопятся! О выполнении задачи доносить в ежедневных сводках.

И хотя сейчас не приходится скакать во весь опор под посвист пуль, врубаться во вражеские ряды, но сражения с неуступчивым, въедливым прошлым происходят на каждом шагу. Не так-то легко стряхнуть с наших ног прах старого мира.

Тревожный сигнал: пьянство в дивизии. Котовский отмечает в приказе, что это тем более преступно в настоящий момент, когда Республика бьется в тисках голода, когда от каждого человека ждут сознательности, дружных усилий!

Или как назвать - изменником или глупцом - начсандива, который во время боевой операции против банд оставил всех врачей в тылу, при обозе второго разряда, и отправил с действующими частями только фельдшера да лекпомов?

Сурово спрашивал Котовский. Как тут не прийти в бешенство? Как не принять крутых мер?

Может быть, другому человеку все эти будничные дела показались бы скучными, мелкими. Прославленный легендарный командир - и вдруг: дрова, борьба с пьяницами, наблюдение за действиями начсандива. "Да провались они пропадом! - сказал бы другой. - Подай мне дело по плечу, чтобы действовать - самое меньшее - в мировом масштабе!" Но Котовский был другого склада человек. Он с увлечением занимался самыми обыкновенными, житейскими делами и вкладывал в них всю душу.

Итак, за пьянство и разложение - судить! По делу начсандива назначить строгое расследование!

- А ты, Леля, говоришь - приходи домой и здесь срывай свое возмущение. Тут сама рука хватается за эфес!

- Вот как раз этого и не надо, - спокойно и рассудительно толковала Ольга Петровна. - Ты поступил правильно, что предоставил подыскать меру наказания ревтрибуналу.

4

О страшном эшелоне, который гоняли порожняком, Котовский узнал от Ивана Белоусова. Белоусов же рассказал, что творилось в Помголе.

Когда кончилась гражданская война, Котовский отправил своего питомца Ивана Белоусова в Одесщину сеять хлеб, налаживать хозяйство. Белоусов часто наезжал к Котовскому - то посоветоваться, то просто повидаться. Котовский любил этого напористого парня. И было радостно сознавать, что весь он, от начала до конца - творение Котовского, его продолжение в жизни, как ветка от основного куста.

Однажды Белоусов сообщил:

- Григорий Иванович! Вступил в партию!

Спеша выложить все наболевшее, Белоусов продолжал:

- Видел я, как проходили выборы делегатов на Десятый партсъезд. Вы даже представить не можете, какие жаркие сражения у нас были. Вот это бои! Я только теперь понял, что Григорий Иванович, направляя нас - ну, меня вот и других - в гущу жизни, оставался тем же командующим бригадой, вы понимаете меня, Ольга Петровна? Мы и теперь наступаем, обходим с фланга... берем в штыки...

- Конечно понимаю. А вы понимаете, Ваня, что такое Десятый съезд партии? Об этом съезде через сто лет будут вспоминать, он войдет в историю. На повестке был вопрос о единстве партии, вот о чем шла речь на этом съезде. Вполне понятно, что на съезд стремились попасть всевозможные троцкисты, анархо-синдикалисты и прочая дрянь. Потому и происходили у вас жаркие сражения. А сами-то вы за кого голосовали?

- Я-то? Какой вопрос! За тезисы большинства ЦК, конечно! За Ленина!

- То-то и есть. Все лучшее - за Ленина. У тех - никого, кроме крикунов и карьеристов.

Котовский умел слушать. Но его кипучая натура требовала немедленного действия, срочного вывода из сказанного. Ольга Петровна, наоборот, была спокойна, уравновешенна, говорила медленно, подбирая нужные слова.

- Крикунов и карьеристов? - подхватил Котовский, еле дождавшись, когда она договорит. - Теперь все, покричали - и хватит! Решение Десятого съезда - покончить с фракциями, очистить партию от неустойчивых.

- Григорий Иванович, кабы только неустойчивые...

- Знаю, есть и похуже. Вот и гнать их от живого дела! Ведь недосуг с ними возиться! Дел по горло, а тут всякая сволочь мешается!

Когда Иван Белоусов снова приехал - слаженный, быстрый, решительный, - он еще на пороге возвестил:

- Григорий Иванович! Не знаю, одобрите или не одобрите: решил работать в Чека. Это в моем характере будет. Что же, смотреть на этих гадов-оппозиционеров?! Вы только подумайте: меньшевики в Одессе выпускают свою газету! Орудуют! Эх, Григорий Иванович, на мой вкус - так не разводить бы с ними антимонии. Ведь они кто? Они похуже будут всяких деникинцев, они верткие. Я думал-думал... Как тут действовать? Шашки наголо? Нельзя. И оставить тоже нельзя... Вот решил в Чека пойти.

Так Иван Белоусов стал чекистом. Прошел специальную школу, с головой окунулся в опасную, напряженную работу. Много узнал такого, о чем раньше и не догадывался. Не раз бывал в переделках, но это для него не ново: ведь у Котовского был разведчиком, и, кажется, не на плохом счету.

Даже внешне Белоусов изменился. Стал сдержаннее, сосредоточеннее. Знал больше, чем говорил. Вообще стал не очень-то разговорчив. О чем так и вовсе умолчит. Упомянет - значит, дело завершено и папки сданы в архив.

- Слово - серебро, а молчание - золото! - приговаривал он.

На все смотрел теперь Белоусов иначе. Появилась умудренность. Горькая складка залегла в уголках губ. Стальные блики появились в серых глазах. Ведь он знал многое, о чем никто вокруг и не задумывался. Жизнь шла своим чередом. Люди трудились, после трудового дня отдыхали, развлекались, ходили в театр и кино, прогуливались в городском саду или ехали на юг и загорали на пляже. А Белоусов знал, что тут же, по этим улицам, под чужой личиной, разгуливает враг и что ему, Белоусову, поручено найти его и обезвредить. Может быть, именно в этом саду на отдаленной скамейке как бы невзначай очутились рядом двое, и один другому передал незаметно какой-то предмет... И точно ли два беспечных дружка сидят за столиком в пивной и, окуная нос в пивную пену, беседуют о том о сем? Не является ли один из них простофилей, не служит ли ширмой, а второй не выжидает ли назначенного часа, чтобы выстрелить из-за угла в советского деятеля?

Теперь-то Белоусов определенно знал, что война между старым и новым ни на минуту не прекращалась, только принимала иные, еще более коварные и опасные формы. И в этой войне требовались зоркость и хладнокровие, находчивость и специальная подготовка.

В редкие минуты досуга непосредственный начальник Белоусова, бывший матрос, старался на конкретных примерах привить Белоусову умение видеть, сопоставлять, делать умозаключения, по малейшим, для неопытного глаза неразличимым приметам нападать на след.

- Хотите, товарищ Белоусов, расскажу вам забавную историю про один обыкновенный тульский самовар? Давненько это было, то есть давненько в смысле сегодняшних скоростей, когда за несколько дней происходят иной раз события мирового значения. Ведь у каждой эпохи свои скорости.

Белоусов слушал и боролся с острым желанием разглядеть на щеке начальника старый зарубцевавшийся шрам. Вот и об этом шраме бы он рассказал!

- Так вот. Узнали мы адрес конспиративной квартиры антисоветской организации. Снаружи дом - прямо из детективного рассказа о каком-нибудь Шерлоке Холмсе. Мрачный, старый, и стоит на пустыре, особняком. Но внутри нас ждало полное разочарование. Хозяев нет, видно, кто-то предупредил, и они скрылись. Комнаты пустые. Пыль, паутина. Но нельзя сказать, что нежилой дом: в шкафике посуда, на стенах картины висят, на окнах занавески, в спальне - застланная кровать. Да. Так вот, часа четыре мы провозились, осмотрели каждую вещь, простукивали стены, заглядывали за рамы, лазили на чердак - ничего! Чисто-пусто! И вдруг меня осенило. Как же так? Стоит - красуется на кухонном столе полутораведерный тульский самовар. Возле русской печки и труба самоварная, и угли в корчажке, хоть сейчас нащепи лучины, ставь самовар и садись чаевничать. Все это так, а отверстия для самоварной трубы нет. Нет - и баста! Как же так нет? Должно быть! Мигом принялись мы известку отскабливать, глину пробивать - вот оно, отверстие, кирпичом заложено! Вынули кирпич - так и есть: тайничок. А в тайничке свертки. Таким-то образом самовар помог нам организацию раскрыть и обезвредить. Значит, вывод сам собой напрашивается, - заключил свой рассказ старый чекист, - не оставляй без внимания даже самовара. Когда-нибудь я расскажу, как один пойманный шпион все хромал и опирался на толстую трость. Следователю показалась хромота не очень естественной, он внимательно осмотрел палку, оказалось, что внутри нее спрятаны шпионские донесения, списки агентов, конечно, не просто фамилий, - номеров, под какими они числились... В нашей практике много разных разностей бывает...

После таких рассказов Белоусов стал по-другому воспринимать жизнь. Всюду он искал логическую связь, по внешним признакам старался угадать характер человека, которого видел впервые, старался определить его профессию, так же как определяют с первого взгляда возраст, состояние здоровья, даже уровень развития.

Много открытий делал Белоусов, приглядываясь ко всему окружающему. И соображения, которые он высказывал своему начальнику, иногда были трогательно-наивны, но порой своеобразны и полны глубокого смысла.

- Не все, кто ворчит и критикует, обязательно контрреволюционеры, рассуждал он. - И

не каждый, кто сыплет революционными фразами, - поборник Советской власти.

- Это подмечено неплохо, - соглашался начальник Белоусова. - Критика, строгая критика для настоящего деятеля - компас, а для выскочки, возомнившего о себе, - кровная обида.

- А еще бывают оговоры, - продолжал Белоусов. - Наклепают на человека, иди и расхлебывай.

- Бывает и так, - посмеивался начальник. - На то нас и поставили на такую ответственную работу, чтобы мы вдумывались и разбирались. В нашем деле нельзя рубить сплеча, но нельзя допускать и прекраснодушия, дорого обойдется. Ленин предупреждает нас, что ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без грязной пены - без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов. Вот вы и посудите сами, какая филигранная работа возложена на нас, чекистов! Ну, мы и вылавливаем авантюристов. А сейчас враги взяли установку на бандитизм.

Начальник усмехнулся:

- Поймали мы как-то тут одного крупного бандита. Отпирается. Тогда мы показали ему карту, которой давно располагаем: на ней нанесены все подпольные белогвардейские организации крупного района... Карта настолько была у них секретной, что и ему показали ее только издали. А у нас она имелась. Вот так-то, дорогой товарищ Белоусов! Входите во вкус! Интересная наша работа!

5

А в доме Котовских жизнь шла размеренно, своим чередом.

Подъем в пять часов утра. И сразу же гимнастика и тренировка, а после гимнастики и тренировки обязательно облиться студеной водой - прямо из колодца, и затем растереть тело мохнатым полотенцем так, чтобы кожа горела и все поры дышали свежим воздухом, струящимся из сада, из открытого окна.

Какое благоухание по всей Умани, особенно когда цветет белая акация! Вся Умань утопает в садах, редко встретишь дом, вокруг которого не красовались бы яблони, не шумели листвой липы, не привлекали глаз нарядные мальвы. А какие тенистые аллеи в Софиевке, и сколько там птиц! Под самой Уманью раскинулся знаменитый Греков лес - с извилистыми тропинками, с солнечными лужайками, с зеленой тишиной.

Григорий Иванович Котовский стоит у открытого окна, глубоко дышит, любуется на белые облака, на лазоревое небо, на могучую сочную зелень, на просторные поля. Хорошая земля в Умани - роскошный чернозем. Недаром Уманский уезд выращивал, как помнят старожилы, одной только озимой пшеницы до пятисот тысяч пудов, да еще и ржи почти столько же. Сеют здесь и ячмень, и просо, и гречиху. И потихоньку-помаленьку начинает налаживаться хозяйство после всех бурь, после кровавых сражений. А давно ли по полям и холмам, не разбирая, что тут посеяно - рожь или гречиха, или ничего не посеяно, ничего не растет, кроме полыни и лебеды, чертополоха и бурьяна, мчалась лихая конница, громыхали тачанки, врезывались в землю глубокие выбоины от тяжелых батарей?..

Котовский смотрит вдаль. Вот прошел мимо товарный поезд. Снова тишина. Выползла во двор разбитая параличом, почти не способная двигаться старая генеральша, дряхлая, седая, с ожесточенными, скорбными глазами. Это бывшая хозяйка дома, муж ее, уездный воинский начальник, погиб во время этих грозовых лет, пронесшихся над Россией. Когда дом был отведен городскими властями для командира корпуса Котовского, старуху хотели выселить. Григорий Иванович воспротивился:

- Пускай себе доживает век на своем пепелище. Мне она не помешает, и я ей тоже не досажу.

Так и оставили ее на прежнем месте. Сама генеральша, видимо, не знала, что ее собирались выселить. Она вообще не воспринимала всего происходящего в мире. К тому же она была совершенно глуха. Заговоришь с ней - отвечает невпопад или же вообще ничего не отвечает и смотрит куда-то мимо. Поистине, она была воплощением сгинувшего старого строя - в своей бессильной ненависти, в своей безнадежной глухоте, в своем оцепенении.

Какая-то сердобольная женщина приносила ей еду, выводила почти волоком на крыльцо, затем уводила обратно. Генеральша сидела на крыльце неподвижно, уставив потухший взор в одну точку. О чем она думала? Что вспоминала?

Главное украшение в просторном и светлом кабинете Котовского большая, во всю стену, карта России. Она совершенно необходима Котовскому, он хочет постоянно чувствовать близко, около, рядом всю страну, горячо любимую, славную социалистическую державу, ленинское детище, выпестованное им на радость и на образец всем трудящимся мира. Нужно большое сердце, необъятно широкая, как русские степи, душа, чтобы со всей беззаветностью, не щадя жизни, ринуться в бой, отстаивая ленинскую правду. Недруги кричат: "Отсталая страна!" Разве отсталая, если в каждом ее обитателе - в рязанском, самарском мужике, в полтавском хлеборобе, в винницком незаможнике - в решающий час обнаружилось величавое благородство, неслыханная отвага, готовность по зову Ленина встать рядом с питерскими пролетариями, иваново-вознесенскими ткачами, бакинскими нефтяниками, донецкими шахтерами, рядом с невиданной еще породой людей - коммунистами и не оробеть перед увешанными американским оружием, накормленными английскими галетами белогвардейцами, перед озверелым царским офицерьем, перед хладнокровными наемными убийцами, надерганными интервентами из четырнадцати государств? Нет, не отсталая! Высокоодухотворенная, достойная подражания, прославленная в веках страна, гордость человечества бессмертное поколение, отстоявшее революцию.

Такие мысли рождаются в голове Григория Ивановича Котовского при взгляде на огромную, во всю стену, карту огромной, в одну шестую часть света, страны. Другому бы ничего тут не увиделось, кроме желтых, зеленых, голубых пятен, линий и кружочков, крупных и мелких названий городов и сел. Нет, Григорий Иванович видит иное! Он видит, как движутся по всему необъятному пространству лесов и полей, горных ущелий и цветущих равнин отряды и роты, полки и дивизии, как захлебываются и надрываются пулеметные очереди, ухают орудия, как с винтовками наперевес идет в атаку пехота, как звенят и врубаются во вражеские полчища безотказные клинки.

История огласила смертный приговор преступному капиталистическому миру. Глянув в черную зияющую яму, готовую его поглотить, обреченный цепляется за края могилы, в приступе ярости он хотел бы увлечь за собой все живое, все, чему предстоит жить и красоваться. Он понимает, что новый, коммунистический строй неизбежен, что он несравнимо лучше и что он обязательно придет.

Сначала чудовище пытается задушить прекрасное дитя еще в колыбели. На защиту встает все, что есть лучшего на земле. Тогда изуверу ничего больше не остается, как всяческими ухищрениями замедлять ход истории, всеми способами мешать, всеми приемами вредить. Убивать, тащить все, что подвернется под руку: золото так золото, пшеницу так пшеницу. Угонять из наших гаваней принадлежащие нам корабли, с проворством опытного контрабандиста увозить сибирский лес, драгоценности, даже новые, только что выпущенные советские серебряные рубли и полтинники, даже старинные картины, даже старинную утварь из особняков - и стулья пригодятся!

Но цель тут иная. Сначала взрывать мосты, приводить в негодность паровозы, сжигать города и убивать, убивать все равно кого, все равно за что, лишь бы больше... Топтать посевы, окружать блокадой, стрелять из-за угла... А затем горланить во всю глотку до хрипоты, что вот он - хваленый социализм, вот он - новый строй, видите сами, - ничего у них не получается: голод, нищета, разруха, пещерный быт, развал! Они даже и одеваются не по моде! У них даже нет жевательной резинки! Дикари!

Чем больше вдумывался Котовский, чем усерднее изучал Маркса, Энгельса, чем внимательнее читал и перечитывал творения Ильича, тем ярче вырисовывалась перед ним потрясающая картина страданий, противоречий, рабства и унижения, в которые ввергнуто человечество царством доллара, тем длиннее становился перечень злодеяний, на которые кидается старый мир, понимая, что гибель его неминуема и что ему все равно уже нечего терять.

Да, карту любил Котовский, о многом она ему рассказывала. А гипсовая статуэтка - Ленин во весь рост - и бюст Карла Маркса на письменном столе довершали убранство строгого делового кабинета комкора.

Котовский твердо знает: надо полностью использовать кратковременную передышку, которую вынуждены дать враги. Все их атаки отбиты, им приходится разрабатывать новые варианты. Пока они там думают и собираются с силами, нужно хорошенько подготовиться к будущим боям.

Из каждой поездки в Киев или Харьков, а особенно в Москву Котовский привозит кипы книг, журналов, пособий, а затем штудирует их со всей напористостью и страстностью своего неуемного характера. Все размышления, все открытия, которые он делает, читая "Анти-Дюринг", или Дарвина, или ленинские статьи, он тотчас излагает своим товарищам, а прежде всего Ольге Петровне. Он спешит поделиться всем, что узнал, он не хочет быть скрягой и скопидомом, копить знания только для себя. Всем людям нести свет, всех приобщать к культуре!

Ольга Петровна - первый друг и советчик, неизменная помощница во всех делах, мамаша для всех котовцев, прилежный секретарь, надежный справочник по всем вопросам. Она из тех русских женщин, которые обладают душевной ясностью, обширным умом и удивительным тактом, которые разделяют с мужем все его помыслы и труды, скромно оставаясь в тени и довольствуясь славой и успехами своего избранника. Мягко и деликатно Ольга Петровна указывала мужу, что ему необходимо проработать в первую очередь, к каким источникам прибегнуть. Часто она читала ему вслух. Затем они откладывали книгу в сторону, и начиналось обсуждение прочитанного.

Штудируя какой-нибудь фундаментальный труд, Котовский запоминал особенно понравившиеся ему строки.

- Америка - самая молодая, но и самая старая страна в мире! восклицал он, с завидным аппетитом уплетая свой любимый борщ с перцем или воздавая должное пампушкам с чесноком.

Ольга Петровна выжидательно и понимающе смотрела на любимого человека. Она знала его привычку думать вслух. Но Котовский молчал. Он размышлял над этими словами, почерпнутыми из писем Маркса и Энгельса. Через некоторое время он добавлял:

- Самая старая. Вроде нашей генеральши: все лучшее позади.

6

Утром, еще до гимнастики, Котовский припоминает неотложные дела, которые следует выполнить сегодня, диктует Ольге Петровне, и она записывает в блокнот.

- Проверить ход контрактации свеклы. Записала? А то не проверять, так после наплачешься. Ленин учит, что если ты отдал распоряжение, то обязательно проверь, выполняется ли оно. Иначе ты будешь выглядеть болтуном. А те, кто пренебрегли твоим распоряжением, будут хихикать за твоей спиной.

Ольга Петровна записывает. Солнце светит в окно. Котовский продолжает диктовать:

- Проверить торговлю военно-кооперативных лавок. Как я здорово прижал частников! Одобряешь? Взвинтили цены на мясо так, что мясо стало дороже шоколада. А мы пустили мясо в своих лавках сначала даже себе в убыток. Понимаешь, какой ход? Это все равно что зайти противнику во фланг, ударить конницей по его тылам. Сначала частные торговцы смеялись над нами. Экие простофили, говорят! Однако видят - покупатель толпой повалил к нам. Горят нэпманы! Помнишь, делегация от купцов ко мне приходила?

- Это когда ты их выгнал? Как же! Помню.

- Взмолились, олухи царя небесного! Не губи, говорят, побойся бога. А я им отвечаю: труды Маркса и Энгельса надо изучать, тогда бы вы знали, что ваш бог - вексель, ваш культ - торгашество, а ваша гибель - социализм. Вопросов больше нет? Не забудьте с той стороны захлопнуть двери!

Котовский приступает к гимнастическим упражнениям. Наступает молчание. Ольга Петровна смотрит в окно, залюбовалась затейливым зеленым убранством сада. Какая

свежесть хлынула в комнату! Солнце поднялось уже над деревьями, все сверкает, переливается. Птичий гомон - величайшее музыкальное произведение природы - порождает бодрость, согласованность, наэлектризованность души. И вдруг Котовский что-то вспомнил, прервал упражнения:

- Самое важное! Запиши, Леля, и подчеркни: в президиуме горсовета поднять вопрос о восстановлении кирпичного завода в городе. Ты ничего об историческом прошлом нашей Умани не читала? А я читал. Там только одно не записано - что наша бригада в районе Умани поставила точку разбою бандитов Грызло и Гуляй-Гуленко. Ну ничего, об этом в следующем издании добавят. А об Умани ты прочитай, занятно. Оказывается, никто не знает, когда Умань основана, знают только, что давно. Зато хорошо известно, что ее частенько истребляли. Один раз всех жителей Умани вырезал гетман Дорошенко, в другой раз приложил руку Гонта. Но это не главное. Истреблять и вырезывать с давних пор водятся мастера. Главное другое: оказывается, до революции в Умани черт-те что было, даже табачная фабрика, можешь представить?! Две паровые мельницы, три вальцовые. Маслобойные заводишки тоже были, а что меня заинтересовало - здесь было шесть кирпичных заводов, мал мала меньше, но шесть. А мы теперь один, да хороший откроем. Кирпич нам вот как нужен! Кстати, запиши, тоже сюда относится: поехать в Бердичев. Записала? Не улыбайся, Леля! Иногда кирпич - первейшая штука, его нам много понадобится. Конечно, нужно одновременно не забывать о пушках и пулеметах, как напоминает товарищ Фрунзе. Иначе, говорит, империалисты кирпича на кирпиче не оставят, это такая публика.

- Я записала: "Поехать в Бердичев". А зачем тебе туда?

- Понимаешь, еду недавно по Бердичеву, смотрю - красноармейцы со всем усердием заводскую трубу разбирают, только пыль летит. "Над чем, спрашиваю, трудитесь, товарищи бойцы?" - "Да вот, товарищ командир, печи будем в казармах ставить, кирпич понадобился". - "А что это за труба?" "Бывший буржуйский кирпичный завод, товарищ командир. Ликвидируем, так сказать. Как в гимне указано, проклятый старый мир надо до основания разрушать". - "Отставить, говорю, разрушать. Восстановим этот завод, тогда не понадобится ковырять старые развалины, нового кирпича наготовим". Я уже поручил это дельце толковому человеку, надо съездить проверить, как там у него подвигается. Если в Умани будет завод да там завод - сумеем кирпичом даже кое с кем и поделиться.

- И как это тебя на все хватает, удивляюсь. Смотри, у тебя целый трест образовался: и лавки, и сахарный завод, и кожевенный, а теперь еще за кирпич взялся.

- Надо, Леля. Ты мне вчера читала, как у Ленина говорится? Что мы нагоним другие государства с такой быстротой, о которой они и не мечтали? Ты веришь в это? Я так ни минуты не сомневаюсь. Американские капиталисты очень спесивы, а спесивых по носу бьют. Надо же было выдумать такую несуразицу, что двадцатый век - это век Америки и монополий! Приятно им или неприятно, но жизнь показала, что двадцатый век - век ленинской перестройки, начало новой эры человечества. Тут никуда не денешься, скоро это поймет весь мир. Особенно крепколобым мы объяснили на полях сражений. Советская власть плюс электрификация! Все! Заканчиваю гимнастику. Иду к колодцу окатываться, только как бы генеральшу не напугать!..

Григорий Иванович выглядывает в окно. Тишина. Никого. Спит еще генеральша.

- Как ты считаешь, Кржижановский ведь большой человек, умница? Я вчера из его статьи выписку сделал. До чего некоторые люди умеют находить слова! Я вот плохо говорю. Ведь плохо, Леля? Или сравнительно ничего? Я рублю сплеча, как клинком. Спасибо, еще ты меня сдерживаешь... Эх, Леля, Леля! Бесценный ты человек! Помнишь, я каждый раз тебя из списков представленных к награде вычеркивал? Награду ты сто раз заслужила, но я не мог допустить, чтобы недруги шипели: "Смотрите, Котовский своей жене ордена на грудь вешает..." Не мог я, Леля, ты должна это понять.

- Да разве я не понимаю!

- Вспыльчив я, черт, не маневрирую, как некоторые. Никто не говорит Ольга Петровна

Котовская не только орденов - бессмертной славы достойна! Ты и сама не знаешь, какая ты! Исключительная натура!

- Гриша, - останавливает Ольга Петровна, - ты о Кржижановском начал говорить, что он умница.

- Он из ленинской стаи! И вот он отмечает, что мы живем в особое время, не похожее ни на что другое. С наших глаз спала пелена. Сейчас, говорит, все тайны разгаданы, все стоит перед нами во всей своей обнаженной сущности. Понимают враги и противятся. Понимают друзья и присоединяются к нам. Да, есть один единственно правильный путь ленинский! И с этого пути нас не собьют никакие проходимцы, как бы они ни старались!

- Ты ведь так и сказал на конференции, когда выступал?

- Так и сказал.

- А троцкисты?

- Шумели. Да ведь таких, как я, криком не возьмешь. Итак, приступаю к водным процедурам. Да! Запиши еще, Леля: "Тринадцать ноль-ноль - полковник Ухач-Угарович".

- Что, все-таки согласился работать в корпусе?

- Человек был - ни много ни мало - профессором в Академии генерального штаба! Тоже вроде развалин кирпичного завода! Сто лет как в отставке, а предложил я ему вести занятия, он даже прослезился. Надо верить в людей! Каждый кирпич пустить в стройку! Ухач-Угарович! Фамилия водевильная, а старик хоть куда!

Котовский приступает к водной процедуре. Плеск воды. Фырканье. Уханье. Затем свист туго натянутого полотенца, когда им со всей силой растирают спину, плечи, грудь...

- Помнишь, как меня Троцкий вызвал и перевод в Тамбов предложил? Нехорошо он тогда говорил, на моем самолюбии хотел играть, а у меня самолюбие - не скрипка, чтобы на нем играть. "Вас не ценят! Вас не понимают!" Еле тогда Фрунзе меня вызволил. Ушел я от него и думаю: "Нет, не коммунист Троцкий. Кто угодно, только не коммунист".

Растирание закончено. Кожа горит. Даже шея стала красной. Свежий, бодрый, пружинящей походкой входит Котовский в столовую и садится за стол.

- Как ты считаешь, Леля, хорошо это - на низменных чувствах играть? Я тебе откровенно скажу: дюжину таких проходимцев я бы на одного Ухач-Угаровича не променял.

Завтрак несложен: холодная вареная картошка, крепко посоленное крутое яйцо и холодные, запотевшие, с пупырышками, свежие огурцы - прямо с погреба.

Солнце так и заплескивает, так и хлещет в настежь открытые окна форменное наводнение. И какой крик подняли воробьи в кустах акации!

- Теперь на стадион? - спрашивает Ольга Петровна.

- На стадион. А оттуда в школу младших командиров. Как ты считаешь, Леля: чудесная штука - жизнь?

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Л А В А

1

Сообщение о том, что родился сын, застало Котовского в отъезде, в Москве. С этого момента Григорий Иванович погрузился в некое сияние, в блаженный туман. Его спрашивают:

- Когда вы сможете приехать следующий раз?

Он отвечает:

- Здорово! Молодец Лелька!

- Простите? - озадаченно смотрят на его счастливое лицо.

- Я что-то невпопад ответил? Видите ли, только что получил известие. У меня сын родился.

- А-а! Тогда понятно! - улыбаются все присутствующие. - Чего же вы не едете домой? Спешите! Поздравляем от всего сердца!

- Сегодня еду. Надо только подарки купить. Ведь событие - сын! Это ведь что-нибудь да значит? Теперь хлопот будет... Например, имя сыну надо выбрать... и прочее, и прочее...

Стоял февраль, дули февральские ветры, гуляли февральские метели, и надо же было

случиться, что в дороге произошла непредвиденная заминка: поезд задержали из-за заносов пути. Григорию Ивановичу и без того казалось, что поезд ползет как черепаха, что на станциях он стоит безобразно долго.

- И чего, спрашивается, стоим? - волновался Котовский, поглядывая в окно на пустынный перрон, на станционные постройки. - Наверняка график движения составляли заплесневелые бюрократы! Для такой станции, как эта, вполне достаточно двух минут, а мы стоим уже десять!

Но теперь поезд вообще застрял, на этот раз на неопределенное время. Однако Котовский не из тех, кто может мириться с обстоятельствами и опускать руки.

- Кто со мной ликвидировать заносы?

Отозвался один, подал голос другой. Молодежь всегда за риск, за смелость, за действие, за инициативу.

И уже не один Котовский, а целый отряд принимается за работу. Моментально выискали дрезину и отправили к месту действия бригаду здоровяков, вооруженных скребками, метлами и лопатами. Котовский тем временем орудовал в дежурке. Вызвал узловую станцию, позвонил в депо, выяснил, что снегоочиститель в неисправности и все еще не выслан, что там и не шевелятся. Потребовал к проводу некоего Епифанова, нерадивого начальника, о котором сказали, что все от него зависит. Поговорил с ним так, как умел говорить. Через несколько минут снова соединился с этой станцией. Проверил. Сообщили, что снегоочиститель, оказывается, в исправности и уже отправлен. Подействовало внушение! Подошел снегоочиститель. Стальное чудовище то пыхало жаром, то обдавало снежной пылью, рычало, лязгало, вздрагивало всем своим грузным чревом, и снежные вихри разлетались от него в обе стороны, освобождая путь.

И вот уже можно двигаться дальше! Скорей же, скорей! Неужели машинист не понимает такой вещи: ведь сын! Ведь надо гнать во всю мочь! На свет появился сын, появился маленький Котовский!

Григорий Иванович не помнит, как он примчался со станции домой, как вывалил на стол игрушечный барабан, плюшевого мишку, зайца, свистульки, домик... и даже картонную коробку с кубиками... даже букварь.

Бледная, похудевшая, но с сияющими, гордыми глазами встретила мужа Ольга Петровна. Очень смеялась над его покупками:

- Да ведь ребенку исполнилась всего неделя! А ты уже - букварь! Смешной ты, право. Пока что понадобятся только соска и побрякушка. Но как говорят в народе - мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь!

- Ничего, со временем все пригодится, - упавшим голосом пробормотал Григорий Иванович.

Он вспомнил, что еще за два месяца до появления сына привез для него из Киева кроватку-коляску, и упрямо повторил:

- Все пригодится: и трехколесный велосипед, и мячик, и ванька-встанька... а со временем потребуются и хорошие книги, и добрый конь, и клинок... А если кое-что я приготовил заранее, так запас мешку не порча, как говорится.

Отплатив жене пословицей за пословицу, Котовский приступил к самому главному: внимательно и придирчиво, восторженно и благоговейно - долго и в полном молчании рассматривал крохотное существо. Сильный, могучий, он боялся причинить боль ребенку и брал его на руки только на подушке, как берут драгоценное ювелирное изделие, любуясь им, но остерегаясь трогать.

- Ничего парень. А? Как ты думаешь, Леля? Малость легковат, мог бы быть покрупнее, да ведь не все сразу. А? Как ты думаешь, Леля? Вырастет?

Пока ребенок не подрос, Котовский никому не позволял входить в детскую.

- Погодите, подрастет - и сам к вам выйдет поздороваться и поговорить о погоде.

Котовский долго решал, какое дать имя сыну.

- Задача нешуточная, - озабоченно говорил он. - Дать имя просто, а ведь человеку-то с

этим именем ходить всю жизнь. Слов нет, не имя решает дело, каждое имя хорошо, если человек хороший. А все-таки есть такие загвоздистые имена на свете, что не выговоришь. Салафиил! Филагрий! Меласипп! Елпидифор! Дашь такое имя, а потом будет сынок недобрым словом вспоминать, вот, скажет, удружил папаша!

- Что это такое - Салафиил! Это уж слишком! - возмутилась Ольга Петровна. - Таких имен и не бывает, это ты сам выдумал!

- Нет, не выдумал! Я в Москве все справочники перерыл, все календари проштудировал. Есть! Есть всякие имена! Некоторые и не выговорить! Варахиил! Не веришь? И Варахиил есть и Истукарий...

- Вот и назови сына Истукарием, - рассердилась Ольга Петровна.

Григорий Иванович после долгого раздумья предложил:

- Знаешь что, Леля... Назовем его Гришей? Если какому-нибудь бандиту удастся когда-нибудь прикончить меня, пусть не радуются враги - вырастет второй Григорий Котовский! Кто знает, может быть, и внук появится на свет, и тоже Григорий... А уж ты позаботишься, чтобы они выросли достойными людьми.

На этом и порешили. Пусть самое имя подскажет сыну, по какому пути следует ему идти. Этот путь прямой, без извилин, путь служения народу, революции - путь коммуниста.

Котовский понимал, что понадобится много еще настойчивости, усилий, чтобы пробиться к цели. Еще не одно поколение будет сосредоточивать всю волю, все способности, чтобы отстаивать каждый свой шаг, чтобы идти и идти - наперекор всем бурям.

Маленький мальчик безмятежно спал. Что ждет его? Какие он найдет перекрестки? Какие совершит поступки? Какую пользу принесет людям? Какие радости всколыхнут его сердце? Говорят, молодость без увлечения так же печальна, как старость без опыта. Какие увлечения будут владеть этим новым, вторым Григорием Котовским? Какие задачи поставит перед ним эпоха? Совладает ли? Каких отыщет друзей маленький мальчик-загадка? Каких сокрушит врагов?

В одном Григорий Иванович был твердо уверен: что сын его вырастет хорошим, даже очень хорошим. Иначе не может быть.

Григорий Иванович напряженно думал, напряженно вглядывался. А мальчик безмятежно спал и улыбался во сне какому-то своему сновидению. Зачем ему раньше времени задумываться? Все придет. Он спал. Отец стоял у его постели и думал о нем, о будущем. Будущее выковывают те, кто живет сегодня.

"Не беспокойся, сын, мы сделаем что сможем и что успеем".

Что говорить, они с Гришуткой большие друзья! Около его кроватки и думается легче, и отдыхается хорошо. Григорий Иванович всегда находит для сына хотя бы минутку.

Но разве у Котовского один сын? У него много сыновей и питомцев. То он подберет заморыша, толкавшегося возле полковой кухни в поисках объедков, то приютит побирушку с улицы. Приведет домой, Ольга Петровна вымоет его, смастерит ему белье, рубашонки, вылечит болячки, и становится он равноправным членом семьи, пока не окончит школу и не выйдет в люди.

Кавалерийский корпус взял шефство над комсомолом Днепропетровска. Где же поместиться комсомольским посланцам, приезжавшим в Умань? Конечно у Котовского. Где же получить вкусный обед приехавшему навестить своего командира бывшему бойцу прославленной бригады? Где же послушать интересные разговоры и самому вставить словцо? У Котовских всегда людно и шумно. А за столом зачастую не хватает на всех посуды, и тогда пускаются в дело миски, солдатские котелки.

Жили более чем скромно. Только благодаря искусству Ольги Петровны сводили концы с концами. Но какая это была наполненная, осмысленная, интересная жизнь! Как люди тянулись к этому хорошему, приветливому, дружному семейству!

2

Митюшку Григорий Иванович заприметил давненько. Это был мальчик на посылках, "коридорный" в гостинице "Красная", в той гостинице, где Котовский останавливался всякий

раз, как приезжал в Харьков.

Гостиница была не из образцовых, но старалась быть не хуже других. В номерах пахло керосином и невыветрившимся табачным дымом. В ресторане при гостинице кормили плохо и дорого. Зато здесь было от всего близко: от театра, где ставились и Чехов, и мелодрама "За монастырской стеной", от вокзала, наполненного круглые сутки гамом и шумом, и от квартиры Фрунзе, к которому, собственно, и приезжал Григорий Иванович по делам или просто чтобы повидаться.

Митюшка был невероятно белобрыс, даже ресницы у него были, как у теленка, белые, а космы на голове, никак не поддававшиеся гребенке, походили на овсяный сноп в сильный ветер.

- Митюшка! Одна нога здесь, другая там! Газеты в киоске на углу! Быстренько!

- Мить! Пива! Две! Жигулевского!

- Митрий! Сроду тебя не дозваться! Покличь буфетчика, знаешь? В семнадцатый! Водки пусть еще принесет. Не хватило.

И Митюшка мчался опрометью в киоск на углу, в семнадцатый на втором этаже, на почту и во множество других самых неожиданных и невероятных мест. Он спешил, во-первых, потому, что хотел быстро выполнить поручение, во-вторых, потому, что было как раз самое интересное место в книге, которую он в это время читал. Он всегда читал, как только выгадывалась минутка затишья. Книги добывал всюду. Выпрашивал у жены буфетчика, у нее были исключительно трогательные переводные романы. Брал в библиотеке, где молоденькая библиотекарша Таисия Федоровна сама подбирала ему, что читать. Многие, уезжая, оставляли в номере книги, журналы, чтобы не везти лишней тяжести, - это тоже поступало в распоряжение коридорного. Митюша не читал, а проглатывал все, что удавалось раздобыть.

Вот эта страсть мальчугана к чтению и привлекла к нему внимание Котовского.

- Что это у тебя?

- "Суд идет". Ух и интересно! Не читали? Про Леньку Пантелеева! Про налетчика!

На следующий день Григорий Иванович застал его за чтением стихов Крайского. Крайского сменил Гоголь. Потом "Серебряные коньки" Доджа. Потом географический этюд "Почва и ее история". Потом "Королева Марго". Потом Блок... Невероятная смесь! Читает все, что попадет в руки! И где же ему во всем разобраться, все осмыслить?

В один из приездов Котовский застал Митюшку в слезах.

- Разве вы не знаете? Короленко умер, в Полтаве! Тот самый, который "Слепого музыканта" написал! И как это позволяют, чтобы писатели умирали? Неужели не найдется кого, чтобы умирать?

В другой раз Котовский узнал, что швейцар гостиницы - горький пьяница - угощает Митюшку:

- Ты кто есть? Коридорный. А коридорным по штату положено пить еще со времен Адама.

"Ох, пропадет парень! - с горечью думал Котовский. - А ведь есть в нем искра..."

Как-то он натолкнулся на Митюшку, мчавшегося по улице во весь опор.

- Куда?

- Из шестого номера велели барышень прислать.

- Постой, каких еще барышень?

- Каких! Ну, таких... обыкновенных.

- Вот что, Митя. Погоди, не спеши, разговор будет серьезный. Ты откуда родом? Беженец из Галиции? Понятно! Отец с матерью у тебя есть? Не имеется? В гостинице не нравится? Вижу. А учиться хочешь? Хочешь человеком стать? Так слушай, малец, мою резолюцию. Завтра я возвращаюсь домой поездом в семь пятнадцать. И тебя захвачу. Поедешь? Сначала мы тебя в порядок приведем, вон какая на тебе рубаха и вообще - вихры, например. С осени отдадим на рабфак. Решено и подписано?

...Ольга Петровна ничуть не удивилась. Не впервые Григорий Иванович подбирал

заброшенных, несчастных ребятишек, растил их и выводил в люди.

- Вот тебе еще один сын, - сказал он жене по приезде. - Голодный, поди. Прежде всего накормить надо. Понимаешь, нельзя было его так оставить - что бы из него получилось? В жизни каждого человека бывает момент, когда он останавливается на распутье и не знает, что выбрать. Вот тут-то и надо вовремя подоспеть.

- Ясно, - спокойно отозвалась Ольга Петровна.

Опытным глазом осмотрела Митюшку и определила:

- Начнем с бани. А смену белья конфискуем из запасов Григория Ивановича.

И стало у Котовских одним членом семейства больше.

3

Насчет "запасов" Григория Ивановича было сказано слишком громко. Запасов, собственно говоря, не было. Из года в год шло неравное состязание: Ольга Петровна выкраивала, мудрила, совещалась с начальником снабжения Гусаревым, а позднее, в корпусе, с интендантом Верховским, но все ее усилия разбивались о беспечность Григория Ивановича.

Особенно переживала Ольга Петровна, когда он отдал отличные, мастерски сшитые, совершенно новые, ненадеванные сапоги.

Известно, что сапоги - гордость кавалериста. Красивые сапоги заветнейшая мечта. Это все равно что лента для девушки, "совсем как настоящий" пистолет для мальчишки или трубка вишневого дерева для заядлого курильщика.

И вот после долгих хлопот Ольге Петровне удалось сшить для мужа роскошные, с козырьком, на каблуках сапоги - не сапоги, а загляденье. Котовский был в восторге. Щупал, мял, примерял сапоги, прохаживался по комнате. Решил обновить их в Октябрьские праздники.

Но тут пришел к Котовскому жалкий, оборванный, исхудалый незнакомец, страшное существо, на которое и смотреть-то было мучительно. Оказывается, белый офицер, перешедший на сторону красных. Явление довольно обычное. Перебежчиков проверяли в Чека и отпускали на все четыре стороны. Но человек оказался не у дел, не мог найти ни пристанища, ни заработка, дошел до побродяжничества, после долгих скитании набрел на Котовского и поведал ему свою печальную историю.

С работой вопрос решен был моментально: Котовский направил просителя делопроизводителем в корпусной совхоз.

- Но как же вы в таком виде явитесь на работу? Знаете что, примерьте-ка вот этот френч. Гм, пожалуй, подойдет. Как ты считаешь, Леля? Только вот на ногах у вас ничего нет... Идея! Наденьте-ка мои сапоги! Впору?

С потерей френча Ольга Петровна еще кое-как примирилась. Но когда она увидела, что будущий делопроизводитель засовывает ноги в шикарные сверкающие сапоги Григория Ивановича, стоившие ей стольких волнений, хлопот и расходов, у нее захолонуло сердце. А что она могла сказать? "Не давай"?

Правда, юноша долго отказывался, уверял, что он "что-нибудь придумает", что в крайнем случае предпочел бы не такие новые, не такие великолепные сапоги, как эти, а что-нибудь похуже...

- А почему похуже? - возразил Котовский. - Надо, чтобы все было получше, а не похуже. Не жмут? Ну и хорошо. И потом, согласитесь, мне все-таки легче достать сапоги!

- Чем я смогу отблагодарить вас за чуткость и заботу?

- Честным трудом на благо советского народа! - ответил Котовский.

Ольга Петровна молча, с отчаянием смотрела, как этот человек преспокойно уходил, солидно поскрипывая великолепными сапогами.

Когда Ольга Петровна и Григорий Иванович остались одни, наступило неловкое молчание. У Ольги Петровны не поворачивался язык, чтобы упрекнуть мужа. А Григорий Иванович понимал, что заслужил в какой-то мере ее упреки, понимал и то, что ей - такой бескорыстной, щедрой! - не сапог жалко, а жалко забот, нежности, которые вложены были в

эти злосчастные сапоги. Ведь даже сапожник и тот, узнав, что сапоги шьются для Котовского, превзошел себя, каждый шов делал с любовью и преданностью... Все это так, но ведь и его, Котовского, надо понять. И конечно, она поймет, он это твердо знает...

Григорий Иванович заговорил первым:

- Расстроил я тебя?

- Нет, отчего же.

- Верно. Сапоги, Леля, даже самые добротные, - все-таки мелочь. Как ты думаешь, Леля?

- Тебе-то мелочь. А знаешь, как это трудно?

- Знаю! Но ведь нельзя, Леля. Ты это чувствуешь? Есть такие моменты, когда не следует задумываться, а следует поступать. Например, в бою. Задумайся на секунду - и твое раздумье будет стоить тебе жизни.

- Да сейчас-то не бой, надеюсь?

- Бой. Бой ни на минуту не прекращается. А мы сражаемся-то за что? За справедливость. За человека. Как ты думаешь, Леля?

- Гриша, но согласись, что сапоги...

- Что сапоги?

- Я понимаю твою мысль. И все, что ты говоришь, - бесспорно. Но посмотри, в какие высокие материи ты заехал. Ведь сапоги все-таки остаются только сапогами, не больше не меньше. И вполне понятно, что я огорчена... Чуточку, но огорчена. И ты должен меня понять... Это так просто, житейски просто, Гриша.

- Ты не помнишь, был у нас такой в бригаде... Попов, кажется... Или Павлов... Высокий такой, с пышными бровями...

- Ну и что же?

- У нас, ты знаешь, трусы в бригаде не водились. А тут наскочили на нас петлюровцы, а он в бане спрятался. "Что ж ты, говорю, такой-сякой, подкачал? Твои товарищи на врага, а ты в кусты?" - "Я, говорит, товарищ командир, за революцию в огонь и в воду. А тут что? Разве какое решающее сражение? Стычка пустяковая! И без меня справятся, а я сдуру буду голову в петлю совать!"

Выслушала все это Ольга Петровна, рассмеялась и головой покачала:

- Ладно уж. Хорошо, что я еще запасную заготовку кожи уберегла...

И так во всем. Долгое время Ольга Петровна и не подозревала, например, что Григорию Ивановичу причитается великолепный правительственный паек. Большую долю его он раздавал, считая, что ему вполне хватает зарплаты, а паек - это лишняя роскошь.

Случилось однажды, что Григорий Иванович был в отъезде. Гусарев этим воспользовался и весь паек доставил Ольге Петровне. Она даже растерялась, увидев такое количество продуктов.

Впрочем, хитрость Гусарева не удалась. Приехал Котовский, узнал, что паек доставлен на квартиру, и теперь с записочками потянулись к Ольге Петровне.

"Выдай такому-то столько-то муки, очень нуждается. Гриша".

"Прошу тебя, отсыпь сахару подателю сего, у него тетка больная... Постскриптум: и две банки тушенки! Не сердись! Обойдемся и без тушенки! Как ты считаешь? Твой Г.".

Вскоре Ольга Петровна сообщила Григорию Ивановичу, что все роздано, поэтому она просит с записочками больше никого не присылать.

Так оно и было на самом деле. Весь паек был роздан. Ольга Петровна не сердилась. Можно ли сердиться на Григория Ивановича? Уж такой он человек!

Или история с буркой. Удалось Ольге Петровне раздобыть для Григория Ивановича бурку.

- Это что? Это мне? А не лучше ли пустить это на подстилку Фоксу? предложил Григорий Иванович, упорно не называя бурку и говоря "это". Упомянув о Фоксе, он имел в виду бродячего пса, который самостоятельно выбрал себе хозяев и прочно прижился у Котовских, платя им глубокой собачьей преданностью и любовью.

- Как это Фоксу? - возмутилась Ольга Петровна. - Прекрасная бурка, и тебе она будет очень к лицу.

Долго бурка висела, пылилась, не находя применения, но однажды Ольге Петровне удалось настоять, чтобы Григорий Иванович ее надел: была отвратительная осенняя слякоть, дул холодный ветер, сыпалась с неба мерзлая изморось, а Котовскому как раз предстояло ехать на конференцию в Киев.

Возвращаясь обратно, Котовский понял, что бурка была очень кстати. Хотя снегу еще не было, но земля промерзла, таратайку так и подбрасывало на мерзлых комьях грязи, а ветер неистовствовал, завывал, свистел, взвихривал гриву коня и трепал кожух кучера Алешки.

- Стой! - крикнул вдруг Котовский.

На обочине дороги он увидел пастуха. Парнишка был в одной холщовой рубахе, босиком, и укрыться бедняге было негде - куда ни глянь, голая равнина, черные перепаханные поля да узкие межи и трава, подернутая инеем. Пастушонок прижался к мерзлому суглинку и не двигался. Понуро стояли в поле и не пытались даже щипать траву худоребрые рыжие коровы, сумрачно подставляя бока беспощадному ветру.

- Эй, дружище, поди-ка сюда!

Кучер недовольно наблюдал, что будет дальше. Зачем понадобился командиру несчастный заморыш? И вообще - к чему эта задержка, добраться бы поскорей до места да погреться чайком в жарко натопленной хате!

Однако то, что увидел кучер, привело его в такое негодование, что он забыл про холод: командир сбросил с плеч бурку и протянул ее пастуху. Парень ошалело смотрел на военного и не двигался.

- Бери, а то пропадешь в такую проклятую непогодь.

- Да что вы, товарищ командир! - не выдержал кучер. - Мыслимое ли дело! Что я буду говорить мамаше нашей, Ольге Петровне? Скажет, а ты чего смотрел, дурак?

- Пропадешь, говорю. Надевай без разговоров! - настаивал Котовский.

Пастух наконец решился, взял бурку, хотя все еще не мог ничего понять и осмыслить.

- Трогай, Алеша, а я малость разомнусь, буду бежать рядом, чтобы не замерзнуть. Тут уже недалеко. Ты не серчай, ведь я не какой-нибудь барин-помещик, чтобы прокатить мимо на вороных и глазом не моргнуть: нехай околевает.

- Добрый ты, командир, ох добрый! - сокрушенно вздохнул Алешка, подхлестывая лошадь и подбирая вожжи. - И чего ты такой добрый, не пойму...

- Я не добрый. Я - коммунист. Добрые да жалостливые бывали московские купчихи, что нищих на паперти наделяли. На рубль обманут - на копейку подадут.

4

Вскоре опять приехал Белоусов.

- Дорогой гость! - встретил его Григорий Иванович.

- А, Ванечка! Вот радость! - подхватила Ольга Петровна.

Такая приветливость хозяев сразу располагает и снимает всякую натянутость. Кто бы ни пришел к Котовским, его встречают с открытой душой.

Но Котовский сразу заметил, что у Белоусова какая-то забота: он хмурился, хотя и старался казаться веселым, болтая о всяких пустяках - о дорожных встречах, о погоде, и, видимо, только выжидал случая, чтобы поговорить с Котовским с глазу на глаз.

У Котовских, как всегда, было много народу. Тут был кое-кто из корпусного командования, были и приезжие, явившиеся по самым разнообразным делам. Был и начальник штаба корпуса Владимир Матвеевич Гуков, бывший полковник, окончивший в свое время Академию генерального штаба, замечательный старик и завсегдатай в доме Котовских.

Белоусов с видимым интересом слушал общий разговор за столом, а когда к нему обратились, охотно рассказал последние московские новости: жизнь налаживается, театры полны, магазины набиты товарами. Рассказал, как был у свердловцев на диспуте между

пролетарскими писателями и футуристами. Слушал-слушал и ничего не понял. Но ругаются здорово.

Всех насмешило такое откровенное признание. Шумно, наперебой стали говорить о футуристах, о Маяковском, о литературе.

- Как хотите, а мне Маяковский нравится! Бьет в лоб!

- Не вижу ничего хорошего! "Улица провалилась, как нос сифилитика". Ну к чему это? Поза! Озорство!

- Товарищ Белоусов! А какие там есть у вас в Москве еще эти... центрофугисты, что ли? И еще - вот память проклятая! - шершенисты какие-то?

- Молодо-зелено! - примирительно произнес Гуков. - Перемелется - мука будет.

Белоусов остался ночевать. Поздно вечером они заперлись в кабинете Григория Ивановича. Белоусов почтительно посмотрел на огромную, во всю стену карту, на скромную обстановку, на множество книг.

- Устали вы, наверное, Григорий Иванович, и все же надо об одном дельце потолковать, а утренним поездом я дальше.

Котовский спокойно, внимательно разглядывал Белоусова. Хорош! Подтянутый, движения точные, лицо приятное. Вот только исхудал и синяки под глазами, видимо, мало спит...

- Это что у вас - паренек этот бойкий - новый питомец? - начал разговор Белоусов.

- Новый, - подтвердил Котовский, - из Харькова привез. Ужо отдадим в учение. Думаю, по юридической части пойдет. Заметил я - быстро схватывает и умеет из разрозненных фактов правильное заключение выводить. Аналитический ум.

- Это хорошо, - согласился Белоусов. - Есть у вас, Григорий Иванович, удивительная черта: в каждом человеке ищете хорошее и, ухватив, стараетесь развить.

- Должно быть, садовод во мне сказывается, - улыбнулся Котовский. Все норовлю диким яблоням прививку сделать.

- А меня-то вы как на самом краю пропасти подхватили! Двести лет буду жить - двести лет не забуду! С головы до пят я - ваше изделие!

- Ну-ну, ладно, об этом уже было говорено. Ведь не ошибся же!

- Мне хочется, чтобы на этот раз было так. Стараюсь.

- Ага, в общем, все это только предисловие, как я понимаю. Догадываюсь, речь пойдет о какой-то моей ошибке. Ну, выкладывай.

- Григорий Иванович! - дрогнувшим голосом возразил Белоусов. - Вы не так сформулировали!

- Сформулировал! Ишь какие словечки завел! Раньше так не говорил.

- Григорий Иванович, видите ли, в чем дело... Работа чекистов заключается в том, чтобы знать. Не обязательно всякий раз пресекать, но знать. Сам Ленин признал, что чрезвычайные комиссии организованы великолепно. Надеюсь, и после реорганизации Чека в ГПУ будем на должной высоте.

- Слушай, Белоусов, ты не доклад ли делаешь о задачах чекистов? Говори, в чем дело? Если о хищениях по линии кооперации, то я уже потребовал произвести ревизию, и жулики отданы под суд. Шипит кое-кто, да ведь и гуси - на что птица - и то шипят...

- Григорий Иванович! Я приехал не как следователь, а как преданный вам по гроб жизни ваш питомец. Какая кооперация? Какие хищения? Ничего этого не слышал! Кто там шипит? Да если когда-нибудь найдется подлец, который хоть одно слово скажет о вас плохое... пусть прахом летит вся моя безупречная служба, но я этого субчика своими руками удушу! Вы не чудотворная икона. Как в каждом человеке, есть, вероятно, и у вас недостатки, хотя лично я никогда их не замечал... но вы человек, живой, настоящий, неутомимый, вы из той породы, о которой будут слагать легенды!

- Ну, завел! Сел на своего конька!

- Нет, серьезно. Не раз еще молодежь возьмет вас за образец, будет стремиться походить на вас. Опять скажете, что я запутался в предисловиях? Ну, перехожу к сути.

- Давай.

- Вы не одного меня поставили на ноги. К вам приходили беспризорники, приходили опомнившиеся люди из стана врагов... Я наблюдал, с каким терпением возились вы с некоторыми. Пьет человек, под пьяную лавочку совершает неблаговидные поступки, а вы опять и опять тычете его носом на правильную дорожку, опять присылаете к Ольге Петровне: перевоспитывай!

- А! Догадываюсь, о ком речь!

- Нет, я о другом. Честное слово, о другом!

- Слушай, тебе не чекистом быть - агитатором.

- Опять напомню замечательные слова Ленина, что хороший коммунист в то же время и хороший чекист. И быть агитатором тоже каждый коммунист обязан. А как же иначе? Дескать, я праведный, а ты как хочешь?

- Не закончить ли нам на этом разговор и продолжить его завтра утром?

- Когда я сообщу, о ком речь, вы сами будете готовы всю ночь слушать: я хочу поговорить о так называемом "Майорчике".

- О Зайдере? Знаю. Прошлое у него неважное.

- Помните, когда вы его взяли в бригаду, на него посыпались жалобы: забирает все, что попадет под руку, грабит местных жителей... угнал лошадей... реквизировал кур... грозил одному человеку какими-то разоблачениями и заставил его уплатить крупную сумму за молчание...

- Да, а сейчас работает начальником охраны сахарного завода. И кажется, неплохо.

- Так как именно вами он рекомендован на завод. Он и поныне бывает у вас?

- Был один раз. А что? Натворил что-нибудь опять? Это на него похоже!

- Изучая один вопрос и совсем по другому делу, не относящемуся к этому разговору, мы узнали подробности о прошлой жизни Зайдера. Вы что-нибудь знаете о том, кем был раньше Зайдер?

- Знаю. В Одессе у него был кабачок "Не рыдай".

- А до Одессы?

- Не спрашивал.

- Слышали что-нибудь о "зухерах"? Зайдер, оказывается, жил в Константинополе и занимался торговлей "женским товаром". Женщинами. Притоны разврата раскинуты по всему миру - там, за рубежом. Это у них в порядке вещей. Стаж обитательниц притонов невелик, через пять-шесть лет их выбрасывают на улицу, и требуются все новые пополнения. Доверчивых девушек заманивали в ловушку разными приемами. Делали публикации с предложением хорошо оплачиваемого места горничной, бонны... Зайдер действовал так: заводил знакомство, женился, но, конечно, по фальшивому паспорту, ехал с молодой женой в "свадебное путешествие" за границу... А затем новобрачная оказывалась где-нибудь в константинопольском гареме или в доме свиданий портового города. Высокая цена на белых женщин держалась в Буэнос-Айресе. В Аргентине за женщину с доставкой платили до двухсот фунтов стерлингов. В царской России они шли по сорок - пятьдесят рублей...

- Ну и гадина! Не знал.

- И сообразителен! Болтает без умолку, но ни слова о себе! продолжал Белоусов. - Я присматривался к нему еще раньше, в бригаде. Мне врезалось в память его лицо - угодливое и хитрое, пресыщенное и жадное. Он ловок, изобретателен, в этом ему нельзя отказать. Дока! Почти неграмотен, зато может быстро считать. Знает несколько слов по-французски, несколько слов по-турецки, немного болтает по-румынски и, не спотыкаясь, шпарит "по новой фене", на языке блатных. Вот это последнее немножко настораживает... Допустим, что все остальное - это, как вы выразились, давнее дело, но с блатными он якшается и сейчас.

Котовский выжидательно посматривал на собеседника.

- Вы думаете, я еще что-нибудь скажу? Нет. Я все рассказал, причем и это между нами. Это просто мои личные соображения. Ведь Зайдер ни в чем не замешан, не участвует в каких-либо политических группировках, враждебных Советской власти. Да он и не признает

никакой политики. Газет не читает. Он точно формулирует свое отношение к жизни: "Я интересуюсь только за доход".

- Насчет дохода он соображает!

- Вот-вот. Одно, может быть, не совсем вяжется: работает на скромной должности начальника охраны, а живет на широкую ногу. В Одессе у него прекрасная квартира, тихое, почтенное семейство, жена ведет борьбу с ожирением и делает косметический массаж, ходит с прислугой на рынок, у сына гувернантка, в гостиной шредеровский рояль и картина Каульбаха "Мадонна со слезой"...

- Если бы художник изобразил эту мадонну без слезы, она все равно бы прослезилась, попав в квартиру такого проходимца! - рассмеялся Котовский. И сразу опять посерьезнел: - Ладно. Понял. Так считаешь, ошибка это моя, что нянчился с такой дрянью, да? Может, и ошибка... Значит, выгнать его с треском, коли опять ко мне сунется?

- Можно и без треска. Можно и совсем не выгонять, но отвадить. Уж очень нечистоплотная личность. На черта он вам нужен?! Лучше держать его на расстоянии.

- Хорошо, учту твой совет. Спасибо, Иван Терентьевич, - впервые назвал Котовский по имени-отчеству Белоусова. - Большое спасибо.

- За что же, Григорий Иванович?

- Трудная, опасная у вас работа. Куда проще идти в атаку и рубать. Хоть врага видно.

- Это - да. Если бы я стал рассказывать, чего последнее время наслышался, чего насмотрелся, в каких переделках побывал!.. Большую книгу можно было бы написать, и над каждой страницей читатель и слезу бы пролил и крепко призадумался.

Оба помолчали.

- Да, - в раздумье сказал Котовский, - мы говорим - затишье, война кончилась. А ведь у вас нередко и выстрелы слышны?

- Выстрелы! Иногда происходят форменные сражения! Кроме того, обстановка-то какая! Может ли быть на войне, чтобы к командующему фронтом вошел вражеский солдат и выстрелил в командующего? А у нас может! В Петрограде с председателем Чека именно так и произошло. А главное - все свершается невидимо, скрыто. Шифры, пароли, специальные конспиративные квартиры... Да, это особенная война. Кажется, чего тут такого? А ведь не так-то просто взять заговорщиков. Помню, окружили мы дом. Непроглядная тьма. Дождище. По сигналу вошли. За столом их было тринадцать. И черт их знает, как они будут действовать: отстреливаться? убегать? Захватили мы тогда списки, печати, адреса, а главное - подобрали на полу изорванное в клочки письмо. Дзержинский и Лацис целую ночь его складывали по кусочкам, расшифровывали. Мало того, что шифр, набор непонятных слов: "бархат", "треугольник" и прочее в этом роде, да еще и написано все вперемежку на английском и на французском языках...

- Прочитали?

- А как же! Если бы вы знали, кто у них орудует! Кто устраивает все эти заговоры! Кого тут нет! Тут и морские атташе, и епископы, и священники, и генералы... Например, связной у них как-то тут работала жена министра Временного правительства. Или - не угодно ли: артистка Островская... барон Штромберг... Консулы, нотариусы, бывшие полицейские, есаулы... и, конечно, эсеры и, разумеется, анархисты... Можно ли без них? А главным образом - профессиональные шпионы, всякие розенберги, розенблюмы, пишоны... А есть еще у них небезызвестный Сальников. Попался бы он мне, голубчик, я бы с ним поговорил! А то был такой "дядя Кока", узкую фотопленку под ногтями прятал. Это я говорю только о тех, кто обезврежен. А если бы все рассказать... Страшная бездна!

Видно было, что эта тайная война волнует Белоусова. Он был в сильном возбуждении, но сдерживался.

- Может, ко мне в корпус переберешься, Ваня? Тут проще, а то ведь душа заболит? - ласково спросил Котовский.

- Что вы, Григорий Иванович! Ни за что не уйду! Я ведь вашей школы непреклонный! Сейчас в Одессу еду. Дело там интересное. Я ведь к вам только на вечерок завернул,

попутно. Хотелось мне поговорить с вами об этом типе. Давно хотелось!

5

Часто вспоминалась Котовскому ночная беседа с Белоусовым. Да, тайная война. И все-таки - не слышно орудийных залпов, все-таки не то, что было. Кончились жаркие схватки, можно перевести дух, осмотреться. Хоть на некоторое время можно не отбиваться от черной хмары, обступившей со всех сторон. Не нужно разить направо и налево, мчаться под посвист пуль прямо на сомкнутые ряды вражеских полчищ и рубить, рубить, рубить, рассекать наискось от шеи до самого сердца, кромсать, топтать конскими копытами... Теперь пришло время поразмыслить, во всем разобраться. Почистить коня, самому почиститься, широким человеческим взглядом окинуть жизнь.

Григорий Иванович любит прийти домой после трудового дня. Прежде всего он бросается к кроватке сына: не вырос ли он за сегодняшний день? Смотрит вопросительно на Ольгу Петровну:

- Кажется, становится здоровяком. Как ты считаешь, Леля?

Отдав должное домашней снеди, которую так вкусно приготовляет Ольга Петровна, поудобнее усаживается рядом со своей верной подругой.

Григорий Иванович дорожил этими часами. Просил Ольгу Петровну читать ему вслух, закрывал глаза и слушал. Читали русских классиков, читали произведения Ленина. А потом разговаривали. Ольгу Петровну изумляло, какие простосердечные вопросы иной раз задавал Григорий Иванович. Попервоначалу его вопрос, бывало, покажется наивным-наивным. А потом выясняется, что не так-то наивно он рассуждает, за самую суть берет, только по-своему, очень своеобразно подходит к любому предмету.

- Леля! Лев Толстой - граф? Ведь граф? У него даже и поместье было? А как он солдатскую душу разгадал, как мужика понимает!

- Гений!

- Гений - это кто задумывается и вглядывается. Пристально вглядывается.

- И трудится.

- И трудится. Согласен. Великие люди - это великие труженики прежде всего.

Оба молчат. Оба думают. Ольга Петровна думает о том, какое выпало ей счастье и какая лежит на ней ответственность: разделять все горести и радости, все труды и заботы с этим необыкновенным человеком.

- Леля! А вот Колчак. Тоже ведь в какой-то степени человек? Скажем, были у него родители, все честь честью. Наверное, даже был женат! А? Как ты думаешь? Был? И имя-отчество - все как у людей. Его Александр Васильевич звали? Сашенька! Саша! Удивительно все-таки.

- Что удивительно-то? - недоумевает Ольга Петровна.

- Удивительно, как он ровным счетом ничего не понимал. Не понимал, да и только! Ведь возьмем, к примеру, монархистов. И у монархистов есть на плечах голова? Так можно же, черт возьми, понять, что всему свое время, что монархия давным-давно свой век отжила, что вслед за ней капитализм одряхлел, осунулся и стал спотыкаться. Ведь все до того ясно, все до того разжевано! Что они, Ленина не читают?

Ольга Петровна озадаченно смотрит на мужа. Иронизирует он или все это совершенно серьезно? Но на лице Григория Ивановича недоумение, скорбь, даже отчаяние.

- Вообще-то я не о Колчаке в данном случае. Колчак - предатель, а ведь это самое тяжкое преступление - изменить своему народу. Это равносильно тому, что родную мать ножом зарезать. А? Как ты думаешь? Я лично больше всего презираю людей, которые у нас же живут, от нас, можно сказать, кормятся и нас же люто ненавидят, нам же готовы любую пакость подстроить, да еще о нашей некультурности кричат, гады!

- Ладно, ладно, не распаляйся, будет. Ты ведь даже не о том и говорил.

- О том.

- О Колчаке ты говорил!

- Нет, не о Колчаке. Колчак что? Был на Черноморском флоте, революционные

матросы предложили ему убраться подобру-поздорову и сдать оружие, а он что? Он свой золотой кортик не пожелал вручить новой народной власти, за борт выбросил. Ну это еще так, это можно простить. Но сесть на облучок в должности лихого кучера и катать заокеанского барина по Сибирскому тракту - это уже, извини, позорно. Продаться иностранцам, русское наше кровное государственное золото раздавать японцам да этим самым... сэрам...

- Какой кучер? Какое золото? - В голосе Ольги Петровны звучит тревога. Уж не заговаривается ли он?

Но Григорий Иванович не заговаривается. Он поясняет, что адмирал был слугой иностранного капитала, если не кучером, так старшим дворецким. И золотой поезд он в самом деле хапнул в Казани и огромные суммы из этого золотого запаса роздал иностранцам за помощь - пудами раздавал, только успевали расписываться в получении...

- Но я не о Колчаке, - продолжает Григорий Иванович. - Колчака чикнули - и ладно. Или там другие: уехали - и борются с нами. Они считают, что их обидели, обездолили - и лезут в драку. Ну это еще туда-сюда. Но уж если ты остался, живешь здесь - так и потрудись по-нашему жить, по-советски. Я так понимаю. Не носи нож за пазухой! Не злобствуй! Не марай гнездо, в котором птенцов выводишь! Вот ты мне читаешь, что написал Ленин, а я все думаю. И сколько я ни думаю, вижу, что самая суть ленинского учения - доброта. Ты возразишь, что доброта-то доброта, а ты, мол, голубчик, сколько белогвардейцев зарубил? Но ведь вынуждают, Леля! Совсем как в народной сказке: прут на тебя и прут! Отрубишь гадине голову вырастает две. Деникина рубанули - Врангель выскочил, да тут же и паны пожаловали. А уж всяких петлюр да тютюнников - считать не перечесть. Но их хоть из-за рубежа засылают. А сколько водится в самой нашей стране? Доморощенных? Помнишь, Григорьев какой нам мороки наделал? А полковник Муравьев? Прохвост из прохвостов! С такой публикой один разговор - голову с плеч.

И после некоторого раздумья:

- Прочти, пожалуйста, еще раз это место у Ленина - о диктатуре!

Ольга Петровна послушно отыскивает страницу и внятно, выразительно читает:

- "Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества".

- Вот! Вот видишь? - торжествует Григорий Иванович, хотя никто ему не возражает. - Против старого общества! А новое общество - это что? Коммунизм! А коммунизм? Великая любовь, сообщество счастливых людей...

- Да. И радостный труд и техника, какую трудно даже представить...

- И если Лелечка не пожалеет радостного труда, она накормит меня ужином! - весело заключил Котовский.

Через несколько дней он опять вернулся к этой теме:

- Мне рассказали, Леля, об одном командире линкора, я фамилию не запомнил. Линкор стоял в заграничном порту, когда вспыхнула революция. Командир, несмотря на уговоры иностранцев, привел корабль в наши воды: "Россия доверила мне линкор, передаю его той власти, которая в настоящее время возглавляет государство". Ему говорят: "Приветствуем вашу сознательность и просим вас остаться на должности командира линкора, как были". - "Нет, отвечает, я не разделяю ваших убеждений и оставаться у вас на службе не могу".

- Так и ушел?

- Ушел. Не знаю, что с ним дальше было. Но ведь честно поступил? Ты как считаешь, Леля? А я хочу сообщить тебе сенсационную новость. Сколько я порубал на своем веку полковников и подполковников царского производства, сколько царевых генералов... А теперь с одним генералом царского времени подружился. Можешь себе представить? Диалектика!

- Это с кем же, кого ты имеешь в виду?

- Федор Федорович Новицкий. Изумительный человек! Достаточно сказать, что его

оценил сам Фрунзе!

Котовский некоторое время ждет, что Ольга Петровна выскажет свое удивление такой дружбой, может быть, даже неодобрение. Но Ольга Петровна, видимо, не удивлена, сообщение Котовского не вызвало ее протеста. Тогда Котовский продолжает приводить доводы в пользу своего решения:

- Как ты думаешь, Леля, это что-нибудь да значит, если сам Фрунзе хвалит человека? Уж он-то не ошибется! Что ж такого, что Федор Федорович Новицкий - бывший царский генерал? Это ему простительно.

Пауза. Ольга Петровна молча слушает.

- Если хорошенько разобраться... Например, будь я, скажем, царский генерал. Допустим на минутку, ладно? Но я просто генерал, а не буржуй проклятый, у меня нет имений, фабрик, миллионов в банке на текущем счету. Бывают такие генералы? Бывают. Предположим, что я именно такой. И вот я начинаю здраво рассуждать. Что, думаю я, сделали большевики? Выгнали дармоедов из страны. Хорошо это? Хорошо. Ликвидируют неграмотность. Обидно это моему генеральскому самолюбию? Ничуть. Лучше стало в моей России или хуже от того, что установлена Советская власть? Лучше. Вот и выходит, Леля, что, если любой белогвардеец не дурак и не самая последняя скотина, он придет и скажет: извините, скажет, меня, дубину стоеросовую, заблуждался. Ведь может так быть?

П Я Т А Я Г Л А В А

1

Все волновало в эти годы! Большое дело - одержать победы на всех фронтах, разбить армии Май-Маевского, Сидорина, Врангеля, уничтожить Колчака, выгнать Пепеляева, разбить в пух и прах Пилсудского, вернуть стране леса и степи, города и долы... Но как только образовалась передышка, так обнаружилось столько неотложных нужд, столько сложностей, затруднений!

Об этом велись нескончаемые беседы на квартире Михаила Васильевича Фрунзе, в бытность его в Харькове на посту командующего всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма. Да и о чем только не велись там разговоры!

Григорий Иванович Котовский частенько наведывался в Харьков. Приезжал он не только по долгу службы, но и по личному влечению к семейству Фрунзе.

- Много вопросов накопилось, - оправдывался Григорий Иванович, появляясь в приветливом доме Фрунзе. - Да и соскучился о всех вас. Уж больно хорошо чувствуешь себя в вашем доме!

- Говори прямо: захотелось сибирских пельменей отведать! - смеялся Михаил Васильевич, радушно встречая гостя.

Удивительное дело: были они большие друзья, по своему складу подходили друг к другу, но, как ни настаивал Фрунзе, чтобы они перешли на "ты", как ни договаривались об этом, даже пили на брудершафт со всей подобающей церемонией, Котовский снова сбивался и называл Фрунзе на "вы", а Фрунзе, раз навсегда признав Котовского верным другом и полюбив его, не мог к нему обращаться иначе как на "ты", что вызывало много шуток и добродушных пререканий.

- Я же понимаю, - подмигивал жене Фрунзе, - ты, Григорий Иванович, не можешь иначе: ведь я как-никак начальство!

- Не в том дело, - возражал Котовский. - Уважаю я вас. Уж на что, кажется, я не тихоня, но не получается у меня. Я вот старше вас на четыре года, а вы мне представляетесь ровно бы старше меня - старшим братом, учителем...

- Довольно вам объясняться в любви, - смеялась Софья Алексеевна, всегда улыбчивая, всегда нарядная, как будто и не возилась целый день то с ребятами, то у плиты. - Пельмени остынут!

Даже и в этом очень сходны друзья: как у Котовского, так и у Фрунзе не переводятся в доме люди - приезжие и местные, старые и молодые, сослуживцы и знакомые. Часто наведывались Федор Федорович Новицкий и Сергей Аркадьевич Сиротинский. Бывал и

Фурманов.

Так же, как и Котовский, они души не чаяли во Фрунзе и были закадычными приятелями его детей - бойкой Танюшки и солидного, серьезного Тимура. И когда выпадали коротенькие минуты отдыха, в доме царило согласие, щебетали дети, звучал раскатистый смех. Так хотелось, чтобы дети не знали передряг, опасностей, трудностей, с какими сталкивались их отцы!

Командиры, знававшие посвист пуль и грохот орудийной пальбы, сами становились детьми. Начальник штаба Новицкий великолепно изображал слона. Сиротинский с неподражаемым искусством мяукал. И кто бы сказал в этот момент, что солидный усатый папа - это и есть командующий всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма! Тимур, восседая на его плечах, был глубоко уверен, что это не папа, а самолет, на котором Тимур мчится в заоблачные выси...

- Осторожнее! - кричала Софья Алексеевна. - Вы всю посуду у меня перебьете!

Не забывали завернуть к "Арсению" и старые товарищи по Иваново-Вознесенскому подполью. Тут начинались восклицания, споры, все говорили враз, смеялись до слез, что-то доказывали...

- А помните, как миллионщик Гарелин на тройке гонял на масленицу? С гармошкой!

- Миллионы аршин тканей изготовляли рабочие - и ни одного аршина для себя!

- Михаил Васильевич! Губком, кажись, помещался в двухэтажном кирпичном здании на Михайловской улице?

- Там. А штаб военного округа в бывших палатах фабриканта Зубкова...

- Помните нашу подпольную типографию?

- А наши собрания за рекой Талкой? Мы их называли университетом!

- А помнишь, Миша, как ты любил квашеную капусту? Бывало, как заглянешь к нам, бабка Пелагея сразу лезет на погреб, чтобы попотчевать тебя!

- Ну, наш истпарт заработал! - заглядывала Софья Алексеевна. - Чай подан, учтите. Наикрепчайший.

Часто присоединялся к этой компании Котовский. И тогда непременно заставляли его рассказать о том, как он организовал отряд мстителей, как совершил побег с каторги, как выбрался из железной башни Кишиневской тюрьмы, как ворвался в Одессу, занятую белогвардейцами, как истребил тютюнниковскую банду.

- Ух и ненавидят же тебя во вражеском стане! - с удовольствием отмечал Фрунзе.

- Если враг люто ненавидит, значит, ты правильно действуешь. Верный признак!

- В царское время его выдавали за разбойника с большой дороги, в гражданскую войну старались замалчивать его заслуги, изображали каким-то батькой-партизаном, анархистом типа Махно... Не любят честолюбцы чужой славы!

Котовский, увлекшись, рассказывал одну историю за другой. Фрунзе ласково смотрел на своего любимца. В заключение Котовский обязательно приводил любимое изречение: "Остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга!"

Доходила очередь до Фрунзе. Но как только он принимался рассказывать о камере смертников, о каторжной тюрьме, тотчас появлялась Софья Алексеевна:

- Пелевельнем? - с лукавой улыбкой спрашивала она мужа.

И если кто-нибудь из присутствующих не знал еще происхождения этого "пелевельнем", ему спешили сообщить.

Дочери Танюшке Софья Алексеевна читала на сон грядущий сказки. Когда девочка стала подрастать, Софья Алексеевна придумала не столь редкий воспитательный прием, к которому любят прибегать молодые матери. Она вкладывала в книжку написанный ею листок, в этой самодельной сказке описывалась некая русоголовая девочка... не Таня, а Тамара или Тася. Из дальнейшего содержания сказки выяснялось, что эта самая Тамара или Тася, подозрительно смахивающая на Танюшку, не слушалась маму, разбила чашку, бегала по садику без пальто и могла простудиться... Наконец терпение слушательницы исчерпывалось. Танюша, хитро поглядывая на мать, мусолила пальчик и предлагала:

"Пелевельнем?" - то есть: перевернем эту страницу, где такие противные намеки и такие прозрачные описания.

Это "пелевельнем" вошло в обиход и имело большой успех в семействе Фрунзе. Когда требовалось переменить нежелательную тему, закончить неприятный или утомительный разговор, кто-нибудь из домашних предлагал:

- Пелевельнем!

И тогда общая напряженность рассеивалась, все улыбались и, весело балагуря, шли пить чай.

Хорошо, необыкновенно хорошо дышится в семье Фрунзе. Друзья, соратники Михаила Васильевича любят бывать у него. Даже совсем посторонние люди стараются под каким-нибудь предлогом побывать у Фрунзе и свести с ним знакомство.

2

Местный старожил, профессор-историк Зиновий Лукьянович Кирпичев начал с того, что попросил какую-то книгу. Затем пришел, чтобы ее вернуть. Затем просто зашел "на огонек".

- Книгу-то я у вас брал только ради предлога, чтобы свести знакомство со столь выдающейся личностью, - признался он. - В университетской библиотеке у нас, если угодно знать, давненько перевалило за сто пятьдесят тысяч томов, да и моя личная библиотека - может, когда поинтересуетесь? тоже не из последних.

Кирпичев при этом пристально поглядел на Михаила Васильевича из-под мохнатых седых бровей и отрывисто спросил:

- Командующий всеми Вооруженными Силами Украины и Крыма? Уполномоченный Революционного Военного Совета Республики? Так я понимаю?

- Так, - подтвердил Фрунзе, с любопытством наблюдая посетителя и не понимая, куда он клонит.

- Всеми вооруженными силами! Всеми! Надо же! Простите, я штатский человек... Такое звание ведь будет куда выше звания харьковского губернатора?

- То совсем иное.

- Но масштабы-то, масштабы несоизмеримы? Я к тому, что мы сидим, как ни в чем не бывало, разговариваем, и чаю вы предложили... А князь Оболенский... да разве можно было помыслить... Я к нему как-то обращался по поводу университетской библиотеки... Боже милостивый, какая помпа!

- При чем же тут Оболенский?

- Как при чем? Очень даже при чем! Когда Оболенский был харьковским губернатором, он задавал такого фасону! Принц! Да что там принц! Падишах! Фараон египетский! Надо, впрочем, признать, что внешность его импонировала. Порода!

Кирпичев был многословен. Это была уже старческая болтливость. Сейчас ему до смерти хотелось рассказать о князе Оболенском. Фрунзе понял, что это непредотвратимо, примирился, уселся поудобнее и принялся за чай, поглядывая то на рассказчика, то на стенные часы, висевшие над головой Кирпичева.

- Да, да, я вас слушаю. Так что же этот Оболенский?

- Я тогда вел уже кафедру. Речь идет о памятном девятьсот пятом. Время, как известно, было смятенное. В городе забастовки, в деревне бунты. Подъезжают, к примеру, мужики к одной тут помещичьей усадьбе. Я и помещика этого знавал - Красильников Петр Евграфович. Лошадьми славился. Вызывают барина: "Как, барин? Может, тихо-мирно, без скандала поделишься хлебом? У тебя много, у нас всего ничего". А барин - известно, барин. Сразу на дыбы: "Частная собственность священна! Частная собственность неприкосновенна! Кесарево кесарю!" Представляете? "Значит, не будет твоего согласия? Так надо понимать? Тогда вот что, барин. Попусту времени не трать, запрягай своих чистокровных - и с богом к чертовой матери, чтобы, не ровен час, не вышло хуже". Что помещику остается? Сел в тарантас - и к губернатору, жаловаться. Мужики тем временем замки посшибали: "Пользуйся, православные!" Кто сколько сдюжил, столько и на воз нагрузил. А ненавистную

усадьбу с четырех концов подпалили. Пока мужики по деревням разъезжались, светило им зарево, будто путь указывало, чтобы не сбились.

Все это Кирпичев передавал в лицах, то вскакивая, то опять усаживаясь. Он размахивал руками, изображая то помещика, то бунтующих мужиков.

Фрунзе слушал уже с интересом и больше не поглядывал на часы.

- Да вы, оказывается, занятный! Что бы вам записать все это, так сказать, в назидание потомству?

- У меня и записано. Так разрешите продолжать?

- Прошу вас!

- Прошло несколько дней. И вот в деревни Харьковщины двинулось войско. Маршировали солдаты, скакали казачьи сотни. Было немало и полиции. Возглавлял это войско харьковский губернатор князь Оболенский, потомок князей Оболенских, служивших в свое время и дипломатами, и сенаторами, как изволите помнить. Его предки принимали участие в Куликовской битве, шутка сказать - в Куликовской битве! Его сородич был декабристом, сосланным на каторжные работы. Почетно? Не правда ли? Величественно? А этот бесславный отпрыск вымирающего рода шествовал во главе войска - куда? - усмирять мужиков! А? Характерное падение нравов? Какова деградация?

Кирпичев перевел дух и продолжал:

- Двух-трех расстреляли: речисты. Остальных - розгами, подряд, без разбору, стариков и детей, почтенных отцов семейств и захудалых свинопасов. Князь неизменно присутствовал при экзекуции. Он был любитель сильных ощущений. Приговаривал: "Это тебе тридцать плетей, мерзавец, чтобы не грабил. А еще тридцать - это уж от меня на память, дружище, не обессудь!" Такой шутник был! Словом, что называется, по когтям и зверя знать! Не все выдерживали, случалось, запарывали насмерть. Был в наших краях музыкант и песенник, такой разудалый хлопец Сашко Коваленко, - так наложил на себя руки от позора после порки. Чтобы особо позабавить его сиятельство, хватали девушек на селе, погано хихикая, волокли их к месту расправы, раскладывали, как полагается, на скамье и с особенным рвением полосовали и секли. Попалась в их руки Маруся, кареглазая, складная, сильная, как говорится, кровь с молоком и гордячка страшная, не подступись. Я знавал ее, мы на то село на летние месяцы отдыхать приезжали. Схватили Марусю казаки, приволокли, да как глянула она на них да повела бровью - стало казакам не по себе, жалость заговорила. Пристало ли такую красоту писаную губить? Да лучше самому согласиться, чтобы наказали плетьми, только бы пощадить Марусю. Прикрикнуло начальство, нечего делать, приступили к экзекуции. Только князь Оболенский живо заприметил, что замахиваются казаки свирепо, а бьют только для видимости, все норовят по краю скамейки удар нанести. Я вам не буду приводить точные слова князя, но смысл их был тот, что кого, мол, они щадят: изменников царя и отечества. Он-то по-другому выразился, совсем даже неприлично. Выхватил плетку у казака да и давай хлестать. По чему попало. Все даже отпрянули, хотя и зверье оголтелое, а страшно им было на князя смотреть.

Кирпичев замолчал. Видимо, он и по сей день остро переживал эти давние события.

- Ну вот и все, что я имел вам доложить, - прибавил он устало. - Это все факты, милостивый государь, тут ничего не выдумано.

- Забил насмерть девушку?

- А как же? Сам стал на себя не похож. Лицо перекосилось, хрипит... Офицеры заметили, что с ним неладно, еле оторвали, увели, в постель уложили. Ну ничего, постепенно князь отошел. Даже шутить изволил. А на другой день побрился, подушился и отбыл в Петербург. Там на торжественном обеде господин фон Плеве передал ему от царя орден и поцелуй, так что труды его не пропали даром. Что касается мужиков, то у них остались, так сказать, хорошие воспоминания... Среди сородичей Сашко, свояков, братенников, вряд ли кто испытывал после всего этого нежные чувства к царю-батюшке и шутнику-князю. Не эти ли сородичи в семнадцатом повернули штыки против? Не они ли в восемнадцатом партизанили в тылах Деникина?

- Да-а, - подхватил Фрунзе, - пришли коммунисты и помогли петрам и гаврилам разобраться, где враг, где друг. Взяли тогда петры да гаврилы винтовки и стали гнать взашей оболенских и компанию. Командование фронтом поручено было Александру Ильичу Егорову. Он прежде всего направил рейд конницы в тылы противника. Ну, они там дали жару! Примаков со своей бригадой червонного казачества ударил по корниловской и дроздовской дивизиям, Буденный уничтожил отборные кавалерийские корпуса Мамонтова и Шкуро... Вот какие дела тут происходили. Славные дела! Так что господа оболенские только где-нибудь в Париже опомнились.

Фрунзе смотрел, посмеиваясь, на профессора. Кирпичев нахохлился. Он, по-видимому, вдумывался, соразмерял.

- Я штатский человек, Михаил Васильевич, - произнес он наконец, - но усваиваю все вами сказанное. Раньше я не очень-то разбирался. Вы знаете, когда получаешь более чем скромный паек, с большим трудом добываешь сырые дрова, испытываешь все неудобства, если можно так выразиться, исторически сложившегося переходного периода, то не сразу охватишь умом, что к чему и чем кончится. А сейчас немножко кумекаю. Тут и вы помогли... Но ведь я не рассказал вам конца моей истории.

- О князе Оболенском?

- Да-да. Сделаю необходимое пояснение. Мы с семьей предпочитали летний отдых проводить не на курорте, а в деревне.

- Вы об этом упоминали.

- Разве? И рассказал, что у матери этой самой несчастной Маруси мы покупали кур, сметану, брали молоко?

- Ну и что же об Оболенском?

- Повторяю, я штатский человек. Но как не быть в курсе событий, если назавтра может начаться сражение на той самой улице, где вы живете? Врангель. Это имя вам кое-что говорит. Врангель двигался на Харьков. В вагоне на станции Харьков находился, как изволите помнить, штаб Южной армии - вот еще когда надо было познакомиться с вами!.. Однако у вас на лице нетерпение. Надоел? Но без этого экскурса в прошлое непонятен мой рассказ. Буду краток. Казачьим войскам делает смотр сам барон Врангель. Его свита проезжает вдоль выстроенных казачьих полков. Все торжественно. А среди казаков тот самый хлопец, что пожалел когда-то Марусю и только делал вид, что ее бьет. И видит этот казак и глазам своим не верит: во врангелевской свите скачет на коне его сиятельство князь Оболенский! Я не писатель и не в силах изобразить душевного потрясения этого человека. В общем, он вскинул карабин, выстрелил, и мертвый князь Оболенский повис одной ногой в стремени, тем самым оборвав генеалогическое древо княжеского рода, ведущего исчисление от князей черниговских.

- Это любопытно, - согласился Фрунзе, - не знаю только, насколько правдоподобно.

- Видите ли... - замялся профессор. - При всей этой драматической сцене присутствовал мой сын, тоже в числе врангелевской свиты.

- А-а! - только и мог произнести Фрунзе, никак не ожидая такого признания.

- Но если сын за отца не ответчик, - поспешил добавить Кирпичев, - то и отец за сына - тоже?

- Так он вам и рассказал о конце Оболенского?

- Так точно! - почему-то по-военному ответил Кирпичев.

- Да-а, - в раздумье произнес Фрунзе, - смятенное время! Всякое бывает!

И не стал расспрашивать, каким образом сын профессора очутился у Врангеля и какова его дальнейшая судьба.

Кирпичев стал часто бывать у Фрунзе, и вскоре все уже знали и то, что Зиновий Лукьянович любит крепкий чай, и то, что Зиновий Лукьянович тридцать лет безвыездно живет в Харькове, и даже то, что вот уже давно пишет он труд "Харьковский университет, его настоящее и прошлое". Впрочем, в этом труде, как можно было догадаться, содержались не только подробнейшие и прескучные сведения о бюджете университета, о том, в какие

годы кто читал там лекции, о том, что Харьковский университет основан в таком-то году, что из стен alma mater вышли филолог Потебня и историк Костомаров, но и о городе Харькове вообще, о его прошлом, настоящем и множество сведений, совсем не относящихся к университету и даже к Харькову.

Узнав, что бывающий у Михаила Васильевича страшно худой и необычайно подвижный Фурманов - писатель, Зиновий Лукьянович проникся к нему особенным уважением, даже показывал ему главы своего сочинения и советовался, куда предложить свой труд для опубликования.

- Дмитрий Андреевич, - доверительно говорил он, отводя Фурманова в сторонку, - уж кто-кто, а мы-то с вами понимаем, что по нынешним временам напечататься - не легче, чем слетать на луну. Сейчас в моде, говорят, устные выступления в кафе, даже есть название: кофейный период литературы.

Фурманов уверял его, что количество выпускаемых книг возрастает и каждая полезная книга найдет своего, издателя.

- Вам легче, - вздыхал Кирпичев, - у вас в "Чапаеве" какие-нибудь триста страниц, а в моей монографии уже сейчас наберется за тысячу...

В общем, Кирпичев не мешал своим присутствием, но и не привлекал внимания. Рассуждения его были старомодны, слог выспрен и витиеват, но, когда он начинал рассказывать про старину, слушали с интересом. Он помнил все названия, все имена, даже кто был игуменом в старинном Покровском монастыре на высоком берегу реки Лопани, даже сколько сажен высоты колокольня Успенского кафедрального собора, даже что харьковский пассаж завещан городу неким Пащенко-Тряпкиным.

3

Котовский и на этот раз, как всегда, ехал к Фрунзе с целым рядом дел и нуждавшихся в согласовании вопросов. Поезд приближался к Харькову. Котовский подошел к окну и смотрел на мелькающие мимо белые хаты, стада гусей, курчавые перелески.

Обычно он в дороге старался все продумать и подготовить для доклада Михаилу Васильевичу. Из вагона он вышел сосредоточенный, все еще соображая, не забыл ли чего.

- Григорий Иванович!

Оглянулся и увидел знакомую фигуру Сиротинского, всегда подтянутого, бодрого и всегда в отличном расположении духа.

- Сергей Аркадьевич! Вот встреча! К нему?

- Ясное дело. Вы тоже?

- Разумеется.

- Какой же план действий составим?

- Сначала в гостиницу, потом в парикмахерскую и затем прямиком туда.

- Прекрасно разработанная экспозиция! Вперед!

Котовский глянул вокруг. Привычная, давно знакомая картина: рельсы, рельсы, бесчисленное количество железнодорожных путей, там и здесь помигивают зелеными огоньками светофоры, где-то с характерным треском переводятся стрелки, маневровые паровозы гукают, шипят, переговариваются на своем железнодорожном языке со сцепщиками вагонов и медленно волокут куда-то далеко-далеко нескончаемые вереницы цистерн, ледников, платформ, груженных сеном, углем, какими-то чугунными колесами, пиленым лесом и кругляком...

- Хорошо! - широким жестом охватил все это Котовский. - Куда лучше, чем были бы они нагружены походными кухнями и всяким военным скарбом!

- Да, неплохо, - согласился Сиротинский, кидая рассеянный взгляд на промасленное, прокопченное, исполосованное рельсовыми путями пространство узловой станции. - Только надолго ли такая перемена?

И обоим вспомнились фронты, воинские эшелоны, горячие схватки за овладение каждым перелеском, каждой водокачкой, каждым селом. Сиротинский, так же как и Котовский, провел все эти годы на войне, работая с Фрунзе. Только последнее время служил

в Москве, в Народном Комиссариате по Военным и Морским делам. Жил довольно оседло и тихо, но по-прежнему сохранял с Михаилом Васильевичем самые близкие отношения. В доме Фрунзе его любили и иначе не называли как "Сережа", "наш Сереженька" или "Сереженька Аркадьевич".

Побритые, свежие, благоухающие одеколоном, оба появились у Фрунзе и были встречены дружными приветствиями. С некоторыми из гостей они встречались впервые, но большей частью это были старые знакомые, в основном военные. А вот и редкий гость - брат Михаила Васильевича Константин Васильевич, доктор по профессии и страстный шахматист. Завидев Сергея Аркадьевича, он радостно закивал, тотчас же перешепнулся с ним, и они уютно уселись в уголочке за маленьким круглым столиком перед шахматной доской.

- Как проходил шахматный турнир с Михаилом Васильевичем? - деловито спросил Сиротинский.

- Три ноль в его пользу, - пробурчал Константин Васильевич. - Но одну партию не признаю: я зевнул королеву.

Котовский любил бывать у Михаила Васильевича и чувствовал себя здесь как дома. Увидев, что собралось много народу и что деловые вопросы придется отложить до завтра, он, едва перебросившись двумя-тремя словами с хозяевами дома, дал увлечь себя в сторонку Фурманову.

Фурманов приехал на этот раз не один, с ним прибыли два московских писателя из РАППа, и Фурманов поспешил их представить Котовскому.

Оказывается, у Фурманова была затея и привез он своих коллег не случайно. У них неоднократно возникали споры о значении литературы, о писательском деле, о том, как нужно писать и о чем нужно писать. Один из рапповцев, хмурый и молчаливый, одетый неказисто и принципиально не носивший галстука, писал на какие-то заумные темы и отрицал все, что только можно отрицать: сюжет, технику, стиль, идейный замысел. Другой длинный, жилистый и худой - жаловался на бестемье и погряз в задуманной им трилогии из жизни монастырей, причем никак не мог справиться даже с первой частью.

Фурманов ругался с ними:

- Если в наше время нет тем, тогда я уж не знаю, что и говорить! Да вы оглянитесь, товарищи, среди каких людей мы живем, какие дела у нас творятся! Сюжеты просто под ногами валяются! Остановите первого встречного на улице - и пишите о нем роман.

- Да ведь нетипично все это, - пробовали защищаться оба. - Где стержень? Ты подай стержень, чтобы было за что ухватиться!

- Очень часто случается, что писателю хочется поглядеть со стороны, чтобы понять. Нельзя со стороны! Лезьте в самую гущу! - горячился Фурманов.

- Во время войны, - вздохнул тот, что пытался создать трилогию, - там действительно были... того-этого... ситуации... А сейчас? Мертвый штиль!

- Я еду в Харьков, - сообщил им Фурманов. - Хотите, покажу вам людей, да таких, что о каждом можно по книге написать - и не уместится! Например, Новицкий... Представляете - бывший царский генерал...

- Ну-у! Загнул! Это для плаката! - воскликнул первый.

- Новицкий? Что-то не слыхал... - промямлил второй.

- Хорошо, а, скажем, о Фрунзе слышали? О Котовском слышали?

- Это что - военные? Так ты же "Чапаева" написал! Что тут добавишь?

Фурманов забрал-таки с собой обоих, привез в Харьков, познакомил с Михаилом Васильевичем и был страшно возмущен, что Михаил Васильевич не произвел на них особенного впечатления: "Человек как человек".

До чего же обрадовался Фурманов, когда вдруг появился Котовский!

"Если уж и этот не произведет на них впечатления, с его колоритной фигурой, с его обаянием, тогда я просто разочаруюсь в этих парнях!" подумал Фурманов со свойственной ему экспансивностью.

Между тем народу все прибывало. Сначала пришли два молоденьких краскома, - свежеиспеченных, как отрекомендовал их Фрунзе. Вслед за ними появился Новицкий.

- Полный кворум! - смеялся Фрунзе. - Только Зиновия Лукьяновича не хватает! - и послал за Кирпичевым одного из свежеиспеченных краскомов.

Кирпичев не заставил себя ждать. Перезнакомившись со всеми, кого еще не знал, он быстро включился в общий разговор, и вскоре все присутствующие узнали от смешного, взъерошенного профессора, что на месте Харькова когда-то было "дикое поле", что еще на памяти отца Зиновия Лукьяновича по главным улицам города из-за непролазной грязи не могли проехать экипажи и знатных горожанок на закорках переносили лакеи, что каменный драматический театр здесь построен в таком-то году, а тюрьма - в таком-то...

Упоминание о тюрьме привлекло внимание Котовского.

- И что, хорошая тюрьма? - довольно добродушно спросил он.

- Преотличная! - с жаром воскликнул Зиновий Лукьянович и лишь тогда спохватился: вспомнил, что Котовский только что рассказывал о побеге из кишиневской тюрьмы, значит, тюрьмы напоминают ему не слишком-то веселые страницы его жизни. - Нет, я в том смысле, что историческая, - поправился он. - А так самая обыкновенная тюрьма и ничего из себя не представляет. Да и видел-то я ее только издали, во время загородных прогулок.

- Напрасно извиняетесь, - усмехнулся Котовский, поняв причину смущения Кирпичева. - Что было со мною ли, с Михаилом ли Васильевичем дело давнее. А сейчас тюрьмы предназначены для тех, кто мешает нам строить новую жизнь. И в харьковской тюрьме, вероятно, содержатся какие-нибудь белогвардейские зубры!

- А вы знаете, - воскликнул Фрунзе, с опаской поглядывая на жену, так как коснулся запретной темы, - недавно мы с Григорием Ивановичем установили, что в разное время сидели в одной и той же камере Николаевского централа! Вот и говори после этого, что не тесен мир!

4

Это восклицание Михаила Васильевича подало Фурманову мысль - устроить своего рода вечер воспоминаний. Редко бывает такая удача, чтобы было в сборе сразу столько интересных людей, так много переживших и перевидавших и большею частью тесно связанных между собой, можно сказать - однополчан, почти сверстников.

Фурманов сразу загорелся, стал с жаром доказывать, убеждать. Он и сам любил до страсти такие импровизированные задушевные беседы, а тут еще пришло столько молодежи. Да и надо же расшевелить собратьев по перу: пусть пройдут перед ними картины незабываемых событий, если и не напишут про Фрунзе, про Котовского, то хоть о монастырях перестанут писать!

Особенно Фурманова изумляло: вот жили два человека - Фрунзе и Котовский - у каждого своя судьба, свой совершенно необычный путь... и в то же время - такая общность! Котовский и Фрунзе... Очень разные, очень непохожие... Но одно у них бесспорное сходство: оба ненавидели царский строй, оба были деятельными, оба были борцами. Фурманову казалось, что, если провести две параллели, сопоставить обоих, сравнить, откроется нечто значительное. Может быть, это даст возможность сделать обобщения, глубже понять свершающееся вокруг? Может быть, поможет что-то уяснить?

- А что, товарищи? - настаивал он, поглядывая то на Фрунзе, то на Котовского. - Давайте попробуем? Повспоминаем? А? Ведь это очень интересно!

- Да разве можно в один вечер рассказать все? - возразил Фрунзе.

- Все и не надо. Можно только вехи наметить, - предложил Новицкий, которому понравилась затея Фурманова.

- Попробуем, увидим, что из этого получится!

- Ох уж эти писатели!

Углубленные в игру шахматисты, почувствовав, что намечается что-то интересное, записали, чей ход, и прислушались.

Фурманов умело и находчиво руководил беседой, а то и просто подсказывал, так как

отлично знал Михаила Васильевича, да и о Котовском слышал многое.

- Начнем с золотого детства! - конферировал он. - Михаил Васильевич! Я что-то запамятовал, как фамилия того студента, который подарил вам "Коммунистический манифест"?

Фрунзе, усмехнувшись, рассказал, как на почтовой станции, ожидая лошадей, он беседовал со студентом Затейщиковым и Затейщиков дал ему на прощание "Что делать?" Ленина и "Коммунистический манифест".

- Я был тогда гимназистом, безусым мальчишкой. И надо же было нам встретиться на этой почтовой станции! Как живой, стоит он у меня перед глазами - в потертой студенческой куртке, в видавшей виды студенческой фуражке... Помнится, он возвращался из ссылки.

- Позвольте! - вскричал Котовский. - Так и у меня был студент! Лохматый, со светлой курчавой бородкой, если только позволительно назвать эти клочки бородой. А фуражки у него не было, он круглый год без шапки ходил. Это я хорошо помню. Он курил махорку, а пепел сыпался ему на грудь. Он говорил, что не надо никакой власти. А потом мы устроили забастовку...

- Какую забастовку? - подал голос Зиновий Лукьянович. - Это школьники-то? Что-то у вас не сходится...

В нем заговорил педагог.

- Школьники! А что ж такого? Мы решили устроить забастовку в знак протеста против грубости надзирателей. И тогда обо мне было сообщено в кишиневское жандармское управление. Надо сказать, что с полицией у меня всегда были нелады. В тысяча девятьсот втором-третьем годах я успел уже два раза посидеть в тюрьме.

- А я в первый раз был арестован в тысяча девятьсот четвертом, подхватил Фрунзе. - Меня выслали. Но девятого января тысяча девятьсот пятого года я очутился на Дворцовой площади. Сколько лет прошло, а у меня до сих пор звучат залпы, это царь стрелял по безоружному народу. Возможно, я именно тогда понял, что народу нельзя быть безоружным. Еще бесспорней это стало для меня, когда я оказался на пресненских баррикадах.

- Но помнится, - не утерпел Фурманов, - вы тогда прибыли в Москву из Иваново-Вознесенска и ваш отряд был неплохо вооружен?

- Смитт-вессонами? Против пушек и пулеметов? С тех пор вот уже лет двадцать я только и трощу: дайте нам оружие, нельзя сражаться голыми руками! Некоторые утверждают, что мы не должны отставать от капиталистического мира. Нет, друзья! Мы должны быть впереди! И здорово впереди! Настолько впереди, чтоб они, голубчики, запыхались догоняючи, да так и не догнали! Только тогда мы можем быть спокойны.

Фрунзе, затронув эту животрепещущую тему, заговорил горячо, взволнованно и тотчас увидел, что в дверях появился верный страж и ангел-хранитель - любящая, заботливая Софья Алексеевна. Она с тревогой смотрела на него, вот-вот готовая произнести свое табу: "Пелевельнем?" Фрунзе сделал ей успокоительный знак - дескать, можешь не беспокоиться - и продолжал.

- Вы, кажется, улыбнулись, Дмитрий Андреевич? - спросил он Фурманова, хотя тот и не думал улыбаться, а улыбался скептически Зиновий Лукьянович. - Вам странно, что я говорю о нашем превосходстве над капиталистическими странами, когда мы еще очень отсталы и очень бедны? Но вспомните - еще на Восьмом Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич говорил, что мы догоним и обгоним капиталистов, что Россия покроется густой сетью электростанций, мощным техническим оборудованием и станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии. Образцом! Понимаете это слово? И это говорилось в двадцатом году, когда еще не рассеялся пороховой дым! А сейчас, слава богу, двадцать третий! И если так говорил Владимир Ильич, значит, так и будет. Владимир Ильич в прогнозах не ошибается!

- Что верно, то верно! - крякнул от удовольствия Новицкий.

Фрунзе отхлебнул глоток уже остывшего чая и закончил еще одной справкой:

- На Генуэзской конференции, как вы знаете, мы предложили всеобщее сокращение

вооружений. Предложение, казалось бы, разумное: к чему тужиться, кто больше наизготовляет пушек, кто больше истратит средств? Давайте, говорим, сбавим пыл, произведем сокращение в определенной пропорции. Батюшки, какой вой подняли господа империалисты! Ни в какую! Они же считали себя куда сильнее нас, а самой их заветной мечтой было уничтожить нас! Интересно, какую песенку они запоют, когда мы будем несоизмеримо сильнее их? А мы будем! Можете не сомневаться, товарищи! Помяните мое слово!

Тут Фурманов не выдержал и стал бурно аплодировать. Это смутило Михаила Васильевича, он замахал на Фурманова руками, сел и стал сосредоточенно пить чай.

Оба рапповских писателя молчали. Но смотрели пристально и как-то сразу на все, до мелочей.

А Фрунзе неожиданно без уговоров заговорил снова:

- Только в исторической перспективе будет понято все значение ленинского учения и грандиозность всего свершенного Ильичем. Мы, современники Ленина, просто очень-очень любим Ильича, понимаем, что вывел он нас на широкие просторы, и все силы прилагаем, чтобы дело революции подвигалось быстрее.

Фрунзе говорил тепло и как-то очень душевно. Он поведал о том, как делегаты на Стокгольмский съезд партии зафрахтовали плохонький буксир в Финляндии и отправились в путь и как чуть не утонули...

- Можете себе представить, с каким волнением вглядывались мы в пеструю толпу на пристани, когда приближались к Стокгольму! И сразу же узнали Ленина. Ленина трудно не узнать. Он удивительно самобытен. Очень русский и вместе с тем всечеловеческий, всеземной. А до чего различны поведение меньшевиков на съезде с их мелкой суетней и целенаправленность Ильича, ставившего вопросы резко и прямолинейно!

На секунду Фрунзе задумался, припоминая. Серые глаза его устремлены куда-то вдаль. На высоком чистом лбу обозначилась строгая морщинка.

- Да... Ильич... Какие мы счастливцы, что являемся современниками Ленина!

Миг раздумья, сосредоточенного взгляда в себя. И снова перед всеми Фрунзе-рассказчик.

- Когда Владимир Ильич стал расспрашивать меня об Иваново-Вознесенске, о настроениях рабочих, о Пресне, я ему высказал свои огорчения по поводу недостаточности нашего вооружения и нашего опыта в военном деле. Владимир Ильич изумил меня полной продуманностью этого вопроса: "Анти-Дюринг" читали? У Энгельса прямо говорится, что революционер должен владеть военными знаниями". И Ленин дал мне указание изучать военную науку, готовиться: мы должны воевать лучше тех, с кем придется скрестить оружие.

- И разрешите мне докончить мысль, намеченную Михаилом Васильевичем, - поднялся с места Новицкий. - Жизнь показала, что установка Ленина нашла свое воплощение. Разразившиеся бои с белыми армиями, с армиями интервентов выявили незаурядные военные таланты. И вы, Михаил Васильевич, не машите на меня руками, не поможет. Я все-таки не какой-нибудь случайный человек в военном деле, кое-чему учился... А с вами с первых шагов находился рядом, в качестве начальника штаба, поэтому и суждения мои обоснованны, и, думаю, никто не заподозрит меня, так сказать, в угождении начальству...

Раздался веселый смех. Выслушав несколько протестующих возгласов и несколько дружеских острот, Новицкий продолжал, обращаясь главным образом к молодым командирам и к товарищам Фурманова - рапповским писателям:

- Вероятно, не все знают, что Михаил Васильевич с первых же дней своего командования армией, то есть, значит, сразу начав с такой головокружительной карьеры, которая по старому времени приходила только к концу жизни военного деятеля, - он с первых же дней выступил в полном смысле слова блестяще, обнаружив военное дарование, по активному ведению операций напоминающее Суворова...

- Федор Федорович! - простонал Фрунзе. - Честное слово, такие пышные речи уместны только на юбилее! Подождемте хотя бы, когда мне исполнится семьдесят лет! А мне и

сорока еще нет!

Однако Новицкий был доволен уже и тем, что успел высказать. Ухмыляясь и потирая руки, он преспокойно принялся за чай.

Все присутствующие оживленно разговаривали, образовались небольшие группки, отдельные островки, одни вспоминали, другие спорили, темы разделились на небольшие ручейки, кто рассказывал о Москве, кто вспомнил какую-то смешную историю... В уголке около круглого столика Сиротинский успел сделать шах огорченному доктору и забрать у него лишнюю пешку.

Фурманов подождал, не угомонятся ли все, затем постучал карандашом о краешек вазочки, взамен председательского звонка, и, начав говорить, увлекся и неожиданно для себя увел собеседование куда-то в сторону:

- Внимание! Товарищи! Хочется и мне сказать... Когда я работал над книгой о Чапаеве, я сознавал, что Чапаев, конечно, исключительная натура, это, если можно так выразиться, положительный герой нашего времени. Но я не могу отделаться от мысли, что не только Чапаев, но и каждый чапаевец был человеком-легендой. Разве Иван Кутяков или тот же Сизов - разве это не подлинные герои? Да и весь пугачевский полк, и весь разинский, и домашкинцы... А Иваново-Вознесенский полк, полк рабочих-ткачей? Не зря же белые прозвали его Ленинской гвардией! И какие чудеса на поле брани он вытворял!

- Fortes fortuna adjuvat! - счел уместным ввернуть профессор Кирпичев.

Федор Федорович Новицкий отличался необыкновенной деликатностью и всегда спешил прийти людям на помощь в затруднении. Так и на этот раз. Опасаясь, что не все присутствующие знают латинский язык, Новицкий так, словно нечаянно, сообщил перевод.

- Простите, Зиновий Лукьянович, - заметил он мягко, - вы привели латинскую пословицу, которая означает "храбрым судьба помогает". Но не думаете ли вы, что кроме храбрости и кроме судьбы в боях Красной Армии присутствовала еще полная убежденность в правоте? И что обнаружились блестящие качества наших полководцев?

- Конечно, конечно! - смутился Кирпичев. - Я именно это и имел в виду!

Фурманов нетерпеливо выслушал эту маленькую перепалку и продолжал:

- Я вот часто думаю: как суметь рассказать грядущим поколениям о буднях подвига, о непролазных дорогах, о тифозном бреде, о битвах, длившихся сутки подряд... о холодных шинелишках, о лужах крови, о сознании: пусть на смерть, а надо идти. Ради жизни. Как все это рассказать? Как дать почувствовать, что прославленные в веках воины - это живые, с плотью и кровью, люди, так же ощущающие боль, так же любящие жизнь, все ее радости... С вами не бывает такого: вдруг вспомнится человек, которого хорошо знал, с которым рядом шел по дорогам войны... Вспомнится отчетливо, ясно, так, что, кажется, рукой бы потрогал. Где он? Начинаешь напряженно припоминать, как же его звали? Из каких он мест? О чем с ним говорили? И вот из глубин памяти постепенно выплывает все... И как он рассказывал о семье, тосковал о родной деревне... Да, да! Все припомнил! Он убит под селением Татарский Кондыз, там были ожесточенные бои... Или нет? Под станцией Давлеканово, где огрызался корпус Каппеля?.. Вам понятно, о чем я говорю?

- Говорите, говорите дальше! - глухим голосом отзывается Котовский. Он понимает Фурманова! И в нем тоже неотступно, даже когда об этом не думает, живут образы погибших в боях: комиссара Христофорова, Няги, папаши Просвирина... и не только этих, но многих, многих, деливших с ним опасность и ратный труд.

- Не знаю, удалось ли мне это, но в своем "Чапаеве" я хотел выразить мысль, что подвиг - это совсем не значит красиво промчаться через поле, а затем принимать овации и улыбки. Подвиг - это большой труд, это служение народу, это опасность, борьба, напряжение всех сил во имя большой цели. Вот что такое подвиг. А Фрунзе и Котовский - пример этому. Вы, Федор Федорович, очень правильно, я считаю, сказали о Фрунзе. А еще ценнейшая черта Михаила Васильевича - умение выискать нужных людей, выдвинуть и смело на них опереться. Это, я бы сказал, чисто ленинская школа. И одной из таких драгоценных находок Михаила Васильевича является Котовский. Недаром у них такая дружба!

Фрунзе задумался и даже не слышал последних слов Фурманова. Надо было видеть его глаза в то время, как говорил Дмитрий Андреевич. Может быть, так смотрит художник на свое законченное произведение, на великолепный холст, в который вложено столько вдохновения? Последнее движение кистью, какая-то незаметная поправка - чуть усилен контраст, чуть изменен оттенок - и все. Художник отходит на некоторое расстояние и долго придирчиво вглядывается. Кажется, хорошо. Больше он не в силах что-нибудь добавить. И тогда сам, как требовательный зритель, окидывает взглядом творение в целом. Вот минута, когда он получает самое большое удовлетворение. Его охватывает восторг, трепет, вместе с тем он испытывает отдохновение, и тут же терзают опасения: дойдет ли? Понятно ли изложил он замысел? Будет ли это так же волнующе для тех, для кого весь этот неистовый труд - для людей?

Фурманов только что говорил, что он, Фрунзе, выискал Котовского. А Фурманова? Ведь это относится и к Фурманову! Фурманова заприметил Михаил Васильевич еще в Иваново-Вознесенске, в 1918 году. Михаилу Васильевичу сразу понравился нетерпеливый юноша с приятным открытым лицом.

Фрунзе-пропагандист придерживался того взгляда, что, конечно, полезно выступать перед большой аудиторией, но это не исключает кропотливой работы с несколькими, может быть, даже с одним, заслуживающим того человеком. Выпестовать одного деятельного человека - стоит для этого потрудиться!

Фрунзе проверял Фурманова на работе, давал ему серьезные ответственные поручения. От Фрунзе Фурманов получил рекомендацию в партию. И Фурманов никогда не заставил своего рекомендателя раскаяться в этом. Какой человек-то получился! И какой обнаружился у него литературный талант! Сейчас он секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей, вершит большие дела!

"Вот только худой очень, - озабоченно разглядывал Фрунзе своего питомца. - Вон какая тонкая шея, какие синие жилки... Наверное, работы прорва, а питается плохо... А эти двое, тоже писатели, ничего, кажется, народец... Не важничают, слушают..."

Между тем Фурманов снова вернулся к своему замыслу:

- Мы все время отвлекаемся, товарищи, в том числе и я. Но я ведь очень упорный, спросите об этом моих коллег, они знают. И я напомню вам, что мы решили сегодня осуществить. Котовский и Фрунзе. Два наших современника. Честное слово, это поразительно: живут два человека, живут в разных районах нашей страны, даже не встречаются до тысяча девятьсот двадцатого года, а сколько общего между ними! Вот вы посмотрите. Фрунзе уже с девятьсот четвертого года в партии и действует во всеоружии марксистских идей. Котовский тоже с оружием в руках вступает в бой с самодержавием. Арест. Каторжные работы и побег из Нерчинска. Он совершил побег в тринадцатом, а Фрунзе - в пятнадцатом году. Фрунзе оказался на военной службе под чужой фамилией. Котовскому заменили казнь и отправили на фронт, в маршевую роту. Оба очутились в армии. Оба приговаривались царским судом к повешению. Фрунзе был на подпольной работе в Иваново-Вознесенске. Котовский - в большевистском подполье Одессы. Фрунзе бьет колчаковские армии. Котовский освобождает Одессу. Фрунзе контужен на Восточном фронте. Котовский контужен в боях с белополяками. Меня просто изумляет такое сходство!

Фурманов, произнося эту речь, посматривал то на Котовского, то на Фрунзе: достаточно ли он разогрел их, чтобы вызвать на воспоминания.

Но, видимо, все уже устали. Софья Алексеевна явно боролась со сном. Шахматисты закончили партию и с шумом укладывали шахматы в коробку. У Фрунзе был утомленный вид. А профессор Кирпичев - тот попросту сбежал. Глянул на часы, ахнул и бочком-бочком выбрался в прихожую.

5

Тут и все начали прощаться. Котовский, поднявшись и делая знак Сиротинскому, чтобы вместе идти, все же не утерпел, чтобы не ответить Фурманову:

- Ваши сопоставления интересны, Дмитрий Андреевич, но, я бы сказал, все-таки у вас

перевес берет писатель над военным. Фантазия у вас разыгрывается. Допустим, что и я, и Михаил Васильевич сидели в царской тюрьме и оба мы сражались. На самом-то деле, разве это исключительные явления? Да кто действительно не сидел в царской тюрьме? И кто в наши дни не сражался? А если теперь на нас снова набросятся империалисты, у нас будет, как отметил товарищ Новицкий, талантливый, суворовской хватки полководец Фрунзе и немало красных командиров, в том числе и я. А я со всей ответственностью заявляю: создам такой корпус, такой корпус, от ударов которого не поздоровится врагу! Это будет грозная сила! Ручаюсь! Клянусь! Но, товарищи, когда-то хозяевам надо дать покой? А нас с Сиротинским того гляди не впустят в гостиницу ввиду позднего времени. Сергей Аркадьевич! Пошагали?

Вышли все вместе на улицу, полюбовались на ночное небо и разошлись группами в разные стороны - кто куда.

Фурманов и два писателя-рапповца направились прямо на вокзал. Долго они шагали молча, невольно умеряя шаги и стараясь ступать помягче, чтобы не нарушать тишину, - такое вокруг было удивительное безмолвие.

- Да, - произнес наконец тот, что принципиально не носил галстуков и отличался обычно молчаливостью, - люди большого масштаба, вероятнее всего, войдут в историю... а если так посмотреть - самые обыкновенные... и чай пьют... и ложечкой в стакане помешивают... и вообще...

- Хорошие мужики, что там говорить, - отозвался второй, - и чувствуется в них что-то такое...

Фурманов слушал их, чуть усмехаясь. Он уверен был, что оба они одаренные писатели, может, и толк из них получится. Надо только натолкнуть их, заставить задуматься, надо воодушевить, а главное - пусть смотрят, во все глаза смотрят и сердцем чувствуют.

Видно было, что оба еще не разобрались во всех впечатлениях новых встреч и новых явлений. Ведь Фрунзе как начнет рассказывать - не оторваться, захватит и поведет своими дорогами... А Котовский? Только поглядеть на эту силищу! От него невольно и сам заряжаешься энергией, самому хочется действовать, создавать, орудовать засучив рукава, вмешиваться в жизнь...

Фурманов бросал быстрые взгляды на своих спутников:

"Кажется, проняло их. Не могло не пронять. Не зря все-таки я привез их!"

- Исторических личностей, - продолжал развивать свою мысль тот, что не носил галстуков, - исторических личностей надо изображать монументально, без излишних подробностей. Ты не согласен?

Фурманов подбирал слова, чтобы ответить не слишком резко, но в то же время решительно. Ему хотелось сказать, что крупного масштаба люди обычно бывают просты, скромны, а ходульны только ничтожества, что народ почитает тех, кто ему служит всей душой, что большие дела совершаются зачастую внешне неэффектно, без фанфар...

Вместо этого он сказал:

- Видишь ли... В одном ты прав - это насчет перспективности: конечно, полностью оценят и поймут нашу эпоху только в дальнейшем, следующие поколения. Грандиозно все это, сразу не обозреть!

- А может быть, всегда так? Может, каждую эпоху оценивают позднее? осторожно заметил один из рапповцев.

- Я часто думаю, - заговорил второй, - вы только не придирайтесь к словам, мне очень трудно это выразить... Вот мы всегда говорим, что боремся ради светлого будущего, ради счастья наших детей... Конечно, для будущего! Но будущее-то никогда не переведется? Мы хотим, чтобы следующим поколениям жилось лучше, а как получится? Не придут ли у них новые беды? А? Могут ведь прийти?

- Что-то ты мудреное говоришь и даже сам запутался, - улыбнулся Фурманов. - Ну, ну? Будущее... И что же?

- Я только хочу сказать: мы боремся потому, что не можем не бороться. Так

повелевают наши убеждения. И в этом наше - не чье-то, а именно наше счастье. Вырастет новое поколение, и целью у него будет продолжение борьбы за устроение жизни. Значит, опять за лучшее будущее? Ведь так?

"Расшевелил, определенно расшевелил!" - подумал опять Фурманов, почти не слушая и не вникая, о чем его спрашивают. И сказал, следуя своим каким-то мыслям:

- В общем, довольны поездкой? То-то! Но мы уже пришли, и надо справиться, когда будет поезд.

Вышедшие от Фрунзе вместе с писателями Котовский и Сиротинский сразу же распрощались с ними, сказав, что им не по пути.

- Пройдемся немного, уж больно ночь хороша, - предложил Котовский.

И они пошли, звонко печатая шаги по харьковским тротуарам, с наслаждением вдыхая прохладу ночи и тихо переговариваясь.

Была та умиротворенная осенняя пора, когда воздух вкусен, как спелый арбуз, когда выпекают пышный хлеб из нового урожая, когда пахнет антоновскими яблоками, липовым медом и крепким взваром, приготовленным из сушеных груш.

Оба - и Котовский, и Сиротинский - полны были сил, полны желания созидать, устраивать жизнь. Все у них складывалось удачно, у обоих были широкие планы, точные и нужные дела и обязанности. Обоим нравилось жить.

- Как бы они к двухчасовому не опоздали, - прислушиваясь к отдаленным паровозным свисткам, сказал Котовский.

- Не опоздают, народ молодой.

Вокруг было то особенное настороженное молчание, какое наступает после шумного трудового дня. Улицы пустынны. Ни разговор редких прохожих, ни дребезжание пролетки где-то в переулке, ни сонное тявканье пса - ничто не нарушает торжественности наступающей ночи.

- А небо-то, небо-то какое! Все в звездах, как грудь старого вояки! залюбовался Сиротинский.

- Нет, для неба это все-таки обидно, - не согласился Котовский.

- Мне понравилось у Гёте: "Чтобы понять, что небо синее, не надо объезжать вокруг света". Теперь я как взгляну на небо, так вспоминаю эти слова.

- А я бы еще так сказал: чтобы понять, как прекрасна душа человека, достаточно побывать у Фрунзе.

- Это вы сами придумали?

- Не Гёте же...

Оба рассмеялись и вошли в подъезд гостиницы.

Ш Е С Т А Я Г Л А В А

1

Когда Марков и Оксана распрощались с Котовскими и сели в вагон, им сразу стало одиноко и сиротливо. Всю дорогу не проходило это чувство, и всю дорогу они были молчаливы.

Но вот и конец путешествия. Поезд остановился. Марков и Оксана вышли из вагона. Петроград!

Перрон был заполнен людьми. Маркова и Оксану подхватил общий поток. Все очень торопились, почти бежали, волоча чемоданы, узлы, баулы, разнообразнейшую поклажу, судя по напряженным лицам и вздувшимся жилам на руках, - тяжелую.

- Не отставай! - командовал Миша, устремляясь вслед за всеми.

Потоком людей их выхлестнуло на площадь. Серое небо, громадные дома, бесконечные улицы и проспекты... Жутко! Оба оробели и стояли, озираясь по сторонам. Вот он - Петроград!

Денек выдался кислый, вроде как собирался дождь, но все никак не мог собраться. Серый, каменный, гранитный - город казался в мутной дымке еще неразгаданней. Не поймешь, хмурится он или спокоен и безмятежен? И есть ли где-нибудь его окончание или

он тянется без конца? Что он сулит? Как примет?

Оба не знали, куда ехать, на чем ехать и далеко ли ехать, да и денег у них было не густо. Трамваи мчались в одну, в другую сторону, звякали, громыхали, выбивали электрические голубые искры, а на какой из них садиться - одному богу известно. Как будто еще продолжался перрон. Все та же бешено мчащаяся толпа, те же озабоченные лица, говор, спешка, суета. И полное безразличие к двум существам, которые стояли у стены и широко раскрытыми глазами смотрели на это столпотворение.

По их виду вокзальные завсегдатаи сразу определили, что им нужно.

- Довезем? - предложил хмурый дядя, громадный, заскорузлый, волосатый, похожий на лесного разбойника. Он так свирепо посмотрел, что они сразу согласились.

- Сампсониевский проспект, дом номер шесть, - робея сообщил Миша. - А сколько будет стоить?

- Не дороже денег! - прохрипел верзила и стал складывать пожитки на неказистую, сборной конструкции тележку: колеса - от тарантаса, кузов - из досок, нетесанных, сучковатых, - не кузов, а гроб для похорон по второму разряду.

Погрузив вещи, хмурый дядя с неожиданной прытью помчался вперед. Миша и Оксана ринулись за ним, стараясь не отставать. Тележка дребезжала, взвизгивала и подпрыгивала. Миша перебирал в памяти, что же у них ценного в багаже, но ценного ничего не оказалось. Были сушеные груши, их дала Оксане на дорогу квартирная хозяйка. Груш было довольно много, и это, пожалуй, самое существенное, что они везли. Было ли хотя бы одно одеяло? Нет, только перовая подушка, и то почему-то одна. Еще были Мишины тетради и два платья Оксаны... И все же это был багаж, и жалко было его потерять. Миша и Оксана мчались следом за этим Соловьем-разбойником, боясь потерять его из виду, и испуганно озирались на толпы прохожих, на нескончаемые вереницы домов.

"Неужели во всех в них живут? - мелькали тревожные мысли у Оксаны. Это сколько же получится народу?"

За всю дорогу не проронили ни слова. Миша и Оксана были подавлены, напуганы, ошеломлены, но Миша и виду не подавал. Он бодро шагал по тротуару.

Вступили на мост, очень красивый, с чугунными женщинами по перилам. Мост показался бесконечным, а Нева сразу понравилась и очаровала, спокойная, уверенная в своей силе. Пройдя мост, свернули влево и вскоре добрались до Сампсониевского проспекта, оказавшегося обыкновенным проспектом, как и все.

2

Вот он, дом. Шесть этажей, не как-нибудь! В таком и пожить интересно! На шестом этаже живет писатель Крутояров. Встретил радушно, действительно был в очках, как описывал Котовский, и действительно был небрит.

- Познакомьтесь. Жена.

Жена оказалась маленькой, щупленькой женщиной, похожей на птичку-невеличку.

Крутояров подумал-подумал и добавил:

- Стихи пишет. - И решил, что теперь-то уж жене дана исчерпывающая характеристика. - А это, - сделал он широкий жест в сторону величественного, толстого кота, - это Бен-Али-Оглы-Мурза-паша Первый, а сокращенно просто Мурза. Лодырь и обжора. Ну, вот вам и все наше семейство, в полном составе.

Квартира Крутоярова была просторна, даже, пожалуй, чересчур. Крутояров бродил по комнатам, как бурый медведь по мелколесью. Он еще не освоился с положением известного писателя и не знал, что делать с деньгами, со славой, со своими книжками.

Маркову с Оксаной отвели комнату - длинную, узкую и не слишком заставленную мебелью. Вскоре вошел к ним Крутояров.

- Ну как? Расположились? Все собираюсь купить мебель, да оно и так ладно, не в мебели счастье. Вот, почитайте. Книги. Я написал. Как там Григорий Иванович? Командует? Чудеснейший человечина, богатая натура и редчайшая душа! Что? Корпус формирует? Дело. Эх, давно надо бы к нему съездить, да никак не соберешься: суета.

Марков, рассказывая о Котовском, осторожно взял в руку книгу Крутоярова в зеленой обложке. "Перевалы". Должно быть, интересная! Оксана смотрела с уважением, она чувствовала, что видит нечто необычное, совсем необычное, здорово ей повезло, если она сама, своими глазами видит живого писателя!

Крутояров был вполне доволен впечатлением, какое произвел на эту симпатичную пару.

- Писатели бывают разные, - пояснил он. - Одни начинают хорошо писать только со временем, когда созревают, другие всегда пишут хорошо, третьи всегда плохо. Я, например, кажется, пишу хорошо, но как кому нравится. А это что у вас? Груши? Дайте-ка попробовать. Хорошие. Я еще возьму.

Марков и Оксана обрадовались, что ему нравятся груши.

- Берите еще, у нас много!

Жена Крутоярова, Надежда Антоновна, была приветлива, но слов произнесла мало, а если сказать точнее, два. Сначала, когда приезжих позвали к столу, она сказала:

- Кушайте.

А когда поели, Надежда Антоновна так же приветливо произнесла:

- Отдыхайте.

За вечерним чаем Крутояров разговорился. Ведь и Григорий Иванович просил его в письме "объяснить все" Маркову, вот Крутояров и приступил к пространному изложению, что такое советская литература и что требуется сейчас от писателя.

Миша слушал, затаив дыхание ловил каждое слово. Оксана не сводила глаз с рассказчика, хотя едва ли знала хоть одно из перечисленных Крутояровым имен.

- Иногда братья-писатели, - ораторствовал Крутояров, - начинали с очаровательных домашних стихотворений, разрабатывающих на все лады незатейливую тему: "Буря мглою небо кроет". Или под руководством гувернантки изготовляли торжественные оды ко дню рождения бабушки: "Поздравляю, поздравляю, много счастия желаю". Первое детское стихотворение Катаева - "Осень". Первая строчка, которую сочинила Инбер, "Угрюмый кабинет, затея роскоши нелепой", а первое произведение Пильняка о чем, как вы думаете? О маме, о диване, о комнатной собачке Ханшо. Мне оно въелось, не только запомнилось!

И Крутояров продекламировал с умышленной утрировкой и расставляя неправильные ударения, как этого требовал стихотворный размер - "за окнами", "сидим":

Ветер дует за окнами,
Небо полно туч.
Сидим с мамой на диване,
Ханшо, ты меня не мучь.

- А? Какое диванное благополучие! Но, конечно, не это типично для нашего поколения. Какие уж там диваны! Нам и топчан редко доставался! Вы, например, много на диванах разлеживались? Ляшко взялся впервые за перо в тюремной камере. Новиков-Прибой начал писать в японском плену, после Цусимы. Писать принимались поздно, после долгих лет скитаний, после баррикадных боев. Малашкин начал писать на тридцать втором году, Чапыгин на тридцать четвертом, Михаил Волков, помнится, тридцати двух лет... Сергей Семенов написал свой первый рассказ "Тиф" двадцати восьми лет. Но это были насыщенные двадцать восемь лет, двадцать восемь лет нашего современника! Он успел к этому времени побывать на всех фронтах, получить ранение, обрести значительный партийный стаж и участвовать в ликвидации мятежа в Кронштадте. Да-а... Наше поколение прошло через все грозы и непогоды, нас продували все свирепые сквозняки, все порывы ветра. А в детские годы мы если и писали, то о горестях, о нужде. Федор Гладков, например, рассказывает, что в детстве писал стихи, полные проклятий богачам и мучителям. Четырнадцатилетний Бахметьев сам переплел тетрадь и принялся за "роман", который назывался не больше не меньше как "Проклятая судьба".

- А сам-то ты? - вдруг заговорила Надежда Антоновна, и ее малокровное лицо помолодело, посвежело. - Почему не расскажешь о себе?

- Не хочу у биографов хлеб отбивать, - отмахнулся Крутояров.

- Вы знаете, - обернулась Надежда Антоновна к Мише, - у Ивана Сергеевича такая жизнь, такая жизнь... Роман! И потом Иван Сергеевич из тех писателей, которые пришли в литературу без рекомендательных писем от литературных метрдотелей.

Крутояров поморщился:

- Любишь ты меня хвалить!

- Не хвалю, а говорю правду!

- Хорошо, но о себе я как-нибудь в другой раз. Вот состарюсь и напишу мемуары, как лавровым листом, сдобренные отсебятиной. Многие так пишут. Так вот, о чем я говорил? А, о нашем поколении! Удивительное поколение! Литературоведы, возможно, надергают для своего удобства из всей массы десяток имен, у них на все случаи обоймы. Остальных предадут забвению. А между тем о становлении советской литературы можно говорить только целиком, ничего не умалчивая. Я не хочу повторить за Львом Толстым, что критики - это дураки, рассуждающие об умных. Я не согласен с этим. Но не уважаю людей, которые пишут о литературе, а сами не любят ее. А такие есть. И еще: ненавижу недобросовестных!

Крутояров обращался исключительно к Мише и его одного имел в виду, как собеседника. Оксана не обижалась. Уже одно то, что ей разрешается присутствовать при этом разговоре, казалось ей верхом счастья. Кроме того, все, что относится к Мише, в равной степени относится и к ней: ведь это ее Миша!

Крутояров же, затронув вопросы, которые его волновали, радовался, что имеет дело с неискушенным слушателем. И он торопился выложить все свои соображения, наблюдения, руководствуясь тем, что должен же он ввести в курс симпатичного юношу, кавалериста, приехавшего учиться. И Крутояров, все больше увлекаясь, говорил и говорил.

- Нельзя без волнения думать о рождении новой, советской литературы. Тут все значительно! Я позволю себе высказать одну ересь: мне иногда кажется - может быть, хорошо, что кое-кто бежал от революции за границу. Воздух чище. Хватает возни и с внутренними эмигрантами, честное слово. А на мой характер, так я бы роман написал о писателях двадцатых годов. Получилась бы волнующая книга! Кто самый первый напечатался в первых же номерах "Правды" в семнадцатом году? Я уже теперь не помню. Кириллов? Или Бердников? Нет, пожалуй, Демьян Бедный и Есенин. Какие замечательные биографии у моих современников! Поэт Аросев был командующим войсками Московского Военного революционного комитета, председателем Верховного трибунала. Иван Доронин брал Перекоп. Сергей Малашкин в девятьсот пятом штурмовал жандармов, засевших в ресторане "Волна". Кем только не был талантливый милейший Неверов! А Федин? Ему довелось быть и актером, и хористом... Пришвин работал агрономом, Борисоглебский писал иконы. И разве не познакомился с одиночкой Таганки Окулов? Не сидел в "Крестах" Садофьев? Фадеев бил атамана Семенова, Зощенко был добровольцем в Красной Армии, Фурманов брал Уфу, Александр Прокофьев сражался с Юденичем...

На Мишу Маркова уморительно было смотреть. Он слушал, что называется, взахлеб, смотрел, благоговел, запоминал, все было для него откровением, все казалось именно таким, как изображал Крутояров. Когда Крутояров начал перечислять писателей, Марков выхватил из кармана гимнастерки помятый блокнот, намереваясь все записывать. Но разве успеешь! Столько незнакомых имен! И он оставил это намерение, опасаясь что-то пропустить в рассказе Крутоярова, а сам думал, что все это надо ему непременно прочесть.

- Д-да-а! Таково наше поколение, и вы, Миша, вполне подходите в этом отношении. Разве не великолепно звучит в биографии писателя: "Воевал у Котовского"? Да-да, это решено, вы непременно должны стать писателем. Это по заказу не делается, но попробовать следует, раз есть желание. Писателем стать не так уж сложно, главное, надо писать, работать. Ну и еще кое-что надо, прежде всего глубокое знание языка, а то иной раз читаешь книгу и думаешь: "С какого это языка перевод? И почему такой плохой переводчик?" Кроме языка обязательны образование, кругозор, знание жизни, убеждения...

- Поехал! - остановила Надежда Антоновна. - Зачем человека запугивать? Все

приложится, достаточно одного: таланта.

- Вот видишь ты какая? Я умышленно ничего не говорил о необходимости таланта, потому что таланта в гастрономическом магазине не купишь и в литературном институте не приобретешь. В общем, так, дорогой товарищ: программа-минимум - поступаете на рабфак, получаете стипендию, ходите в одну из литстудий (их в нашем городе больше, чем булочных), живете, смотрите, привыкаете, а там - видно будет.

3

Так вот и началась новая жизнь Миши и Оксаны. И какое неоценимое счастье, что с первых же шагов Марков получил опору, помощь, руководство от такого незаурядного человека, как Крутояров!

- Для начала в театр сходите, - наказывал Крутояров. - Слыхали об Александринке? Там Гоголь поставил "Ревизора". Пьеса с треском провалилась, партер был взбешен, автор в отчаянии... Сейчас этот театр на перепутье. "Антония и Клеопатру" ставит... Знаете что? Начните лучше с Мариинки, сходите на "Дон-Кихота". Декорации Головина и Коровина прелесть!

Только что поговорили о театре и Марков записал, как доехать до Мариинского театра, как снова пришел Крутояров, держа в руках журнал.

- Слушайте, прочитаю стихотворение. Нет, не все, а четыре строчки из середины!

Крутояров не по-модному, не нараспев, а просто и прочувствованно прочитал:

Распахну окно, раскрою настежь двери,
Чтобы солнца золотая нить
Комнату мою могла измерить,
Темные углы озолотить.

Прочитал, победоносно оглядел Маркова и Оксану:

- Каково? По-моему, превосходно. Крайский. Пролетарский поэт. А уж как на них сейчас всех собак вешают!

- Кто вешает? - удивился Марков.

- Как "кто"? - удивился в свою очередь Крутояров. - Эти, "многоуважаемые"...

Видя, что Марков в полном недоумении, Крутояров пояснил:

- Битва сейчас идет. Не затихающая ни на миг битва. В редакциях издательств, на литературных диспутах, да что там: в каждом доме, на каждой улице - всюду. Такие же фронты, как колчаковский и деникинский, только обстановка еще сложнее. Вам, Миша, сразу во всей этой сумятице не разобраться. Но конечно, вам с такими, как Замятин, никак не по пути.

- Замятин? - переспросил Марков. На лице его был написан такой испуг, такая растерянность, что Крутояров весело расхохотался.

- Замятин, - повторил он наконец. - Это еще дореволюционный писатель. Был когда-то коммунистом, в квартире у него была подпольная типография. А сейчас - шипит. Слушал я его "Сказочку" недавно на одном литературном вечере. Жили-были, говорит, тараканы у почтальона. Считали почтальона богом. Почтальон спьяна уронил таракана со стены в свою "скробыхалу".

- Скробыхалу? - удивилась Оксана, слушавшая весь разговор очень внимательно.

- Я тоже не знаю, что это за скробыхала, - признался Крутояров, - но так у него написано. Так вот, упал таракан в скробыхалу, думал, что погиб, а почтальон взял его да и вытащил. Обрадовался таракан: велик бог! Милосерд!

- И что же дальше?

- А ничего. Вся сказка. И смысл этой сказки таков: смахнула вас революция в скробыхалу, а тут - нэп! Снова вас на стену посадили, живите. Вот вам и весь смысл революции, по мнению писателя Замятина.

- Так это что же? Как же такое позволяют? - негодовал Марков. - И значит, без никаких читают эту тараканью философию на литературном вечере? Как будто так и надо? И ведь не где-нибудь - в Петрограде! Где революция произошла! Где был Ленин!

- Мой мальчик, - усмехнулся Крутояров, любуясь его молодым задором, это еще что! Замятинские сказочки, говоря на военном языке, - это атака в лоб, а существуют и более хитрые ходы, наносят и фланговый удар, нападают и с тыла. Меня забавляет один приемчик этих недоброжелателей. Когда-то принято было переходить на французский язык, если входит лакей: лакеи не должны принимать хотя бы и безмолвного участия в беседе господ, их лакейское дело - наливать в бокалы шампанское. Настала новая эра. Мы служим народу. А некоторым мнится, что они - избранники, что они хранители - от кого хранители? для кого хранители? - священных устоев культуры. А вокруг них - разгулявшаяся метелица, вылезший из стойла бессмысленный скот - народ. Как же изъясняться им, образованным, изысканным, в присутствии этого быдла? Ах, только по-французски! Только щеголяя туманными терминами и напускной ученостью!

Крутояров хитровато глянул на Маркова:

- У меня есть заветная записная книжечка, я туда всякие мелочишки заношу, для памяти и в назидание потомству... Вот я вам прочту несколько прелюбопытнейших выписок...

Он стал быстро перелистывать листочки записной книжки.

- М-м-да... "Не хочу коммуны без лежанки"... Это Клюев изрек в недавно вышедшей книжице. А это его же: "К деду-боженьке, рыдая, я щекой прильну". Это он сейчас щекой прильнул, в годы величайшей из революций! Вот уж поистине - кому что! А ведь талантлив! М-м-да... Не то, не то... Все это не то... Вот дьявольщина! Где же эта цитата у меня? "О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет" - пословица мне понравилась, я и записал, пригодится когда-нибудь... "Прочесть Федорченко "Народ на войне" - это я просто для памяти черкнул, Василий Васильевич Князев хвалил мне очень эту книжку... Но это опять не то... Стоп! Нашел! Вот оно! Есть на свете один страшно эрудированный, страшно образованный литератор, он выпустил в одном частном издательстве (а этих частных издательств наоткрывали сейчас около полутораста!) монографию о Пушкине - толстая такая книга, в роскошном переплете, и цена роскошная... Я купил ее, можете взять почитать, если поинтересуетесь, и тогда узнаете... э-э... сейчас найду выписку... что "дендизм являл одну из попыток придать взбаламученной русской жизни и расплывчатым отечественным нравам законченный чекан и определяющую граненость..."

Прочитав, Крутояров залился смехом.

- Законченный чекан! - выкрикивал он сквозь смех. - Определяющая! Граненость!.. Ох, не могу. Был бы жив Пушкин, он бы его тростью побил! Правда, роскошно? Абсолютно непонятно, совершенно бессмысленно, но роскошно! И расплывчатые нравы тоже недурны! Когда у меня плохое настроение, я достаю записную книжку, читаю этот абзац и хохочу. Вот вам первый совет: никогда так не пишите!

Он смеялся до слез, вытащил носовой платок, вытер слезы и снова заглянул в свою книжечку.

- А вот еще: "речековка словоконструктора". Это состряпал уже другой "гений". На днях вышел альманах, называется "Абраксас". Пышность-то какая! Тоже - чекан и граненость, но эти хоть Пушкина не трогают. В другом альманахе драма в стихах, называется "Нимфа Ата". Конечно, это все шелуха, отпадет со временем. Чехов говорил, что богатые люди всегда имеют около себя приживалок. Русская литература богата, поэтому и приживалок много. И если приживалка не станет говорить "мерси боку", антраша выделывать, шутов гороховых строить, какая же она будет приживалка? Вот она и пыжится, из кожи лезет: "Абраксас! - кричит. - Законченный чекан! Нимфа Ата!" дескать, мы люди образованные, не какое-нибудь мужичье, нам и положено изъясняться непонятно и косноязычно!

Слушая Крутоярова, Миша Марков чувствовал себя невеждой. Очутившись в самой стремнине потока, в самой гуще жизни, полной своих каких-то порывов, устремлений, волной поисков и борьбы, Миша Марков только растерянно озирался, как неуклюжий провинциал, попавший в движущуюся толпу на главной магистрали большого города.

Впрочем, Марков не оробел. Он слушал Крутоярова, слушал руководителя литературной студии - бородатого, авторитетного, слушал сотоварища по студии - вспыльчивого, нетерпеливого Женю Стрижова, который, по-видимому, был в курсе всех дел, все понимал и все знал, - слушал и наматывал на ус.

Возвращаясь домой, хватался за книгу. Читал яростно, запоем. Оксана просыпалась ночью и обнаруживала, что Миша все еще не ложился. Она его укоряла, просила, а он только отмахивался и продолжал листать страницу за страницей.

- Подожди, Ксаночка! Как раз самое интересное место! Ты не беспокойся, я лягу. А ты спи!

- Как же спать, когда свет прямо в глаза?!

- А я газетой загорожу лампочку. Хочешь? Теперь хорошо? Не сердись, пожалуйста, надо же наверстывать! Ведь я, оказывается, ничего не читал, ничему не учился, ничего не знаю! Только на коне умею ездить!

Однажды Крутояров объявил, что сегодня они отправятся по книжным лавкам. Марков как раз получил стипендию, и у него завелись кой-какие деньжата. А деньги в 1923 году были разные. Ежедневно объявлялся курс только что введенного в обиход советского червонца. То, что получено вчера в старых "миллионах", или, как тогда называли их в обиходе, "лимонах", на сегодняшний день падало в цене. Например, в тот день, когда Марков и Крутояров отправились по книжным ларям и магазинам, курс червонца был два миллиона семьсот тысяч. И нужно было торопиться тратить старые купюры.

Для Миши это не составляло затруднения: "купюр" у него было не густо, - рад бы тратить, да нечего. Финансовые дела Маркова были на первых порах очень неважные, проще говоря, едва сводили концы с концами. Если бы не помощь Крутоярова и в этом отношении, незаметная, но повседневная помощь то тем, то другим, - туго бы пришлось Мише и Оксане в Петрограде.

- Готов? - заглянул в комнату Миши Крутояров, уже одетый в новенькое кофейного цвета пальто и полосатую суконную кепку.

Миша быстро накинул видавшую виды куртку, и они принялись выстукивать каблуками по ступенькам лестницы, из пролета в пролет, все шесть этажей: лифт в доме был, но не работал.

Петроград улыбался по-осеннему, как умеет улыбаться только Петроград. Это было умиротворение, умудренность и вместе с тем комсомольский задор. Ведь город был одновременно и старым, помнящим очень многое, и вместе с тем отчаянно молодым, только теперь начинающим жить. Как сверкало старинное золото! Как переливалась мириадами солнечных бликов могучая многоводная Нева!

Крутояров острым взглядом окидывал просторы, открывшиеся с Литейного моста. Уходил в голубую высь шпиль Петропавловской крепости. Сверкали на солнце фасады домов вдоль набережной. Почти о каждом строении можно было рассказать много занятного. Здесь отовсюду смотрела история. Вот дом, где жил фельдмаршал Кутузов... Вот решетка Летнего сада и массивные ворота, возле которых Каракозов стрелял в царя... Там, в гуще деревьев, затерялся скромный домик Петра... А вот Марсово поле - место парадов, блеска придворной знати, мундиров и эполет...

Миша слушал, широко раскрытыми глазами глядел вокруг и удивлялся, как много знает Крутояров.

Какой необыкновенный город! Прислушиваешься, и слышатся голоса промелькнувших столетий. Нужно только уметь слушать. Для Миши в равной степени были реальными и те, кто жил в этом городе, и те, кто на проспекты города сошел со страниц произведений. Разве не всматриваешься, грустя, в черную воду возле Зимней канавки, где утопилась Лиза? Разве не видишь, как наяву, князя Мышкина, который входит с жалким узелочком в руках в парадный подъезд дома генерала Епанчина?..

Миша и Крутояров начали с букиниста около "книжного угла", на Литейном, недалеко от цирка. Крутояров зарылся в груды книг и оттуда беседовал с букинистом - старым

книголюбом, знатоком книжного рынка и, по выражению Крутоярова, "последним из могикан". Здесь была отложена порядочная стопка книг. Среди них "Гавриилиада" Пушкина - стоимостью в пятьдесят миллионов, Георгий Чулков - стихи и драмы, издание "Шиповника" пятьдесят миллионов и "Homo sapiens" Пшибышевского - сто миллионов рублей.

Затем посетили книжный магазин "Дома литераторов" на Бассейной улице и тщательно обследовали книжные лари в выемке возле Мариинской больницы. После этого отправились на Васильевский остров, на 6-ю линию. И как ликовал Крутояров, приобретя за двести миллионов "Стихи о прекрасной даме" Блока в издании "Гриф", да еще с автографом самого Блока! Что касается Миши Маркова, то он принес домой словарь рифм, который решил подарить Женьке Стрижову, а для себя выбрал "Лекции по истории русской литературы" Сиповского и был удивлен, узнав от Крутоярова, что Сиповский жив и находится здесь, в Петрограде.

Маркову представлялось почему-то, что писатели, книги которых он встречал в школьной библиотеке, жили когда-то давно, даже очень давно. Отчасти он был прав: ведь с тех пор успела смениться эпоха. Как было представить, что Федор Сологуб, написавший "Мелкого беса", и сейчас здравствует и даже председательствует в Союзе писателей на Фонтанке, в доме номер 50? А Чарская! Лидия Чарская с ее слащавой "Княжной Джавахой" замужем за бухгалтером и живет где-то около Пяти углов!

4

Вскоре Маркову представилось немало удобных случаев, чтобы недоумевать, восклицать, изумляться. Например, как это могло случиться, что сейчас, в 1923 году, когда Коммунистическая партия отмечает свое двадцатилетие, когда отгремели бои под Вознесенском, очищена Одесса, стерты с лица земли и Врангель, и Колчак, - вот, полюбуйтесь: на Невском, дом 60, находится "Ложа Вольных Каменщиков" и там недавно состоялся диспут по докладу некоего Миклашевского "Гипертрофия искусства"!

- Какие каменщики? Какая гипертрофия? - спрашивал всех Марков, но вразумительного ответа не получал.

Ходили вчетвером - супруги Крутояровы, Марков и Оксана - на выставку в Академию художеств. Оксана, которая не так часто выбиралась из дому, была потрясена не только картинами, но и видом на Неву, на гавань, и сфинксами перед зданием академии, и университетом, мимо которого проезжали.

- Ой, матенько! - поминутно восклицала она, и черные ее брови поднимались все выше и выше.

В выставочных залах к ним присоединился Евгений Стрижов. Он был как дома.

- Дальше, дальше идемте, - тащил он всех. - Тут чего смотреть: цветы.

- Нет, погодите, - остановил Крутояров. - Взгляните на эту сирень.

- Понюхать хочется! - восхищенно вглядывался Марков.

- Художник не просто так вот решил - дай-ка нарисую сирень. Обратите внимание, какие сильные, сочные гроздья, как много веток сирени, они даже не вмещаются в вазу. Обилие, цветение, торжество жизни! А скатерть на столе какова? Видать, в доме живет рукодельница, видать, в доме совет да любовь, а то и не до цветов бы было!..

- Это вы все выдумываете, потому что писатель, - возразил Стрижов. А для обыкновенного взгляда - сирень как сирень.

- Вы - поэт, и еще молодой поэт, как же это может вас не трогать? Нельзя мимо красоты проходить, надо вглядываться, вопрошать, впитывать!

- Впитывать! И без того нас за красоту поедом едят! Читали Силлова?

- Какого еще Силлова?

- Он из стихов Герасимова надергал цитат: заводские трубы погребальные свечи, город - гроб, синяя блуза - саван, и делает вывод: ага, церковные атрибуты, мистика!

- Гроб - церковный атрибут? - расхохотался Крутояров. - А в чем же самого этого Силлова в землю закопают? Но у нас речь о сирени. Значит, Силлов нас ни в чем не

упрекнет.

- Упрекнет! У Герасимова: "Угля каменные горны цветком кровавым расцвели"...

- Ну и что же? Расцвели.

- У Крайского: "Как крылья разноцветные, знамена батраков", у Кириллова: "Звучат, как крепнущий прибой, тяжелые рабочие шаги"...

- Что же ваш Силлов нашел тут запретного?

- Цветок?! Мотыльки?! Прибой?! Значит, у пролетарских поэтов влечение к деревенской мужицкой Расеюшке, значит, ориентация на эсеров!

- Неужели так и написано: Цветы - эсеровщина? Прибой - деревенский образ?

- Я вам и журнал принесу, если хотите. Особенно Крайскому попало: "Родину мою, как Прометея, враги и хищники на части злобно рвут"... Силлов говорит: Прометей - мифологическое сравнение, значит, пролетарская литература - вовсе не пролетарская.

- М-да! - вздохнул Крутояров. - Тут ничего не скажешь... Но мы загораживаем дорогу посетителям выставки и не к месту занялись дискуссией. О вашем Силлове одно можно сказать: дурак и молчит некстати и говорит невпопад.

Этот неожиданный разговор чуть не испортил всем настроение. Крутояров хмурился и как-то странно мотал головой, будто ему что-то мешало. Оксана испуганно смотрела и не знала, как всех успокоить. Марков молчал, но злился. Одна Надежда Антоновна восприняла этот рассказ юмористически.

- А кто такой Силлов? Ноль! И кто станет читать его галиматью? Какие вы, товарищи, впечатлительные!

Вскоре все уже с увлечением разглядывали натюрморты Клевера-сына, воздушные полотна Бенуа.

Оксане понравились "Гуси-лебеди" Рылова.

- К нам летят! - прошептала она. - На родную сторонушку!

Дойдя до "музыкальных композиций" Кондратьева, Крутояров стал рассеяннее, а когда увидел "левое" искусство Пчелинцевой, снова стал чертыхаться, уже по поводу "заскоков" и "экивоков".

- Что это? - тыкал он в картину. - Пятна, волнистые линии... И хоть бы сама придумала, матушка, а то ведь все косится туда, на запад. Озорничать тоже надо умеючи. Иначе начнешь epater les bourgeois, а буржуа-то не ошеломятся!

Вскоре после выставки Марков и Стрижов побывали на устном альманахе рабфаковцев "Певучая банда". Голубоглазый, весь в веснушках, с задорным хохолком, Евгений Панфилов читал:

Пусть туман и пуля-лиходейка,
В сердце страх не выищет угла!
Жизнь легка, как праздничная вейка,
И напевна, как колокола!

- Как бы Силлов не услышал, - шепнул Стрижов, делая страшные глаза. Опять церковный атрибут! Будет Панфилову на орехи!

Оба весело рассмеялись и стали дружно аплодировать.

После "Певучей банды" посетили литературный вечер "Серапионовых братьев". Хлопали Тихонову. Он читал "Брагу". Он сказал: "Меня сделала поэтом Октябрьская революция". Освистали докладчика Замятина. Замятин уверял: "Железный поток" сусален, Сергей Семенов пошл... Только сам себе Замятин нравился!

Посетили затем "Экспериментальный театр" в помещении Городской Думы... Потом слушали лекцию Луначарского...

А однажды Стрижов таинственно сообщил:

- Сегодня ты умрешь от восторга! Пошли!

- Куда?

- А вот увидишь. Пошли, говорю!

Петроградское объединение писателей "Содружество" устраивало по четвергам

литературные чтения, они происходили на квартире одного из "содружников". Это тоже было своеобразием тех времен. Каждый четверг вечером в квартире на Спасской улице, дом 5, были гостеприимно открыты двери для всех желающих. Хозяин встречал каждого и провожал в ярко освещенную комнату, где было много стульев, в углу сверкал крышкой рояль, на столе для посетителей был налит чай, тут же предусмотрительно положена стопка чистой бумаги и с десяток остро отточенных карандашей - для заметок при чтении, если кто не запасся блокнотом.

Стрижов, оказывается, знал здесь всех наперечет. Он негромко называл Мише фамилии, а Миша ахал, удивлялся и смотрел во все глаза.

- Видишь, с такой буйной шевелюрой и глубокими пролысинами на лбу? Свентицкий, критик. Рядом с ним Лавренев, у которого кот на коленях. Читал "Сорок первый"?

- А эта, с челкой? Низенькая?

- Сейфуллина. Неужели не узнал? Ее портреты есть в журналах. А тот, у окна, худощавый, - это поэт Браун, он сегодня будет новые стихи читать. А с бородой, кряжистый - Шишков Вячеслав Яковлевич. Вот мастер свои произведения читать! Заслушаешься! А к нему подошел, разговаривает... видишь, с усиками? Это Михаил Козаков. Рассказы пишет. Рождественского чего-то нет сегодня. Хотя он всегда опаздывает.

- Удивительно все-таки, - вздохнул Марков, - вот состаримся мы и будем вспоминать: такого-то впервые я встретил, помнится, в таком-то году...

- Ну вот еще! - вдруг обиделся Стрижов. - Мы никогда не состаримся!

В этот вечер приятели очень поздно возвращались домой. Стрижов провожал Мишу до самых дверей парадного и непрерывно декламировал: он знал множество стихотворений, особенно современных поэтов.

Улицы были почти безлюдны в этот поздний час. Но завидев шумную ватагу молодежи, наполнившую визгом, гамом, пением всю улицу, Стрижов поспешил с пафосом провозгласить:

И в живом человечьем потоке
Человечье лицо разглядеть!

- Это я знаю, - обрадовался Марков, - это Садофьева!

- Угадал, его. Не все, братец ты мой, наши пролетарские поэты пишут в мировых масштабах, вон они о чем - вглядываются в лица! А это знаешь:

Что же! Смотреть и молчать?
Жить и в борьбу не втянуться?

- Женька! А ведь здорово? Ты мне завтра напомни, я себе в тетрадь запишу. Чье это? Александровского? А он где? В Москве? Знаешь, мне ужасно понравилось на "четверге"! Вот уж никак не думал, что Сейфуллина здесь живет!

- На улице Халтурина. Лавренев - на набережной Рошаля.

- А Крайский?

- У Крайского я сколько раз бывал. Он на проспекте Маклина. Он ведь все с молодежью возится.

- А сегодня в "Содружестве"? Там и курсанты были, и матрос один был, студента знакомого я видел...

Марков остановился на Литейном мосту.

- Женя! А ведь хорошо жить! Как ты думаешь... Сейчас у нас двадцатый век. А в двадцать первом коммунизм устроят?

- Чудик! Тоже мне - в двадцать первом! Да он буквально в преддверии! Вот-вот мировая революция грянет. Ты что думаешь - в других странах рабочие дураки? Смотреть будут?

- Я в газете читал - буржуазия у них опять шевелится, опять войну готовит.

- Ну и готовит! Ну и пожалуйста! Одну войну устроят - четверть мира осознает. Вторую войну устроят - все люди осознают. На том песенка капиталистов и будет спета.

- Я тоже уверен. А сами-то они неужели не понимают?

Маркову нравилась решительность Стрижова. И хотя сам он знал все то, что говорил Стрижов, сам был тех же взглядов, но Маркову нравилось слушать. Когда другой приводил эти доводы, Маркову они казались еще несомненнее, еще тверже.

Ночь стояла холодная, на Неве ветер так и пронизывал. Одетые один в плохонькую курточку, другой в перешитое из отцовского нелепого цвета пальто, ветром подбитое, оба голодные (даже не решились выпить чаю с печеньем, хотя им предлагали), оба без копейки в кармане и без каких-нибудь перспектив на этот счет в ближайшем будущем, с одними только широкими планами и мечтами, они беспрекословно верили в несокрушимость советского строя, в неминуемую гибель капитализма, в мировую революцию. Жизнь была им впору, невзгодами их трудно было напугать - всякое видали, всякого хлебнули. Молодые, но прошедшие уже длинный боевой путь и жесткие испытания, они были полны гордости, уверенности, сознания силы, они вглядывались в неспокойную водную пучину, в сердитое черное небо - и до исступления, до того, что зубы стискивались, кровь приливала к лицу хотели поторопить, подтолкнуть время. Скорей же! Ну же, скорей!

Поэтому и сами они торопились. Все увидеть! Все впитать!

Выставка фарфора. Выставка кружев в бывшем особняке Бобринского. Диспут в клубе "Коминтерн" на Невском. Воспоминания о Тургеневе знаменитого Кони в Пушкинском доме. Лекция приехавшего из Москвы Маяковского "А ну вас к черту". Всюду надо успеть. Все захватывает.

На лекции Маяковского было шумно, скандально. Маркову Маяковский понравился, а Стрижов рассердился:

- Очень хамит.

- Прикажешь ему по-французски изъясняться? Дамам ручки целовать?

Стрижов всюду дорогу отыщет и, если Маркову не хочется куда-нибудь пойти, явится на Выборгскую, уговорит, вытащит.

- Все нужно видеть, во всем участвовать! Оксана, правильно я говорю?

И Оксана тоже начнет уговаривать. Не хочешь, да пойдешь.

Марков помнит, как они весь день потратили, участвуя в праздновании пятилетнего юбилея Петрогосиздата. Сначала был парад моряков-курсантов. Парад собрал много зрителей, весь Невский был запружен толпой. Парад начался у Дома книги. Потом направились ко Дворцу труда. Было нарядно, живописно, красочно. Женька Стрижов всю дорогу острил, читал стихи и пел. После митинга перед Дворцом труда карнавальное шествие двинулось на Петроградскую сторону, на Гатчинскую улицу, к типографии "Печатный двор". Вечером было чествование героев труда и в заключение концерт.

Вернулся Марков поздно. Оксана уже спала, но сразу же проснулась, вскочила и стала хлопотать.

- Бедняжечка! Весь день, поди, ничего не ел!

- Ничего не попишешь, - важничал Марков, - праздник-то был наш, писательский.

- Да я ведь ничего не говорю, я понимаю.

5

А потом Марков ездил в Москву. Что было раньше, что было позже, он уже и сам не разбирал. Он все время мчался, летел, торопился, и все впечатления у него сливались в один пестрый водоворот. Но поездку в Москву он отлично запомнил!

Он был ошеломлен, обескуражен, не знал, что думать. Он попал в кафе "Стойло Пегаса". В Петрограде он как-то не сталкивался с нэпманами, с ресторанной обстановкой. И вдруг - "Стойло Пегаса"!

Надо только знать, что такое кафе "Стойло Пегаса"! Можно подумать, что это веселое сборище юных литераторов, что там идут горячие споры по вопросам искусства, доклады, столкновение мнений, оценок, точек зрения. Ничего подобного! Марков в этом хорошо убедился! Там пьяный разгул подозрительных субъектов с испитыми физиономиями, не то бывших фельетонистов из черносотенного "Нового времени", не то матерых спекулянтов шкурками каракульчи. "Стойло Пегаса" - это изобилие спиртных напитков и низкопробных

острот, это пристанище вызывающе-пестрых женщин, которые о литературе имеют весьма отдаленное представление, о политике еще меньшее и заканчивают житейский путь на Цветном бульваре, вызывая сочувствие какого-нибудь ночного гуляки:

Что вы плачете здесь, одинокая деточка,

Кокаином распятая на бульварах Москвы?

Вашу шейку едва прикрывает горжеточка,

Облысевшая вся и смешная, как вы...

"Откуда эти стихи? Ну конечно, Женька Стрижов декламировал!"

Нет, "Стойло Пегаса" ничем не напоминало Литературной студии или устных альманахов, которые устраивают в Петрограде на шестом этаже в доме 2 по Екатерининской улице. Марков больше бы сказал: это полная противоположность! Там влюбленная в поэзию, боевая, дерзкая молодежь грызущие гранит науки при более чем скромном пайке студенты, рабфаковцы, курсанты, начинающие поэты, молодые, с острым глазом художники, воинственные журналисты. Все бодро отсчитывают ступени на самое верхотурье по плохо освещенной лестнице. И начинается то, чего никогда не забудет, не выкинет из сердца тот, кто хоть раз побывал на этих пиршествах вдохновения. Выходят один за другим поэты, прозаики, критики, литературоведы, читают свои произведения и получают в награду бурные овации. Затем начинается обсуждение. Высказываются смело, открыто, без реверансов, со всей прямотой и страстностью юности. Спорят до хрипоты. Поднимают очень важные, очень большие вопросы, явно волнующие всех: о форме и содержании, о верности революции, о формализме, о жанрах. Трудно представить, чтобы там мог, осмелился появиться не советски настроенный человек. Нюх у этой молодежи тонкий, непримиримость безоговорочная. Марков помнит случай, когда выступил на этом устном альманахе ушибленный различными "супрематизмами" дегенеративный юнец - вторично он никогда не появлялся, сразу же получив безжалостный разнос и кучу нелестных эпитетов от горячей, задорной аудитории. Да, это совсем не "Стойло Пегаса"! Ничего похожего. Марков наивно полагал, что в советской действительности немыслимы "стойла пегасов", это у Маркова никак не вязалось со всеми его представлениями о жизни.

Он вернулся из Москвы оглушенный, расстроенный и к тому же без копейки денег. Оксана так обрадовалась ему, так слушала его рассказы о Москве, так извинялась, что у нее нечем даже покормить его...

- Понимаешь, "Стойло Пегаса"... это... как бы тебе сказать...

Марков стал довольно туманно растолковывать, что это за Пегас.

- Ну, лошадь такая! Понятно?

Миша рассказывал, а Оксана прикидывала: что, если пойти на кухню и поискать чего-нибудь съестного? Да нет, она же знала, что ничего нет...

У них часто случались денежные затруднения, и всякий раз оказывался один выход: перехватить у Надежды Антоновны. Но Марков приехал из Москвы ночью, Крутояровы уже спали, да если бы и не спали, все равно магазины-то закрыты, не разгуляешься!

Миша продекламировал:

Братья-писатели! В вашей судьбе

Что-то лежит роковое!

И добавил:

- Что ж. Давай натощак ложиться спать. Утро вечера мудренее.

Оксана была в отчаянии. Одна-то она бы перетерпела. Но как это она не догадалась заранее перехватить денег у Крутояровых и держать на случай приезда Миши хотя бы какие-нибудь консервы?

Кончилось тем, что Оксана расплакалась, а Миша стал ее утешать. Он очень смеялся, когда Оксана сквозь слезы причитала:

- Ты такой труд принимаешь, легкое ли дело сочинять из головы... А я тебя го-олодом морю!

И она еще сильнее заливалась слезами.

6

Они очень любили друг друга. Миша Марков так хотел окружить заботами и нежностью Оксану! Ведь она, бедняжка, совсем-совсем одна на белом свете! Миша должен заменить ей и мать, и отца, и братьев. Хотя у него у самого было мало житейского опыта, все же он брал на себя роль старшего, рассказывал, что такое Петроград, объяснял, как ездят в трамваях, советовал не робеть. Оксана воспринимала все, что он ей говорил, восторженно и благоговейно: какой он умный, все-то он знает, обо всем может рассуждать!

Оксана, со своей стороны, готова была сделать все, чтобы ему было хорошо. Миша слабо сопротивлялся, но она с таким наслаждением стирала его рубашки, с таким торжеством сама отыскала рынок, сама покупала продукты, сама варила обед!

Так и образовалось само собой, что Оксана мыла полы, стирала, стряпала, бегала в булочную, а Миша ходил на рабфак, в литературную студию и, придя домой, с аппетитом поедал картошку с постным маслом и подробно рассказывал, что видел и слышал за день, какой умный у них "руковод" в студии, что такое ассонанс и что такое новелла.

Оксана не довольствовалась тем, что взяла на себя все заботы по дому. Она выпытывала, что Миша любит, чего не любит, старалась найти у него капризы и причуды.

- Миша терпеть не может холодный чай, - с гордостью докладывала она Надежде Антоновне. - Мише не нравится хлеб из ближней булочной, так я хожу в ту, за углом, бывшую Лора... Миша говорит, надо стирать стиральным порошком, а то белье пахнет мылом.

- Почему вы нигде не учитесь? - спросила Оксану Надежда Антоновна. У вас какое образование?

- Что вы! Когда же учиться? - удивилась Оксана. - Миша приходит когда в пять, когда в семь...

- А хотя бы и в десять! И вы приходите в десять. А потом: я вас ни разу не видела с книгой. Обязательно читайте! Вы приглядитесь: все сейчас читают - в трамваях, в парках - повсюду. А питаться можно и в столовой, ничего страшного.

- Что вы! Миша терпеть не может столовых!

Очевидно, Надежда Антоновна поговорила об этом и с мужем, потому что он однажды предложил:

- Не хотите ли устроить Оксану на работу? Есть место секретарши в Государственном издательстве.

Марков удивился:

- А вы думаете, что ей надо работать? Разве, когда я стану писателем, мы не проживем на мой гонорар?

Логично? Ведь можно прожить вдвоем на гонорар писателя? (Хотя неизвестно еще, получится ли из Маркова писатель...)

И вдруг, как гром среди ясного неба: письмо от Ольги Петровны. На первый взгляд она ничего особенного не писала. Рада, что у Миши и Оксаны бодрое настроение, рада, что они живут в таком замечательном городе, благодарит, что пишут и не забыли о ней и Григории Ивановиче. И так, вроде как между прочим, спрашивает, все ли письма доходят? Что-то ни в одном письме от них не сообщается, а где же учится Оксана и каковы ее успехи.

Ольга Петровна даже не допускает мысли, что Оксана нигде не учится и состоит при Мише в роли стряпухи и прачки! Ольга Петровна скорее готова предположить, что не дошли некоторые письма. В этом и заключалась вся сила удара. Ольга Петровна не писала "ай-ай, как нехорошо", а все только говорила о неполадках на почте: ну как это так - очень важные сообщения, и вдруг письмо где-то запропало! Ох уж эта почта!

Казалось, в письме никаких упреков, никаких наставлений... Миша несколько раз внимательно и придирчиво прочитал от строки до строки письмо... Уж не сообщили ли ей что-нибудь Крутояровы? Вот, мол, как исполняется ваш наказ, дорогая Ольга Петровна! Марков сделал из Оксаны домохозяйку! Вот, оказывается, каковы ваши хваленые котовцы!..

Миша словно прозрел. Ему представилось, с каким сожалением смотрит на него

Григорий Иванович Котовский, как неодобрительно покачивает головой Ольга Петровна: "Не оправдал надежды, подвел, осрамил! По старинке семью строит, не по-советски!"

Живой пример перед Мишей: смотри и учись, какие замечательные отношения у Котовских. Да, Ольга Петровна ведет все хозяйство, умеет так засолить огурцы, что пальчики оближешь. Но Ольга Петровна - врач, у нее большая общественная нагрузка. Мало того - она успевает растить, воспитывать многих и многих, недаром же котовцы зовут ее мамашей.

А как поступил Миша? Вывез из разоренной расстрелянной деревни умную, способную, красивую девушку, можно сказать, спас ее, а для чего? Не для того ли, чтобы она теперь белье ему стирала?

Подумав об этом, Миша немедленно перевернул все вверх дном. Примчался домой, а Оксана как раз с увлечением, с превеликим усердием раскатывала тесто. Она была счастлива, она так любила своего Мишеньку! Она только и думала, чем бы его накормить вкусненьким, какой бы сюрприз приготовить к его приходу, и очень огорчалась, если он сюрприза не замечал, занятый своими мыслями и делами.

- Стряпаешь?! - влетел в кухню Марков. - Хороша, нечего сказать! Полюбуйтесь на нее!

- А что? Що зробылось?

- "Зробылось"! То зробылось, что тебе не пампушками меня угощать, а в морду мне дать!

Оксана не могла понять, что он говорит, почему сердится, чем она не угодила. Она стояла, опустив голову, и машинально сковыривала тесто, прилипшее к рукам. Лицо и волосы у нее были в муке, в другую минуту Миша бы досыта над ней посмеялся. Но сейчас Миша был серьезен.

- Чего же ты молчишь? - продолжал он. - Возмущайся! Я оказался последним подлецом, мне стыдно будет в глаза посмотреть Григорию Ивановичу!

- Что же ты наделал? - всполошилась Оксана. - Говори уж, сознавайся во всем!

- То наделал, что окончательный домострой у нас получился!

- Який домострой?

- А как же? Для того ли я привез тебя в этот город, чтобы буржуазно угнетать и эксплуатировать, как последний сукин сын - буржуй? Нечего сказать: котовец!

- Як же ты меня угнетаешь?

- Очень просто: угнетаю, и все! И еще - извольте полюбоваться гимнастику по утрам делаю, пока ты поджариваешь яичницу с колбасой... Упражнение номер первый - встаньте прямо, раздвиньте ноги на уровне плеч, начинаем! Содействует развитию грудной клетки, укрепляет брюшной пресс! А не угодно ли, господин муж, глубокоуважаемая персона Марков, сбегать на Сытный рынок за картошкой? Очень содействует развитию бицепсов и развивает инициативу! Не желательно ли вам подмести пол - это укрепляет брюшной пресс и вместе с тем успокаивает совесть! Какой дурак выдумал, что стирка белья - женское занятие? Это типично мужское занятие, стиркой занимался даже Мартин Иден, что не помешало ему стать писателем!

Оксана слушала, с ужасом смотрела на Мишу и только всплескивала руками:

- Ой, матенько! Дывись, як вин расходився! Що ж це таке?

- Подведем итоги! - ораторствовал Миша. - Отныне белье стираю я, а ты его утюжишь, пол подметаю я, а ты вытираешь пыль с предметов домашнего обихода, постель заправляю я, а ты пришиваешь пуговицы. На рынок ходим вместе, стряпаем по очереди.

- Ой, матенько!

- А еще лучше - стряпню отменяем, питаемся в столовке, а постель вообще можно не заправлять, все равно вечером опять ложиться!

- Ой, матенько!

- И наконец, сам напрашивается вывод: ты поступаешь в медицинский институт и, кроме того, ходишь со мной в Литературную студию! Точка. Таким образом, из тебя

получится новая Ольга Петровна - выдающийся врач, образованная, передовая советская женщина, а из меня - пусть хоть не Котовский, а восьмушка Котовского. И то будет славно, и то я буду предоволен!

- Ты, мабуть, сказывся? То Котовский, то Ольга Петровна, а то мы с тобой! Сравнил!

- А что! Погоди, у нас вырастут еще такие люди - весь мир разинет рот от удивления! И Григорий Иванович тоже говорил, помнишь? Ведь новое общество - это не то что старое! Смотри, сколько еще после революции лет прошло? А у нас уже построена крупнейшая в мире широковещательная радиостанция! А Волховстрой? А разве не начали мы выпускать свои тракторы? Нашему поколению не раз еще придется говорить: "Крупнейшая в мире", "Самая мощная в мире"! А еще - чем черт не шутит, когда бог спит, - может быть, я напишу роман, который прогремит на весь мир и откроет новую эпоху в литературе?!

Наутро Оксана долго и тщательно умывалась, затем так же долго и старательно причесывалась, наглаживала платье раскаленным утюгом, позаимствованным у Надежды Антоновны, и наконец торжественно настроенные Миша и Оксана вышли из дому. По дороге захватили Стрижова, который все знал: и в каком трамвае ехать, и где войти, и где канцелярия фельдшерских курсов...

Вскоре Оксана стала студенткой.

7

И Крутояровы, и Марков с изумлением и восторгом наблюдали за чудом, происходившим на их глазах. А еще говорят, что не бывает чудес. Бывают! Особенно в Советской России!

Чудесное превращение свершалось с Оксаной с тех пор, как они стали строить - по выражению Миши - новый быт. Началось с пустяков: Оксана перестала дичиться, перестала бояться переходить улицу, стала задавать то Мише, то Ивану Сергеевичу Крутоярову, а чаще всего Надежде Антоновне удивительные вопросы:

- Неужели Гоголь сам, своими руками сжег свое сочинение?

- А вы знаете, сколько у человека костей?

- Оказывается, Карл Двенадцатый был совсем мальчишка! Вот не думала!

- Вы не знаете, Мария Петровна Голубева жива?

Относительно Карла Двенадцатого Надежда Антоновна готова была согласиться, но при чем тут Голубева? Какая Голубева?

Оксана возмущалась:

- Карл Двенадцатый - это сам по себе разговор, а Голубева - это уже совсем другое. Значит, вы ничего не знаете о Голубевой? Вот странно! Как же так не знать о Голубевой?

- Но, дорогая девочка, - смущенно оправдывалась Надежда Антоновна, откуда же мне знать о некой Голубевой? Это что, учительница у вас на курсах?

Оксана не верила, думала, что Надежда Антоновна притворяется. Вмешивался в разговор Иван Сергеевич, он тоже не знал.

- Мария Петровна Голубева - такая гордая, непокорная. Глаза серые, прическа гладкая-гладкая, на прямой пробор, взгляд внимательный, взыскующий. Платье глухое, строгое, с белым воротничком. Я на портрете видела. Ведь это известная революционерка, замечательная женщина, большевичка, конечно.

- Где же вы ее портрет видели?

- Нам показывали. Лекция была. В тысяча девятьсот пятом году она жила на углу Большой Монетной и Малой Монетной, и в ее квартире помещался штаб Петербургского комитета партии. Бомбы и револьверы складывали под детские кроватки, а прокламации, напечатанные, конечно, на папиросной бумаге, запрятывали в фарфоровые головки кукол...

Слушали Оксану и переглядывались: да что это такое? Как подменили, совсем другая стала наша Оксаночка! И слова, обратите внимание, другие: "прокламации"... "Петербургский комитет"... "взыскующий"...

Но Оксана не замечала пристальных взглядов, вернее, не относила их лично к себе.

- Так вы, может быть, и о Клавдии Ивановне Николаевой не слышали? Она родилась в

Лештуковском переулке, совсем у Невского. Мать у нее прачка, можете себе представить? Мать прачка, а дочь - замечательная большевичка! Вот ведь как бывает!

- Николаеву-то знаем. Она ведь и сейчас видную роль играет.

- А как же иначе? Разве женщины - это второй сорт? Женщины - тоже люди!

Оксана это положение доказывала на практике. Вдруг оказалось, что у нее удивительная память, удивительные способности. На курсах долго не могли понять, откуда эта молодая особа набралась таких знаний? Потом все объяснилось: ведь Оксана работала в госпитале под руководством врача Ольги Петровны Котовской! А Ольга Петровна отнюдь не довольствовалась тем, что заставляла свою помощницу раны бинтовать да измерять температуру. Оксана выслушивала целые лекции, причем по самым разнообразнейшим вопросам.

И помимо обширной практики получала общее образование, Ольга Петровна приносила ей книги, заставляла учить грамматику, физику - и все без лишнего шуму, так, будто походя.

И теперь вполне естественно, что Оксана на курсах в числе первых, что к ней обращаются подруги за помощью, за разъяснением непонятных мест, и конспекты Оксаны ходят по рукам.

И уже никого не удивляло, если спрашивали:

- Ксения Гервасьевна дома?

Сначала не понимали: какая Ксения Гервасьевна? Потом догадались: ах, да это наша Оксана! И привыкли: правильно - Ксения Гервасьевна. Так и должно быть! Так оно и есть!

Помогли человеку отмыть руки от теста, расковали скованную мысль, поверили в человека, признали полноценным - и вот расцвело прекрасное существо, залюбуешься.

Марков, когда хвалили Оксану, ликовал, словно превозносили его самого. Но едва ли не больше всех был очарован и потрясен Иван Сергеевич Крутояров.

- Товарищи! Да вы посмотрите - сердце радуется! Вот, Марков, благодарнейшая тема для писателя: женщина! Советская женщина! Чудеса! Этого там, на Западе, не поймут. Нет! Куда им! Ведь сфера деятельности женщины там очерчена точно и беспрекословно: Kinder, Kirche, Kuche - дети, церковь и кухня, стряпай, молись и стирай пеленки... И вдруг появляются девушки в солдатских шинелях! Женщина-пулеметчица! Женщина - народный судья! Женщина-авиатор! Женщина - секретарь райкома! Вы представляете смятение бюргера? Вопли мещанина? Это никак не вмещается в их головы, кажется каким-то парадоксом. Да и пускай до поры до времени не понимают, когда-нибудь поймут. Ведь полный переворот всех понятий, всех соотношений сил! Счет-то всегда вели на души, и женщина сюда не включалась. Не знаю, отдаете ли вы отчет, какой сюрприз готовится в нашей стране на подбавку ко всем другим сюрпризам? Даже одно то, что население-то у нас как бы удвоится!

Иван Сергеевич часто и неизменно с воодушевлением возвращался к этой теме:

- Баба! Товарищи, вы вдумайтесь: русская баба, русская женщина. Замызгают, зашпыняют, впрягут, как скотину, в оглобли - вези! Окружат презрением, лишат всех прав, взвалят всю самую тяжелую, самую неблагодарную работу - так уж заведено! И она, голубушка, сама верит, что так оно и должно быть, на то она и женщина, такова уж бабья доля! А посему ворочай чугуны, жарься у печки, меси тесто, гни спину над корытом, нянчи ребят, копай картошку, таскай пятипудовые мешки, жни жнитво, поли гряды, носи ведра с водой, пеки хлеб, обихаживай мужа, дои корову... Ведь ты женщина! Сноси побои, рожай, корми грудью, помни: курица не птица, баба не человек.

Заметил, что на него смотрят недоумевая, - дескать, вот до чего договорился маститый писатель: а кто же рожать будет и грудью кормить? И неужто мужчины станут сами пуговицы пришивать? Чудно что-то! Ведь до того въелось это представление, что не вытравишь. Самая интеллигентная женщина не удержится и воскликнет, увидев, что муж моет посуду или взялся за иголку: "Да что ты срамишь меня? Не твоя это работа". А какая его? Председательствовать? И хотя все тут до очевидности ясно и элементарно, но только в

парадных речах, а не в повседневной жизни.

Вскоре Оксана явилась сияющая и сообщила:

- Предлагают в больнице работать. Дала согласие. И учиться, конечно, продолжать, одно другому не мешает.

Совсем незаметно, как-то само собой получилось, что Крутояров стал называть Оксану Ксения Гервасьевна. Только Надежда Антоновна чисто по-родственному, по-матерински называла ее Ксаной, доченькой. Женька Стрижов - тот вообще никак не обращался к Оксане. Обычно, появляясь в дверях, он восклицал:

- Здравствуй, племя молодое, незнакомое!

- Да уж знакомы, - отзывалась Оксана. - А Миша еще не приходил. Мы теперь все записками обмениваемся, заняты оба очень.

- Сейчас все заняты. "В жизни слишком много дела, слишком краток срок. Надо выполнить умело заданный урок!"

- Сами сочинили?

- Нет, Дмитрий Цензор.

- А я думала, вы. Есть хотите?

- Наивный вопрос. Я всегда хочу есть.

- Что, опять на бобах сидите? Говорите прямо - денег нет?

- Денег-то много, да не во что класть.

- А я как раз зарплату получила, могу одолжить.

- Я и без того в долгах, как в репьях. Нет, не возьму. Не искушай меня без нужды возвратом нежности своей. Ого! У вас сегодня и первое и второе на обед? Вот буржуи!

Стрижов усаживался за стол, ел с завидным аппетитом и первое и второе, а когда, хотя и с опозданием, приходил Марков, охотно соглашался и Мише составить компанию.

8

Когда Марков задумался впервые, о чем и как написать, он почувствовал непреодолимое желание написать рассказ о том, как ушел он с отцом из родного дома, когда Молдавию захватили интервенты.

Марков очень часто думал о доме - о матери, о сестре, об отце. Иногда они ему снились, причем обычно во сне было все безмятежно. Миша был еще маленький, над столом поднимались клубы пара от мамалыги, сестренка что-то пищала, а мать была в хлопотах, и было так нестрашно, так славно... Проснувшись, Миша долго еще находился под обаянием сна. И тогда снова и снова рассказывал Оксане давно ей известные вещи о семье и мечтал о том, как Молдавия будет освобождена и Миша повезет молодую жену представить родителям...

- Это ужасно, что я так долго не могу повидать их! Ты знаешь, как они будут тебя любить! Они хорошие, сама увидишь. Странно, что вот и рядом они, кажется, только руку протянуть, и так далеко... как на другой планете! Ни поехать, ни написать - за рубежом...

Да, Мише запала эта мысль - написать рассказ о том, как он уходил из дому - в страшную неизвестность, в темноту, в непонятную жизнь.

В студии они как раз изучали законы сюжета, архитектонику короткого рассказа. Руководитель студии принес книжечку Генри и прочел вслух новеллу "Дары волхвов". Речь там шла о молодых супругах. Они хотели сделать друг другу подарки к Новому году, а денег ни у того, ни у другого не было. И вот муж продал свои часы и купил на эти деньги черепаховый гребень жене. Она же продала свои роскошные волосы и на вырученные деньги купила для мужниных часов прекрасную платиновую цепочку.

В студию в числе других ходили пожилые рабочие электростанции. И вот растерявшийся руководитель и смущенная молодежь увидели, что рассказ потряс этих старых солидных рабочих, они слушали и плакали, форменно плакали и не стеснялись слез. Занятие прошло в теплых, задушевных разговорах. И теперь, приступая к рассказу, Марков хотел, чтобы его рассказ тоже потрясал, чтобы он доходил до каждого, а для этого надо передать все, что он чувствовал, всю душу открыть перед читателем, как если бы он поведал

о пережитом самому близкому человеку. В то же время Маркову хотелось, чтобы рассказ был написан по всем правилам, с нарастанием действия, с логическим и все-таки неожиданным концом, когда читатель узнает все, лишь прочитав последние строки.

Рассказ написался одним махом, хотя и провел Марков за этим занятием всю ночь напролет. Утром Оксана, вскочив по звонку будильника, увидела счастливого и как будто выспавшегося Мишу.

- Ты уже встал? А я и не слышала.

- Ксана! - торжественно возвестил Миша. - Я написал рассказ!

- Сумасшедший! - воскликнула Оксана. - Он еще не ложился!

Однако рассказ был тут же немедленно прочитан, хотя Миша и опасался, что сюжета он не построил, никаких неожиданных поворотов действия не придумал и Оксана разочарованно заявит, что это просто давно известное ей происшествие с Мишей, а вовсе не рассказ.

Миша испугался, даже замолк и перестал было читать, когда увидел, что Оксана сидит на кровати в одной рубашке и ревмя ревет, и вытирает слезы рукавом, а слезы опять набегают, и Оксана не видит Миши, не отдает отчета, что сейчас утро, что ей пора мчаться на курсы, что ей холодно и что ведь ничего на самом деле нет, а есть только одно сочинение.

Осталась недочитанной одна страница, и Миша, сам растрогавшись - не своим рассказом, а растроганностью Оксаны, - дочитал рассказ. Кончил, положил локти на исписанные листки бумаги, ему было ужасно жалко Оксану, и он укорял себя, что так расстроил ее.

Но слезы Оксаны были совсем особого рода. Это было душевное потрясение от художественной правды, совсем отличное от того, если бы Оксана узнала о каком-нибудь действительном печальном происшествии.

Вот она, еще не осушив слезы, босая, непричесанная, с таким теплым после сна телом, с отлежанной щекой, на которой отпечатался узор наволочки, подбежала к Мише, обняла его и стала целовать.

- Да ты у меня и на самом деле писатель! Ой, матенько!

И они еще долго говорили о рассказе, о том, что бесспорно его немедленно напечатают и что как это удивительно, что она, Оксана, - самая обыкновенная, а между тем - жена такого удивительного человека. И Миша наполнился гордостью, торжеством. Да, он и сам чувствует, что рассказ удался!

Впервые за все время учения на фельдшерских курсах Оксана опоздала на занятия.

Самое страшное было впереди. Когда Крутояровы проснулись и за стеной послышалось последовательно шлепанье ночных туфель, потом фырканье около умывальника и наконец звяканье посуды, - рассказ с предисловием, извинениями и оговорками был передан на суд Ивану Сергеевичу.

Оксана уже ушла. В наступившей во всем доме полной и, как казалось Мише, зловещей тишине он не находил себе места, то садился, то вставал и слонялся по своей длинной нескладной комнате.

"Неужели так долго читает? Или вовсе не начинал? Кажется, сел бриться! Как будто трудно было прочесть такой короткий рассказ!"

Но дверь открылась, и Крутояров вошел в комнату. В руке у него была рукопись. Он вошел не спеша, прошагал зачем-то к окошку. Зачем мучить человека? Не решается сразу все выложить! Ясно, рассказ не понравился, да Миша и сам сознает, что рассказ слабоват, что и над языком надо поработать, и сюжет сыроват...

- Ну что ж, - произнес наконец Крутояров, - по-моему, недурственно. Мне понравилось, и Надя говорит, что искренне написано.

- Как! И Надежда Антоновна уже прочитала? - воскликнул Миша, больше из-за того, что неловко было молчать.

- Я вот думал, - медленно заговорил Крутояров, - что в этом рассказе главное? Свежесть? Непосредственность?

Миша молчал.

- Помните, мы были на выставке картин и букет сирени разглядывали? Нам понравилось (он говорил "нам", хотя это именно ему понравилось и он тогда объяснял, почему понравилось), нам понравилось, что в картине есть идея, есть глубина. Не просто букет, ведь букет и сфотографировать можно. Важна мысль! Вот и в вашем рассказе есть большая человеческая скорбь, то, что найдет отклик в сердцах людей, потому что это типично для нашей эпохи. Понимаете? Типично! Пережитое нами десятилетие - это толпы беженцев, толпы изгнанников, спугнутые со своих гнезд стаи, это пепелища, это затерянные на чужбине, это без вести пропавшие, это души, тоскующие в плену...

Крутояров сел было, но сразу же встал, видимо вспомнив о каком-то своем деле.

- Ну, - подошел он к Маркову, - дайте руку. Поздравляю. Хороший рассказ. Я вам после покажу, там есть кое-какие мелочи, как мы называем, блохи. Но это чепуха. Если хотите, я сам отвезу рассказ в редакцию.

В тот же день, только позже, Крутояров снова зашел.

- Давайте рассказ. Надежда Антоновна берется его настукать на машинке. Редакторы не любят читать написанное от руки. Не возражаете, если заодно она кое-что подправит? Чисто стилистическое. И мои замечания учтет. В "Зори" отнесу ваш рассказ. Хороший есть журнал - "Зори"! А Ксения Гервасьевна все учится? Молодчага она у вас. А я-то ее в секретари прочил, чудак! Вообще вы оба молодцы.

Крутояров призадумался. Он молчал не потому, что подыскивал слова, а потому, что вихри мыслей, образов, чувств переполняли его.

- Знаете, Миша... Всякий раз, взглядывая на вас, я невольно представляю Котовского. Вы для меня и сами по себе, но одновременно и как бы посланец Котовского. Я редко встречал человека, который так любит людей. Когда я работал военным корреспондентом, немало мы провели с Григорием Ивановичем бессонных ночей в горячих спорах, в задушевных беседах. Слушал я его и думал, что этот человеколюб, готовый, кажется, подобрать всех беспризорных мальчишек и увести к себе в дом, - в то же время не раз взмахивал могучей ручищей, чтобы наискось разрубить от плеча до сердца встретившегося на поле брани врага. Вот тут и разберись в человеческой натуре! Сложная, брат, штука - человеческая душа! Я это так понимаю: нельзя научиться сильно любить, если не умеешь сильно ненавидеть!

Крутояров совсем уже собрался уходить, но вернулся от двери.

- Хотите, подарю сюжетик? При мне это произошло. Пришел к товарищу Котовскому степенный землероб, когда бригада Котовского стояла в одном тамбовском поселке. Пришел. Жалуется. К Котовскому каждому доступ был, у секретаря на прием записываться не надо. "На что жалоба?" - "А вот, товарищ командир, один тут из ваших меня ограбил, деньги забрал и вещички. Что же получается: белые придут - грабят, красные придут - та же история..." - "В лицо запомнили?" - спросил Котовский, а сам, вижу, потемнел, яростью налился. - "Где его запомнишь, для нас все вы одинаковые... молодой такой..." - "Ладно, разберемся". И ведь разобрался! Вызвал командиров эскадронов, побеседовал с тем, с другим. Нашли.

- И как? - нетерпеливо спросил Марков. - Расстреляли?

- Перед строем. Вам-то приходилось, конечно, видеть подобное. Но я главным образом за Котовским наблюдал. Зубы стискивает, жалко ему парня: молодой, отчаянный, и ясно, что бес его попутал. А сделать ничего нельзя! У Котовского дальний прицел, политический эффект, как он называет. Вопрос в том, чтобы народ знал разницу между белогвардейцами и красным воинством, знал, что белые народу горе несут, а Красная Армия несет счастье и освобождение...

- Да, я видел, как расстреливают перед строем, - промолвил Марков. Страшно.

- Вот и напишите рассказ. Страшный получится и значительный. Надо, чтобы люди знали. Обо всем знали - и чтобы знали не от злопыхателей, знали из чистых рук!

С Е Д Ь М А Я Г Л А В А

1

Первый написанный Марковым рассказ был напечатан. За ним последовал еще один - из времен гражданской войны. Хотелось Маркову также написать о своей лошади, о той, которую ему вручил Белоусов и которой Миша дал имя "Мечта". Марков часто думал об этом, но не знал, как подступиться к такому рассказу. Смущало и то обстоятельство, что были уже написаны изумительные, недосягаемо прекрасные рассказы о лошади - такие, как "Холстомер" или "Изумруд".

Беседы с Крутояровым запоминались, будоражили мысль. Иногда, робея, Марков подумывал о том, что хорошо бы написать книгу о Котовском, но страшно браться за такую сложную работу. Или, например, о Няге. Няга нравился Мише. Или о комиссаре Христофорове... Или о военном враче Ольге Петровне... Какие все характеры!

Размышляя об этих вещах, перечитывая фурмановского "Чапаева", Марков пришел к выводу, что следует написать книгу о самом-самом обыкновенном советском человеке и доказать, что он необыкновенный, достойный прославления человек.

Такими путями Марков пришел к решению написать повесть или даже, пожалуй, роман... и написать его - о своем приятеле Женьке Стрижове! С тех пор Марков пристально приглядывался к Стрижову, расспрашивал его, специально "для материалов" заходил к нему домой и беседовал с его матерью, хозяйственной, доброй, приветливой Анной Кондратьевной, женщиной с грустными глазами.

А этот самый-самый обыкновенный Женька Стрижов оказался совсем не таким обыкновенным. Он был неуемным, неуравновешенным, этот Женька Стрижов. У него был беспокойный характер.

- И все ты чего-то шебутишь! - ворчала на сына Анна Кондратьевна. Посмотри, какой Мишенька - серьезный, рассудительный, а ведь вы почти ровесники!

- Ох и любят же матери в пример кого-нибудь ставить! - смеялся Стрижов, обернувшись к Маркову. - А такого и слова-то нет - "шебутить", даже в словарях не найдешь! Впрочем, женщины постоянно придумывают какие-то словечки, особенно о своих детях и о возлюбленных. Каких только названий им не насочиняют!

Маркову нравился Стрижов, нравилась и Анна Кондратьевна. Ее муж, известный хирург, в первый же год гражданской войны уехал с военным госпиталем и не вернулся. Настал черед сына. Евгений восемнадцатилетним студентом-первокурсником записался добровольцем в 1919 году, поехал на Восточный фронт, был ранен под Уфой во время памятной психической атаки белогвардейцев, признан негодным к службе. Так вот и получилось, что в двадцать один год от роду он стал ветераном войны, одновременно молодым и возмужалым. Больше всего он любил стихи. А поступил в медицинский, чтобы угодить матери: ей хотелось, чтобы сын пошел по стопам отца.

Что касается Маркова, этот мечтал стать романистом.

- Нельзя быть хуже старшего поколения, - говорил он. - И кто, кроме нас, расскажет об этих удивительных людях, умевших побеждать? Пройдет каких-нибудь пятьдесят - шестьдесят лет - и придется копаться в архивах, стараясь понять то, что нам, современникам и очевидцам, так досконально известно!

Марков мог без конца говорить на эту тему, но Евгения и убеждать не требовалось, он только вносил поправку, что очевидец - самый ненадежный свидетель, потому что каждый видит по-своему, а если это к тому же еще и участник, то у него обязательное смещение перспективы и непоколебимая уверенность, что он-то как раз и является главным действующим лицом, центром всех событий. Кроме того, Евгений считал, что наряду со строителями революции необходимо показать в литературе и мерзкий облик врагов.

- Это зачем же? - удивлялся Марков.

- А попробуй одной белой краской написать картину, - отстаивал свою мысль Евгений, - ничего не получится. Должны быть свет и тени.

- Надо изучать, знать подноготную, иначе и не разберешься, озабоченно размышлял Марков, мысленно уже написавший эпопею о революции.

- Не бойся, врага ты сразу узнаешь! Как ни вертись собака, а хвост все сзади.

- Так-то так, но часто поджимают хвосты.

- Главное - иметь мировоззрение! - авторитетно заявлял в заключение Евгений, не замечая, как со многими в жизни случается, что повторяет мысль, которую часто слышал от отца.

Споры молодых людей никогда не переходили в ссору. В сущности, они придерживались одинакового мнения во многих вещах. Споры их были скорее совместным обсуждением одного и того же предмета.

Евгений хотел бы написать поэму о новой эре человечества, только не знал, как приступить. Иногда ему думалось, что это произведение будет посвящено его отцу. Тогда он вглядывался в очертания родного лица на портрете в золотой овальной раме, висевшем в столовой, около стенных часов. Спокойные глаза, высокий лоб, русая докторская бородка. Самое обыкновенное лицо, а герой! Припоминалось при этом много мелочей, которые и составляют непередаваемое чувство близости.

Евгений понимал мать, которая после страшного известия об утрате так и не вернулась к прежнему спокойствию и равновесию. Сам Евгений тоже навсегда запомнил все, что связано с этим потрясением. Рана не зажила, и осталась какая-то незаполненная пустота. Каждая вещь в доме напоминала об отце. Его пепельница. Книга, которую он читал перед самым отъездом. До сих пор стоит в углу в прихожей - как поставил отец - его зонтик. А на письменном столе карандаши, заточенные еще отцом, чернильный прибор, подаренный отцу его сослуживцами, мундштук и перекидной календарь, на котором сохранились отцовские пометки...

2

Евгений много-много раз как бы заново восстанавливал в памяти подробности злополучного дня. Откуда он тогда возвращался? То ли от школьного товарища Киры Рукавишникова, то ли из библиотеки...

Нигде вы не встретите таких пленительных зимних дней, какие бывают в Петрограде под самый Новый год. Легкий морозец пощипывает уши и наполняет все существо неизъяснимой бодростью, и вы вдруг ловите себя на мысли: "Эх, хорошо бы сейчас на лыжах... где-нибудь в Кавголове... По мелколесью, по ельнику!.."

Город сказочно красив! Город удивительно наряден! Пушит снег. У прохожих засыпаны снегом воротники, шапки. Все женщины сегодня как на маскараде: и узнаёшь и не узнаёшь. По Неве метет поземка, швыряя в морды гранитных сфинксов пригоршни снега.

Сквозь мелькающие снежинки проглядывает дивный облик города: то на какой-то миг возникнет силуэт Адмиралтейства и памятник победы над Наполеоном - величайший в мире гранитный монумент - Александровская колонна, почти пятидесятиметровая громадина, свободно поставленная на пьедестал, ничем не прикрепленная, так что держится она исключительно своей тяжестью; то явственно обозначится колоннада Казанского собора, как хоровод исполинов. И тут же - бывший Зингеровский магазин швейных машин, с его нелепым шишом над крышей.

Вдруг попадает в поле зрения реклама: "Перуин для ращения волос"... "Пейте какао Жорж Борман"... А затем яркие пятна бесчисленных синематографов: "Мулен-Руж"... "Паризиана"... "Пикадилли"... "Фоли-Бержер"... наряду с вывесками нотариусов, мастерскими корсетов, "coiffeur" и кондитерских. И снова очертания величественных зданий: тяжеловесного Строгановского дворца, несравненного ансамбля Александринского театра, монументальной Публичной библиотеки...

Евгений Стрижов очень бы удивился, если бы его спросили, любит ли он свой город. Он не отдавал себе отчета в том, как привязан к нему. Чтобы понять, как любишь, надо разлучиться.

Снег мельтешит. И в этом мелькании все становится неожиданным, эфемерным. Что это? Кони Клодта на Аничковом мосту? Смешались видения прошлого с явью сегодняшнего, подлинное с вымыслом. Евгений не удивился бы, если бы натолкнулся на Акакия

Акакиевича, бредущего с поднятым воротником шинели, не был бы озадачен, если бы в легких санках с медвежьей полостью промчался мимо гуляка и бретер блестящий граф Шувалов в свой особняк на Фонтанке. А это что? Не вышли ли из дома купца Лаптева на углу Невского и Фонтанки часто бывавшие здесь Белинский и Панаев? Не звонит ли в снежной пурге тяжелый колокол Исаакия, отлитый из старых медных монет с прибавлением двадцати фунтов золота и пяти пудов серебра?..

Да, он очень любил свой город, восемнадцатилетний Стрижов. Любил и знал. Его неизменно потрясало, что вот здесь, на месте Адмиралтейства, была некогда русская деревня Гавгуева, состоявшая из двух дворов, и хотя это было до основания Петербурга, но Евгению казалось, что он сам видел эту деревню! Ему нравилось, что река Карповка называлась "Еловой речкой", Фонтанка - "Безымянным Ериком", а Васильевский остров именовался "Оленьим островом". И Евгений шептал эти названия: "Еловая речка! Безымянный Ерик! Олений остров!" И это доставляло ему неизъяснимое наслаждение.

По глубокому убеждению Стрижова, в родном его городе все особенное: все запахи, все звуки, все оттенки - и грусть белых ночей, и благоухание антоновских яблок на "Щукином дворе", и прохлада "Стрелки" на Островах, и опрокинутые отражения домов в Екатерининском канале, и ослепительные лужайки в Михайловском саду.

А снег все идет и идет... мельтешат и мельтешат снежинки... Евгений Стрижов вдыхает полной грудью холодный воздух. Хорошо так вот брести по Невскому проспекту и грезить... в объеме познаний гимназического курса! Хорошо мечтать, особенно если тебе восемнадцать лет!..

Юность Евгения Стрижова настала вместе с юностью страны. Евгения не смущали трудные времена. В юности даже трудное не бывает трудным.

Еще не был отремонтирован фасад Зимнего дворца, поцарапанный шрапнелью. Особняки аристократов, бежавших за рубеж, зарастали инеем и паутиной. Был на исходе 1918 год. Белели неубранные сугробы на улицах, дымили костры на перекрестках. Проходили, поправляя на плече ремень винтовки, матросские патрули, маршировали рабочие отряды, строгие, направлявшиеся куда-то деловым твердым шагом людей, знающих, чего они хотят.

Стрижов все это видел, все это впитывал в себя - и все принимал.

Да, молчат паровозы на вокзалах. Это понятно: нет угля. И еще - нет хлеба. Голодный тиф косит людей. Почти остановились заводы. Кажется, вот-вот совсем замрет жизнь. Но нет! Город и не думает умирать! Напротив, только теперь он и начинает жить по-настоящему!

Стрижову не только мерещились картины прошлого, канувшего в вечность, ему виделось и будущее, заманчивое будущее - ведь вся жизнь впереди.

...Евгений чувствовал, что пора бы вернуться домой. Он проходил по Аничкову мосту, но не сворачивал на Фонтанку, к своему дому. Было так хорошо, что не хотелось уходить. И он бродил без устали, слушая шорох падающего снега и мягкие шаги прохожих. Может быть, инстинкт подсказывал это желание продлить безмятежное неведение, эту блаженную тишину? Падает снег... Тихо... Ясно на душе...

Стрижов воспринимал все как должное, как естественно связанное с ним. Так было, так будет: будет мама, будет подарок ко дню рождения, будет веселый шутник папа, будут тополя на Фонтанке и манящий чудесами клоунады и дрессированных слонов цирк Чинезелли. Это извечно, это составная часть его существа, это такое же свое, как своя рука.

3

Наконец Евгений устал и решительно направился на Фонтанку, к дому, большому, пятиэтажному, с темной подворотней и длинным проходным двором, пахнущим дровами и помоями.

Долго не открывали: это Анна Кондратьевна старалась привести себя в равновесие и скрыть следы слез. Наконец она впустила сына. Он сразу же почувствовал что-то неладное, а когда вошел в столовую, понял, что свершилось то непоправимое, чего в глубине сознания

давно опасался, но всякий раз отгонял даже самую мысль.

Анна Кондратьевна молча показала на распечатанное письмо, лежавшее на столе, на холодной клеенке, на которой еще сохранились коричневые пятнышки от папиросы, которую отец клал рядом с собой, читая газету.

Прежде чем взять в руки письмо, Евгений взглянул на портрет в овальной раме. Все такие же глаза, все та же добрая русая бородка. Да, на портрете отец был все так же спокоен... а ведь его уже не было на свете!

Почему-то Стрижову долгое время казалось, что стоит написать поэму, страшную в своей простоте (как то фронтовое письмо, присланное начальником госпиталя, извещавшее о гибели доктора Стрижова при обстреле госпиталя), стоит рассказать, как Евгений вернулся домой в зимний нарядный день и увидел заплаканное лицо матери, - и встанет перед взором читателя во весь рост страшная и величественная эпоха - эпоха борьбы, неисчислимых жертв, эпоха обвалов, катастроф и побед, добытых ценою крови.

4

В декабре 1918 года пришло извещение о смерти отца, а в апреле 1919-го Стрижов записался добровольцем.

Это было время, когда Советское правительство объявило Республику военным лагерем, когда был создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. По Москве маршировали курсанты. Ленин благодарил ижевцев за то, что они стали изготовлять тысячу винтовок в сутки, приветствовал тульских металлистов, решивших вдесятеро увеличить выпуск оружия. В Сормове строили тяжелый бронепоезд особого назначения. Ленин приказал ввести ночные работы для срочного ремонта военных судов на питерских верфях. Луганский патронный завод расширял изготовление патронов. Изо всех городов ехали на фронт коммунистические полки, комсомольские отряды.

Именно в эти дни Евгений Стрижов вместе с тысячами питерских рабочих, студентов, молодежи слушал, затаив дыхание, замечательное по силе, по твердой вере в пролетарскую сознательность письмо Ленина к петроградским рабочим.

Молодежь! Порывистая, отзывчивая! Не ты ли всегда впереди, не ты ли первая бросаешься туда, где всего настоятельнее требуется отвага, дерзание, где нужно приложить энергию, может быть, пожертвовать жизнью?

Ленин с тревогой сообщал в письме, что положение на Восточном фронте резко ухудшилось, взят Колчаком Воткинский завод, под угрозой Бугульма.

"Мы просим питерских рабочих п о с т а в и т ь н а н о г и в с е, м о б и л и з о в а т ь в с е с и л ы на помощь Восточному фронту".

Могла ли молодежь не отозваться на этот призыв?! Ораторы рассказывали: в приволжском городе Покровске профессиональные союзы сами призвали в армию пятьдесят процентов всех своих членов; объявлена в стране мобилизация возрастов от двадцати до двадцати девяти лет; решено всех мужчин-служащих заменить женщинами; отправленным в Поволжье красноармейцам разрешается посылать продуктовые посылки семьям.

"Вот и я пришлю маме!" - восторженно решил Стрижов.

Еще он узнал, что дано распоряжение временно закрыть или же резко сократить штаты таких учреждений, без которых можно в крайнем случае обойтись, а служащих отправить на фронт или на тыловые работы. Украина шлет на Восточный фронт сто грузовиков. Формируются новые артиллерийские батареи. Решение создать миллионную армию перекрыто. Укрепляется Волжская флотилия.

"Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной", - телеграфирует Ленин Реввоенсовету Восточного фронта.

Евгений Стрижов записался в отряд одним из первых. Заставила болезненно сморщиться мысль: "А как мама?" - но тут же пришла уверенность: "Поймет!"

Как все стремительно произошло! Весь мир стал выглядеть иначе. Резкой гранью отгородилось сегодня от вчера. Вчера был просто юноша Евгений Стрижов. Вчера он мог прогуливаться хотя бы вот там, вдоль канавки у Летнего сада. Вчера он был совсем другой,

совсем другой! А сегодня...

Из окна Павловских казарм видно огромное пространство Марсова поля. Вдали Летний сад. Казалось бы, он совсем близко, но нет, он недосягаемо далеко, а прогулки возле него кажутся немыслимыми, нелепыми. Слева можно увидеть краешек Мраморного дворца и уходящий на Петроградскую сторону Троицкий мост. Вероятно, там уже липы набрали почки... Если высунуться из окна и посмотреть направо, можно увидеть шпиль Инженерного замка и угадать очертания Лебяжьей канавки...

Короче говоря, - казарменное положение. Голые стены Павловских казарм, усиленные занятия, маршировка, разборка и чистка винтовки. Ездили в Стрельну, стреляли в мишень. Солдатская жизнь! А мама действительно поняла и только сказала:

- Сыночек мой!

Ожидали каждый день и все же неожиданно прозвучало: завтра отправка. И завтра настало. Построились. Старались держаться молодцами. Лихо прошагали мимо чугунной решетки с черными царскими орлами, около Летнего сада, перешли Фонтанку по одному из пятисот петроградских мостов. Слева школа Штиглица поблескивает стеклянной крышей. Церковь святого Пантелеймона хмурится и смотрит подслеповатыми окнами на шагающую молодежь.

Ясный погожий денек. На Литейном - толпа любопытных. Тверже шаг! На улице уже зима, питерская - без снега.

Духовой оркестр сразу рванул и начал отчетливо, маршевым темпом выговаривать военный марш. Удивительное действие оказывает музыка! Под военные марши ноги сами идут туда, куда послала родина: на неприступные кручи Шипки, на ощетиненные стены крепости Измаил, на равнину Полтавщины, чтобы разбить наголову заносчивого короля Карла Двенадцатого, на Бородинское поле, чтобы сбить спесь с Наполеона.

Молодцеватые музыканты со всем усердием дули в медные трубы, барабанщик, отбивая такт, победоносно поглядывал по сторонам. Тромбоны рявкали, оглушая прохожих, корнеты задорно выговаривали мелодию. Раз-два! Раз-два! - призывала к четкому шагу музыка. Тут нельзя было сбиться. Левой-правой шагали за оркестрантами лихие добровольцы, отправлявшиеся на Восточный фронт.

Они прошли стройными рядами по Литейному проспекту - проспекту букинистов, книготорговцев, проспекту, помнившему о былых своих обитателях - Некрасове и Салтыкове-Щедрине. По обеим сторонам шествующей на фронт колонны с узелками, сверточками, озабоченные и гордые, спешили, старались не отстать родственники. А безусые курносые защитники революции шагали с серьезным видом: винтовка на ремне через плечо, походные вещевые мешки за спиной - левой, левой, левой!

И Евгению Стрижову не казался тяжелым вещевой мешок, и он вместе со всеми браво отбивал шаг - левой, левой, левой!

Вот и Невский проспект - пятиэтажные дома, зеркальные стекла витрин, вывески, рассказывающие о прошлом. На перекрестке Невского и Литейного, который по ту сторону уже становится Владимирским проспектом, высится домина, напоминающий сразу о трех богатеях: Палкине, с его рестораном, Соловьеве, с его торговлей, и Филиппове, с его кондитерской и "филипповскими" пирожками. Стрижов особенно хорошо был осведомлен о последнем - о пирожках.

Нет больше филипповых, нет палкиных и соловьевых. Ничего, что сейчас опустели витрины магазинов! Ничего, что окна забиты фанерой! Здесь еще расцветет, закрасуется невиданный город! За то, чтобы непременно, во что бы то ни стало сбылись все чаяния, идет сражаться славная питерская молодежь.

- Раз-два! Раз-два! Тверже шаг!

По Невскому свернули влево, направляясь к Николаевскому вокзалу.

- Раз-два! Правое плечо вперед - шагом марш!

Эх, жаль, что Кира Рукавишников не видит в этот момент Евгения!

С того момента как молодые люди перешли на казарменное положение, они как будто

вступили в свой, отличающийся от всего остального, особенный мир. Та жизнь, которая складывалась до казармы, вдруг отодвинулась и стала бестелесным видением, смутным воспоминанием. Да, это, конечно, было: и мама, и университетские коридоры, и встречи с друзьями. Например, Кира Рукавишников. Конечно он был! Стрижов помнил его улыбку, его вихор, который покачивался, когда Кира играл на гитаре вальс "Лесная сказка". Но все это казалось теперь чем-то давним, похожим на блестки далекого детства.

Начиналась большая, суровая, подлинно взрослая жизнь. И все эти юноши вдруг возмужали, немного загрубели, стали мужчинами. Строевые занятия, целые дни на воздухе. Солдатская пища. Нары. Всегда одни и те же люди вокруг, свой мирок, свои казарменные шутки, разговоры. Да, конечно, они стали мужчинами!

Колонна шагала, оркестр громыхал. Никогда еще Стрижову не казался таким прекрасным этот город, его город, город, где он родился, где оставались все его привязанности, город, который он покидал.

Выйдя на площадь перед вокзалом, отряд по знаку командира грянул "Все тучки, тучки понависли". Пели не столько стройно, сколько молодо и задорно. Некоторые хотя и пели со всем усердием, но безбожно врали. Однако это нисколько не портило торжественности.

На вокзал к отправке эшелона прибыли представители от городского комитета партии, от военного командования.

Панюшкин в своей речи сказал:

- Мы верим, что вы не опозорите красного Питера, колыбели революции. Мы посылаем лучших сынов для полного разгрома наймита международной реакции - махрового мракобеса Колчака. Он держится только подачками империалистов и жиреет на чужих кормах. Но помните, товарищи красноармейцы, чем больше свиньи жиреют, тем ближе они к погибели. Смерть Колчаку! Ура!

Питерские железнодорожники превзошли себя: поданные для воинов теплушки были прибраны, благоустроены.

- Смотрите, ребята, и трубы дымят! - восторженно переговаривались юные добровольцы. - Теплушки-то отапливаются! Здорово!

В самом деле, в холодном, прозябшем Петрограде это было верхом заботливости и любви - обеспечить топливом вагоны.

Стрижов страшно смутился, когда Анна Кондратьевна, пробравшись к нему, сунула сверточек с фуфайкой и домашними постряпеньками и на дорогу торопливо перекрестила его дрожащей рукой.

- Храни тебя бог!

- Ну что ты, мама!

- Береги себя, тут отцовская фуфайка, ты ведь чуть что - и простужаешься! Неженка!

"Как она постарела и сморщилась!" - горестно подумал он.

- По вагонам! - раздалась команда. - Шагом марш!

Множество рук поднимается и машет отъезжающим. Паровоз пыжится, шипит, выбрасывает клубы дыма - и дергает состав.

5

Все эти переживания Стрижова были вполне понятны Маркову, поэтому он мог бы их изобразить. Даже то обстоятельство, что сам Марков родом из маленького Кишинева, а детство Стрижова прошло здесь, в столичном гомоне и шуме, - и это не смущало юного романиста. Теперь он знал Петроград, хорошо знал и успел полюбить этот удивительный, какой-то вдохновенный, песенный, с горделивой осанкой, с широтой и размахом и, несмотря на старинные здания, архитектурные ансамбли, памятники, - неиссякаемо молодой город. Поэтому ему не трудно будет поместить героя своего будущего романа в доме на Фонтанке и самому как бы превратиться в питерского паренька.

Но дальше Маркову встретились, кажется, непреодолимые трудности. Уж он ли не испытал все, что человек испытывает в обстановке боя! Он ли не был участником отчаянных атак, осторожных обходных операций, тяжелого похода, когда они прорывались из

окружения... он ли не наблюдал изо дня в день, как талантливо, вдохновенно ведет свою бригаду на врага и одерживает победы Котовский! А вот представить и живо, достоверно, убедительно изобразить самарскую степь, каппелевский корпус, Уфу, Башкирию он никак бы не решился.

Кроме того, Маркову понятнее и ближе была душа кавалериста, а ведь там, на Восточном фронте, бесспорный перевес в кавалерийских частях был на стороне противника.

Кое-что Марков уже знал об обстановке на Восточном фронте в те годы. Он начал собирать газетные и журнальные статьи, касающиеся этого периода, а также военные обозрения и воспоминания участников, которые начали появляться в печати. Марков знал, что к началу марта 1919 года у нас было "8984 сабли", как выражались военные специалисты, говоря о кавалерийских частях, а Колчак располагал 31 920 саблями, в основном казаками.

Маркову случалось бывать в пешем строю. Особенно ему врезалось в память одно туманное утро, когда он лежал в окопах на берегу реки Здвиж рядом с Савелием Кожевниковым, ожидая сигнала атаки. Но, странное дело, он никак не мог вжиться в образ чапаевца, не представлял себя на месте Стрижова, а если начинал думать об этом, невольно сбивался на те зарисовки, которые даны в книге Фурманова.

Между тем замысел у Маркова был совсем иной. Главное же, Марков совсем не намеревался да и не решился бы делать литературный портрет Чапаева. А что он намеревался показать? В том-то и дело, что сам он этого твердо не знал.

- Погрузили вас в воинский эшелон, и вы поехали, - выспрашивал Марков у своего предполагаемого героя. - А что потом?

- Приехали в Самару, - охотно пускался в воспоминания Стрижов, - а там "веселенькая" картинка: искалеченные артиллерийским обстрелом дома, забитые фанерой окна, черные головешки пожарищ... Одним словом, война. У войны ведь безобразная морда. Помню, куда ни поглядишь, - мотки колючей проволоки, наполовину засыпанные снегом. На берегу реки Самары, на Хлебной площади в центре, на дамбе напротив элеватора и вообще везде - поперек улиц и площадей - борозды окопов, иди да гляди под ноги. Ведь только что здесь шел бой, прямо на улицах. На той стороне белогвардейцы-учредиловцы, на этой - недавно сформированные части Красной Армии... Пальба, кровь, трупы валяются... Кипящий котел! Старые царские чиновники саботируют, эсеры устраивают восстания... Сегодня мы, завтра они - так и переходило из рук в руки. Просто сказать: одержали победу! Каждый дом - неприступная крепость, из каждого куста - пулеметная очередь. А что творили там анархисты - уму непостижимо! Однажды они взорвали здание, где заседал ревком. Половина дома взлетела на воздух, а во второй половине, в той, что не взлетела, как раз и находились ревкомовцы. А тут Дутов. А тут разагитировали братишечек - матросскую часть какую-то, и пошла потеха. Выпустили из тюрьмы уголовников - представляешь, как они гульнули?

- Не очень, но представляю, - пробормотал Марков. - А рассказываешь ты - дух захватывает, так и видишь всю картину. Жаль, что ты стихотворец, у тебя бы в прозе получалось!

Стрижов был польщен.

- Так вот. Захватили анархисты телеграф, телефонную станцию. Но больше грабили, чем воевали. Наш штаб находился на Заводской улице, в клубе коммунистов. Подоспели железнодорожники со станции Кинель. Ну, тут бунтовщиков разоружили. Только порядок наладили - а в это время подступила к Самаре десятитысячная чехословацкая дивизия...

- Десятитысячная?! - воскликнул Марков, увлекшись повествованием и совсем забыв, что собирает материалы для романа.

- Десятитысячная! Самое меньшее! А у нас и трех тысяч на всем протяжении от Самары до Сызрани не наберется. Представляешь, какая музыка получается? Сколько тут погибло дружинников под пулеметным огнем, сколько потонуло в речушке Татьянке, никто не подсчитывал. Разве подсчитаешь?

- Ты сам-то Куйбышева видел?

- А как же? Вот так он, вот так мы. Нас ведь, как прибыли, на пополнение пустили. Одних в пятую армию, а я попал в ту партию, которую определили в двести двадцатый полк, ткачи там, иваново-вознесенцы. Шикарное знамя у них, им иваново-вознесенские мастерицы золотом и шелками его разузорили.

- А еще кого видел? Фрунзе видел?

- Да. На переправе. Но там некогда было разглядывать. Лошадь у него была красивая. Лидка. Убило ее.

Стрижов призадумался. Углы губ у него страдальчески опустились, глаза подернулись слезой.

- Сколько лошадей за войну погибло! Люди дерутся, а лошади чем виноваты? Жалко лошадей.

- А людей?

- И людей, конечно...

Разговоров было много, но с собиранием материалов в общем не получалось. Нельзя же считать достаточным для того, чтобы писать роман, увлекательных, но крайне сбивчивых рассказов Стрижова. О Бугуруслане он сумел сообщить только, что этот город стоит на высоком утесистом берегу, что в Бугуруслане и в Бугульме раньше были женские монастыри, но монахини все разбежались. Рассказал еще кое-что, но отрывочно, бессвязно. Что у красноармейцев была поговорка, когда белые отступили в Уфу, стоящую на берегу реки Белой: "Белые спрятались за Белую". Что в городе Пугачевске был сформирован полк имени Красной Звезды. Что у белых в корпусе Каппеля было много тяжелых орудий, были бронепоезда, самолеты, а также особые "ударные" батальоны, почти целиком состоявшие из офицеров. Что по-башкирски река Белая - Ак-исыл.

6

Марков понял, что ему придется изучать военное искусство, чтобы толково рассказать о скромном красноармейце Стрижове. Марков записался в Публичную библиотеку, стал проводить в ней целые дни, полюбил ее громадные залы, шелест страниц, и необыкновенную, совсем особенную тишину, и стеклянные шкафы, наполненные книгами, строгие, думающие свою думу, хранящие много тайн, много разгадок, множество формул, справок, исповедей и творческого вдохновения.

А Стрижов - Женька Стрижов, неунывающий парень, вечно бормочущий стихотворные строки, шумный и непоседливый, - жил прежней жизнью.

Если у Маркова помещали в каком-нибудь журнале рассказ, они шли со Стрижовым в столовку или даже в "Кафе де гурме" на Невском, где были сбитые сливки со свежей земляникой, кофе и горячие пирожки, которые подавала хорошенькая официантка - не официантка, а живая реклама новой экономической политики, как утверждал Стрижов.

Стрижов восклицал, усаживаясь за мраморный столик:

- Гарсон! Сымпровизируй блестящий файв-о-клок!

Официантка улыбалась, а Марков вглядывался, вглядывался в своего избранника, будущего героя ненаписанного романа.

Веселый парень. Его ничуть не портит маленькая хромота - результат ранения. Стихов пишет мало, еще меньше его печатают. Он не унывает. Говорит, что мать делает какие-то вышивки и продает. На это они в основном и существуют.

- Михаила Кузьмина тоже мало печатают, - беспечно философствует Стрижов. - Что поделаешь? Не все годится, в каждую эпоху различный спрос.

И Стрижов декламирует:

Я старика не корю:
Что тут поделаешь, если
Не подошли Октябрю
Александрийские песни!

- Это - о Кузьмине? А о тебе?

- Обо мне тоже есть:

Не пиши ты ни элегий,
Ни стихов про небеса;
Пропадай твоя телега,
Все четыре колеса!

- Женька! А ты разве про небеса пишешь?

И тут, за столиком кафе, доедая третью порцию сбитых сливок, облюбованный Марковым герой вдруг обнаружил какую-то трещинку. Это встревожило Маркова. Его герой явно сворачивал куда-то не туда. Что за меланхолия? Что за мрачные нотки? Что за жалобы на эпоху? Сказано: не пищать!

Они расплатились (то есть Марков расплатился, у Стрижова, по обыкновению, не было ни гроша) и вышли на улицу.

Было весеннее время, и земляника в кафе, видимо, была оранжерейная, потому и дорогая. А весенний город улыбался, запахи талой земли и тугих набухающих почек тревожили, призывали к бродяжничеству, к лесным тропинкам, будили смутные устремления, в которых никак не разобраться. На улицах продавали пучки верб и ярко-желтые веточки мимозы, пахнущей сладко и томительно.

Стрижов продекламировал:

Вербы распустившуюся ветку,
Улыбаясь, носим мы в руках.

- Нет, - несговорчиво промолвил Марков, - ты погоди с вербами, ты мне насчет пропадающей телеги объясни. Для меня это ново, что ты кислятину разводишь и с эпохой в разладе!

Стрижов неестественно громко рассмеялся:

- Всякое бывает. Ты романистом собираешься стать, а как стать романистом без конфликтов?

И Стрижов долго, путанно и как-то надрывно говорил, что вот этой улыбающейся официантке и жирной бабище у кассы, хозяйке кафе, он бы с удовольствием по физиономии съездил.

- Купцы! Спекулянты! Хари самодовольные! Тебе что! Малюешь одной краской - розовой - и пребываешь в некоем кудрявеньком облачке, как херувимчик на иконостасе. Не видишь разве, что вокруг творится? Впрочем, конечно, не видишь и не слышишь - на глазах шоры и уши ватой заткнул...

Марков слушал с ужасом - его герой, как плохой актер, перехватывал чьи-то чужие реплики. Весь замысел романа летел в тартарары! И что с ним случилось? Ведь всегда они были едины во взглядах и настроениях?!

Стрижов говорил, говорил... Они прохаживались по Невскому, мимо Екатерининского сквера, мимо Сада Отдыха, мимо Аничкова дворца и затем по мосту с клодтовскими конями, доходили до Владимирского проспекта - до бывшего ресторана Палкина - и поворачивали назад. Весеннее солнце пригревало, носились терпкие запахи мимозы и тополей, в сквере капали вешние капли с мантии Екатерины Второй прямо на Дашкову, на Потемкина, на Румянцева... А приятели все бродили и бродили.

Марков больше слушал, и ему начинало казаться, что, может быть, в чем-то Стрижов и прав? Очень уж не вяжется новый облик города с тем, что они привыкли видеть в годы фронтовой жизни, в годы гражданской войны. И действительно, противная харя у хозяйки кафе, это он тоже заметил. Чье это стихотворение "Черная пена" продекламировал Стрижов? И где слышал Марков стереотипную фразу, которую Стрижов настойчиво повторял: "За что боролись?" И откуда у него эти поговорки, которые он произносит с надсадной злостью: "Хорошо затянул, да осекся" или "Спросили бы гуся, не зябнут ли ноги"... Это он к чему же? И что это вдруг в прозе заговорил?

7

Миша Марков стал с некоторых пор Михаилом Марковым и даже Михаилом Петровичем Марковым, начинающим писателем, автором небезызвестного рассказа "Отчий

дом", который так понравился Крутоярову.

Однако, несмотря на то что он был Михаил Петрович и автор небезызвестного рассказа, ему здорово попало от того же самого Крутоярова.

Откровенно говоря, и стоило. Маркову вовсе не свойственно было унывать, хныкать, его никогда не обуревали сомнения. Он и теперь не имел в виду себя, а пустился в рассуждения вообще и в частности:

- Хорошо тем, кто участвовал в гражданской войне! Вот когда можно было совершать сколько угодно подвигов и моментально сделаться гером! А попробуй проявить героизм сейчас, во время нэпа! Разве что прославиться как лучшему директору универмага?

- Ничего подобного! Абсолютная чушь! - сразу вспылил Крутояров. Вообще нет такого времени, когда человек не мог бы совершать славных, полезных дел. А уж сейчас тем более. Ведь это только говорится, что настало мирное время. Ни черта оно не настало! Идет самая ожесточеннейшая схватка нового и старого, и, как говорится, с переменным успехом.

- Да какая же это схватка, Иван Сергеевич, - взмолился Марков, - если уж дошло до того, что прежних лавочников пригласили развертывать торговлю!

- Милейший, да ведь это же маневр! Как не понять этого? А еще военный! Чистейшей воды маневр, обходное движение: заставить самого врага собственными же руками подкрепить силы революции, залатать дыры, образовавшиеся за годы войны, привлечь на свою сторону мужичка с его двойственной натурой... Вряд ли за всю историю человечества совершался более мудрый государственный акт. Вместе с тем нэп - хо-орошенькая проверка. Если в тебе жива обывательская закваска, ты сразу клюнешь на нэповские калачи!

- А если не клюнешь? Какие же подвиги совершать? Поругивать нэпманов?

- Строить! Воспитывать! Господи боже мой! Прорва дел! Не воображаете же вы, что у нас одни пресвятые угодники, что за границу уехали все контрреволюционеры, все подхалимы, все взяточники? Предостаточно осталось и здесь! И элементарных дураков немало, и пришипившихся вражин, и полный комплект обывателей, мелкой буржуазии... А сколько таких, вроде бы и не плохих, да старые навыки у них навязли в зубах? Не выковырять! Эх, Марков, Марков! Тут еще десятилетиями придется пни выкорчевывать! И опять же не могу не вспомнить Котовского. Вот человек действия! Он не пускается в рассуждения, он действует. Не дожидается каких-то гигантских сверхмероприятий, с жаром берется за всякое дело, если видит в том пользу, или, как он называет, политический эффект. С этой точки зрения он и есть новое явление, новый человек. А для нашего брата писателя не первейшая ли задача подмечать, подхватывать ростки нового и новое прославлять? Каков облик старого? Или Обломов - воплощение добродушной лени, инертности, или Штольц - мелкая душонка, пустодел, эгоист, узколобый предприниматель. Пришло время обломовых будить от спячки, а штольцев гнать поганой метлой. Я наблюдал одного этакого Штольца. Всю жизнь он комбинировал, соблюдал свою маленькую выгоду и втихомолку хихикал в кулак: пусть другие лезут на рожон, записываются добровольцами, прут под пули, ворочают самую тяжелую работу - плавят сталь, сеют хлеб, строят дома, защищают родину, а он при всех ситуациях уцелеет, ухватит кусочек булки со сливочным маслом! Призывали в армию - он дал кому-то взятку. Хотели куда-то перевести - он представил тысячу справок. И так без конца - махинации, махинации... А смотрит на всех свысока и строит благородное трудящееся лицо, мразь этакая! Так вот, дорогой дружище, никто вас не назначает директором универмага, и не так просто быть директором универмага, как вам представляется. К вашему сведению, сейчас многие командиры-коммунисты пошли на хозяйственные посты. Да и Григорий Иванович, я слышал, пооткрывал корпусные лавки, наладил кожевенный завод, изготовляет сахар и даже делает кирпичи. Стыдно ничего не делать, а делать полезное - почетно!

Долго отчитывал Мишу Крутояров. Миша молчал и сгорал от стыда. Вот так романист! Меж двух сосен запутался, чуть не оказался на поводу у своего предполагаемого героя! Вот так котовец! Растерялся перед нэпманшей из "Кафе де гурме"! Не разобрался в обстановке! Надо читать, голубчик, газеты надо читать, подковываться надо! Сам же Стрижов как-то

говорил, что человек должен иметь мировоззрение. Какое у него мировоззрение? Куда его повернуло? Ведь это троцкисты кричат, что революция перерождается. Ведь это эмигранты потирают раньше времени руки.

После разговора с Крутояровым Марков стал настороженно относиться к приятелю. Тот почувствовал сразу, что между ними пробежала черная кошка. Они стали реже встречаться, меньше беседовать. Стрижов при встрече не стал громогласно читать стихи.

А однажды Марков сделал еще одно неприятное открытие: когда они сидели рядом в литстудии, от Стрижова попахивало водкой.

Все более в отношениях Маркова и Стрижова нарастал холодок.

В О С Ь М А Я Г Л А В А

1

Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше у Николая Лаврентьевича Орешникова. Он мог быть доволен своим служебным положением. Сокращение Красной Армии и демобилизация его не коснулись. Он так и остался, как был, командиром полка. В полк пришли новобранцы, и Орешников с увлечением занялся настойчивым воспитанием молодежи.

Большой радостью было узнать, что и родители Орешникова живы-здоровы, как жили, так и живут в Петрограде, на Васильевском острове, на 3 линии, недалеко от кирки. А сестры повыходили замуж и разъехались в разные города.

Орешников даже ездил в Петроград навестить стариков. Мать плакала от радости, отец делал "гым-гум", которое у него принимало разные оттенки и могло выражать удивление, удовольствие или сомнение, неодобрение. Николай Лаврентьевич рассказал им не очень подробно, выбирая не самое страшное и трудное, о своей мятежной жизни: о том, каким образом попал в деникинскую армию, о том, какая была в то время Одесса, о том, как у него произошли встречи со знаменитым Котовским, подпольщиком и революционером, а затем, совсем уже кратко, как попал в плен и был спасен от расстрела тем же Котовским.

- Совсем как в "Капитанской дочке" Пушкина, гым-гум, - подал голос отец.

А мать нашла вполне подходящим момент, чтобы снова расплакаться. Она, как никогда вообще, так и до сих пор, ровно ничего не понимала в происходящем вокруг. И зачем это русские сражаются с такими же русскими? Отчего это вдруг стало мало продуктов, куда они подевались? Отчего это снова стало много продуктов, но денег стало мало? Она была очень старенькая, и весь круг ее интересов сосредоточивался на "папе", как она называла супруга: почему это у него стал плохой аппетит... и вот опять кашлять стал больше, наверное, под форточкой сидел... (Надо сказать, что папа кашлял всю жизнь, но жена по каким-то неуловимым признакам определяла, что кашель то становился больше, то уменьшался или не уменьшался, но делался мягче, без надрыва).

В общем, Орешников был рад, что мать и отец живы, что даже мебель в квартире как стояла до революции, так стоит и сейчас, только одну комнату присоединили к соседней квартире, пробив к стене дверь и замуровав отсюда.

- Так даже лучше, - примирительно говорила скороговоркой старушка, дров меньше идет, а то ведь не напасешься. Двух комнат нам предостаточно, танцевать не приходится. В одной комнате мы студентку поселили, куда ж ей деваться? Да и очень за нее Красовские просили. А в другой мы с папой. Танцевать не приходится.

Орешников познакомился с квартиранткой-студенткой, белокурая такая. Раз они поговорили, два поговорили, а когда отправились вместе в театр, тут Капитолина Ивановна и догадалась:

- Папа, никак нам свадьбу в доме играть, а у меня и рюмки все мухами засижены.

Она не ошиблась. Еще отпуск у Николая Лаврентьевича не кончился, когда он сообщил, будто случайно, за столом, передавая тарелку с хлебом:

- Дорогие родители, можете поздравить нас, мы с Любашей записались сегодня в загсе.

Женитьба принесла много радостей Орешникову, а еще больше Капитолине Ивановне. И с детьми ждать ее молодожены не заставили. Родился Вовка, беловолосый, в мать, глаза

голубовато-серые, голос пронзительный, даже через замурованную дверь к соседним жильцам проникает, и там всегда знают, спит Вова или бодрствует.

Орешников бывал дома наездами. Любаша не хотела бросать университет, а бабушка не хотела расстаться с внуком. Тем не менее семья у Орешникова получилась дружная, и все было хорошо.

Но все-таки, все-таки была у него ссадина на душе: все ему казалось, что он пасынок в армии, что ему не доверяют. Пленный! Белогвардеец! Золотопогонник! Военспец! Чужой! А какой черт чужой? Отец - старый интеллигент, ни своих магазинов, ни своих имений у них не заветалось. Нашли эксплуататора! Всю жизнь лямку тянул... А сам Орешников? Недоучка, скороспелый офицер... Швыряло его как щепку. Разве он по своей воле покинул Путейский институт? Забрали и отправили в школу прапорщиков! Разве он пробирался, переодетый, к Краснову или еще куда-нибудь, на Дон, на юг, в стан очередного незадачливого белого генерала? Ничего подобного, всех офицеров, под метелку, забирали тогда в ряды белых. Но даже если бы сам пошел? Ведь простили? Сколько же раз судить за одну и ту же вину? Разве не доказал он с тех пор всей своей деятельностью, что служит и будет служить новой России, не изменит, не продаст, не совершит ни одного бесчестного поступка? Так зачем же косые взгляды, недомолвки, уколы самолюбия на каждом шагу, постоянное отгораживание: вот здесь вы, а с этой черты мы, просим не смешивать!

Иногда Орешников придирчиво проверял себя: но излишняя ли мнительность у него развилась? Не выдумывает ли он все эти уколы и недомолвки? Нет, не выдумывает! И необычайно болезненно воспринимает! Становится неестественным, постоянно настороженным. Становится обидчивым, самолюбивым, становится не самим собой, а вследствие этого еще более отчужденным. Постоянное ощущение, что ты чужой, что ты - кто тебя знает, может быть, примазываешься, может быть, затаился? - все это изводило Орешникова.

2

Узнав, что Григорий Иванович Котовский формирует корпус и постоянно проживает в Умани, Орешников решил поехать к нему, чтобы поговорить обо всем начистоту, со всей прямотой и откровенностью, отвести, что называется, душу.

Котовский встретил радушно, оставил у себя ночевать, потчевал обедом, даже показал сына, чего не каждый удостаивался.

- Вот, брат, растет смена!

- Да ведь и у меня, Григорий Иванович, сын.

- Неужели! Поздравляю! Что же вы не известили хотя бы письмом? Леля! Слышишь, какая новость? У Николая Лаврентьевича сын! Сколько же ему? Леля! Ты слышишь? Уже скоро четыре года! Молодец! Имя какое выбрали? Леля! Ты слышишь? Вовка у них! Удивительное дело все-таки... Представляете, пройдет столько-то лет, нас уже не будет, Вовка будет уже не Вовка, а Владимир Николаевич, мой Гришутка будет уже не Гришутка, а Григорий Григорьевич... И будет у них своя какая-то жизнь, своя судьба, может быть даже не предусмотренная нами, своя собственная... Встретятся, скажут: "Кажется, наши отцы знали друг друга? Постойте-ка, давайте разберемся - значит, и мы с вами через отцов вроде как знакомы? Не правда ли?" И ничего плохого о нас не скажут, даже, может быть, похвалят: дескать, папы у нас были что надо! Удивительно все это получается!

- Немножко не так, - поправил Орешников. - Ваш-то, безусловно, скажет: "Славную жизнь прожил мой отец, с благодарностью вспоминают его люди!", а мой Вовка вздохнет и виновато признается: "А у меня отец, знаете ли, из белогвардейцев, чуждого класса. Но был помилован великодушной Советской властью".

Котовский пристально посмотрел на Николая Лаврентьевича, и мечтательная улыбка растаяла у него на лице. Ах вот оно что! Ущемлен человек, что-то у него не клеится!

- Что-нибудь случилось? Обидел кто? Давайте, давайте, выкладывайте без обиняков.

Орешников стал рассказывать. И как только стал рассказывать, самому вдруг представилось все таким мелочным, пустяковым. Даже неловко было ради чего же он

специально приехал к Котовскому? На что жаловаться? Где факты? Ничего конкретного нет! И на хорошем счету, и орденом награжден...

Но Котовский понял, не нашел жалобу Орешникова мелочной, уловил даже то, что осталось невысказанным в сбивчивом и взволнованном его рассказе.

- Есть! Есть это у нас! - с огорчением говорил Котовский, морщась, как от боли. - Есть это комчванство и хвастание пролетарским происхождением! Отвратительная черта! Слава богу, от души поздравляю, очень за тебя рад, если ты родился в семье свинопаса, или молотобойца, или волжского грузчика. Это похвально, это ценно. Но расскажи еще, что ты делаешь для революции, как ты живешь? Не шкурничаешь ли? Не пьешь ли запоем? Не бьешь ли смертным боем жену? Да, рабочий класс в содружестве с крестьянством ведет нас к победам. Это факт. Но если человек и из чуждого класса встал на сторону революции, зачем же упрекать его происхождением?! Недавно я в Москве с Куйбышевым встретился - какой деятель, какой революционер! А происхождения непролетарского. Или Коллонтай - дочь генерала, а мы ее полпредом в Норвегию послали. Мало ли таких? А вот я другого знаю - командир, коммунист, и происхождение отличное, а копни глубже - дрянцо порядочное. Как видите, здесь нужен сугубо индивидуальный подход.

- Это-то верно, - грустно согласился Орешников. - Я и другие примеры знаю. Болезненное самолюбие приковывает мое внимание к любому факту, если этот факт говорит в мою пользу.

- Николай Лаврентьевич! Меня-то вы не убеждайте! У меня начальник штаба корпуса - в прошлом царский полковник, а как работает! Что вы мне доказываете? Товарищ Фрунзе организовал в Харькове общество ревнителей военных знаний, и там есть бывшие царские офицеры...

- Обидно читать, когда нашего брата, военных специалистов, обзывают "холопами всякой власти" да говорят, что нас можно использовать только в роли денщиков!

- Где это вы вычитали?

- Отец подшивает комплекты газет. Он и показал мне "Петроградскую правду". Кажется, Лашевич и Зиновьев обрушиваются.

- Так это давнишнее дело! За какой год подшивка? За восемнадцатый? Вот это вы удосужились прочитать, а как Ленин высказался на этот счет в письме ЦК, где призыв на борьбу с Деникиным, - этого не знаете? А там прямое осуждение такого неверного тона по отношению к военспецам и заявление, что партия будет исправлять эти ошибки. Так вот, Николай Лаврентьевич, всем, кто хочет добросовестно у нас работать, широко открыты двери. И мне все-таки кажется, что вы немножко предвзято смотрите на отношение к вам. Конечно, со временем Красную Армию постараются обеспечить командирами из народа. Это ведь вполне законное стремление. Но многие царские офицеры служили и служат в Красной Армии. А уж вас-то, я не знаю, кто мог чем-нибудь попрекнуть?

- Как! А служба в белой армии?

- Я-то об этом лучше других знаю!

- Потому что взяли меня в плен?

- Нет, не поэтому. А потому, что белый офицер Орешников узнал переодетого подпольщика Котовского и не подумал даже выдать его! Даже глазом не моргнул, хотя ехал с ним в одном вагоне и беседовал всю дорогу на возвышенные темы!

- Ах, это? Но ведь у интеллигенции есть особый род предрассудка: стыдно доносить. Даже в школьные годы у нас никто так жестоко не преследовался, как ябеды и фискалы.

- Хорошо. А какой предрассудок заставил вас выручить меня, когда я отбивался от деникинского патруля в Одессе? Какие соображения подсказали вам предупредить меня на званом обеде у французского военного атташе? Нет, Николай Лаврентьевич, не преуменьшайте ваших достоинств. И не проявляйте излишней скромности. Что вы мне твердите про белую армию?! Выводы: сейчас мы познакомимся с кулинарным искусством Ольги Петровны, а затем, если не возражаете, махнем в Харьков, к Михаилу Васильевичу Фрунзе.

- Что вы! Это неудобно...

- Что именно неудобно? Позавтракать? Или поехать к Фрунзе? Так позвольте вам сказать, что и то и другое и удобно, и приятно, и необходимо.

3

И они отправились после завтрака на вокзал, предварительно изучив расписание поездов. Орешников отговаривался и по мере приближения к цели все более смущался.

- Ну что я ему скажу? Зачем явился?

- Я буду говорить.

Однако тотчас, как очутились они в уютной квартире Михаила Васильевича, смущение прошло, осталось лишь светлое чувство радости, ощущение семейного согласия, атмосферы деятельности и творческого горения.

У Котовского было достаточно такта, чтобы не поставить человека в неудобное положение, когда в его присутствии рассказывают о его же добродетели и благородных поступках.

- Познакомьтесь! Мой старый друг, заядлый рыболов, знакомы еще по Кишиневу. Николай Лаврентьевич Орешников. Прошу любить и жаловать.

- Очень приятно познакомиться, - отозвался, улыбаясь, Фрунзе. Рыболов, говорите? Чудесное занятие! Если рыболов, значит, и природу любите, значит, знаете, что такое роса на траве, полосы тумана, сонная гладь реки... и этакая свежесть пронизывает... Я люблю предрассветные часы в лесу - я, к вашему сведению, заядлый охотник.

- Мы приехали разрешить спорный вопрос... - продолжал Котовский.

Орешников покраснел, полагая, что вот сейчас и начнется повествование о том, как благородно поступил Орешников, как выручил из беды подпольщика Котовского-Королевского.

- Сделаю все, что в моих силах! - отозвался Фрунзе, пока еще ничего не понимая, но заметив, как вспыхнул Орешников и как готов был протестовать.

Котовский продолжал с самым серьезным видом:

- Вот уже несколько лет мы с ним спорим и не можем прийти ни к какому решению. Скажите, Михаил Васильевич, когда рыба лучше клюет - перед дождем или после дождя?

От неожиданности расхохотались и Фрунзе, и Орешников, а вошедшая в этот момент Софья Алексеевна с благодарностью посмотрела на Котовского и с удовольствием на мужа.

Сразу исчезла напряженность, всем стало просто и приятно. Орешников разговорился и рассказал о рыбной ловле множество наблюдений и примет. И так же беззаботно рассказал Котовский о своих встречах с Орешниковым, пересыпая рассказ смешными словечками, острыми характеристиками.

Фрунзе все понял, это видно было по его умным глазам, в которых искрилось веселое лукавство.

- Ну что ж, товарищи рыбаки, мы все это обсудим. А мне тоже кое о чем надо посоветоваться...

И завязался оживленный обмен мнениями. Фрунзе рассказывал о перестройке Красной Армии, Котовский - о жизни 2-го корпуса, Орешников - о новом призыве в ряды армии, об удачах и неполадках, о перевооружении, о военной технике.

Когда Орешникову было представлено младшее поколение семьи - Танечка, смотревшая на незнакомого человека исподлобья, и беззаботно-оживленный Тимур, - Котовский немедленно сообщил, что у Орешникова тоже сын четырехлетний Вова.

- А где он? - заинтересованно спросил Тимур, на что Танюша по-взрослому, с той снисходительностью, с какой девочки разговаривают с младшими братьями и сестрами в присутствии старших, пояснила, что дядя здесь не живет, приехал из другою города - ту-ту-ту! - и поэтому Вова не может прийти к ним в гости.

- Пусть он приедет на поезде! - безапелляционно решил Тимур.

Всем понравилась железная логика его рассуждений.

- У них на все своя точка зрения! - воскликнул оживившийся Орешников. И не утерпел,

чтобы не рассказать о своем Вовке: - Недавно моя жена (она студентка) растолковывала за обеденным столом всем домашним, какое будет устройство в коммунистическом обществе. Бабушка наша недоверчиво поджимала губы, отец издавал неопределенное "гым-гум" (такая у него привычка), а Вовка слушал крайне внимательно, видимо ухватывая самую суть. И вдруг он спросил: "И все будут давать бесплатно?" - "Да, Вова, - с гордостью ответила Люба (это моя жена), - и ты это время увидишь". - "И хлеб бесплатно? И ездить в трамвае бесплатно?" Мы смотрели на Вову с любопытством и с некоторым самодовольством подтвердили: "Ну конечно, Вова! И в театр бесплатно, и квартира бесплатно, и одежда бесплатно". Наш Вова был в полном восторге. С минуту он мысленно прикидывал и вдруг выпалил при общем молчании; "Вот здорово! А деньги копить будем!"

- Черт возьми! - хохотал Фрунзе. - Вот это сказанул! А вы говорите!

- Что-что? - вернулась из кухни Софья Алексеевна. - Я немножко недослышала... Как он сказал? Что копить?

Орешникова заставили повторить все сначала, и снова все от души смеялись.

Тимур, заметив, каким успехом пользуются рассказы Орешникова, проникся к нему доверием.

- Дядя, а ты умеешь сказки рассказывать?

Но детей отправили спать, и разговор снова принял другое направление. Котовский, высказываясь от своего лица, а отнюдь не ссылаясь на Орешникова, изобразил Михаилу Васильевичу двусмысленное положение военспецов, находящихся в рядах Красной Армии.

- Почему, собственно, они должны быть пасынками? - с обычной горячностью и напористостью говорил Котовский. - Право умирать рядом с нами в бою мы им предоставили, тем самым они стали с нами вровень, нельзя их пускать вторым сортом, нельзя допускать уколов их самолюбию!

- Конечно, - согласился Фрунзе. - Тем более, что число их не такое маленькое. В печати приводились данные. С июня тысяча девятьсот восемнадцатого года по август тысяча девятьсот двадцатого в Красную Армию влилось что-то, дай бог памяти, около пятидесяти тысяч офицеров, больше двухсот тысяч подпрапорщиков, фельдфебелей и унтеров, да еще немало военных чиновников, врачей, лекпомов. Старые кадровые офицеры, офицеры царской армии, в наших рядах, бок о бок с нами боролись за утверждение диктатуры пролетариата. Сейчас нам нужно стремиться, чтобы военные специалисты, как таковые, как обломок какого-то отмершего государственного строя, прекратили свое существование, чтобы их не было у нас, а были только военные работники, одни - партийные, другие - беспартийные, но все являлись бы военными работниками Рабоче-Крестьянской Красной Армии, верными интересам пролетарской государственности. Я об этом говорил и говорю, да так оно и будет в ближайшем будущем.

Фрунзе нет-нет и вспомнит рассказ Орешникова о Вовке:

- Так, говорит, деньги копить будем? Замечательно!

При этом он так заразительно заливался смехом, что заставлял смеяться и других.

- Ваша жена студентка? Небось и вам приходится подтягиваться и знакомиться с марксизмом? Ведь рискованно попасть впросак, как попал Вова?

- Конечно, наверстываю упущенное. Иначе нельзя.

- Особенно в наше время!

- У нас в корпусе, - добавил Котовский, - вовсю идут занятия по ликвидации неграмотности.

- Как же иначе? Каждый красноармеец должен быть вполне грамотным. А скоро мы будем требовать, чтобы он был образованным, всесторонне развитым, политически подкованным, а по части военного дела - опытным человеком, с максимальной военной квалификацией.

Софья Алексеевна, то накрывая на стол, то возясь в кухне, все время в хлопотах, поминутно входила и выходила, но не теряла нити разговора.

- Ну, товарищи, вы теперь пропали! - объявила она, услышав последние слова мужа. -

Теперь вам придется выслушать доклад о единой доктрине, о реорганизации армии, это у нас целые дни до глубокой ночи, а затем Михаил Васильевич закрывается в кабинете, и это уже до утра... О единоначалии не говорили? Подождите, будет и о единоначалии!

Михаил Васильевич разводил руками и виновато улыбался:

- А как же иначе, Сонечка? Ведь животрепещущее!

И пояснил Орешникову и Котовскому:

- Она по-своему права, все заботится, чтобы я не утомлялся. А не получается. Нельзя, не можем мы с прохладцей действовать, не такое время!

- Я сейчас особенно остро чувствую, что остался недоучкой, признался Орешников.

- Все мы учимся, наверстываем упущенное. Взять Григория Ивановича. С корпусом работы невпроворот, хватает дел и по общественной линии. Ведь Григорий Иванович, учтите, государственный деятель, без него не проходит ни одной конференции на Украине, ни одного совещания. А он - заочник Военной академии. Тоже не шуточки. Кстати, как идет учеба, Григорий Иванович?

- Идет! - вздохнул Котовский. - Если бы не моя закалка, не гимнастика по утрам, ни за что бы не выдержал. Сейчас начал прорабатывать "Капитал". А без этого как? Легче без весел по океану плавать.

Орешников слушал их и все наматывал на ус.

Фрунзе лукаво посмотрел на жену:

- Софья Алексеевна не ошиблась, о единоначалии я не могу не заговорить. Казалось бы, дело очевидное, а сколько споров, сколько шумихи вокруг этого вопроса, и все под маркой блюстителей революционности!

- Троцкий, конечно? - спросил Котовский отрывисто и хмурясь.

- Да, и он. Все норовят Ленина подправить и свои куцые идейки протащить! Приглядишься - и что же видишь? Оказывается, с кем эта публика солидаризируется - с реакционерами, выступавшими на страницах покойного журнала "Военное дело"! Ведь и они, как Троцкий, утверждали, что мы плохо воевали, то есть не по тем правилам, которые преподавали в Академии генерального штаба при царе.

- Плохо воевали, а морду всем набили, и баронам и адмиралам, проворчал Котовский.

- Дореволюционным военным кругам, - напомнил Орешников, - было присуще поклонение иностранным образчикам, особенно немецким. Только лучшая часть русского офицерства училась военному делу у Суворова и Кутузова, у Румянцева и Петра Первого.

Орешников затронул вопрос, волновавший Михаила Васильевича.

- Я изучал постановку военного дела за рубежом. Основа германской военной доктрины - ярко выраженный наступательный дух. Это хищническое государство готовит армию для захвата, для грызни с конкурентами. В упоении германская военщина утрачивает чувство реальности. Клаузевиц полагал, что военный успех зависит исключительно от разума полководца. Но ведь есть еще экономика, техника - тоже немаловажные факторы! А народ?! Недооценка противника, преувеличение роли внезапности, излишний апломб вот порочная сердцевина германской доктрины. А для Франции характерны неуверенность в своих силах, неспособность смело искать решения боя. Надо отметить переобременение французской армии новой формации элементами техники. Батальонам придаются танковые взводы, ротам - огромное количество пулеметов... И это не случайно: капиталисты больше надеются на мертвую технику, чем на живых людей, - кто их знает, этих людей, каковы их чаяния и надежды! По тем же соображениям французскую армию намечают в значительной мере укомплектовать африканцами. Только призадумались бы господа капиталисты: а вдруг и чернокожие начнут кое в чем разбираться? Очень своеобразно решает военный вопрос Англия. У нее установка - иметь флот, равный соединенным флотам двух сильнейших морских держав. С появлением на мировой арене такого соперника, как Соединенные Штаты, Англии придется придумывать что-нибудь новое.

- Если будет перечислена еще одна держава, - вмешалась в разговор Софья Алексеевна, - то твои гости умрут с голоду, а ты будешь за это отвечать.

- В самом деле, товарищи, - спохватился Фрунзе, - чего это мы стоим? Идемте к столу!

И тут же стал оправдываться и доказывать свою правоту:

- Но это же естественно, Соня! Если повстречаются, скажем, любители природы... Разве им наскучит говорить о грибах, о том, будет ли дождливым лето... Музыканты, собравшись вместе, поведут свои разговоры... А мы о своем. У кого чего болит, тот о том и говорит. Вопросы боеготовности волнуют каждого, не только военных. Пока есть хоть одно жерло пушки, наведенное на нас, мы обязаны заботиться, чтобы все было наготове. И по-моему, нет почетнее воинского звания! Ведь если некому охранять наш дом, наш мирный труд, наши богатства, тогда бессмысленно и огород городить!

- О единоначалии, Софья Алексеевна, мы действительно поговорили, рассмеялся Котовский.

- Мало! Не надейтесь, что это все! Михаил Васильеевич на эти темы может говорить часами. Продолжение, вероятно, еще следует!

Предсказание Софьи Алексеевны сбылось: Михаил Васильевич вернулся к этому разговору. Он рассказал о том, что еще в 1920 году Ленин решительно высказывался за переход армии к единоначалию, как единственно правильной постановке работы. Коснулся Михаил Васильевич и споров с оппозиционерами. Наконец сообщил, что единоначалие в Красной Армии - вопрос решенный.

- Ведение боя, - говорил он с убеждением человека, выносившего свои идеи, - есть в конце концов творческий акт, который только тогда наиболее продуктивен, когда командиру, получившему приказ вышестоящего начальника, обеспечено единство командования, полнота власти над подчиненными.

- А если командир беспартийный? Как же быть с политическим руководством? - настойчиво спрашивал Орешников, имея в виду, конечно, себя.

Фрунзе ответил не сразу. Видимо, взвешивал, насколько серьезно отнесется Орешников к такому пояснению.

- Партия играла и будет играть руководящую роль во всей нашей военной политике, - медленно начал он. - Кто как не Коммунистическая партия является организатором наших побед? Кто вносил элементы порядка и дисциплины в ряды красных полков? Кто поддерживал мужество и бодрость бойцов? Кто налаживал тыл армии, создавая там советский порядок? Кто разлагал ряды врага? Это делали политические органы партии, и делали блестяще. Политическая работа в армии и впредь сохранит свое первостепенное значение. В этом и сила и отличительная особенность нашей армии.

Фрунзе внимательно посмотрел на Орешникова.

- Вы спрашиваете о беспартийных командирах? Но ведь советских? Но ведь наших? Но ведь пополняющих знания и, значит, изучающих марксизм?

- Да! - искренне рассмеялся Орешников. - Вы очень хорошо ответили на мой вопрос! А вот о военной доктрине почти ни слова, хотя Софья Алексеевна предупреждала, что без этого не обойдется.

- Представьте, Николай Лаврентьевич, выступаешь иной раз на совещании, присутствует исключительно командный и комиссарский состав, а приходится защищать, казалось бы, бесспорное положение: что для командного состава необходимо единство взглядов. А ведь это и есть единая военная доктрина.

- Понятно!

- Некоторым слово "доктрина" не нравится. Но дело-то не в названии? Как вы думаете?

- Как же назовешь иначе? Я под единой военной доктриной подразумеваю определенный выработанный взгляд на весь комплекс порядков, методов, задач армии, принятый в том или ином государстве.

Сказал это Орешников и смутился.

- Как? Как вы сказали? - оживился Фрунзе. - Чуточку скомкали, но в основном, кажется, верно. У Германии свои установки, у Франции свои. А наша единая военная доктрина тем более должна существенно отличаться от других, ведь и Советская держава -

государственное образование совершенно нового типа!

Фрунзе рассказал, какие споры поднимались по этому поводу, как некоторые люди договаривались до того, что никаких доктрин нам не надо и что вообще военной науки не существует...

- Да уж, не существует! - проворчал Котовский. - Я вот корплю иногда целыми ночами, хотя всего лишь заочник... Легче легкого безответственные фразы запускать!

Беседа перекинулась на другие темы. И вдруг, без всякой видимой связи, Фрунзе обернулся к Орешникову и спросил:

- Вы бы не возражали, Николай Лаврентьевич, против перевода вас в Петроград? Тем более что и семья у вас там...

Орешников даже вспыхнул от столь неожиданного и лестного предложения, особенно когда Фрунзе назвал при этом довольно высокий пост.

- Но ведь я беспартийный...

- Об этом мы, по-моему, уже толковали. У нас сейчас очень высокий процент партийных среди командного состава. Но о многих беспартийных, которые работают с нами, смело можно сказать: хорошо было бы иметь побольше таких партийцев, как эти беспартийные!

И в эту минуту Орешников понял, что - помимо общих рассуждений о военной доктрине, о кадрах - между Котовским и Фрунзе шел еще другой разговор. Котовский "между строк" рассказал о всех переживаниях Орешникова и дал свою рекомендацию, а Фрунзе тотчас прикинул, где и как можно использовать толкового и приемлемого идеологически офицера. Орешников был восхищен и этим тактом и этой оперативностью.

4

Под большим впечатлением от всего виденного и слышанного покидал Орешников гостеприимный дом Фрунзе. Все ему понравилось: и бойкие ребятишки, и душевная Софья Алексеевна. Но особенно - Фрунзе.

Когда они с Котовским вышли на улицу, уже стемнело. Харьков переливался бесчисленными точками освещенных окон и уличных фонарей. Каменные фасады, асфальт, даже перила мостов все еще не остыли после знойного дня и дышали теплом. А от густой листвы деревьев и от реки наплывала благоуханная прохлада.

Котовский шумно набрал полную грудь этого вкусного воздуха. Делая выдох, воскликнул:

- Экая благодать!

Он, конечно, сразу заметил, какое впечатление произвела на Орешникова встреча с Фрунзе.

- Все понял с одного намека! - удовлетворенно подытожил он. Редчайший человек, такие делают эпоху. Увидите, он перевернет все сверху донизу и создаст вполне современную армию. Если он за что берется, можно считать, что дело сделано. А вас я поздравляю. Поезжайте в свой полк, укладывайте чемодан, сидите на нем и ждите приказа о переводе.

- Даже не это главное, - ответил глубоко взволнованный Орешников. Главное, он видит в человеке человека. А ведь обычно начальство имеет в виду подчиненных, а не людей. Если бы меня даже никуда не перевели и вообще мною больше не занимались, я все-таки счастлив, что познакомился с редкостным человеком.

- Может быть, вы скажете, что я Козьма Прутков и говорю о том, что Волга впадает в Каспийское море, но я не перестаю удивляться: до чего легко и до чего выгодно быть хорошим! Гораздо приятнее и выгоднее, чем плохим!

Орешников мягко улыбнулся и не сразу ответил:

- Да, но не у всех это получается.

Д Е В Я Т А Я Г Л А В А

1

Маркову было странно, что никто не догадывается об удивительном происшествии, о

великом событии, которое совершилось в природе. Такие же будничные лица у прохожих, так же обыкновенно, спокойно жужжат трамваи, так же судачат на скамейках в сквере няни, предоставив самим себе нарядных ребятишек. А у него, у Маркова, напечатана книжка, первая книжка!

Марков вышел из издательства "Прибой". Во всем его существе было смятение, в сознании полный кавардак. Марков остановился, зажмурился от солнца, бившего прямо в глаза. Под мышкой у него была довольно солидная кипа: издательство выдавало автору бесплатно двадцать пять экземпляров книги - авторские экземпляры.

Марков оглянулся направо, налево.

"Как же это они не знают, что у меня издана книжка?! Не в журнале, не в сборнике среди других мой рассказ, а целая книга моих рассказов, моя собственная книга! Вот она, даже типографской краской и керосином пахнет. "Крутые повороты". Рассказы. 237 страниц. Моя!"

В трамвае Маркову казалось, что пассажиры на него с любопытством поглядывают, а кондукторша с особым почтением дала ему сдачу и оторвала билет. Догадываются все-таки! Марков силился состроить скромное, заурядное лицо - дескать, мне что, мне не привыкать-стать выпускать книги! Но физиономия сама собой расплывалась в счастливую улыбку. Трамвай громыхал. Так они и ехали через весь солнечный город: начинающий писатель Марков и будущие его читатели.

Едва ли не самым чутким, отзывчивым и благодарным читателем была Оксана. Сначала она долго переворачивала во все стороны книжку, посмотрела и на корешок, и на титульный лист, хороша ли бумага, хороша ли обложка, прочитала, в какой типографии напечатано.

- Так! - сказала она удовлетворенно. - Теперь, значит, почитаем!

- Да ты все читала, все как есть!

- Мало ли что. Читала просто так, а это в книжке напечатано. Ой, матенько! Михаил Марков! Неужели это ты?

2

Крутоярову была вручена книга с трогательной надписью автора. Надежда Антоновна получила книгу отдельно.

Крутояров понимающе усмехнулся, глядя на растерянное от гордости и счастья лицо Маркова.

- Первая книга! - вздохнул он чуточку с завистью. - Это, брат, как первая любовь.

Ушел к себе читать книгу, а потом долго расхаживал по квартире, то останавливаясь перед этажеркой и машинально поправляя на ней салфеточку, то сосредоточенно разглядывая что-то в окно.

В этот вечер Оксану и Мишу пригласили поужинать вместе. Пока Надежда Антоновна гремела тарелками, Крутояров тихо, задумчиво рассказывал о работе, о себе, о том интимном, о чем никогда не говорится, разве только вот так, нечаянно, под настроение.

- Я не знаю более глубокого наслаждения, чем работа за письменным столом, чем часы творчества. Я страшно люблю свою работу, без нее не знал бы, как и жить. Уже много лет изо дня в день, без праздников, без выходных, никогда не давая себе спуску, тружусь и тружусь с напряжением всех сил, а уж если говорить точнее, работаю всегда, даже гуляя по улицам, даже беседуя с друзьями, даже во сне...

Все слушали Крутоярова с острым вниманием. Оксана была вся переполнена безудержной гордостью, что в конце концов и она тоже не лыком шита, тоже жена настоящего писателя. Оксана даже и сидела как-то неестественно выпрямясь, в неудобной позе. И лицо у нее было надменное, что ей вовсе не шло. Она только выжидала удобный момент, чтобы со своей стороны ввернуть словечко - насчет того, что вот и Миша тоже... впрочем, не Миша - зачем Миша?! - вот и Михаил Петрович тоже... и так далее... что-нибудь о том, как Марков сидит ночи напролет, а утром розовый, свежий, как будто хорошо выспался... или о том, как собирал-собирал материалы об Евгении Стрижове, а Стрижов

вдруг испортился...

Крутояров продолжал свой задушевный рассказ:

- Литературный труд - это подвиг, это труд, помноженный на умение сосредоточиться, подобно тому, как полководец на определенном участке сосредоточивает основные силы и прорывает фронт. Ну, и плюс еще умение воплощаться в различнейших людей, проникать в помыслы и стремления старика, ребенка, женщины, отставного генерала, бюрократа-чиновника, труса и рубаки, шпиона и сенатора... Я знал одного гипнотизера... некий Михаил Михайлович Лединский... он жаловался, что ему страшно среди людей: они перед ним как стеклянные, он видит все их побуждения, читает все их мысли... Нечто похожее испытывает писатель. Даже очень похожее! Странно, что это не приходило мне в голову раньше... Я понял это сейчас, в этот момент...

Так как Крутояров замолк, призадумавшись, Оксана нашла уместным ввернуть:

- Вот и Михаил Петрович тоже...

Марков так взглянул на нее, что она прикусила язык, даже не окончив фразы.

- Надо будет это когда-нибудь написать, - продолжал Крутояров, кажется не заметив маленькой супружеской сцены. - Это ведь необычно, своеобразно. Только как передать? Трудно выразить словами... Композитор, пожалуй, мог бы изобразить...

Он вынул записную книжку, с которой никогда не расставался, и что-то записал в ней. Потом заговорил опять:

- Шесть часов утра, а я еще не ложился. Склоняюсь над белыми листами бумаги. Быстро ходит перо. Затем откидываюсь на спинку кресла и думаю, думаю, весь наполненный неистовой любовью, или щемящей жалостью, или ненавистью, которая душит меня, или терпким презрением... И по мере того как я вглядываюсь в них, моих героев, завеса приподымается предо мной, и я вдруг догадываюсь о некоей сущности, о силах, которые двигают этими людьми, о непреложности их поступков... Не подумайте, что могу распоряжаться их судьбами по своему произволу: хочу - замуж выдам, хочу повешу. В романе никто даже улыбнуться не может, если ему не положено. В романе, брат, строго! Но давайте-ка ужинать, а то я тут растекаюсь мыслию по древу и гоняю вас по лаборатории творчества, а у Надежды Антоновны непременно что-нибудь пригорит, и я виноват буду.

- Ты шуточками не отделывайся, - остановила Надежда Антоновна, начал, так рассказывай. - И обернулась к Маркову и Оксане: - Вам не скучно?

- Что вы! Что вы!

Крутояров растрогался, воодушевился и стал с еще большим чувством рассказывать о ночных часах работы. А Марков раздумался о Надежде Антоновне. Почему он раньше не приглядывался к ней? Она ухитряется всегда остаться в тени. Например, почему она ни разу не предложила почитать ее книги стихов? Да и Марков не попросил у нее книгу... Удивительные существа эти женщины! Они могут жертвовать своим тщеславием ради тщеславия любимого. Они довольствуются тем, что самый дорогой для них на свете человек блистает талантами, умом, благородством - ведь мужчины так падки на почет и одобрение!

Занятый своими наблюдениями и открытиями, Марков упустил нить повествования Крутоярова. Кажется, он рассказывал все о том же - о ночных встречах с героями своего произведения.

- Тишина, - говорил он, - она изумительна в таком громадном городе. Еще я заметил: если тишина звенит, это сигналы мозга - усталость. Тогда надо подняться, пройтись из угла в угол, сделать несколько энергичных движений, а еще лучше - распахнуть настежь окно. Все это занимает несколько минут, а мысль все работает, связывает какие-то нити, находит образы, слова... Можно приниматься за перо! Зеленый абажур, как светофор, приглашает: "Путь открыт! Двигайся дальше!" Я дружу со своим рабочим столом. Мерно отсчитывают минуты настольные часы в чугунной рамке. Они, как метроном музыканту, не дают сбиться с такта. Веточка мимозы в вазе это Надя принесла с Невского. Рядом с мимозой бокал, наполненный множеством пестрых карандашей, среди них и цветные - зеленые, красные, коричневые, они удобны для пометок, для обозначения глав, для вставок или для правки

рукописи, когда уже негде вписать хотя бы одно слово, а необходимо выделить какую-нибудь мысль. Непременно купите цветные карандаши, Миша! Или, еще лучше, у меня есть запасные, я вам подарю!

Крутояров тут же помчался в кабинет, принес коробку цветных карандашей, а затем все уселись ужинать. И только тут у Миши мелькнула догадка, что Крутояров нарочно рассказывал о творческой работе, о карандашах и абажуре, чтобы избежать банальных восклицаний по поводу выхода Мишиной книги: "В добрый час!", "Лиха беда начало!", "От души поздравляем!" и все в этом же роде. За ужином больше говорили о том, что у Надежды Антоновны плохой аппетит, что севрюгу купили в Елисеевском очень удачную, что, пожалуйста, передайте мне соль и что надо улыбаться, когда передаешь соль, иначе может произойти ссора...

Надежда Антоновна нашла все же неудобным ничего не сказать о выходе книги, об ее авторе.

- Приятная книга, - просто и доброжелательно промолвила она. - Вам нравится писать короткие рассказы? А нет желания попробовать силы над чем-нибудь монументальным?

- Роман! Роман! Обязательно надо писать роман! Сейчас время больших полотен! - воскликнул Крутояров.

Маркову нравилось, что его не похлопывают по плечу, не корчат из себя наставников, покровителей, а разговаривают как с равным. Вообще Маркову сегодня нравилось все: и Крутояровы, и гордая за своего Мишу Оксана, и севрюга горячего копчения, и крепкий, "по-крутояровски" чай.

Когда уже прощались и желали друг другу спокойной ночи, Крутояров объявил:

- Вы так просто, молодой человек, не отделаетесь! Что это? Человек выпустил книгу, а все ограничится холодной севрюгой и чаепитием? Нет, нет, мы отправимся всей честной компанией в самый шикарный ресторан и будем пить шампанское! Возражений нет? Принято единогласно!

3

- Орешникова знаете? - спросил Крутояров Мишу на другой день.

- Орешникова? Нет, не встречал.

- Как же так? Он говорит, вы в плен его брали.

- Я?!

- Не вы лично, но котовцы.

- А! Тогда другое дело! Может быть. Мы многих брали в плен... из тех, кто оставался в живых.

- Встретил его сегодня. Да разве вы его не знаете? Такой симпатичный, с усиками.

- С усиками? - силился припомнить Марков, но ничего не припоминал.

- "Как! - говорит. - Из бригады Котовского? И книгу выпустил?!" Одним словом, пришлось его пригласить. Так что вы того... надпишите ему книжечку и преподнесите. Зовут его Николай Лаврентьевич.

- А куда вы его пригласили? - все еще не понимал Миша.

- Как куда! Вот это вопрос! Пригласил в ресторан "Кахетия". На дружескую встречу по случаю выхода вашей книги. Чего вы таращите на меня глаза? Имейте в виду, что все дальнейшие книги, какие вы издадите, будут просто книги, а эта, одна эта - первая! Григорию Ивановичу, надеюсь, послали?

- Нет. Хочу сам отвезти.

- Одобряю. Непременно отвезите. Если не возражаете, и я с вами увяжусь.

- Вы? Неужели?! Вот было бы расчудесно! Только вряд ли вы соберетесь...

- Соберусь, вот увидите - соберусь. Вы меня не знаете, Михаил Петрович, я прирожденный бродяга, страшный непоседа и легок на подъем. Я вот скоро вообще из Питера уеду, подамся в Москву.

- Как?! - испугался Марков. - Совсем?

- Совсем. А вам эту квартиру оставлю. Чем плохо? И вид на Неву, и вообще. Но это

пока лишь в проекте. Так не забудьте о сегодняшнем. Думаю, все гуртом и отправимся. Орешников спрашивает, когда, я отвечаю, что часов в девять вечера. "Двадцать один ноль-ноль, - повторил он на свой лад. Буду точно". Стало быть, и нам нельзя опаздывать.

"Кахетия" находится на Невском, рядом с Казанским собором. Вход ярко освещен, три ступеньки вниз - и вы оказываетесь в своеобразном помещении: сводчатые потолки, стены расписаны масляной краской, ковры, картины, люстры, задрапированный яркой материей помост для оркестра и сольных выступлений, на помосте рояль.

Оказывается, под руководством Надежды Антоновны Оксана сшила специально к сегодняшнему вечеру платье - голубое, шелковое. Оксана как облачилась в него, так даже походка у нее стала другая и вся она стала непохожей на обычную Оксану. Марков смотрел восхищенно, растерянно. Грызла совесть: как это он первый не догадался, что Оксане следует сшить новое платье, ведь додумалась же сделать Надежда Антоновна?!

- Когда вы успели? В один день?

- Что вы! - рассмеялась Надежда Антоновна. - Книга еще только пошла в набор, а у нас уже было совещание, как отпразднуем ее выход.

Не успели они войти в общий зал, как навстречу им двинулись два щеголеватых краскома. Тут произошла некоторая толчея, все знакомились, здоровались. Марков убедился, что еще раз не проявил достаточной распорядительности: оказывается, Крутояров заранее заказал столики - вот как это делается! Два столика сдвинуты рядом, официанты только и ждали их появления, тотчас принесли меню в красивых, специально отпечатанных книжечках, и Крутояров таинственно стал совещаться с официантом, а тот понимающе кивал головой:

- Так-так-так. Понятно. Не беспокойтесь! Сегодня у нас цыплята чудесные. Так-так-так.

- Почему же не пришла ваша супруга? - спросила между тем Надежда Антоновна.

- Любаша у меня дикарка, никак не мог уговорить ее пойти. Зато вот брата притащил. Он у Блюхера, на Дальнем Востоке, приехал всего на несколько дней, а мы не виделись... Володя! С каких это пор? Пожалуй, с тех пор, как ты уехал из госпиталя, куда тебя устроила некая покровительница...

- Не понимаю, кому нужны подробности о моем поступлении в госпиталь, - пробормотал Орешников-старший.

Братья не походили друг на друга. Старший был выше ростом, черноволос и как бы картинно-красив, а младший был белокурый, голубоглазый и казался более душевным.

- Ты прав, подробности не нужны. Последняя весточка от тебя была из Челябинска. Но какой же ты молодчага, что жив и даже мало изменился! Впрочем, еще успеем наговориться. Сейчас мы с тобой, я уже тебе объяснял, в писательской среде. С Иваном Сергеевичем Крутояровым я познакомился, когда он приезжал к нам в часть на литературный вечер. А потом вот в Петрограде встретились. А это Марков - виновник сегодняшнего торжества. Михаил Петрович прошел весь путь со знаменитым Котовским. А сейчас писатель. Пишет. Вот и мне книгу преподнес. Надежда Антоновна тоже выступала на литературном вечере. Со стихами. Уж так мне понравились ваши стихи, Надежда Антоновна! А раньше, каюсь, не встречал, невежда. Есть у нас такой грешок: дальше носа ничего не видим. Инженер уткнулся только в технику, наш брат военный ушел с головой в военную учебу... Фрунзе не такой! О чем ни заговори - всем интересуется, за литературной жизнью следит, технику любит.

- Вы знакомы с Фрунзе? - подала голос Надежда Васильевна.

- Как же! Мне вообще в жизни везет: с Котовским встречался, с Фрунзе, теперь с писателями свел знакомство. По сути дела, следовало бы мне вести записи... До того богатые впечатления! Впрочем, у кого сейчас впечатления не богатые? Вот и мой братишка. Чего, поди, не повидал! А если бы знали, какой ветреный и пустой был мальчишка! Только и делал, что за юбками гонялся!

- Опять, Николай? Смотри - встану и уйду. Неудобно же.

- А чего тут неудобного? - поспешила примирить братьев Надежда Антоновна. - Быль

молодцу не укор!

- И вправду, ну что тут такого? - оправдывался Орешников-старший. Было такое дело. А сейчас начал бы рассказывать о Василии Константиновиче Блюхере - всю ночь бы слушали и слушать не устали! Разное время - разные песни, если говорить пословицами, как уважаемая Надежда Антоновна.

Крутояров как раз кончил совещаться с официантами, и на стол начали ставить приборы, рюмки, бокалы, хлеб. Услышав, что разговор идет о Блюхере, Иван Сергеевич тотчас и сам вставил словцо:

- Вы знаете, в белой печати распространяли слухи, что Блюхер немецкий генерал, нанятый за бешеные деньги Совнаркомом. Как будто немецкий генерал способен побеждать, как побеждал наш народный герой!

- Василий Константинович - рабочий Мытищинского завода, русский человек на все сто, - дал справку Орешников-старший.

- А если бы даже и немец? На сторону Октября встают честные люди всех национальностей.

- В девятнадцатом году Блюхер с пятьдесят первой стрелковой дивизией прошел всю Сибирь, очищая ее от Колчака.

- А в двадцать первом сражался с атаманом Калмыковым и генералом Молчановым, - вставил Марков, уже подумывая, не стоит ли ему написать Сибирскую эпопею.

- Волочаевка даже в песнях воспета!

- Занятно, что белогвардейский полковник Аргунов, обращенный нами в бегство, вынужден был заявить, что всем красным героям Волочаевки он дал бы по Георгиевскому кресту.

- Вот это объективность!

- Чем объяснить, что наша эпоха породила столько героев, столько удивительных людей?

4

Крутояров только что собирался дать обстоятельный ответ на этот вопрос, но принесли цыплят, а Николай Лаврентьевич стал наполнять рюмки.

Оксана давно уже смотрела с нескрываемой враждебностью на нарядные бутылки. Особенно ей не нравилась большая, с серебряной головкой, завернутая в салфетку и поданная в специальной серебряной посудине. Оксана в жизни не сделала глотка спиртного. В деревне у них, правда, пили горилку, но больше дядьки. Оксана считала мужчин слабыми, неустойчивыми существами, падкими на соблазны. То примутся курить поганый табачище и уверяют, что никак не могут бросить, то начнут пить запоем. Однако Оксана уважала Ивана Сергеевича и очень доверяла Надежде Антоновне. Если они ничего, то и она - ничего. Кроме того, нельзя же портить компанию!

Все взяли рюмки в руки, взяла и Надежда Антоновна, взял и Миша. После короткого колебания взяла и Оксана. Была не была!

Крутояров произнес несколько теплых слов, все заулыбались Маркову, Марков сконфузился и немножко пролил из рюмки, чему Оксана порадовалась: все меньше в рюмке останется, значит, меньше выпьет, меньше опьянеет.

Мужчины выпили сразу до дна. Надежда Антоновна только отхлебнула. Оксана покосилась на нее, вытянула губы трубочкой и тоже потянула в себя красную прозрачную жидкость. Ничего! Даже вкусно! Оглянулась - а у Миши рюмка уже пустая.

На выручку Оксане пришла опять-таки Надежда Антоновна.

- Ничего, - шепнула она, - вино хорошее и некрепкое. Много мы пить не будем. Ничего!

В дальнейшем Надежда Антоновна разрешила их рюмки дополнить, но больше не наливать.

- Как? - удивился Орешников-старший. - Совсем не пьете?

- Совсем.

- Фантастика!

Вскоре разговором завладел Крутояров. Развивая мысль о том, что наша эпоха знает много выдающихся людей, он доказывал, что, спору нет, революция разбудила дремлющие силы, но он такого мнения, что на Руси и всегда было немало талантов, только многие гибли в условиях царского гнета, а даже и тех, кто выбивался, мы зачастую пренебрежительно предавали забвению.

- Однако Льва Толстого и Достоевского чтит весь мир? И где не звучит волнующая музыка Чайковского? - возразил Орешников-старший, у которого брат неоднократно отодвигал уже рюмку.

- Еще бы! А вот кто из вас ответит: кем создан памятник Пушкину, что в Москве на Тверском бульваре? Чье творение памятник тысячелетию России в Новгороде? Что создал русский скульптор Орловский? Как фамилия первого русского авиатора? Жив ли русский изобретатель радио и как его зовут?

Крутояров еще долго перечислял загадки своеобразной викторины. Надежде Антоновне он не позволил отвечать:

- Нет, ты погоди, дай молодежи высказаться.

Николай Лаврентьевич назвал фамилию изобретателя радио Попова, но имени-отчества его не помнил, жив ли он или умер - тоже не знал. Владимир Лаврентьевич сообщил, что Орловский изваял ангела на колонне на Дворцовой площади. Ни скульптора Опекушина, ни живописца и соорудителя скульптурных монументов Микешина они не знали.

В отместку Николай Лаврентьевич в свою очередь задал вопрос, припомнив свое пребывание в Путейском институте:

- А кто был Мельников? Кербедз? Тимонов?

- Кербедза-то знаю... - неуверенно пробормотал Крутояров.

- А что вы расскажете о Вострецове? - поднял одну бровь и уставился на Крутоярова Орешников-старший.

- Братья Орешниковы перешли в наступление! - вскричал Марков несколько громче, чем следовало бы, очевидно под влиянием выпитого.

- Вострецов? Гм... Это я что-то читал!

- Степан Сергеевич Вострецов, - нравоучительно пояснил Орешников-старший, - это Вторая Приамурская дивизия. Это Спасск. Это мастер внезапного удара. Это тот, кто живьем взял в плен Пепеляева.

- Здорово вы меня в переплет взяли! - расхохотался Крутояров. Вдвоем на одного! Так не пойдет! А вот кто из вас знает, кто сочинил стихи про москвичей и питерцев...

И Крутояров прочитал:

И здесь не реже
Газет грехи,
Романы те же,
И те ж стихи,
Журналы, книги,
Слова, слова,
И те ж интриги,
И та ж молва...

Крутояров споткнулся, припоминая, и вдруг за соседним столиком задорный голос продолжил:

Те ж драматурги,
Звон медных фраз,
Как в Петербурге,
Так и у нас!

- Мятилев!

Крутояров и все остальные оглянулись. За соседним столиком в компании излишне развязных мужчин и пестро одетых женщин сидел пьяный, взъерошенный, с горячечно-

красным лицом и дико блуждающими глазами Евгений Стрижов.

5

Только тут участники импровизированного банкета, собравшиеся чествовать Маркова, отвлеклись от своих рюмок, суфле, цыплят и гарнира. Они увидели, что обстановка вокруг совершенно изменилась. И публика за столиками была совсем иная, и цены на вина и закуски иные. Появились обрюзглые физиономии не то "бывших", не то "концессионеров". Требовали их ублажать (чего душа хочет!) разбогатевшие гостинодворцы, шептались, сдвинувшись в кучку лбами, юркие спекулянты, хлынули в ресторан и соответствующего сорта женщины, как морские чайки, с криком летящие за нэпмановским кораблем, чтобы подбирать крошки.

А вот и на эстраде началось оживление. Сначала вышел какой-то кривой сумрачный субъект и разложил по пюпитрам ноты. Потом потянулись и музыканты, кашляя, сморкаясь, топая по сколоченным начерно ступенькам, ведущим на сцену. Пианист с сизыми непробритыми щеками и глазами с поволокой тихо переругивался с контрабасом - громадным мужчиной с отвислыми брылами, изобличающими склонность к спиртным напиткам.

Музыканты разместились, тупо посмотрели на жующих, чокающихся посетителей ресторана и рявкнули нечто бурное и нестройное, работая разом на всех инструментах и извлекая из них все, на что они способны. Наконец, последний рев, и оркестранты замолкли, стали вытирать пот со лба.

- Вот это отчубучили! - в наступившей тишине отчеканил Стрижов.

Возглас был покрыт развеселым хохотом всего зала. Нэпманы веселились.

Тогда откуда-то из глубины ресторана возник директор - прямой, несгибаемый, во фраке, но с непристойной богомерзкой образиной. Возник и исчез. Полного скандала нет? Нет. Смеяться не возбраняется.

На эстраду вышел завитой крупным барашком нарумяненный брюнет.

- Ich kusse Ihre Hand, madam!* - запел он вкрадчивым, сладким голоском, в точности подражая граммофонной пластинке.

---

* Ich kusse Ihre Hand, madam! - я целую вашу руку, мадам (нем.).

На столик Крутоярова тем временем подали пломбир. И всем показалось, что он переслащен.

Затем был, как кто-то выкрикнул, "фоксик". Между столиками танцевали. Одна девица пришла в недостаточно короткой, не по моде, юбке, закрывавшей колени. Весь вечер был для нее испорчен. Она прятала ноги под столик и со слезами в голосе отказывалась танцевать, уверяя, что ей не хочется.

После "фоксика" на эстраду вышел оборванец со взъерошенной копной волос. Он пел, изображая вора, бандита, налетчика:

Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Исправдом скучает без меня!

Элегантно одетые в шевиот и коверкот, чисто выбритые, попрысканные одеколоном "Эллада" воры, бандиты и налетчики сидели за столиками, кушали тетерок и зернистую икру, снисходительно улыбались и переглядывались беглыми неуловимыми взглядами.

Хлопнула пробка шампанского. Оксана вскрикнула. Официант принес фрукты. Крутояров расплачивался. Марков и Орешников с ним спорили, требуя, чтобы и они приняли участие, но Крутояров настоял на своем.

Вечер можно было считать удачным. Даже Женька Стрижов не испортил его, не подошел и вообще не совал носа, если не считать его декламации. Но в самую последнюю минуту произошло нечто неожиданное.

Сначала пианист - он же конферансье - объявил, что будет исполнена "Авиа-Мария", вместо "Ave Maria", чем насмешил Крутоярова до слез. Затем оркестр приготовился

преподнести публике очередной опус, но вдруг пьяный голос прорезал воздух:

- М-маэстро! Сыграй мне "П-па-аследний нонешний денечек"! Вот! Гонорар!

И все увидели военного, нетвердой походкой направившегося к музыкантам.

Нэпманы даже перестали жевать. Что ж. Неплохо придумано. Почему же человека не уважить, не сыграть на заказ? Смутила всех только слишком толстая пачка бумажек. Видать, очумел человек.

Музыканты же, видя, что куш предвидится порядочный, колебались: любезно согласиться или с негодованием отвергнуть!

Оба Орешникова и еще двое-трое военных, находившихся в зале, готовы были вмешаться, но надеялись, что как-нибудь все уладится.

И вдруг Марков прошептал:

- Да ведь это Мосолов! Он приезжал к Григорию Ивановичу и хвастался, что у него дома квас отличный приготовляют!

- Какой квас? Какой Мосолов? Вы, наверное, что-нибудь путаете!

- Ничего не путаю. Командир полка. Григорий Иванович так его разделал, что Мосолов поспешил ноги унести, говорит, к поезду опаздываю.

- А что, если его вызвать в раздевалку и посоветовать уйти? предложил Николай Лаврентьевич.

- В сущности, он ничего такого не делает, - примирительно пробормотал Орешников-старший. - Захотелось человеку русскую песню послушать. По-моему, так пожалуйста.

- Деньгами сорит. Пьян до бесчувствия.

- Его деньги. Хочет сорить - и сорит.

Мосолов будто услышал их спор и решил внести полную ясность:

- Слушай, маэстро! Как человека прошу! Финита комедиа! Смекнул? Отгулял Павел Архипович! А деньги бери, не стесняйся - казенные! Четыре дня пропивал - пропить не мог! Во, валюта!

- Ну и нализался! - взвизгнула девица в немодной юбке. - Как бэгэмот!

- Дело-то, кажется, совсем дрянь. Не позвонить ли в комендатуру? нервничал Николай Лаврентьевич.

Музыканты пошептались, пианист скроил улыбку, сделал ручкой, взял пачку у Мосолова и сунул в карман. Затем дал тон - и оркестр, привирая, с грехом пополам начал мотив заказанной песни, а Мосолов сел на краешек эстрады и заплакал.

Эти слезы воодушевили музыкантов. Они уже более слаженно стали выводить: "А завтра рано чуть светочек". Скрипка так буквально рыдала. Но в целом оркестр не мог преодолеть привычного фокстротного ритма, настолько четкого, что две-три пары попробовали даже танцевать.

- Все! - вдруг выкрикнул Мосолов и ринулся к выходу.

- Слава богу, догадался! Давно пора! - облегченно вздохнул Николай Лаврентьевич. - Проспится, а наутро, если и впрямь нагрешил, явится по начальству и доложит.

- Не пора ли нам домой? - предложила Надежда Антоновна. - Оксана совсем раскисла.

- "Давай пожмем друг другу руки - и в дальний путь, на долгие года!" - попробовал петь Орешников-старший и допил шампанское в своем бокале.

В это время прозвучал выстрел. Один. И какой-то непохожий, как в театре. Но многие вздрогнули.

- Он! - сразу догадался Марков.

Оба Орешникова и еще несколько военных быстро вышли из зала. Почти бегом проследовал через зал директор.

- Гримасы нэпа, - вздохнул Крутояров.

"Надо написать Котовскому", - подумал Марков.

Публика толпилась между столиками. Лица были не столько встревоженные, сколько любопытные.

- В висок! - сообщил кто-то, успевший побывать на месте происшествия.

Один только Стрижов ничего не слышал. Уронив голову на стол, он спал крепким сном. Его соломенного цвета вихры обмакивались в соус провансаль. Он спал и даже посапывал.

Маркову вдруг стало жалко его.

"Парень свихнулся, а я сразу отвернулся от него, бросил его в беде... Отвезу ему завтра книжку с дружеской надписью!"

6

Когда они выходили из "Кахетии", никаких следов происшествия уже не было. Труп увезли, приборку сделали, директор ресторана медленно удалился во внутренние помещения, величественный швейцар и излишне любезные дяди на вешалке шепотом рассказывали наиболее настойчивым, "как это было".

Вышли на улицу - и замерли. До чего красива ночь! Как хорош Невский проспект! Луна над зданием Главного штаба светит серебряным светом во всю мочь. Дома кажутся полупрозрачными, а небо, подернутое легкими облачками, такое, что смотрел бы и смотрел на него, не отрываясь.

Решили идти пешком.

- А как Ксения Гервасьевна? - спросил Крутояров.

- А что Ксения Гервасьевна? Ксения Гервасьевна хоть куда! Ксения Гервасьевна как стеклышко! - отозвалась Оксана, хотя была далеко не "как стеклышко", напротив, плавала в странном блаженном тумане, все время улыбалась, а шагала с особенным старанием, доказывая, что она молодцом.

До Марсова поля добрались по бывшей Миллионной, а там пошли по набережной, где лунная ночь особенно сверкала и переливалась, а город за рекой тонул в голубоватой дымке.

Надежда Антоновна чувствовала, что за весь вечер мало внимания было уделено виновнику торжества. И теперь она подхватила Маркова под руку и повела разговор о стиле, о ритме, о том, что ей нравится музыкальность Маркова, о том, что в прозаическом произведении сохраняются все требования, предъявляемые к стихам, за исключением свойственных стихотворным произведениям всевозможных ямбов и хореев и еще за исключением рифмы.

Марков слушал и иногда произносил:

- Да... Да-да... Совершенно верно.

Оксана брела сама по себе и бормотала что-то блаженное, но невнятное, а Крутояров всю дорогу молчал, видимо занятый какими-то своими мыслями.

Поднявшись на шестой этаж и войдя в прихожую, все почувствовали, что, несмотря на поздний час, не хочется расходиться по своим комнатам.

- А что, если мы выпьем по стакану крепкого чая? - предложил Крутояров. - Неплохая мысль? Честного, настоящего, домашнего чая!

Все четверо вошли в столовую. Иван Сергеевич собственноручно включил электрический чайник и накрыл на стол.

Чай действительно был крепкий и вкусный. А после прогулки обнаружилось, что все хотят есть. Извлекли откуда-то колбасу, сыр, копченого сига, шпроты и принялись за обе щеки уписывать всю эту снедь, смеясь над собой, что из ресторана да сразу за еду.

Крутояров выпил только чай, встал из-за стола и начал прохаживаться взад и вперед, так что Марков подумал, не находится ли он под впечатлением этого самоубийства, и готовился рассказать о Мосолове все, что знал сам.

- Надюша, - остановился перед женой Крутояров, - не припомнишь ли ты, чей это рассказик был еще в дореволюционное время, он вызвал много шума... Вертится в голове фамилия... Не то Анатолий Каменский, не то Арцыбашев...

- Да о чем хоть рассказ-то? Как называется?

- Не совсем к месту за ужином... Рассказ о том, как школьник идет вечером по улице - и вдруг бочки, ассенизационный обоз, "золотари" их тогда называли...

- Фу, какая мерзость! Что это тебе вспомнилось?

- Так вот, тянется по улице обоз, а гимназистик, подросток, испытывает какое-то извращенное наслаждение от хлынувшего зловония. Он бежит за обозом вслед и нюхает, и втягивает в себя омерзительный запах...

- Неужели был такой рассказ? - удивился Марков.

- Был. Скорее всего Анатолия Каменского. Но не в авторе дело.

- В чем же? - Надежда Антоновна встревоженно смотрела на мужа - не опьянел ли от кахетинского? Но поняла, что у него еще там, за столиком в ресторане, зародилась какая-то мысль, и она ему представляется значительной - вот почему он и заговорил об этом.

Нечто подобное ей не раз приходилось наблюдать. Например, проснется и скажет:

- Надюша! Я придумал рассказ!

- Когда же?

- Вот сейчас, сию минуту.

Надежда Антоновна поняла, что предстоит большой разговор, между тем Оксана уже попросту спала, сидя на стуле. Оксану услали спать, Марков ее проводил, а затем Крутояров стал рассказывать:

- В "Кахетии" меня поразили девушки. И молодые люди. И оркестр. И завитой болван, который пел "Ich kusse Ihre Hand, madam". А живопись? Вы обратили внимание, как расписаны стены в "Кахетии"? Кубизм! Пуантелизм! Бурлюковщина! Словом, меня поразила ночная жизнь в ресторане. Охвостье, которое сидит у нас, в стране дерзновенных исканий, в стране рождающегося нового, но с наслаждением принюхивается к ассенизационным бочкам Запада! Добро бы нэпманы! Нет! Молодежь!

- По-моему, ты не прав, Ваня. Надо разобраться, какая молодежь. Нэпманчата? Отщепенцы? Порченые сынки?

- Главное, ведь они как все изображают? Отцы устарели. У отцов узкая дорожка. Они, видите ли, рвутся в неизведанное, туда, где синеют горы! Какие горы? Где синеют? Новое здесь, у нас, повсюду, на каждом шагу, а там, за этими самыми горами, угасает, но никак не дает закрыть крышку гроба старый дряхлый мир, который ничего нового уже не создаст, нового стиля не придумает, от него уже тянет смрадным душком разложения! Заткните нос, господа псевдо-новаторы!

Крутояров разгорячился, говорил зло и выразительно.

- Здорово чехвостит! - шепнул Марков Надежде Антоновне. - Только клочья летят!

- Что толку? - тоже вполголоса ответила Надежда Антоновна. - С них как с гуся вода.

- Конечно, как с гуся вода, - услышал ее реплику Крутояров. - Потому что цацкаются с ними, миндальничают!

- Они уверяют, что в искусстве должно быть многообразие изобразительных средств, - примирительно сказала Надежда Антоновна и тут же пожалела об этом.

Лицо Крутоярова исказилось гневом, и Надежда Антоновна уже не помышляла больше о судьбах искусства, а только старалась припомнить, где стоит пузырек с сердечными каплями, прописанными Ивану Сергеевичу.

- Многообразие?! - закричал Крутояров. - Пожалуйста! Будьте настолько любезны! Желаете сказ? Фантастику? Юмор? Но вражеские десанты, парашютисты под флагом свободного искусства - этот номер не пройдет! Не для того революцию делали!

Крутояров увидел испуганное лицо жены, понял, что сейчас она предложит ему принять лекарство, и сразу угомонился. Он терпеть не мог сердечные капли.

Часы в столовой, большие, в дубовой оправе с затейливой резьбой, показывали без четверти три. Не бессовестно ли ему благородно негодовать по поводу каких-то там хлюпиков, проходимцев, не замечая, что жена утомлена, что о Маркове, у которого сегодня большой праздник, все и думать забыли?

- А вообще-то, - подытожил Иван Сергеевич, - черт бы их всех побрал, диверсантов, мечтающих пролезть через форточку искусства! Давайте, друзья, спать. Извините, что нашумел, что, по своему обыкновению, говорил длинно и бессвязно. У Владимира Ильича надо учиться, у него регламент: пять минут и очисти место для следующего оратора!

Марков поднялся, встала и Надежда Антоновна. У всех были зеленые, усталые лица. Марков стал благодарить, уверять, что этот день навсегда останется у него в памяти...

- Ладно уж... Чего уж там... - оправдывался Крутояров. - Вышло не так, как хотелось бы... Пожалуй, и Орешниковы были в данном случае ни к селу ни к городу, зря я пригласил. Позвать бы двух-трех писателей... Например, Чапыгина - обязательно познакомьтесь с ним! Или Борисов интереснейший писатель! Хотя к нему и применяют метод замалчивания - в "обойму" не входит. Мне нравится, как он прокладывал путь в литературу: напечатал в двадцать первом году на машинке восемьдесят пять экземпляров сборника своих стихов - так сказать, издал своими средствами. И что же? Рецензии были! В магазинах на прилавке лежала! Разве не замечательно? Какая впоследствии библиографическая редкость будет! Вот пригласить бы его... Ну, ничего. Как вышло, так и ладно. Еще будет у вас впереди достаточно и банкетов и юбилеев, даже надоест. А сегодня в домашнем кругу отпраздновали - тоже неплохо.

Марков растрогался. До чего же милые люди! И какое счастье, что он повстречал их! А все Григорий Иванович. Обязательно надо к нему поехать, просто не хватает его для такого торжества.

Марков на цыпочках, стараясь не разбудить Оксану, пробрался в свою комнату, быстро разделся и улегся в постель. Как только он погасил электрическую лампочку, в окно хлынул такой лунный свет, что даже удивительно было, как способна светить и сиять одна-единственная луна. Уж не высыпало ли их на небо сразу с десяток?

Д Е С Я Т А Я Г Л А В А

1

Болезнь Владимира Ильича наполняла сердца скорбью. Об этом избегали говорить, но постоянно, неотступно думали.

Врачи потребовали переезда Владимира Ильича в Горки, в Подмосковье. Разные вести прилетали оттуда.

Вот заговорили об ухудшении. Неужели это конец? Котовский сумрачно говорил: "Жизнь бы отдал, лишь бы он не болел!"

Затем пришло сообщение, что Ильичу лучше. Он боролся. Он делал упражнения, чтобы восстановить речь. Научился писать левой рукой, так как правая парализована. Если не мог писать - диктовал. Он считал, что не все еще выполнено им. У него был составлен план неотложных дел. Во что бы то ни стало, но все эти дела должны быть сделаны!

И Владимир Ильич продолжал работать. За семьдесят пять дней болезни, со 2 октября по 16 декабря 1922 года, он написал 224 деловых письма, принял 171 человека, председательствовал на 32 заседаниях Совнаркома, Совета Труда и Обороны, Политбюро. В печати появлялись статьи Ленина, каждая была путеводной звездой, каждая была программной.

И эта победа Ленина над тяжким недугом, может быть, над самой смертью - одно из самых потрясающих, полных драматизма явлений, какие знает история. Сила воли, сознание долга оказались сильнее смерти! И как все истинно-величавое, эта победа была одержана Лениным просто, обыденно. Прежде чем уйти, он проверял: все ли необходимое сделано, предусмотрено ли все, что понадобится людям для строительства новой жизни, для борьбы.

Однажды Владимир Ильич вызвал стенографистку.

- Я хочу продиктовать письмо к съезду.

Все, что он диктовал, перепечатывалось на машинке в пяти экземплярах: один для него, три для Надежды Константиновны, один для секретариата. Особо секретные записи хранились в конвертах под сургучной печатью, на них по желанию Владимира Ильича делалась надпись, что вскрывать их может лишь В. И. Ленин.

- А после его смерти Надежда Константиновна, - добавил он.

Но эти слова на конвертах не стали писать: рука не поднималась писать слово "смерть".

Статьи Ленина в "Правде" Григорий Иванович Котовский читал и перечитывал. Иногда их читала ему Ольга Петровна. "Странички из дневника", "О кооперации", "О нашей

революции", "Как нам реорганизовать Рабкрин", "Лучше меньше, да лучше" обсуждались сначала в семейной обстановке, затем в партийной организации корпуса и у Фрунзе.

- Эти статьи, - говорил Фрунзе, - единый гениальный труд, где суммарно изложена программа социалистического преобразования России. Это руководство к действию.

Было отрадно сознавать, что Ленин еще полон сил, что он с удивительной прозорливостью смотрит вперед на десятилетия, заботливо предуказывая, как действовать, как поступать, как жить. Значит, возвращается к нему здоровье! Значит, не так плохо обстоит дело! Немногие знали, какого напряжения воли стоили Ленину эти статьи.

Григорий Иванович постоянно думал о Ленине. Москва и Ленин сливались в его сознании воедино. Так и на этот раз, направляясь делегатом на съезд, Котовский думал об Ильиче. Как-то он? Поправляется ли?

Москва жила наполненной, быстрой, вдохновенной жизнью. Открывая 19 января 1924 года съезд Советов, Калинин сообщил под оглушительные аплодисменты и возгласы "ура", что лучшие специалисты, видные профессора, опытные врачи, которые наблюдают за состоянием здоровья Ленина, выражают надежду на возвращение Владимира Ильича к государственной деятельности.

А в шесть часов утра 22 января радио оповестило о смерти Ленина. Газеты вышли в траурных рамках. И вдруг словно оборвалось что-то внутри. Умер! Ильич умер!.. Григорий Иванович смотрел на черные буквы, слагавшиеся в страшные слова, и не мог осмыслить написанного.

Нет Ильича... Как же тогда жить?! Между тем жить обязательно надо. Об этом говорилось и в правительственном сообщении о смерти Ленина:

"...Его дело останется незыблемым... Советское правительство продолжит работу Владимира Ильича..."

Об этом шла речь и в обращении ЦК к партии, ко всем трудящимся:

"Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг... Никакие силы в мире не помешают нашей окончательной победе..."

- Да! - сказал Котовский. - Никто нас не остановит! Никто!

И как присягу, повторял слова воззвания, выпущенного Исполкомом Коммунистического Интернационала:

- Боритесь, как Ленин, и, как Ленин, вы победите!

И разве не эти же чувства охватили весь трудовой народ? Разве не о том же думали коммунисты, собравшиеся около гроба Ильича?

Туда, в Горки, приехали друзья, соратники, старые и молодые, коммунисты и беспартийные. Ленин лежал в гробу в той комнате, где он умер. Приехали делегаты съезда, среди них Фрунзе и Котовский. Они стояли потрясенные, убитые горем. Смотрели на дорогое лицо умершего, и одинаковые мысли волновали их: "Ни шагу не отступать. Еще много боев впереди. Клянемся!"

Вышли на крыльцо. Безмолвная толпа собралась из окрестных деревень. Слышались приглушенные рыдания. А кругом раскинулись пустынные снежные поля, стыли в мерзлом безмолвии голубоватые искрящиеся сугробы. Стояло морозное утро, было более тридцати градусов ниже нуля. Природа замерла в глубоком раздумье. И эта ледяная безмятежность, это гигантское равнодушие делали еще острее боль утраты. И слезы навертывались на глаза.

- Вот какое довелось пережить! - горестно произнес Фрунзе.

- Да, страшнее горя я, кажется, не знал... Но если кто надеется, что это даст им перевес, то напрасно! - угрюмо отозвался Котовский.

- Бедная Надежда Константиновна! - вздохнул, помолчав, Фрунзе. - На нее без содрогания невозможно смотреть.

Тут они услышали полушепот. Оглянулись - две женщины неподалеку: какая-то пожилая крестьянка и Смирнова, которая присутствовала при последних часах Ленина. Ей, работнице золотошвейной фабрики в Москве, предложили работать по дому у Владимира

Ильича. Сначала Смирнова отказывалась, боялась, что не справится. А потом согласилась. И всем сердцем полюбила эту семью, особенно Владимира Ильича. Теперь она рассказывала монотонным голосом, наполненным такой тоской, такой жалостью... Фрунзе и Котовский видели, как течет скупая слеза по обветренному лицу крестьянки, которая ловила каждое слово Смирновой и все качала-качала головой, закутанной в деревенский желтый полушалок.

- Утром подала ему кофе, - тихо, срывающимся голосом рассказывала Смирнова, - а он наклонился приветливо так и прошел, пить не стал, ушел и лег у себя. Я все надеялась - выпьет. Ждала. А ему уже плохо стало... Сказали мне, чтобы горячие бутылки несла. А какое - они уж не нужны ему были... Вбежала я наверх - Мария Ильинична стоит сама не своя, черная какая-то. Тогда я прямо к Владимиру Ильичу в комнату. Вошла, а Надежда Константиновна возле постели сидит и держит его руку. Санитары приехали, навзрыд плачут, не стесняются. Доктора бледные стоят. Вот, голубушка, горе-то у нас какое...

Этот бесхитростный рассказ как-то особенно потряс двух бывалых солдат, закаленных, многое повидавших - Котовского и Фрунзе. И позднее, стоя в почетном карауле у гроба Ленина в величественном зале Дома Союзов, они все еще были заполнены этим большим чувством всенародного горя, а в ушах у них звучали слова Смирновой: "Вот, голубушка, горе-то у нас какое..."

2

Беспартийные рабочие и служащие Московского депо Рязано-Уральской железной дороги однажды отремонтировали в неурочное время паровоз. Впереди к паровозу прикрепили надпись: "Беспартийные - коммунистам". И решили послать паровоз в Горки, Владимиру Ильичу. Приложили письмо, где сообщали, что на собрании единогласно постановили избрать дорогого Владимира Ильича почетным машинистом. И далее в письме говорилось:

"Вручая тебе паровоз, рабочие и служащие не сомневаются, что ты, Владимир Ильич, как опытный машинист, привезешь нас в светлое будущее".

Владимир Ильич был доволен подарком, оценил и послание. Единственно, что его озадачило, - как поступить с паровозом. Когда ему присылали продукты, он отправлял их в детский дом. Но ведь не пошлешь в детский дом паровоз!

Это было в 1923 году... А теперь, ровно через год, именно этот паровоз доставил в Москву траурный поезд, в котором находился гроб с телом Владимира Ильича.

3

Громадный зал обтянут крепом. Стоит строгая тишина. Звонко отдаются под сводами шаги сменяемых в почетном карауле.

Мария Ильинична и Надежда Константиновна. Дзержинский и Ворошилов. Фрунзе и Егоров. Постышев и Тухачевский. Котовский и Орджоникидзе. Киров и Блюхер...

Нескончаемо шествие народа. Несмотря на мороз, длинная вереница людей не уменьшается ни днем ни ночью. Разводят костры, чтобы погреться. Но никто не расходится. И надо видеть лица людей - женщин, мужчин, детей, стариков, пришедших проститься с Ильичом, чтобы понять, как велика их любовь. А поминутная смена почетного караула у гроба Ильича превратилась в демонстрацию силы и единства ленинской партии. И сколько промелькнуло у каждого неизгладимых воспоминаний, сколько мыслей возникло в эти несколько минут!

Феликс Эдмундович Дзержинский думал о том, что отравленными пулями в Ленина стреляла не одна фанатичная террористка Каплан. Ему было известно многое такое, о чем другие могли только догадываться. И Дзержинский готовился к дальнейшей беспощадной борьбе, к отстаиванию ленинских позиций.

Дзержинский не ошибался. Ведь именно сейчас, в эти дни, когда советские люди так глубоко скорбели об утрате, за рубежом лобызались и поздравляли друг друга. Даже наиболее дальновидные и сдержанные из эмигрантов поддались общему психозу.

Рябинин повстречал как-то великого князя Дмитрия Павловича. Великий князь ходил

теперь в гольфах, имел спортивный вид и прилагал все усилия, чтобы никто не принимал его за представителя царской фамилии. Но на этот раз у него не хватило выдержки. Он обнял коммерсанта Рябинина и воскликнул:

- Христос воскресе, дорогой Сергей Степанович! Думаю, что не ошибусь, если скажу: это все!

- Будем надеяться! Будем надеяться!

Более они не добавили ни слова, но оба отлично поняли, что речь идет о смерти Ленина, о том, что с его уходом, по их расчетам, рухнет все здание социализма.

Дзержинскому было достаточно хорошо известно о таких настроениях в кругах белой эмиграции. Иного нечего было и ждать. Но кроме того, Дзержинский еще знал о поведении некоторых оппозиционеров, о подозрительном совпадении во взглядах с эмигрантами у одного человека, числившегося в рядах Коммунистической партии.

В день смерти Ленина Троцкий отдыхал на Черноморском побережье, в Сухуми. Цвели розы, плескалось бирюзовое море, было много солнца, густели ароматы тисса и магнолий.

Радио сообщило о смерти Ленина. Затем пришли и газеты. Троцкий небрежно просмотрел их. Обращение ЦК нашел слишком длинным, а воззвание Исполкома Коминтерна выспренним.

На похороны Троцкий не поехал. Он проводил дни, лежа на балконе, откуда открывался прекрасный вид на море, на горные вершины. Иногда он совершал прогулки. Садился где-нибудь около баобаба и смотрел вдаль, на Клухорскую тропу, на развалины генуэзской крепости.

"Все начинается и все кончается, - размышлял он. - Надо не забыть записать это изречение..."

Нет, он не забыл. Он заранее подготавливал мемуары. В эти дни им было записано:

"Вдыхая морской воздух, я всем существом ощущал уверенность в своей исторической правоте".

На что надеялся Троцкий? Что выжидал? Не думал ли он, что к нему явится делегация от ЦК партии и будет просить его принять всю полноту власти? Во всяком случае, он намеревался на ближайшем съезде партии поставить на голосование тезисы своей "платформы".

При жизни Ленина он, конечно, не решился бы на это. Но и сейчас не учитывал сплоченности, монолитности партии, которая сумеет дать отпор любому оппортунисту, любому фальсификатору ленинских идей!

4

Строгая тишина в огромном зале Дома Союзов. Траурные полотнища... Боевые знамена революции... Восковое лицо уснувшего навеки Ильича...

Встав в почетном карауле, Михаил Васильевич Фрунзе вспомнил свои встречи с Лениным. В его сознании Ленин оставался живым. Он никогда не разлучался с Лениным. И тогда, когда лично беседовал с ним, и тогда, когда воевал, изучал, выполнял очередные задачи. Фрунзе неизменно чувствовал его присутствие, руководствовался его учением.

Разгромив армию генерала Ханжина, Фрунзе продолжал преследовать белых, стремясь захватить Уфу и прогнать их за Урал и дальше - из Сибири. Когда по указанию Троцкого попытались приостановить это наступление, Фрунзе обратился непосредственно к Ленину. ЦК и лично Ленин дали указание: никаких передышек в наступлении на Колчака! 29 апреля 1919 года на рассвете Фрунзе начал контрнаступление. 9 июня красные заняли Уфу.

Какое счастье было сообщить об этом успехе Ленину! Ведь этот успех решал в основном вопрос "кто кого" и прославлял ленинскую стратегию! Фрунзе и сейчас помнит свое душевное состояние в те дни, он думал: "Ильич будет доволен".

Очередной задачей было освобождение Туркестана. И снова - зоркость Ленина, указания Ленина. Пленум ЦК назначает Главкомом Сергея Сергеевича Каменева, а командование Туркестанским фронтом поручает Фрунзе. Начав наступление на армию генерала Белова, Фрунзе загнал ее в безводную степь. К 13 сентября белая армия перестала

существовать. А вскоре бежал эмир Сеид-Алим. Поспешили убраться восвояси и его иностранные приспешники. Ленин радиограммой приветствовал Красный Туркестан.

Затем Фрунзе был в Москве на заседании Совета Труда и Обороны. Заместитель Председателя Реввоенсовета Республики Склянский, не дождавшись конца заседания, ушел. Владимир Ильич, узнав об этом, сказал: "Ну что ж, решим без него". И Фрунзе утвердили командующим Южным фронтом.

Был поздний час, когда Ленин и Фрунзе вышли на улицу. Ленин заговорил о том, что хорошо бы ликвидировать врангелевский фронт до зимы, зимняя кампания крайне нежелательна, народ устал, люди измучены. Вместе с тем Ленин напоминал, что врангелевская армия отлично вооружена, драться умеет. И после такого предисловия Ленин спросил:

- Как вы полагаете, Михаил Васильевич, когда закончите операцию?

Фрунзе восхищенно смотрел на Ленина: Ленин даже мысли не допускал, что Врангель не будет разгромлен! И хотя Ленин не приказывал, а только спрашивал, когда Фрунзе надеется закончить эту операцию, но ведь все до очевидности ясно, и решение напрашивается само собой.

Спрятав улыбку в усы, Фрунзе прикинул, подсчитал, подумал и сказал:

- В декабре, Владимир Ильич.

- В декабре, - повторил Ленин. В голосе его прозвучало разочарование: ведь декабрь - это уже зима.

- К декабрю! - поспешил поправиться Фрунзе.

Тогда Ленину подумалось, нет ли в таком поспешном ответе некоторой бравады.

- Не слишком ли быстро, Михаил Васильевич? Ведь сейчас конец сентября?

Фрунзе пояснил, что, раз нельзя допускать зимней кампании, значит, так оно и должно быть. И решительно заключил:

- К декабрю все будет кончено, Владимир Ильич.

Была ли это опрометчивость? Нет, это был расчет полководца плюс политическая дальновидность коммуниста. Как коммунист Фрунзе понимал, насколько справедливо утверждение Владимира Ильича, что зимняя кампания легла бы на нас тяжким бременем. Как полководец он уже продумал основные моменты ликвидации врангелевского фронта. Он знал, что западная военная печать называет перекопские укрепления новым Верденом. У них ведь одна мерка - Верден. Знал он, что такое Перекоп, Чонгарский перешеек и Турецкий вал, что такое Юшуньские позиции с шестью линиями окопов. Он уже получил данные нашей разведки. Строили эти укрепления русские и французские военные инженеры. Тут были и бетонированные орудийные заграждения в несколько рядов, и фланкирующие постройки, и окопы... Но он знал и другое: боевой дух красных воинов, общее настроение страны, желание поскорей покончить со всеми фронтами и перейти на мирные рельсы...

Стоя в почетном карауле у гроба Ленина, Фрунзе думал о том, что честно выполнил тогда слово, данное Ильичу, и покончил с Врангелем до наступления зимы.

Фрунзе тяжело переживал смерть Ленина. Но не в его характере было поддаваться горю. Ведь даже в камере смертников, приговоренный царским судом к повешению, он не терял самообладания и занимался английским языком. И сейчас, стоя в почетном карауле, у гроба любимого Ильича, Фрунзе прикидывал, что в данный момент неотложно из намеченного ленинского плана на ближайшие десятилетия? И для Фрунзе было несомненно, неоспоримо: нужно бороться за монолитность партии - это главное. И столь же обязательное: охранять детище Ленина - первое в истории социалистическое государство от всяких покушений извне, то есть создать такую армию, о твердыню которой разобьются все усилия политических бандитов и захватчиков.

5

Котовский раньше не видел Ленина. Когда бригаду направили на Петроградский фронт, Ленин уже переехал в Москву. А позднее - непрерывные бои, переходы, атаки... Да и по окончании гражданской войны оказалось немало дел. Ленин заболел... И хотя Григорий

Иванович принимал живейшее участие в политической и общественной жизни, ему так и не удалось видеть Ленина, слышать его голос, его выступления.

И вот теперь впервые Котовский стоял совсем близко, совсем рядом с Ильичем и пристально, неотрывно смотрел на бледное, заострившееся лицо вождя.

Котовского охватывало горе, почти отчаяние, ему казалось, что такие люди, как Ленин, вообще не должны умирать. Вместе с тем в нем все больше укреплялась уверенность, что это вовсе и не смерть, а переход в некое новое состояние, может быть, даже более высокое, так как это ведь бессмертие. Пройдут годы, пройдут десятки и сотни лет, а люди будут все так же любить Ленина и знать его. Они скажут: "Мы живем в новой эре, пришедшей в третьем тысячелетии. Первые два тысячелетия были всего лишь подготовкой, предысторией. Два гениальных деятеля - Маркс и Ленин вручили изумленному человечеству ключи от царства свободы и разума".

Ощущения Котовского походили на состояние, какое бывает перед атакой. Наивысшее нервное напряжение, собранность. Обостренная зоркость. Все видно. Все отчетливо впечатывается в мозг. Горячее убеждение, что победа будет. Готовность к неизбежным потерям. Боевой дух. Ведь в атаку идут люди, обыкновенные люди, здоровые, жизнерадостные, полные сил. Их грудь защищена только гимнастеркой. А они идут. Идут навстречу огненному шквалу, навстречу пулям.

Так к щемящей боли, к острому глубокому горю присоединялись гордость и торжество. Гордость потому, что он, Котовский, современник Ленина, что он в отряде ленинцев ведет разведку боем в неизведанное будущее. И торжество: Ленин бессмертен, ленинизм победит!

6

Когда кончился съезд, Котовский вместе с Фрунзе поехал в Харьков. Всю дорогу они говорили об Ильиче, силились разобраться в смятенных мыслях и чувствах, обсуждали вопросы, вдруг ставшие необычайно острыми и ответственными, так как не было уже мудрого друга и руководителя, нельзя было рассчитывать на его советы, а приходилось все решать на свой страх и риск.

Поезд набирал скорость. Ехали на юг, но на окне все еще были ледяные узоры. Там, за окном, виднелись снежные равнины и деревья, опушенные инеем.

- Серьезная зима, - сказал Фрунзе, поеживаясь. Ему что-то нездоровилось, немножко знобило, но он, как всегда, бодрился.

- Сколько Тимуру лет? - спросил Котовский, подумав о Гришутке, о том, что уже соскучился по сыну.

- В армию еще рано, - пошутил Михаил Васильевич, и глаза его сразу потеплели, улыбка заиграла на губах. - А все возится с игрушечными пушками и клеит из картона самолет. Может быть, пойдет в летчики, кто его знает?

Оба призадумались о детях, о будущем. Будущее было очень неясно и тревожно.

- Не дают нам спокойно жить, - как бы отвечая на общие мысли, промолвил Фрунзе. - Бельмом мы у них на глазу!

- Они у нас бельмом! - пробурчал Котовский и добавил сердито: - Черт бы их побрал.

И опять начался разговор о корпусе Котовского, о том, какие задачи предстоит разрешать в связи с перестройкой и перевооружением армии.

- Говорят о новом моем назначении, - сообщил Фрунзе.

- Да, я слышал, - отозвался Котовский. - Замом наркома по военным и морским делам.

- Это делается для того, чтобы я мог вплотную заняться военной реформой. Все надо в корне перестраивать. А главное - техника, техника нам нужна! Пока что мы хромаем на обе ноги. Но вот посмотришь, чего мы добьемся в ближайшие годы! Наши моторы должны быть лучшими в мире, наша броня - самой прочной, наши пушки - самыми дальнобойными, наш флот - самым боевым!

- И наш солдат - самым храбрым и самым умелым! - закончил Котовский.

- О красноармейце хорошо сказал Сергей Сергеевич Каменев, - все так же серьезно продолжал Фрунзе. - Он сказал, что красноармеец не только боец, но боец и плюс еще

революционер, и с таким необычным противником сталкиваются солдаты капиталистических стран. Каменев прав, отмечая, что эта черта ставит Красную Армию в несравнимое с армиями капитализма положение. А если добавить, что нашей армией будет фактически весь народ, что все население будет подготовлено, обучено, даже юноши, даже женщины в любую минуту сумеют взяться за пулемет, занять место в кабине самолета или повести в бой танк - тогда будет ясна вся картина.

Софья Алексеевна с нетерпением ждала мужа и бросилась ему навстречу. Обрадовались приезду папы и "дяди Котовского" дети. Надо сказать, что Котовского вообще любили дети и сразу находили с ним общий язык, а дети не любят плохих людей.

Фрунзе и Котовский подробно рассказали Софье Алексеевне о днях, проведенных в Москве. Вечером читали письмо Надежды Константиновны Крупской, напечатанное в "Правде". Письмо слушали и взрослые, и дети, и приехавшие накануне в Харьков военный инженер Карбышев и Дмитрий Андреевич Фурманов. Читал письмо Михаил Васильевич. В комнате стояла глубокая тишина. Все снова переживали потерю Ленина, думали о Ленине.

- "Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки! Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности..."

Голос Фрунзе звучал вначале глухо, но по мере чтения крепнул и становился звонче, призывней:

- "Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память. Всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича - устраивайте ясли, детские сады, детские дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и так далее и самое главное - давайте во всем проводить в жизнь его заветы..."

- Давайте проводить в жизнь его заветы! - повторил в возбуждении Фурманов.

- Давайте проводить в жизнь его заветы! - повторил и Котовский.

- Народ, - продолжал Михаил Васильевич, - так и понимает свой долг. Почитайте, какие резолюции выносят на заводах, в воинских частях, в деревне, в научных учреждениях, в организациях писателей, в школах! "Клянемся следовать его примеру!", "Будем свято хранить его заветы!", "Пусть не злорадствуют враги: Ильич мертв, но живы рабочий класс и Коммунистическая партия!" Не беспокойтесь, народ все понимает! Народ не ошибется!

- Вы, конечно, слышали, какой приток начался в ряды партии? взволнованно говорил Фурманов. - Тысячи и тысячи заявлений кадровых, квалифицированных пролетариев, лучших представителей интеллигенции!

- Ленинский призыв! Как это многозначительно, как это ценно! подчеркнул Фрунзе.

Все были в приподнятом настроении. Посыпались рассказы о виденном и слышанном за эти дни, о высказываниях самых разнообразных людей, о различных газетных сообщениях и сообщениях радио.

- В Кантоне объявлен трехдневный траур.

- В Берлине, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке - повсюду траурные собрания и манифестации. Весь мир скорбит! Никакие репрессии не могут помешать честным людям выразить чувства солидарности с нами!

- Какое победное шествие ленинских идей!

- Да, но есть и толстокожие...

- А как же? Не без того! Без них никак не обойдется. Шкуры барабанные!

- По-моему, каждый коммунист, - задумчиво произнес Фурманов, - каждый коммунист и своей жизнью, и своей смертью должен призывать к победе, к счастью, к устроению жизни. Как Ленин.

7

Остро переживал смерть Ленина и Иван Сергеевич Крутояров, тем более остро, что он вообще был необычайно впечатлителен. Он воспринимал все по-своему. Воспринимал и помещал где-то в картотеке мозга, в огромном образохранилище, до востребования. Чего

только не хранилось здесь бережно, нетленно: и какие-то детские истории, и факты, наблюдения, зарисовки из школьной жизни. Рядом с громадными замыслами, построениями каких-то произведений, может быть, романов, которые никогда не будут написаны, рядом с запасами излюбленных афоризмов или подхваченных на лету крылатых словечек, рядом со всем этим - тонкие, почти неуловимые, но вместе с тем немеркнуще яркие и выпуклые записи каких-то запахов, какой-то тишины, какой-то тропинки, по которой когда-то шел и вдруг увидел у самой дороги ядреный белый гриб... какого-то дождя, и как тогда пахло мокрыми листьями березы...

Крутояров садился за письменный стол поздним вечером. В доме воцарялась тишина, давно уже все спали. Только сытый кот Мурза, с тигровыми рыжими полосами, пышным загривком и белоснежными лапками, - с сознанием не только права, но даже и долга - располагался прямо на рукописях, под самой лампой с зеленым абажуром. И начиналась творческая работа. Оживали на белом листе бумаги и жили своей особенной жизнью герои романа. По непреложным законам сюжета, осторожно, но твердо направляемые путями творческого замысла, они шли к завершению своей судьбы. Неожиданно давний и, казалось бы, начисто забытый дождь вдруг срочно требовался со всеми своими мельчайшими приметами, не дождь вообще, а именно этот, конкретный, бережно хранимый в архивах памяти дождь. И теперь этот дождь промачивал насквозь героя романа и даже содействовал движению событий, раскрытию определенных черт, выявлению образа героя...

Однако уже скоро утро. Надо ложиться спать. Кот Мурза поднимает голову, щурится и смотрит недовольными зелеными глазами: "Что случилось? Что за беспорядок?"

Удивительное дело: Крутояров крепко спал, а мозг, видимо, продолжал свою работу - сопоставлял, анализировал. В момент пробуждения Крутояров, оказывается, отлично все знал и помнил, что-то сочинил, что-то исправил и бесповоротно решил, чем кончится глава, написанная ночью.

Даже какой-нибудь мелкий, казалось бы, незначительный случай - или мимолетный трамвайный разговор, или виденная на улице сценка, или сообщение, вычитанное в газете, - прочно врезались в его память, и долго ходил он под впечатлением этого, обдумывал, додумывал то, что осталось, так сказать, за рамками наблюдения, сочинял на этой почве целую историю и сам же бывал ею потрясен.

Что же сказать о крупных явлениях, о больших травмах?

Случаются в жизни человека события, которые производят полное опустошение, оставляют тяжелый, неизгладимый след. Такие раны долго не зарубцовываются. Иногда в результате подобной катастрофы изменяется весь ход мыслей, вся направленность, человек как бы прозревает, приобретает умудренность, переоценивает многие свои прежние взгляды. Некоторые под тяжестью неизбывного горя сгибаются, теряют душевное равновесие и больше уже никогда не могут оправиться от удара. Другие, наоборот, встречают испытание судьбы с гордо поднятой головой и в ответ дают клятву идти еще тверже, бороться еще настойчивей.

Крутояров обладал устойчивой психикой, но все в себя впитывал, все остро переживал и до осязаемости воплощался в тех, кто не сдается, в тех, кто падает духом, и таким образом жил тысячами жизней и радовался и терзался тысячами сердец.

События, которые охватили все огромное пространство Российской империи с первых же дней, с первых десятилетий двадцатого столетия, не оставили непричастным ни одного человека. Войны, революции, битвы, казни... Неслыханные подвиги и невиданные жестокости. Вершины благородства, самоотверженности и примеры небывалого предательства. Разлуки и находки, взлеты и падения. Бесчисленные случаи раздирающих душу драм и величавого, гордого проявления гуманизма. Расцвет дарований. Пробуждение народного гения. Утро страны. Утро человечества.

Вот в какое время жил Крутояров. Вот какая эпоха прошла перед его взором. Он видел, как от каждого вдруг потребовались усилия в десять раз большие, чем, казалось бы, он мог. От сознания, что борьба идет за самое существование отчизны, за переустройство мира, у

людей вырастают крылья и становятся до того наполненными до краев дни, что по деяниям, переживаниям каждый успевает за одну жизнь прожить десять, двадцать жизней, сто.

Крутояров считал святым своим долгом запечатлеть все виденное, сохранить для будущих поколений правдивый, выпуклый облик эпохи, воплощенный в точные, сильные слова, в типическое, в обобщенные характеры. Размышляя над своими творческими планами, Крутояров понимал, что предстоит ему огромный сверхчеловеческий труд, но думал об этом без боязни, без колебаний. "Должен. Сделаю", - говорил Крутояров себе. И, мысленно окидывая взором эти пламенные, мятежные десятилетия, всегда догадывался, что, если попробовать выразить всю суть в одном слове, слово это будет "Ленин".

Смерть Ленина была потрясением, горем - таким, какое накладывает на лицо глубокие морщины и проступает седой прядью волос. В траур облачилось все, что способно чувствовать, мыслить, все прогрессивное и честное на земле.

В доме Крутоярова горе было немногословно, таким и бывает настоящее глубокое чувство. Не стыдно было и не трудно быть всем вместе - и Надежде Антоновне, и Ивану Сергеевичу, и Маркову с Оксаной - быть вместе и молчать и думать горькую думу.

Читали вслух обращение ЦК. Слушали радио.

- Ведь знали, что это неизбежно, - проговорил Крутояров, может быть даже не сознавая, что произносит вслух, - знали... А как невыносимо тяжело, когда это все-таки случилось...

Снова молчание. Снова погруженные в себя, в свои мысли сидели все, собравшись в столовой, но сидели не за общим столом, а кто где.

- До чего же мы бессильны, до чего маломощна медицина! - снова заговорил Крутояров. - Такого человека не сохранить! Ведь всего пятьдесят четыре года... А какая-нибудь мозолящая глаза ничтожность тянет до столетия!

- Не умеем мы гениальных людей беречь, это правда, - согласилась Надежда Антоновна. - Убивать придумали тысячи приемов, а вот жизнь отстоять...

- Довели его, - охрипшим голосом сказал Марков. - Сверхчеловеческий груз поднял. Разве можно вынести?

Крутояров не мог оставаться дома. Бесцельно слонялся по улицам, вглядываясь в каждое встречное лицо и стараясь угадать: радуется втайне этот человек или наполнен большой скорбью и горечью? Все лица были печальными.

Крутояров, остановившись, слушал приглушенные шумы города. Как будто город ходил на цыпочках и говорил вполголоса в эту горестную минуту. Врезались в память рубленые строчки стихотворения, напечатанного в эти дни в петроградской "Красной газете":

Город дрогнул. Гудки окраин
Провожали тело Ильича.
Город кричал, словно больно ранен
Был в этот час.

Стихи выражали чувства, охватившие Крутоярова, и он все повторял:

Город кричал, словно больно ранен
Был в этот час...

"Да, город ранен. Но раны зарубцуются, а воля к победе станет непреодолимей!"

Вечером Крутояров выехал в Москву.

Первым, кого встретил, выйдя в Москве из вагона, был Марков. Оказывается, они приехали одним поездом.

- В таком случае, пошли, - предложил Крутояров.

И они пошли рядом, молча, вглядываясь в лица встречных.

А потом оба были на Красной площади.

В этот день гроб с телом Ильича был перенесен из Дома Союзов на Красную площадь. Там гроб поместили на особом постаменте. Прощаясь с Ильичем, проходили мимо в скорбном молчании москвичи, и делегации, и просто люди, которые так же, как Марков и

Крутояров, не размышляя, бросив все, приехали в Москву.

В четыре часа дня объединенный оркестр грянул душераздирающие аккорды Чайковского, ухитрившегося заглянуть в глубины души человека, в самые заповедные тайники.

Одновременно с оркестром тысячи гудков фабрик и заводов слились с залпами прощального салюта орудий. На пять минут остановились автомобили и пешеходы, заводские станки и поезда. Пять минут молчания. Пять минут горького раздумья.

Гроб с телом Ленина перенесен в Мавзолей.

Ночным экспрессом Крутояров и Марков вернулись в город, отныне носящий имя Ленина. Вышли на обширную площадь перед вокзалом. Здесь когда-то стояли приехавшие из Умани Марков и Оксана. Не так много времени прошло с тех пор, но как все изменилось. И город не казался теперь Маркову страшным и непонятным. Марков знал его и любил.

Было утро. Холод и по-утреннему прозрачный и ясный воздух вливали бодрость в дряблое, уставшее после дороги тело.

Крутояров остановился, приглядываясь, прислушиваясь. Город погрохатывал, жил, шумел.

- Вот так-то, Михаил Петрович, - громко, отчетливо произнес Крутояров. - Что ж, будем продолжать жить.

Человек не может долгое время находиться в состоянии безумного отчаяния, болезненно-неистового возбуждения, даже сосредоточения и внимания. Наступает реакция. Приходит утомление. Организм отключает переживание, которое было бы пагубным, если бы еще его продлить. Нельзя упрекнуть близких людей умершего, если в их отчаянии происходит перелом. С кладбища родные и близкие возвращаются печальными, но умиротворенными. Скорбь об утрате должна выливаться в деятельность: в служение тому делу, которое не закончил умерший, в заботы об увековечении его памяти.

- Будем продолжать жить, - повторил Крутояров.

Мимо них хлынул поток людей. Очевидно, прибыл какой-то поезд. Люди спешили, оживленно о чем-то говорили, несли сумки, свертки, чемоданы. Вымахнув из здания вокзала, они веером растекались в разные стороны: кто пешком на Старый Невский, кто в сторону остановки трамваев на Лиговке, кто прямо - на Невский проспект.

Крутояров внимательно смотрел на людской поток, на соотечественников, на братьев, на жителей прекрасного города прекрасной страны. Это были его современники, однополчане, те, с кем рядом он шел по дорогам войны и по дорогам свершений. Вот они - простые и в то же время необыкновенные, казалось бы, самые будничные и заурядные, но между тем способные творить чудеса.

Вглядываясь в их лица, в их уверенные движения, вслушиваясь в их говор, в их бодрые голоса, Крутояров осознал в этом что-то значительное, что отвечало на самые трудные, недоуменные вопросы бытия - вопросы смерти и жизни, мимолетности и вечности.

- Жизненный процесс как эстафета, - медленно произнес Крутояров. Те, кто уходят навсегда, передают наказ оставшимся: продолжать жить, завершать незаконченное, продумывать новое, искать неотысканное...

Марков молчал. Он понимал, что Крутояров в раздумье, и боялся ему помешать.

...Прошел январь 1924 года. За январем промелькнул коротенький февраль... Мир жил, хлопотал, боролся...

О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Писатель Бобровников вдруг стал темой номер один, знаменитостью, о нем заговорил весь эмигрантский Париж. И не потому, что он написал замечательный роман или поставил в театре экстравагантное ревю. Тут было другое: он уезжал в Россию, в Советскую Россию, кажется, уже получил визу, словом, сам лез в пасть ГПУ. Одни бранили его, обвиняли, позорили, другие втайне завидовали. Всем интересно было, что из этого получится. Расстреляют? Или простят?

Мария Михайловна Долгорукова уже не говорила о Бобровникове, что у него неписательский вид, что он ей не нравится. Теперь он ее интересовал, и она даже требовала, чтобы князь Хилков во что бы то ни стало привел его, только как-нибудь так, вроде бы случайно, и чтобы без лишних свидетелей неудобно все-таки, переметнулся на ту сторону. Но у Марии Михайловны есть к нему одно дело... думаете, насчет "Прохладного"? Нет, совсем другое, очень личное и очень важное, очень.

У князя Хилкова была маленькая тайная страстишка: он любил посещать кабачки, низкопробные кабаре. Ему нравилось смотреть на пьяных, разухабистых женщин, на шумных собеседников за столиками, уставленными бутылками... За последнее время он особенно пристрастился к одному из бесчисленных русских кафе, какие пооткрывали бывшие сенаторы, бывшие помещики, бывшие врангелевские полковники, стремясь заработать хлеб насущный.

Это кафе носило название, которое сразу привлекало внимание: "У самовара я и моя Маша", и около названия на вывеске был изображен сверкающий медью самовар - бокастый, с кружевной конфоркой и расписным чайником, со струйкой пара, поднимающейся вверх. Словом, не хватало только связки бубликов, чтобы представить былую российскую "обжорку", канувшую в Лету вместе с царским двуглавым орлом, хоругвями и крестными ходами.

Сюда-то и приходил князь Хилков, усаживался где-нибудь в уголке и, рискуя испортить желудок, заказывал порцию гречишных блинов или московские расстегаи.

И вот как-то, пробираясь между столиками и разглядывая скатерти, вышитые петухами, князь набрел на Бобровникова. Если бы не настоятельные просьбы Марии Михайловны, он бы сделал вид, что не узнал писателя, или же ограничился бы легким поклоном и быстро ретировался. Но теперь он принял другое решение. Вот когда он сумеет выполнить поручение Марии Михайловны и под каким-нибудь предлогом пригласит Бобровникова!

С непринужденностью, какая вырабатывается годами светской жизни, князь Хилков приветствовал романиста, с подчеркнутым удовольствием принял приглашение "разделить компанию" и несколькими удобными, обтекаемыми, ничего не значащими фразами устранил неловкость, которую заметил в Бобровникове, так как тот восседал один на один с наполовину опорожненной бутылкой водки, по внешнему виду в точности такой, какой была царская сорокаградусная с белой головкой.

- Тоже любите заглянуть в эти злачные места? - игриво спросил князь Хилков, ничем не показывая, что сервировка столика ему не по душе.

- Завсегдатай этих "стиль рюсс"! - ответил Бобровников. - Только предупреждаю: водка здесь форменная дрянь. Не советую.

- В самом деле? - спросил озабоченно князь, хотя отнюдь и не собирался заказывать водку. - Тогда я рискну, если позволите, потребовать бутылочку шабли? Рад встретиться, слышал, что уезжаете? Надеюсь, придете попрощаться? Мария Михайловна уполномочила меня передать, что будет рада вас видеть. Например, что вы скажете, если во вторник, часов в одиннадцать?

Бобровников не удивился приглашению. За последнее время он только и делает что встречается, выслушивает предостережения, отвечает на расспросы, огрызается, когда начинают бранить, и повертывается спиной, услышав угрозы.

- Во вторник? Зайти, конечно, могу, только чего это я понадобился княгине? Мода! Вы думаете, зачем я здесь сижу? Удостоился приглашения от самого Сергея Степановича Рябинина. Вот как у нас! "Не угодно ли вам будет посидеть со мной за рюмкой вина?" - "С превеликим удовольствием!" "Хотелось бы, знаете ли, в тихом уголке, где нам никто не помешает, поболтать о том о сем!" - "Помилуйте, в Париже таких уголков множество!" и предложил я ему вот это самоварное захолустье, нарочно выбрал самое невзрачное, - это миллионеру-то! Воротиле российскому!

- Я, кажется, буду не совсем кстати...

- Напротив, поприсутствуйте, получите феноменальное удовольствие. Я Рябинина знаю

еще по Петербургу, он там журнал издавал, на веленевой бумаге, с виньетками. "Эллада". Курс на разбогатевших лавочников и присяжных поверенных. И платил, сукин сын, хорошо. Созвал как-то раз писательскую братию, не кое-каких - маститейших. Ему чего церемониться? У него деньги! Усмехнулся наглецки и вылепил нам в глаза: "По-моему, что писатели, что продажные твари - разницы никакой. У них товар - у нас деньги. Заплати - и будьте любезны, что прикажете". Оскорбились мы тогда, хотели бойкотировать его "Элладу", да так как-то не получилось, не собрались. Вот вы - человек из другого мира, только кораблекрушение выбросило нас на один остров... Скажите объективно: разве хорошо так оскорблять? Ведь он нас с грязью смешал! А мы молчали... Чувствовали, видимо, что грубо, а какая-то доля правды в его словах все-таки есть... Есть или нет? Вы режьте начистоту, по-русски. Ну?

- Если хотите знать мою точку зрения... - замялся князь, - я вообще невысокого мнения о человеческой породе. Например, собаки, на мой взгляд, куда интеллигентнее. Умные, честные. Не предадут. А слоны? А лошади? Особенно лошади!

Князь Хилков мечтательно задумался, но тут же спохватился и стал отнекиваться:

- Парадоксы! Не обращайте на меня внимания... Я ничего не смыслю, ничего не знаю, а главное - не стремлюсь знать.

- Но что вы скажете о Рябинине? - настаивал Бобровников. - Не увиливайте от прямого ответа.

- Господин Рябинин, как мне кажется, узко поставил вопрос. Судите сами, разве по сути вопрос поставлен неправильно? Все мы продажные твари! Все на свете продается, только цены разные. Но боже упаси, я не отнимаю вашего права считать писателей существами особенными! Я только думаю, что писательская профессия тяжелая, но не тяжелее, чем другие. Разве легче продавать себя для работы в угольной шахте? По-моему, так ужасно! Или служить тюремным надзирателем... А? Как вы думаете? Или работать на бойне... Бр-р! Все эти кишки... Однако этот разговор не по мне. Я совершенно не гожусь в философы.

- Д-да-а! - выдохнул Бобровников, отодвигая рюмку и почти с ужасом разглядывая князя. - Вот вы какой! Не зна-ал. Простите за откровенность считал вас пустым местом... Эх, Рябинин не слышал! Нет уж, вы, пожалуйста, не уходите. Имейте в виду: Рябинин умен! Какой он там ни есть, а умен, чертушка. Кстати, вот он и сам пожаловал, теперь уж вам этикет не позволит испариться.

2

Рябинин вошел хмурый, сосредоточенный. Он привык, где бы ни появился, вызывать шумный восторг и теперь только досадливо отмахнулся от хозяина этой чайнушки, забывшего о своих орденах, какие он носил в былые времена, о своем полковничьем чине и превратившегося в безобидного хлопотливого хозяйчика, раболепно встречающего богатых клиентов.

- Лестно, весьма лестно! Конечно, у нас не "Пайяр", не "Ларю", зато все русское! - бормотал он, мельтеша перед Рябининым и мешая ему пройти. Добро пожаловать, Сергей Степанович! Удачно! Par axcallence* сегодня, к блинам! Faute de mieux...**

---

* Par axcallence - в особенности (франц.).

** Faute de mieux - за неимением лучшего (франц.).

- Бобровников не приходил? - не здороваясь, спросил Рябинин, но тут же увидел писателя и направился к нему.

Ничуть не удивился присутствию князя Хилкова. Выражение его лица говорило: "Хилков так Хилков. Какая разница". Но галантно подскочившего и звякнувшего шпорами завитого и нафабренного гусара без всякого стеснения прогнал:

- Ладно, ладно, без тебя обойдется. Не мешай.

- Виноват, Сергей Степанович... Я только хотел...

- Проваливай, проваливай, брат. У нас тут дело... Развелось этой шушеры! - обернулся

Рябинин к Бобровиикову и Хилкову. - Нигде не укрыться! На Невском у Палкина и то было сподручнее... Так как? Едем? - глянул он на Бобровникова. - Уже были и на Рю-де-Гренелль? В полпредстве? У Красина?

- Еду, Сергей Степанович. Завтра иду визу получать, и - на Северный вокзал!

- Выходит, перебежчик?

- Нет, это называется по-другому: возвращение блудного сына. С меня довольно, не могу больше на это гнилое болото глядеть. Такая мерзость. Думал, так и пропаду. И вдруг - как солнце брызнуло. Пускают! В Россию!

- России нет. Есть Совдепия.

Рябинин сел напротив, долго молча тяжелым взглядом смотрел на Бобровникова, потом без злорадства, даже с грустью добавил:

- Расстреляют они вас. Как пить дать расстреляют. А эти наши молодчики - из кутеповского "Союза галлиполийцев", - эти ерунду придумали. Пойдем, говорят, на вокзал и морду ему набьем. Это вам то есть. Мальчишество. Ведь не гимназисты. Я, собственно, и пришел об этом вас предупредить. Но коммунисты - серьезный народ. Вот увидите - обязательно расстреляют.

Бобровников молчал. Рябинин тоже замолк, молча придвинул бутылку водки, хозяин чайнушки мигом распорядился подать ему рюмку из особого для почетных гостей - советского хрустального сервиза, купленного в 1923 году в Лионе, на международной ярмарке в советском павильоне. Рябинин налил, выпил и чертыхнулся:

- Ну и мерзость. Дайте-ка коньяку.

Князь Хилков, прямой, вежливый, внимательный, сидел, как в театральной ложе, слушал и поочередно смотрел то на Бобровникова, то на Рябинина. Его не тяготило, что он молчал. По-видимому, он чувствовал себя превосходно и слушал с нескрываемым удовольствием, так и казалось, что вот-вот он зааплодирует.

Принесли бутылку коньяку и еще три рюмки. Рябинин повертел рюмку в руках:

- Завод имени Ломоносова? Понятно. Бывший императорский. Помню.

Опять молчание.

- Почти достигли довоенного уровня? Я говорю о Советской России. Допустим. Но чем? Ограбили банки. Потом ограбили церкви, даже колокола стибрили, даже ризы с икон содрали. Что дальше? Наладили промышленность? Ну, это туда-сюда, но доходы-то кому? Государству? Наладили дело на приисках - все золото опять государству, весь уголь, никель, все железо, вообще все, даже прибыль от каждого фунта сахару - все в одни руки... Это, конечно, один-ноль в пользу Советской власти, не спорю. М-да. Тут есть над чем задуматься. Для них один-ноль, а для меня? Нет! Не приемлю! Верую, господи, помоги моему неверию! При социализме полная возможность государству лезть в любой частный карман. С кем спорить? На кого жаловаться? Дери прямые, дери косвенные налоги, устанавливай какой вздумается нищенский оклад - все сойдет, все стерпят. В природе человека в свою пятерню загребать, копить, наживать, а у них как? В общий котел? Да тогда на какой ляд и работать? Тогда и воровать не стыдно, казенное всегда тянут. Тогда - извините, пожалуйста, - пусть другие работают, работа дураков любит, а я уж погожу... Нет, не понимаю я этого, честно говорю, не понимаю! Человек - хищное животное, ему хочется живое мясо рвать, а тут его пичкают травкой социализма. Ничего у них не получится с социализмом! А чтобы наверняка не получилось, мы со своей стороны тоже постараемся. Где под руку подтолкнем, где в бочку меду ложку дегтя прибавим. Теперь, без Ленина, это будет проще, легче. А как же, господин... то бишь товарищ Бобровников? Сочтем своим долгом! Мы должны это делать. Если не это... тогда что же остается?

- У вас безвыходное положение, вот и злобствуете. Вы - макулатура. Знаете, тряпичники собирают обрезки, всякий хлам, и это идет в перемол, на бумажную фабрику...

- Заговорил! - усмехнулся Рябинин, подмигивая князю Хилкову. - За живое задело!

Бобровникова и вправду задело. Он подумал, слушая Рябинина, что хватит, почитал Рябинин мораль в былое время в Петербурге. И чего примчался? Чего ему надо?

Предупредить, что морду хотят набить какие-то молодчики? Вряд ли. Это предлог. Утешения для себя ищет! На душе-то скребет, вот и мечется. Так получай же, почтеннейший издатель "Эллады"! Кушай на здоровье!

- Ваша дочь, господин Рябинин, вышла замуж за норвежца. Пройдет несколько лет - и она разучится говорить по-русски. Да и вы-то сами по-русски разучитесь, по-французски не научитесь... Вы... как бы это сказать... рассосетесь, сойдете на нет. Это ваша величайшая трагедия, вы не меньше, чем я, тоскуете по родине, наверное, плачете по ночам, во сне Литейный проспект снится да Адмиралтейство, локти кусаете, но вот какая оказия: я могу вернуться, а вы нет, вы вышвырнуты навечно. Я нагрешил, наделал глупостей, въелось рабское угодничество в меня, казалось, как же так, могу ли я жить не в вашей лакейской? Могу! И все, что наделал, поправимо. Меня примут, мне поверят. И Куприн может вернуться, даже Бунин может! А вам пути отрезаны, батенька, и, конечно, вам это невыносимо, мучительно, больно. Скоро я буду в другом мире, недоступном даже вашему пониманию, в другом, совсем, окончательно другом, я это чувствую, хотя еще плохо разбираюсь. А колокола... что ж? Они сделаны народом, он хозяин, хочет - на колокольне их вешает, хочет - переплавит на снаряды, чтобы по вас бить...

Упоминанием о дочери Бобровников попал в самое больное место. Рябинин так и взвился, но тотчас овладел собой, сел, даже весь багровый стал и жилы надулись. Рябинин больше всего боялся, что его дети забудут Россию, родной язык. В доме Рябинина полагалось говорить только по-русски. И книги у него в шкафах были русские. Но улица, театр, товарищи - все вокруг было иное. И мальчики тайком от отца встречались с французскими девчонками, с французской молодежью, и нет-нет да и дома срывалось у них с языка французское словечко, а то еще брякнут что-нибудь на арго, это и вовсе приводило Рябинина в бешенство. Ведь Рябинин верил (или притворялся, что верит?) в скорое возвращение, в скорое падение советского режима. Ударом для Рябинина было бегство из дому дочери. Она оставила записку: "Папочка, не сердись, ты же не хочешь, чтобы твоя дочь отказалась от счастья. Мы любим друг друга, твоих денег нам не надо. Мы уже повенчаны, а когда ты сменишь гнев на милость, мы оба - Ивар и я - придем просить у тебя прощения за самовольство. Твоя Лидия".

Вся эта история обсуждалась и пересуживалась всюду, о романтической любви Лидочки знали в самых широких эмигрантских кругах. И нельзя сказать, что Лидочку осуждали. Графиня Потоцкая - та была прямо в восторге. Поговаривали даже, что первую ночь влюбленные скрывались именно у нее.

Рябинин был достаточно умен, чтобы не поднимать скандала. Напротив, он немедленно узнал адрес молодоженов и написал, что удивляется, зачем понадобилась такая конспирация, что он не какой-нибудь самодур, чтобы навязывать детям свои вкусы. Рябинин перевел на имя дочери значительную сумму, после чего молодые преспокойно уехали в Осло.

В сущности, дочка пошла вся в отца, была такая же взбалмошная и порывистая. Рябинину не на что было жаловаться. Взять даже и сегодняшний случай: ну зачем понадобился Рябинину Бобровников? Но Рябинин не привык ни в чем себе отказывать. Вздумалось посмотреть на вновь испеченного советского гражданина - выполнил свой каприз.

Бобровников не первый, кто возвращался из эмиграции в Советскую Россию. Это стало распространенным явлением. Но Рябинин читал резкие антисоветские статьи Бобровникова. Что же случилось? Изменились взгляды? Ведь никто Бобровникову не предлагал каких-то особенных материальных выгод, никто не уговаривал его, напротив, сам он каялся и проклинал день, в который решился покинуть родную страну, не разобравшись, что в ней происходит. Рябинин внимательно прочел новые выступления в печати Бобровникова. Как будто они искренни. Бобровников старается во всем разобраться, ничего не замалчивает, ничего не скрывает и с какой неприязнью пишет об эмигрантах!

Прочитав эти саморазоблачения, Рябинин спросил себя, мог бы он, Рябинин, отказаться от своих взглядов, убеждений и пойти работать в Советской России, где-нибудь в ВСНХ?

Никогда! Сколько он будет жить на свете, столько будет бороться всеми доступными ему средствами против коммунистов! Рябинин во многом разделял мнение Бобровникова, когда речь шла об эмигрантах. Рябинин и сам презирал всех этих ни на что не способных графов и князей, сам считал бездарью белых генералов, так позорно проигравших все до одной кампании. Но Рябинин считал, что борьба не кончена. Все впереди. Еще будет сказано последнее слово.

Писатель Бобровников талантлив и пишет только то, в чем убежден. Рябинину хотелось добиться в сознании этого писателя этакой трещинки. Пусть сядет за письменный стол в нетопленой квартире в Петрограде (то бишь теперь в Ленинграде!) и, задумавшись, вспомнит некоторые соображения Рябинина, делового человека, практика, убежденного сторонника капитализма, может быть, с поправками, но капитализма.

Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Рябинина, и к нему вернулась обычная самоуверенность.

Дал высказаться Бобровникову, нетерпеливо махнул рукой некоторым субъектам за соседними столиками, чтобы не навостряли уши и не вмешивались. Затем сказал:

- А может быть, вас и не расстреляют большевики, с писателей спрос невелик, но мы, когда придем в Россию, уж обязательно вас повесим.

- Я и не сомневаюсь, что вы повесили бы. Что делать! От смерти не посторонишься. Только очень сомневаюсь, что вам удастся прийти. Кто вам поможет? Антон Иванович Деникин? Но он уже мемуарист - сидит пишет исповедь. Или Врангель? Кажется, всех перепробовали.

- Понадобятся, как видно, иностранные штыки.

- Кто же? Немцы?

- Хотя бы.

- Это вы, Сергей Степанович, только сгоряча могли сказать. Даже отпрыск царской фамилии, великий князь Дмитрий Павлович - уж его-то заподозрить в симпатиях к коммунистам трудно - и тот заявил, что в случае войны с Германией эмиграция должна встать на сторону Советской России.

- Мы немцев только используем.

- Ой ли? Смотрите, как бы они не обвели вас вокруг пальца. Вообще же... - Бобровников вдруг споткнулся, пораженный какой-то мыслью, и замолк.

Рябинин выжидательно смотрел. Князь Хилков был невозмутим и явно не намеревался и в дальнейшем произнести хотя бы слово.

Наконец Бобровников сформулировал осенившую его мысль и уже без запальчивости, даже как-то устало произнес:

- Собственно, зачем спорить? Зачем весь этот разговор, да еще в таких нервозных тонах? Не собираемся же мы в чем-то один другого убедить? Вы меня не поймете, я вас. Больше скажу, я и сам-то себя не понимаю. Получил недавно письмо - оттуда, из города на Неве, от Крутоярова - слышали про такого? Писатель, выпустил не один десяток книг. Так вот пишет он мне, словно я несмышленый и, как говорят, трудный младенец. Он старается доступно объяснить мне, что оторваться от родины для писателя - смерти подобно. Ничего, говорит, вы не напишете, если немедленно не приедете сюда. Объяснять, говорит, долго и сложно, сами поймете, когда приедете. Нельзя, говорит, русскому писателю в такое время не быть на Родине. И так он написал, что у меня все нутро перевернуло. Ведь мы ничего не знаем о том, что в России свершается, ничего. Вся эта писанина эмигрантской прессы только мозги засоряет. А поэзия? Боже мой! Даже те, кто покрупнее и, как говорится, смолоду захвалены, помилуйте, какой пишут несусветный вздор! "Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша". Глупо! Беспомощно! И не самостоятельно: Шопенгауэр! Иные не без таланта, но и талант не выручает, как на Руси, бывало, случалось: сеяли рожь, а косим лебеду. Я уж не говорю о Нине Берберовой, Вере Лурье - вам попадалось поэтическое повидло этих дамочек не то в берлинских "Днях", не то в "Руле"? Мерзость! Грехопадение! Бежать, бежать отсюда без оглядки! Я русский, понимаете вы это? И я хочу отдать своему народу все силы,

все способности. Я ничего не знаю об Октябрьской революции, о новой России. Вероятно, мои убеждения наивны, но и того, что я понял, достаточно, чтобы любить эту новую Россию. Вы вот сказали, что готовы усмирять революцию германскими штыками. А знаете, какой роман я издам, приехав в Москву? Называется - "Бескровное вторжение", я и материал собрал, шесть глав написано. Из вороха газетных вырезок, очерков, монографий в роман войдет сотая доля. А жаль! Авторам исторических романов следовало бы одновременно с самим романом издавать все собранные для работы выписки, заметки, справки - какое было бы богатство для изучающего ту или иную эпоху!

- Вы бы без предисловия рассказывали о своем романе, ведь вам именно этого хочется.

- Я и расскажу, вам это полезно послушать. Мой роман "Бескровное вторжение" - это суровое обвинение вам, властителям предреволюционной России. Место действия - Питер, провинция, фронт. Время действия четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый годы.

- Да? В советских издательствах не напечатают. Им подавай революцию. Придется вам романчик-то сюда прислать, мы издадим.

- Вряд ли он вам по нутру придется. В нем речь о том, как вы продали Россию, всю, с потрохами. О том, как у русской императрицы, истошно ненавидевшей Россию немки, были в руках все государственные тайны. Выпускалась тогда секретная военная карта с обозначением расположения наших войск. Выпускалась в двух экземплярах - один лично для Николая, другой - для начальника штаба генерала Алексеева. А впоследствии нашли в бумагах царицы эту карту, оказывается, у нее каким-то образом очутился третий экземпляр! Это у немки-то, родственницы Вильгельма!

- Да это же всем известно, это в мемуарах Деникина напечатано!

- А известно ли вам, что Прибалтийский край немцы называют попросту "Erste deutsche Uberseekolonie"*, что им покою не дает идея: "Das grossere Deutschland"**, что они ко времени мировой войны тысяча девятьсот четырнадцатого года успели уже захватить ключевые позиции в царской России, завладели русской нефтью, русскими железными дорогами? Куда ни ткнись - немец! Генералы и полковники - немцы, аптекари - немцы, продавцы в магазинах, музыканты, фабриканты, зубные врачи - немцы, немцы, немцы...

---

* Erste deutsche Uberseekolonie - первой немецкой колонией (нем.).

** Das grossere Deutschland - Великая Германия (нем.).

- Известно, - с деланно-безразличным видом отозвался Рябинин. - Все это известно. Боюсь, что ваш роман будет скучноват.

- Известно ли вам, что помещение у нас германских капиталов носило завоевательный характер? Что вместе с капиталом засылались и банкиры, чтобы захватить все сферы влияния?

- Но это же азы! Все капиталистические страны так действуют!

- Известно ли вам, что, засылая к нам немцев, Германия давала им наказ: "Говорите по-немецки за границей, не забывайте, что вы немцы, иначе Германская империя никогда не осуществит своего мирового назначения". А как они Польшу заселяли? Как выкачивали из России денежки? Как завладели семьюдесятью процентами газовых предприятий в России, почти всей электрической промышленностью и половиной химической? Все эти заполонившие Россию Коппель, Кертинг, Вальдгоф и прочие свои отчеты составляли на немецком языке! А швейные машины "Зингер"? Вот образец легальной контрабанды! В военное время компания Зингер оказалась разветвленной шпионской организацией, и в нелепом шаре над зданием Зингера на Невском проспекте была запрятана шпионская радиостанция. А графиня Клейнмихель, приятельница императора Вильгельма? А вдова великого князя Владимира Александровича, урожденная немецкая принцесса и прирожденная шпионка Мария Павловна? А немецкие пасторы, вертевшиеся в Царском Селе? А этот - как его? - гофмейстер двора, член государственного совета? Из его имения на острове Эзель передавались световые сигналы о движении наших кораблей. Барон Пиляр

фон Пильхау создал целую шпионскую сеть, камер-юнкеры Брюмер и Вульф шпионили под ширмой лазаретов Красного Креста... Когда эту публику привлекали к ответственности, поступал запрос из канцелярии императрицы Александры Федоровны и шпионы снова оказывались на свободе. Они лезли во все щели, все эти фон-бароны, наглея с каждым днем!

Бобровников перевел дух и собирался обрушить новый поток фактов. Видимо, в нем еще не перекипели собранные для романа и еще полностью не осмысленные материалы, раз он так разговорился. Но он увидел скучающее лицо Рябинина и полное невозмутимого равнодушия пергаментное лицо князя Хилкова и замолк, рассмеявшись неожиданно добродушным и извиняющимся смехом.

- Эка прорвало меня. Но я вам объясню. Я вижу большой глубокий смысл во всем этом. Судя по тому, какую ярость вызывает новый строй России в сердцах американских, немецких и прочих и прочих правителей, этот строй сулит им мало хорошего. Но если взять только одну сторону - освобождение России от всяческих бескровных завоевателей, от иностранного ига и пробуждение ее национальных сил, то и это одно на веки вечные прославит советских освободителей. Вы, господин Рябинин, бьете себя в грудь и клянетесь, что любите Россию. Но вы повинны в тяжком преступлении, вы продали Родину, разбазарили ее, если не сами, то попустительствовали этому, а новые правители России вернули народу все, что у него было раскрадено. Вот это и будет идеей моего романа.

- Браво! - не выдержал наконец князь Хилков. - Крепко сказано! Брависсимо!

- Да обвинение-то прокурора в равной степени относится и к вам! раздосадованно крикнул Рябинин.

- Я не участвую в человеческой комедии, разыгрывающейся на земной планете, - галантно пояснил князь Хилков. - Я только зритель.

3

Перед отъездом в Советскую Россию Бобровников, выполняя обещание, побывал у Марии Михайловны. Она встретила его с меланхолическим видом, пояснила, что ей нездоровится, грустным голосом предложила чаю. Кроме Бобровникова, никого не было. Ему подали чай. В доме была какая-то гнетущая тишина. В огромных комнатах холодно и неуютно. Мария Михайловна говорила тихим упавшим голосом, куталась в пуховый платок, глаза ее припухли, будто она только что плакала.

- Очень любезно, что вы не отказались навестить несчастную одинокую женщину. Ваш отъезд всколыхнул в памяти давнее прошлое. Так странно, что вы спокойно сядете в поезд и поедете... туда! Мне всегда представлялось, что там давно уже ничего нет, пустота, провал... Мне как-то в голову не приходило, что туда можно вот так запросто - сесть в купе и поехать. России нет... То есть я имею в виду - той, нашей России. Та Россия, как град Китеж, погрузилась на дно озера, сгинула, исчезла...

Она говорила медленно и не очень связно. Как будто бредила. Она еще не опомнилась от недавнего сильного потрясения.

Приехал в Париж московский Большой театр - советский балет и советская опера. Мария Михайловна сидела в ложе. На сцене помещичьи девки собирали малину и пели "Девицы-красавицы"... На сцене варили варенье... и Татьяна Ларина назначала свидание Онегину... Прекрасные голоса, изумительная музыка Чайковского... Зрительный зал был наполнен разнаряженными женщинами. Сверкали колье, серьги, браслеты, кулоны, которые каким-то чудом еще уцелели от прежних времен... Сверкали лысины мужчин, неуклонно стареющих, доживающих дни здесь, в эмиграции, не у дел, в ненастоящей, на холостом ходу вертящейся жизни... Мария Михаиловна, потрясенная, растерянная, сидела в ложе и плакала, плакала неутешно, горько, обиженно. У нее было впечатление, что она из загробного мира, из могильного склепа ухитрилась подслушать явственно долетающие до нее звуки той, настоящей, благоухающей жизни.

Не ходи подслушивать,
Не ходи подглядывать
Игры наши девичьи...

- пели помещичьи девушки.

Сердце разрывало это стройное пение. Нет больше помещичьих девушек! Нет больше добрых нянь и соседей-помещиков! Ничего нет, миф, мираж, пустота...

Этот спектакль был рубежом в жизни Марии Михайловны. На следующее утро она поняла как-то сразу, внезапно, что пришла ее старость, что она безнадежно постарела, что не стоит больше притворяться и обманывать себя несбыточными надеждами, пудрой и косметическим массажем...

Люси теперь почти никогда не бывала дома. Она пропадала у графини Потоцкой. Друг дома неизменный корректный князь Хилков, дорогой Жан, по-прежнему приходил, с тревогой смотрел на Марию Михайловну, понимал ее переживания, но избегал затрагивать больную тему.

Мария Михайловна стала исступленно-религиозной. В доме появились какие-то тихие черные женщины. Мария Михайловна не пропускала ни одной службы в церквушке на Рю-Дарю. И вот в ту пору ее стала преследовать мысль, что нельзя допустить, чтобы на крышку ее гроба сбрасывали комья чужой, французской земли...

Напоив чаем Бобровникова, она сразу приступила к делу.

- Вы вправе пренебречь моей просьбой, господин Бобровников, но если бы вы знали, как это для меня важно... Это, пожалуй, уже последнее, что я хочу получить от жизни...

- Вы хотите что-нибудь послать со мной в Россию? У вас там есть родственники? - попытался помочь княгине Бобровников, видя, в каком она затруднении.

- Напротив. Я хотела бы получить оттуда... землю. Мою землю.

- Позвольте, - совсем растерялся Бобровников, с опаской посматривая, не рехнулась ли эта светская старуха, - но всем известно, что помещичьи земли в Советской России конфискованы, переданы народу!

- Вы не поняли меня. Мне нужно совсем немного земли, горсточку, какой-нибудь, знаете ли, мешочек...

Бобровников все еще ничего не понимал.

- Горсточку? То есть как горсточку?

Когда княгиня Долгорукова пояснила, сколько ей нужно земли - родной священной русской земли - и для какой цели, Бобровников смутился, растрогался и долго уверял, что выполнит эту необычную просьбу.

- Обязательно пришлю! Сочту долгом! - повторял он, уже прощаясь.

Он и на самом деле не забыл о своем обещании. Опомнившись от первых встреч и первых впечатлений в Ленинграде, Бобровников отправился однажды к Таврическому саду. Там, почти на углу Шпалерной улицы, которая именовалась теперь улицей Воинова, он нашел маленький магазинчик, где продавали цветы, саженцы, а также землю специально для комнатных растений.

- Будете довольны, товарищ! - приговаривала розовощекая бойкая бабенка, наполняя землей принесенный Бобровниковым холщовый мешок. Чудная земля, вы только потрогайте - пух! Мы ее приготовляем по всем правилам, под руководством садовода!

Бобровников не сразу нашел способ, как переслать свою посылочку в Париж. И как же обрадовалась подарку Мария Михайловна! Как благодарила!

4

Слух о том, что княгиней Долгоруковой получена подлинная русская земля, с быстротой молнии разнесся по Парижу. В дом Долгоруковой потянулись породистые, чопорные, элегантные старухи, сухощавые, еле передвигающие ноги, усохшие, с обвислыми щеками, с тусклыми пустыми слезящимися глазами.

Мария Михайловна особо держала неприкосновенный запас - исключительно для себя. Выделила малую толику и на богоугодные благотворительные цели. А самым близким и самым именитым - столбовым дворянам, внесенным в "Бархатную книгу", сенаторам, предводителям дворянства, Рюриковичам, гедеминовичам - выдавала, как особый дар, щепотку земли, отмеривая ее старинной серебряной ложечкой, с вензелем и короной.

Только и слышали в эти годы сообщения: умер такой-то, скончалась такая-то...

- Вы, конечно, уже знаете, - говорили при встрече, - вчера вечером похоронили милейшую княгиню Голицыну. Я ее помню во всем блеске. Красавицей.

- Как же, ведь она была обер-гофмейстериной императрицы! Ей не так много было лет. Другое дело - Воронцов, ему уже в празднование трехсотлетия дома Романовых было за семьдесят.

- А что старуха Клейнмихель? Она ведь ездила лечиться на воды?

- Помилуйте, она еще в прошлом году умерла.

- Разве? А какие балы она задавала у себя, на Сергиевской, в Петербурге! Помните?

- Я сам присутствовал в четырнадцатом году на костюмированном бале в ее доме. Как оттанцовывала тогда кадриль княжна Кантакузен, внучка великого князя Николая Николаевича-старшего!

- Кстати, она жива?

- Что вы! Она погибла при автомобильной катастрофе. Это случилось в том году, когда утонула, катаясь на яхте, принцесса Альтенбургская, та самая, у которой был дворец на Каменноостровском...

Это стало постоянной темой разговоров: смерть, смерть, смерть. Дошла очередь и до князя Хилкова. Он умер как-то нечаянно, мимоходом, только что собираясь побриться. Его нашли мертвым и уже закоченевшим, с одной намыленной щекой.

После его смерти Мария Михайловна стала совсем придурковатой, замечали даже, что она заговаривается. Жила теперь она совсем одна в огромной и холодной, как склеп, квартире. Люси укатила в Америку. Она после многих и многих приключений, переуступив нелепого мосье Жоржа графине Потоцкой, вышла замуж за американского архимиллионера, поставляющего в армию бомбардировщики.

Зачастил к Марии Михайловне некий Рихард Гук. Он говорил на нескольких языках, и на всех с акцентом. Одни думали, что он тайный немецкий агент, другие намекали на его связи с неким засекреченным учреждением Соединенных Штатов.

Рихард Гук способен был часами доказывать Марии Михайловне бессмысленность человеческой жизни, полной тревог и обманов, тем более что видимого мира попросту нет, все существующее - только плод нашего больного воображения. Рихард Гук клятвенно уверял, что для человечества было бы выгоднее всего погибнуть в пламени войны. И быстро, и надежно! А если так, то почему бы не начать поход против коммунизма? И почему бы ей, Марии Михайловне, не завещать свое состояние на это дело?

Рихард Гук убеждал Марию Михайловну вложить капитал также в издание философских трудов его, Рихарда Гука, особенно его трактата "Нет морали!" и его научного исследования "Стыдно ли быть кровожадным?".

Мария Михайловна слушала странного проповедника со смутной тревогой, смешанной с религиозным восторгом. Но она никак не могла запомнить мудреного названия этого нового учения: экзистенциализм.

Рихарду Гуку начинало казаться, что его работа не пропадет даром, что он достаточно обработал эту чертову куклу - русскую княгиню и можно приступить к оформлению по части денежных дел. Однажды Рихард Гук пришел не один, а в сопровождении некоего джентльмена.

- Тысяча извинений! - расшаркался Рихард Гук. - Осмелился без особого на то разрешения прихватить с собой мосье Кадо, юрисконсульта нашей фирмы.

- Вашей фирмы? - переспросила Мария Михайловна, бесцеремонно разглядывая юрисконсульта. - Ага, вашей. Я не слыхала, что вы имеете отношение к какой-то фирме.

- Осмелюсь напомнить о вашем, княгиня, искреннем желании принять посильное участие в крестовом походе против антихристов двадцатого века коммунистов...

- Кхе-кхе, - издал неопределенный звук мосье Кадо.

- Участие? - удивилась Мария Михайловна. И вдруг, переходя на "ты", отчеканила: - Да ты, никак, очумел, милый человек! Никак, ты меня полковым командиром хочешь сделать!

- Виноват, - обиженно поднял брови Рихард Гук. - Я про деньги...

- Ах про деньги?! Вот что я тебе скажу. Проповеди ты читаешь хорошо, вроде как про второе пришествие и что все погибнут в геенне огненной... А денег я тебе не дам. Не обессудь.

И княгиня встала, показывая, что разговор окончен.

- Дура дурой, а к денежкам не подберешься! - злился Рихард Гук, направляясь в прихожую. - Зря только время на нее потратил!

- Кхе-кхе! - отозвался на эти сетования мосье Кадо.

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Виталий Павлович Сальников был поистине неутомим. Внешне невозмутимый, корректный, готовый каждого выслушать, ни при каких обстоятельствах не терявший самообладания, он был снедаем всепожирающей страстью. Он был жертвой дьявольского честолюбия, а ведь это страшнее, чем картежная игра или рулетка! Сальников равнодушно взирал на все земные блага. Он не обнаруживал пристрастия к вину, равнодушно смотрел на женщин, не был прихотлив, привередлив, не был разборчив в еде.

- Это все потом, это еще успеется, - останавливал он себя всякий раз, как возникали в нем смутные вожделения, интерес к такому, что могло его отвлечь и увести в сторону.

Нет, он вовсе не был аскетом! Напротив, в душе он был жадный гурман, неистовый кутила и развратник, он бесстыдно, отчаянно любил извращенность, излишества, наслаждения, иногда его воображению рисовались самые разнузданные оргии, самое безудержное мотовство. И тогда у него судороги, как молнии, проходили по лицу. Он мертвенно бледнел, полузакрытые глаза его тускнели, на щеках вспыхивал нездоровый румянец.

Усилием воли он стряхивал наваждение. И снова, согласно разработанному графику, мчался в экспрессе, назначал встречи, домогался аудиенции, снова и снова плел политическую паутину, как упрямый паук.

Казалось бы, ну для чего ему было ехать в Японию? Но Сальников, не задумываясь, пустился в это утомительное путешествие.

- С тех пор как страна Восходящего солнца ступила на дорожку империализма, - пояснил Сальников своему ближайшему помощнику, давая ему инструкции на время своего отсутствия, - она из кожи лезет вон, чтобы выбиться в люди. Нельзя забывать об этом. Даже немцы считаются с этой страной, говорят: "Японцы - пруссаки Востока".

- Все лезут из кожи, - меланхолически отозвался собеседник Сальникова. - Время такое.

Какое знал Сальников волшебное слово, что перед ним гостеприимно открывались двери всех властителей мира? Он был немедленно принят генералом Танака, маленьким, щуплым, с пронизывающим взглядом и приторно-любезной улыбкой.

- Для того чтобы покорить мир, - с притворным простодушием толковал премьер-министр Сальникову, - мы прежде всего должны покорить Китай. Вы как полагаете?

- Мысль вполне зрелая, - невозмутимо ответил посетитель.

- А как же? Тогда все остальные страны южных морей испугаются нас и капитулируют, и весь мир поймет, что Восточная Азия принадлежит нам. Как вы полагаете?

- Для двадцатого века, сэр, характерно, что все хотят завладеть всем миром. Меньше, чем на весь мир, никто не согласен.

- Это не только в двадцатом. Это всегда.

- Вы правы, сэр. Но вы не докончили ваших вполне продуманных и крайне интересных наметок будущей вашей экспансии...

- Наш разговор, конечно, носит частный характер, - осклабился премьер-министр, - однако я не делаю тайны из своих намерений, тем более что они подробно изложены и пересуживаются всей мировой прессой раньше, чем я успел произнести хоть одно слово.

- Господин премьер-министр! В газетах публикуется столько сенсаций, что им никто уже не верит. А фантазия журналистов неудержима.

- А если бы и поверили? Как они могут помешать? Европейцы исчерпали свои возможности, они сами осознали, что наступил закат Европы, их закат. Завтрашний день принадлежит - кому? Как вы думаете? Первый шаг - Китай. Располагая ресурсами Китая, можно двинуться дальше. Но нельзя уверенно действовать, пока под ногами болтаются Соединенные Штаты. Как вы полагаете?

Не давая премьер-министру произнести окончательный приговор Европейскому континенту, Сальников вежливо справился, не беспокоит ли господина Танаку новый порядок, установившийся в России.

Танака перестал улыбаться. В его голосе прозвучало раздражение:

- И здесь Соединенные Штаты! Везде суют нос Соединенные Штаты! Если бы не они, мы давно бы навели порядки в Сибири, на всем пространстве вплоть до Урала! Но янки боятся нашего роста. Хоть бы в Азии предоставили нам самим решать, как поступать! Как вы думаете?

"Еще один одержимый! - размышлял Сальников, покидая Токио. - Но с этим можно еще поторговаться. До Урала - это он лишнего хватил. Танака мечтает захватить Россию до Урала с восточной стороны, немцы о том же мечтают, но уже ударом с Запада. Но тогда что же останется мне? Достаточно с него будет концессий на рыболовство!"

Сальников повидался в Японии с различного рода людьми. Обещали многое. Сальников тоже многое обещал. Расстались вполне довольные друг другом, и каждая сторона считала, что ей удалось получить значительную выгоду при переговорах.

Возвращаясь из Японии на океанском пароходе, Виталий Павлович ухитрился не заметить ни величия океана, ни волшебных переливов темно-зеленых, а порою коричневых набегающих волн, он не увидел ни необъятного неба, ни белоснежных кителей моряков, ни загадочных взглядов незнакомки, совершающей прогулку на том же пароходе. Он был погружен в свои мысли, в свои планы, в свои дела. Он грезил о завтрашнем триумфе.

Сколько сил, изобретательности, денег, красноречия затратил он на подготовку грандиозной акции! Как тщательно все продумал! Взять только одну схему антисоветской организации, созданную им: все действуют, но никто никого не знает. Существуют звенья, пятерки, каждые пять человек знают только друг друга, руководитель пятерки тайно связан с одним, только с одним из другой пятерки. В случае провала выходят из игры пятеро, но в целом организация остается нераскрытой. И только у одного Сальникова хранится строжайше зашифрованный список всех точек на территории Советской России.

Сальников пришел к убеждению, что государственный переворот возможен только изнутри. Восстание начинается одновременно в нескольких районах. После захвата хотя бы небольшой территории Сальников объявляет себя диктатором Новой России и обращается за дружеской помощью к иностранным государствам. Те признают Сальникова и двигают заранее подготовленные войска, чтобы поддержать "фактического правителя России".

"Гениально? - спрашивал сам себя Сальников и сам отвечал: Гениально!"

Проникая на советскую землю, Сальников всякий раз испытывал особенное чувство. Вот он идет с подложными документами, с преображенной внешностью по улицам Москвы. Вот он мчится в советских поездах, переезжает из города в город, там и тут встречается со своими сообщниками... Он действует крадучись, его повсюду стережет опасность. Он рыщет, как волк, забравшийся ночью в деревню. Малейшая оплошность - и конец. А ведь так для него бесспорно, что в самом ближайшем будущем он будет проезжать здесь же, по этим самым местам, в элегантном открытом автомобиле, и восторженная толпа будет приветствовать его появление, женщины будут бросать ему цветы, дети будут протягивать к нему ручонки... Все так хорошо знают теперь его приятное, красивое, властное, всем дорогое лицо! И он с благосклонной улыбкой отвечает на приветствия своего народа и следует в свою роскошную резиденцию, сопровождаемый свитой... И куда ни взгляни, всюду его портреты, портреты...

На какое-то мгновение Сальников теряет сознание, даже пошатывается... Но в следующий миг он снова весь собран, весь наэлектризован, готов к любым неожиданностям,

полон непоколебимой уверенности в себе.

Океан был величав. Сальников выходил на палубу, подставлял соленому морскому ветру пылающее лицо и досадовал на медлительность комфортабельного парохода.

2

В Италии Сальникову был оказан самый радушный прием. Обещали всяческое содействие, выразили готовность обеспечить в случае надобности даже итальянским паспортом, предлагали любую помощь, какую только способна оказать итальянская тайная полиция ОВРА.

Но Сальников спешил. Предстояли важные встречи и переговоры. Этот лысоватый, отменно вежливый господин, в безукоризненном, отлично сидящем сюртуке, в сверкающих лакированных ботинках, походил, скорее, на директора банка или нотариуса, и никак нельзя было по внешнему виду предположить, что его прочат в диктаторы России.

А его прочили! В него верили! Поэтому Сальников был несколько обижен и раздосадован, когда его не пожелал видеть не какой-нибудь премьер, а всего лишь глава нефтяного концерна "Ройял Датчшелл" Генри Вильгельм Август Детердинг.

Сальников был в курсе всех и деловых и даже семейных обстоятельств этого магната. Он знал, что Детердинг болеет язвой желудка, знал о его неудачной женитьбе на русской аристократке, знал, что этот голландец, принявший английское подданство, ухитрился скупить акции на все крупные нефтяные промыслы Советской России. Скупив акции, Детердинг объявил Советскую власть не больше не меньше как вне закона. "Вот они, акции, похвалялся он, - нефть моя! И потрудитесь мне ее предоставить! Подайте ее сюда!"

Сальникова принял поверенный нефтяного короля.

- Не придавайте значения, что вас не смог повидать сам патрон. Я облечен полным доверием и могу самостоятельно решать любые вопросы. А те вопросы, которые вас интересуют, как раз стоят у нас на повестке дня. Дело в том, что я могу вам конфиденциально сообщить, так как завтра это получит уже огласку: мы объявляем войну Советской России.

- Кто объявляет? - опешил Сальников. - Великобритания? Или Голландия? (Сальников знал, что Детердинг - одновременно двух подданств.)

Поверенный - пухлый, рыхлый, с маленькими медвежьими глазками, с подбородком, напоминающим груду сосисок - такое тут нагромождение складок одна на другой, - был, видимо, прирожденный весельчак. Услышав возглас, вырвавшийся у Сальникова, он залился счастливым беззвучным смехом и долго булькал, не произнося ни слова. Вдоволь насмеявшись, он наконец выдавил из себя:

- Как вы сказали? Ве... Великобритания?! Да нет же! Мы сами объявляем войну Советской России, мистер Детердинг объявляет войну этой стране.

- Сам? Один?

- У нас предостаточная армия наемных... э-э... ландскнехтов... А если вы помните, один австрийский фельдмаршал еще в семнадцатом веке определил, что для успешного ведения войны нужны, во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги. Денег у нас хватает, Езус-Мария!

Тут на лице Сальникова отразилось некоторое внутреннее смятение:

- Помилуйте! Так нам с вами по пути! Нам очень по пути!

Дальнейшие переговоры они вели при плотно закрытой двери, вполголоса, прибегая к иносказаниям, намекам, но достаточно понимая один другого.

Видимо, переговоры были успешны, так как Сальников вышел от толстяка предовольный. Он потирал руки и нащупывал в кармане солидный чек. И мысли Сальникова были теперь особенно лучезарны, особенно игривы.

"Если Чичиков додумался, чтобы скупать мертвые души, - потешался Сальников, - то что же можно сказать о деловом человеке, может быть, самом богатом человеке в мире, который скупает акции на предприятия, хотя они давным-давно не принадлежат их владельцам? Что-то Манташов не потрудился поехать на Кавказ и показать свои нефтяные

владения покупателю?! Руки коротки! Мертвые акции... Мертвые души... А вот чек, который мне вручен, это нечто ощутимое! Это вам не Елизавет Воробей, которую всучил Чичикову Собакевич!"

С такими веселыми размышлениями Сальников отправился в Париж. Нужно было повидаться с грузинским меньшевиком - таким же, впрочем, меньшевиком, как сам Виталий Павлович - эсер.

Ной Жордания являлся одним из звеньев задуманной аферы. Виталий Павлович считал, что ничем брезговать не следует. Привычка этого крикливого человека на каждом шагу клясться, божиться, брать обязательства, заверять нравилась Сальникову: ведь это свойство людей с шаткими понятиями о чести. А поручение, которое возлагалось на Ноя Жордания, не требовало чистоплотности.

Сальников знал о прошлом Ноя Жордания ровно столько, сколько необходимо. Знал, что это и не Ной и не Жордания. Знал его подлинное имя. Знал, что в 1918 году он служил немцам, возглавляя на Кавказе мифическое правительство. Но вот англичане вытеснили немцев. Англичане так англичане, какая разница! Жордания стал возглавлять Закавказскую республику уже под английским контролем. И это продолжалось не долго. Жордания быстро вылетел в трубу и очутился в Париже, ошеломляя парижан своим экзотическим "кавказским" видом и показной расточительностью.

Казалось бы, его карьера кончена. И вдруг он снова пригодился. Ему поручалось руководить восстанием на Кавказе. Оружие? Оружие найдется. Конечно, Ной сам понимает, что Кавказ надо занимать по самый Баку, по самые нефтяные вышки. Ведь не ради шашлыка затевается дело! Щедрое французское правительство выделило Жордания субсидию - чистоганом четыре миллиона франков. Что делать? Хочешь ловить рыбку в мутной воде - не бойся замочить руки!

Ной Жордания согласился не задумываясь. Как зарвавшийся игрок, он готов был обещать все. Желаете Баку? Могу и Баку! Желаете вместе с вышками? Будут и вышки!

И отправился жечь, громить, убивать: благословясь на грех, как сказал один закоренелый убийца.

Откровенно говоря, Сальников не слишком-то верил в военные таланты Жордания. Ну да бог с ним! Легковерные французы надеются - этого достаточно. Если же задуманная акция осуществится и Сальников вымахнет одним броском на вершину власти, он этого Жордания прикажет повесить под каким-нибудь благовидным предлогом или даже без всякого благовидного предлога. А пока и Жордания полезен, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Виталий Павлович Сальников нисколько не заблуждался в отношении белой эмиграции. Единственное, на что они способны, считал он, это слать проклятия на голову коммунистов да скулить о погибшей России. Как никчемны были все эти князья, светлейшие и несветлейшие, зачастую потомки деятельных и одаренных людей! Сальников помнит, что который-то из Шереметевых сражался со шведами, один из Шуваловых участвовал в штурме Очакова, один из Гагариных открыл в Париже "Musee Slave", а кто-то из Волконских был основателем русского генерального штаба. А эти, что образовали так называемую русскую заграницу? Вздорные, бездеятельные, не способные не только отстаивать свои права, но даже натянуть штаны без помощи лакея, - они просаживали свои состояния и ждали, когда им преподнесут на блюде в готовеньком виде снова, как прежде, покорную и безответную Россию.

А вся эта военщина, примчавшаяся оттуда, с фронтов? Им бы только обивать пороги "союзников"! Сальников встречался с Меллер-Закомельским. Незамысловат генерал!

- Установить виселицы от Москвы до Владивостока... Без царя и земля вдова! - вот и вся его программа, вся философия.

Бурцев в Париже, Мережковский в Варшаве, Набоков в Берлине тратили много чернил, призывая к интервенции. Но так медленно раскачивались иностранцы! Они ведь пробовали - ничего не получилось. А как известно, ожегшись на молоке, дуешь на воду.

Сальников надеялся только на себя да на свою зеленую гвардию. Эти не подведут! Эти способны на все! Головорезы! Не чета всевозможным присяжным поверенным и банковским служащим, наползшим во все щели малых и больших европейских полатей.

Беседовал Сальников с одним таким субъектом в Праге, в ресторане "Золотой Гусь". Тот с сознанием полной правоты рассказывал:

- Знакомые, услышав, что я решил дунуть из Москвы "туда", обиделись: "Разве вы не верите в приход Колчака и Деникина?" - "Верю, но вопрос, когда это совершится? Если они придут скоро, превосходно, значит, я раньше вернусь. Затянется дело - опять хорошо! Я могу дожидаться их победы в спокойной культурной обстановке, в комфортабельной квартире, и чтобы бутылка белого вина стоила один франк, и чтобы были бриоши и крутоны из ослепительно белой муки..."

- Каким же образом вам удалось уехать из Советской России? - спросил Сальников.

- Стал хлопотать, выхлопотал назначение в Минск, а Минск, как известно, вблизи границы... Там таких, как я, собралось достаточно. И мы ждали, пока Минск займут поляки. Они-таки заняли Минск, и, понимаете, не я перешел границу, а граница перешла меня! De facto я оказался за границей! Ну, и у меня были маленькие сбережения...

Сальников возмутился:

- А почему вы у них хоть какой-нибудь склад не взорвали? Почему не помогали бороться с большевиками? Так вот просто сидели и ждали, когда чужой дядя все сделает? Вы-то, сами вы за кого? За нас или за них?

- Он спрашивает! Разумеется, за вас!

После таких бесед Сальников падал духом. Но не надолго. Может быть, даже выгодно, чтобы водились такие? Особенно если ему, Сальникову, придется управлять страною. Бриоши он постарается обеспечить! А может быть, таким любителям бриошей запретить возвращение?

3

Поистине Сальников был сыном своего века. И почему бы Сальникову не претендовать на роль русского диктатора, формирующего с помощью иностранных штыков новую, вполне приемлемую для делового мира Россию?

Ведь это было время, когда нефтяной промышленник Детердинг один, самолично объявлял войну Советской стране - огромному, многомиллионному государству, строй которого, видите ли, ему не нравился. Ведь это было время, когда несколько никому не известных молодых, необразованных, морально неустойчивых людей в Германии готовились не больше не меньше как захватить весь мир и орали об этом во всех пивных Мюнхена. Ведь это было время, когда в Японии вынашивались сумасбродные планы о некоем азиатском веке, грядущем на смену нынешнему. Когда американские бизнесмены откровенно заявляли, что согласны зачислить Европу в качестве еще одного штата в состав Соединенных Штатов Америки. Когда капитулировавшая Германия у всех на виду вооружалась, вопреки условиям мира, и фирма Борзиг в лесу под Берлином открыла секретную лабораторию, где готовили оружие для новой войны. Их смертоносные творения вскоре должны были предстать перед ошеломленным человечеством.

Казалось, мир неудержимо приближается к страшной катастрофе, готовой смести все накопленные веками материальные и духовные ценности.

Капиталистический мир буксует, работает на холостом ходу. Колеса вертятся, государственные мужи заседают, рабочие трудятся, ученые проводят бессонные ночи - и все впустую. Ведь оттого, что будет изготовлено еще столько-то снарядов, народ не станет лучше жить.

Старый мир, как неудачный наследник, просаживающий отцовские накопления, живет за счет прошлого. Давно минула его пора! Склеротическая старость сковывает движения. Слабеет рассудок. Все чаще случаются просчеты. Тускнеет взор. Уже не видит капитализм того, что впереди. Тычется невпопад. В припадке ярости наносит удары вслепую, отрицает даже то, что очевидно, восстает против здравого смысла и никак не может поверить, что

пришел его конец.

Но разве видел и понимал это Сальников, ослепленный всепоглощающей манией величия, охваченный жаждой власти? Поистине он был сыном своего века, когда из небытия, из неизвестности, путем одних интриг и вздорных деклараций выскакивали, как мыльные пузыри, диктаторы, "батьки", "спасители России", чтобы тут же бесследно исчезнуть. Каждому из них казалось, что те, до него, - бездарные выскочки, неудачники, а он - совсем другое дело.

Вот и Сальников непоколебимо верил в свою звезду.

4

В Париже первым, кого встретил Сальников, был фон дер Рооп.

"Что это? Случайность или предзнаменование?" - размышлял Сальников.

Фон дер Рооп просил устроить ему свидание с господином Рябининым. Сальников охотно согласился: если к его посредничеству обратились, значит, он будет присутствовать при встрече, а Сальников любил знать все тайные нити, весь клубок интриг.

- Все шпионят, - говаривал он в кругу сообщников. - А мы должны перешпионить всех. Отсталого и собаки рвут.

Виталий Павлович никогда не выкладывал все, а этак пятьдесят шестьдесят процентов. Так и на этот раз он умолчал, что знает все и о своих сообщниках, и о тех, кто поставляет ему сведения о его сообщниках. Недаром Сальников даже Гарри Петерсона порой удивлял своей осведомленностью.

Сейчас перед Сальниковым стояла загадка: чего домогается фон дер Рооп? Денег хочет выцарапать? Прощупать настроение торгпромовских кругов? Заручиться согласием Рябинина на участие в какой-нибудь новой авантюре?

Рябинин, выслушав Сальникова, не выразил особого восторга:

- Чего они там? Полковник Вальтер Николаи что-нибудь выдумывает? Деньги понадобились? Обеднели Крупп и Тиссен? Фирма Борзиг обанкротилась со своей секретной лабораторией под Берлином?

"Оказывается, знает о лаборатории!" - с удовольствием отметил Сальников.

Рябинин был его маленькой слабостью. Сальников считал его очень и очень толковым, даже намечал на министерский пост в своем будущем российском правительстве.

- На каком языке будем разговаривать? - спросил Рябинин, когда они расположились в роскошном раззолоченном салоне гостиницы "Континенталь", так сказать, на нейтральной почве.

Фон дер Рооп пробормотал:

- Entschuldige... - И посмотрел вопросительно на Сальникова.

Сальников поспешно пояснил:

- Господин фон дер Рооп предпочитает говорить по-немецки, он об этом меня просил, но готов перейти на французский или английский, как будет удобнее вам, Сергей Степанович.

- Я буду говорить только по-русски, - отрезал Рябинин, - и я не помню, чтобы я выражал пылкое желание встретиться с... э-э... с мосье... Напротив, он хотел меня видеть.

- Я буду переводить, - усмехнулся Сальников, - для меня это не составит никакого труда.

Фон дер Рооп начал с комплиментов. Он много слышал о деятельности Рябинина, об уме Рябинина, о высоком положении Рябинина. Он счастлив, что Рябинин был настолько любезен... и так далее и так далее.

Сальников с большой тщательностью переводил, но не придерживался дословного перевода, сохраняя только общий смысл.

Рябинин слушал с чуть затаенной насмешкой. Его вид говорил: "Слыхали мы эти штучки. Выкладывал бы сразу суть".

Но фон дер Рооп поспешно заявил, что ничьих поручений не имеет, не предполагает ни о чем просить, а хотел бы только проконсультироваться по некоторым вопросам и

выслушать авторитетное... компетентное... ценное... мнение глубокоуважаемого, выдающегося, достопочтенного герра Рябинина...

Тут Рябинин специально для Сальникова, но отнюдь не для того, чтобы это было переведено, ввернул:

- Лай не лай, а хвостом виляй. Так, что ли, получается?

- Was? - переспросил фон дер Рооп, осекшись.

Сальников опять усмехнулся и перевел, что господин Рябинин привел русскую пословицу, суть которой заключается в том... тут Сальников на какой-то миг приостановился и бодро закончил, что суть пословицы приблизительно такова: "Всякая встреча начинается с приветствий".

- O! Bitte schon! O! Kolossal!.. - закивал фон дер Рооп, чем сильно насмешил Рябинина.

Далее начался более содержательный разговор. Фон дер Рооп стал излагать достаточно известную и достаточно нелепую теорию о том, что на Германии лежит некая историческая миссия спасения цивилизации, что неравенство - закон природы, что история - это борьба рас и сильная раса должна господствовать над слабой, что материализм - философия низших классов, что жизнь есть воля к власти и что рабство необходимо.

- Простите, - прервал его наконец Рябинин, - не думаете ли вы, герр фон дер Рооп, убедить меня, чтобы я вступил в вашу партию?

- O! Bitte schon! O! Kolossal!.. - пришел почему-то в восторг фон дер Рооп, но продолжал развивать те же общеизвестные положения о том, что объективная истина - один из философских предрассудков, что можно только говорить - полезна ли данная истина для меня или вредна, а отсюда вытекает оценка фальсификации, вымысла, лжи.

- Взять такое понятие, как клевета, - глубокомысленно рассуждал фон дер Рооп. - Клевета - одно из ценнейших средств, я бы сказал сильнодействующих средств политики. Зачем же неискренне отрицать пользу клеветы, притворяться?

- Это нам известно, - проворчал Рябинин, опять-таки не для перевода фон дер Роопу, - я давно наблюдаю, как немцы фальсифицируют русскую историю, издавая псевдонаучные труды якобы разоблачения, из которых явствует, что в России все плохо, что Петр Великий был сифилитик, Екатерина Великая - развратница... То же самое проделывается и в отношении других стран. Я читал изданную в Германии искаженную историю Соединенных Штатов - недобросовестную подборку всего отрицательного...

Рябинин не обращал внимания, переводят фон дер Роопу его слова или не переводят. Рябинин не привык считаться с чужим мнением и вообще не любил в чем-нибудь стеснять себя. И он принялся с большим удовольствием поносить немецкие нравы, ругать немецкую политику.

Фон дер Рооп смотрел с явным интересом, Сальников забыл об обязанностях переводчика и тоже внимательно слушал.

- Вам самим кажется, что вы очень хитрые. А ведь все у вас белыми нитками шито. Бросились вы вслед за другими живоглотами прибирать к рукам африканские земли и рвать друг у друга из рук золотые россыпи в верховьях реки Фоле, алмазы в нижнем течении Вааля, всяческие Занзибары, Камеруны и Сомали... Тотчас нашлись у вас почтеннейшие профессора, которые, как снисходительные исповедники, дали вам отпущение грехов. "Вы безжалостно истребляете негритянские племена? - вопрошали они. - Ничего, это можно, ведь негры даже не люди. Иначе ими не торговали бы, как всяким другим товаром - слонами, бананами, лошадьми". И вот уже вам кажется, что ничего преступного нет в истреблении негритянских племен: ведь это оправдывает этот... ваш профессор... Иоганн-Фридрих Блюменфельд!

- Не Блюменфельд, а Блюменбах, вы хотите сказать? - вдруг на чистейшем русском языке поправил фон дер Рооп.

- Пусть Блюменбах, - согласился Рябинин. - Но какого лешего вы прикидывались, будто не говорите по-русски? А вы, Виталий Павлович, напустился он на Сальникова, - разве не знали, что господин фон дер Рооп владеет русским языком?

- Конечно знал, - невозмутимо ответил Сальников. - Как же не знать, если мне известно, что господин фон дер Рооп родился под Ревелем, учился в Петербурге и только в девятнадцатом году стал, так сказать, иностранцем.

- Как?! - в свою очередь удивился фон дер Рооп. - Вы помните моего отца?

- У меня такая работа, - уклончиво пояснил Сальников. - Приходится быть как можно более осведомленным.

- Если вас не затруднит, - обратился фон дер Рооп к Рябинину, - может быть, вы продолжите ваши любопытные экскурсы в историю? Мы остановились на Иоганне-Фридрихе Блюменбахе... Что же этот Блюменбах?

- Блюменбаху уплатили, и он старается лгать на всю уплаченную сумму. Он готов заявить что угодно, даже что все расы, кроме белой, зря обременяют землю.

- Может быть, так оно и есть?

- Дело в том, что у вас этот прием повторяется. Сейчас вам хочется слопать Францию, поэтому вы в своих псевдонаучных сочинениях утверждаете, что французы - это помесь негра с евреем... По тем же соображениям вы клянетесь, что чехи и поляки неполноценны, что русских следует истребить... Вы посмотрите на себя в зеркало - я не хочу ничего обидного сказать о вашей наружности, но не можете же вы отрицать, что вы самый, что называется, брюнет, а как же быть с выкриками ваших единомышленников в Германии, что историю творят блондины?

Видимо, фон дер Роопа трудно было привести в замешательство. Он снисходительно улыбнулся и стал объяснять Рябинину, как непонятливому ученику:

- Но боже мой! Ведь вы же, господин Рябинин, умный человек! Да, мы проповедуем, что представители северной германской расы высоки и стройны, ноги у них длинные, но не слишком, глаза голубые или серые... Что германская раса - носитель культуры, что низшие расы не способны подняться на высшую ступень развития, что древний германец - вот высокий идеал... И что же отсюда вытекает?

- Да, именно, что отсюда вытекает?

- Вытекает то, что ничего не вытекает! Теория - одно, практическая политика - другое. Истины, которые мы провозглашаем, святы для толпы, не подлежат обсуждению и должны бездумно приниматься чернью. Но не считаете ли вы нас такими идиотами, чтобы серьезно верить, будто французы никуда не годятся, будто русские не создали величайшие ценности культуры... Это все пропаганда. Массы в общем ограниченны, тупы, им надо давать броские, ошеломляющие лозунги. Если мы начнем немцам растолковывать, что русские ученые, писатели, художники, музыканты, полководцы, мореплаватели гениальны, что без таблицы Менделеева ни один ученый в мире не садится завтракать, что Лев Толстой едва ли не величайший писатель мира, что Суворов и Кутузов не знали поражений, а Глинка и Чайковский владеют сердцами человечества, если мы все это начнем говорить, то как же мы заставим наших солдат убивать детей, женщин, стариков - все подряд население России?

- А вы хотите их заставить делать это?

- Хм... Э-э... - спохватился фон дер Рооп, сообразив, что беседует с двумя русскими, а не сидит за кружкой пива в кругу мюнхенских друзей где-нибудь в Аугустинербрау или Францисканербрау. Но тут же с чисто немецкой невозмутимостью продолжал: - Глубокоуважаемый господин Рябинин! Будем называть кошку кошкой. В конце концов разве вы сами не даете указание какому-нибудь Деникину или Колчаку, Иванову-Ринову иди Калмыкову безжалостно убивать ваших соотечественников? А вы, господин Сальников, разве не стреляете в своих земляков из-за угла? Убивать - это прирожденное свойство человека. Убивать - это благородно. Война - самая захватывающая из страстей. Совесть, свобода, обоснованность, цель, прогресс - это все пугала, выдуманные самими же нами и перепугавшие прежде всего нас...

- Когда я думаю о немцах, я всякий раз вспоминаю обгорелые спички, откровенно в лицо фон дер Роопу расхохотался Рябинин, ничуть не затронутый рассуждениями и парадоксами собеседника.

- Спички? - не понял фон дер Рооп. - Какие спички?

- Обгорелые. Во время войны четырнадцатого года все страны облетел рассказ о немецкой обгорелой спичке, в английской газете "Daily Mail" даже поместили снимок этой спички и пояснили: "Вот урок, достойный подражания!"

- Что-то не помню...

- А как же? Даже обгорелые спички не пропадают в Германии даром! Немец, закурив папиросу, не выбросит потухшей спички, а спрячет ее бережно в коробочку, чтобы спичечные фабрики приделали к ней головку и пустили бы вторично в оборот...

- О! Kolossal! - завопил фон дер Рооп. - Теперь я припоминаю! Поучительный урок!

- А я своим слабеньким умишком прикидываю: если уж ты такой сознательный, если такой патриот - какого дьявола тебе собирать обгорелые спички? Перестань курить! Вот тогда ты сэкономишь миллионы плюс сбережешь здоровье! Призадумайся, сколько расходует государство на покупку табака, на его обработку, на транспортировку, сколько рабочих рук ты освободишь, бросив курить! А спичечные коробки! Тоже целое производство! А мундштуки? А портсигары? Но куцый германский патриотизм - увы! - способен только собирать обгорелые спички.

- Вы строго судите нас, - вздохнул фон дер Рооп, закатывая глаза, - а ваша проповедь против курения дышит таким задором. Я даже подумал, уж не баптист ли вы!

- Мы же условились называть кошку кошкой? Не надо сердиться, фон дер Рооп. Правда глаза колет, но, хотя вы и рекомендуете ложь, для приправы можно положить в вашу густую похлебку и ломтик правды.

Сальников наблюдал эту перепалку с невозмутимым спокойствием. Но чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, решил увести беседу на нейтральную почву:

- Господа! Вы мне доставили неизъяснимое удовольствие остроумными и, я бы сказал, острыми суждениями. Позвольте и мне напомнить два момента, тоже о роскоши и экономии.

- Пожалуйста! - быстро согласился фон дер Рооп, в расчеты которого не входила ссора с русским промышленником.

- Воображаю, какой номер отколет нам Виталий Павлович! - развеселился Рябинин, полагая, что и Сальников проедется насчет пресловутой немецкой аккуратности.

- Один пример из жизни англичан, если позволите, - начал вкрадчиво Сальников. - В годы той войны, о которой вспомнили вы в связи с курением, в Англии леди Корнелия Уимборн основала женскую лигу военной экономии "Women's War Economy League". В лигу вступили самые богатые женщины Англии, такие, как герцогиня Сутерлэнд, герцогиня Бьюфорт, маркиза Рипон. Они решили носить старомодные платья, ходить пешком, не приглашать никого к обеду, не покупать заграничных товаров и рассчитать лакеев и дворецких. Жест?

- Воображаю, как они топали, бедняжки, пешком! - рассмеялся Рябинин. - И все-таки это кое-что, особенно если сэкономленное они отдавали на военные нужды.

Фон дер Рооп молча выслушал рассказ. Сальников покосился на него и продолжал:

- Иначе обстояло в России. Там где-то война, а в Петрограде рождественские балы, маскарады - под предлогом благотворительных сборов и без всякого предлога. Пасхальные визитеры, сдобные куличи - пир горой, море разливанное. Пасха празднуется неделю. Троица три дня, а потом еще воздвиженья, вознесенья, царские дни... Словом, пир во время чумы. Вы говорили о спичках. Пачка спичек стоила до войны десять копеек, а в шестнадцатом году - пятьдесят. Хлеб вместо четырех копеек за фунт стал шесть копеек. Сахар вместо семнадцати копеек стал по двадцать две...

- Вот она, эсеровская закваска! - воскликнул Рябинин. - Все цены помнит назубок!

- Я цены мимоходом упомянул. Я коллекционирую редкостные документы и храню, между прочим, реестр доходов брата царя великого князя Владимира...

- Неужели доходы у него были больше моих? - не утерпел и похвастался Рябиннн.

- А вот считайте. Как великий князь он получал два с половиной миллиона ежегодно. Его собственные земли, рудники давали еще полтора миллиона. Двадцать четыре тысячи он

получал за генеральский чин, пятьдесят - как начальник петербургского военного округа, сорок - как член Государственного совета, ну и еще по мелочам наберется. Такие, как он, не увольняли своих дворецких в годы войны, пешком не ходили, вообще чихать хотели на патриотизм.

- Вот и прочихали страну, а господин фон дер Рооп собирается и то, что уцелело, выкорчевать.

- Да-да! - согласился фон дер Рооп. - И рассчитываю на вашу помощь. Наши интересы совпадают.

- Читал, читал вашу "Фелькишер беобахтер"! Бойкая газетка! "Настанет день - и грянет гром у восточных границ"! "Наше дело - выставить сотню тысяч человек, готовых пожертвовать жизнью"!.. Звучит, как пророчества Иеремии... или Иеремия не пророчествовал?

- Вы помните, еще на конференции в Рейхенгалле, в Баварии, было решено восстановить в России монархию. С тех пор прошло четыре года.

- Да. И монархи что-то перевелись.

- Господин Рябинин! За этим дело не станет! Но вы не можете отрицать, что без войны тут не обойтись. А если без войны не обойтись, как вы обойдетесь без Германии? Понятие войны вечно.

- Это все так, господин фон дер Рооп. Только если оглянуться на историю, у вас часто случается просчет. И еще имейте в виду: вам до зарезу хочется завладеть миром - а кому этого не хочется? Америке приспичило создать империю, Японии тоже, все спят и видят зацапать вселенную. Поэтому возможны самые невероятные вещи. Нет, серьезно! Ну кто вам позволит лезть до самого Томска, заглотать такой кусок? Не испортите желудка, герр фон дер Рооп!

Рябинин все ждал, когда же немец попросит у Торгпрома ссуду. Но тот так и не попросил, а Рябинин так и не понял, зачем он ему был нужен.

Свиданием остался доволен один только Сальников. Он учел, что немцы новейшей формации щупают почву, примеряются, прежде чем ринуться в очередную военную авантюру. Он понял, что торгпромовские воротилы не слишком жалуют немецких искателей "пространства". Сальникову казалось, что ни тот, ни другой не имеют ясного представления о Советском Союзе, о состоянии Красной Армии, о готовности русских к войне. Только он, Сальников, учитывает все возможности. Только он все знает.

Фон дер Рооп откланялся и оставил Рябинина и Сальникова продолжать беседу вдвоем.

Рябинин был задумчив. Весь вечер ему вспоминался разговор с Бобровниковым, и он чувствовал, что насчет немцев тот был прав.

- Да-а, с одной стороны, конечно, без них не обойтись. Но пусть не воображают, что приберут завоеванную Россию к рукам. Вооруженная борьба за освобождение России будет отнесена к одной из справедливейших и наиполезнейших войн. Но время, по-видимому, еще не настало. Сейчас специалисты берутся осуществить всю операцию в шесть месяцев с армией в один миллион человек. Нерентабельно! Расходы в таком случае выльются в кругленькую сумму - в сто миллионов английских фунтов! Согласитесь, Виталий Павлович: дороговато.

- Но внутренний плацдарм, который я берусь обеспечить, - возразил Сальников, - разве это не упростит задачу? Не удешевит предприятие?

- Наивный народ! У всех у вас путаница в голове. Вы смешиваете то, что вам хотелось бы, с тем, что осуществимо. Немцы заладили свой "блитц". Вы тоже надеетесь на какое-то чудо. Скажите откровенно, сколько времени, по вашему мнению, потребуется вам, чтобы где-то там, в некоем районе, при самых благоприятных обстоятельствах захватить солидный, как вы изволили выразиться, плацдарм? Захватить, закрепиться на нем и объявить себя верховным правителем, с которым иностранные державы могли бы установить дипломатические отношения?

- Сейчас трудно сказать... Может быть, год... или два...

- Год или два? Реально! И это изменит весь расчет. Вероятно, пятисот тысяч человек и трех-четырех месяцев будет тогда достаточно для окончания работы вчерне. Я человек коммерческий, и деятели Европы - тоже люди здравого ума. Никто никогда не пойдет на заведомо нерентабельное предприятие. Донкихотов в деловом мире нет. Ну что ж. Действуйте, Виталий Павлович, с богом, как говорится. Я со своей стороны буду ратовать за вас. Я так считаю: затратив один миллиард рублей, человечество получит доход не менее чем в пять миллиардов, а ведь это пятьсот процентов годовых. Дело доходное. Я не могу представить такого дельца, который отказался бы от пятисот процентов прибыли. Единственная опасность, которую я предвижу, это драка из-за дележа шкуры еще не убитого медведя. Такая драка неизбежна - кому не захочется получить побольше? Вы, надеюсь, отдаете себе отчет в том, что Россию обкарнают в случае интервенции? Придется попуститься многим, ох многим, Виталий Павлович! Отхватят и с юга, и с востока, и с запада. Вероятно, из России получится некая Русь допетровского образчика. Оставят нам с гулькин нос. Кавказ в первую очередь откромсают. Крым, видимо, тоже. Сибирь... Как вы думаете насчет Сибири? Урал, Урал бы сохранить, хотя бы даже при условии концессий! Боюсь, что и Петербург от России отпадет (тьфу, черт! Никак не привыкну говорить Ленинград!) и вообще Балтика, так что снова придется впоследствии ногою твердой становиться у моря. Выкроят из матушки-России нечто вроде Люксембурга...

- Какие мрачные мысли! Какая безнадежность! Я думаю, все ограничится концессиями. Петроград?! Что вы! Петроград не отдадим! И не привыкайте называть его Ленинградом - он Петроградом и останется!

На следующий день Сальников присутствовал на сверхсекретнейшем совещании представителей деловых кругов и некоторых военных.

"Кажется, все. Теперь действовать!" - сказал Сальников, возвратясь с совещания к себе в отель и разглядывая в зеркало свое лицо, бледное, напряженное, с синими тенями под глазами.

Т Р И Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Отправляясь по делам службы в Киев, а затем на съезд Советов в Москву, Котовский временно возложил командование корпусом на начальника штаба Гукова. А тут как раз выдалась очередная годовщина существования отдельной кавбригады Котовского, вошедшей в состав 3-й кавалерийской дивизии, как 1-я Бессарабская кавалерийская бригада.

Дивизия торжественно отпраздновала этот юбилей. В специальном приказе отмечались заслуги бригады, говорилось, что ее путь - это путь побед, что неувядаемая слава котовцев вышла за пределы Союза Республик.

Владимир Матвеевич Гуков не упустил случая сказать теплое слово о Котовском, которого боготворил, а приказ был прочитан во всех эскадронах, батареях и командах корпуса.

Вернулся Григорий Иванович только 24 февраля. Вернулся совсем особенный: в голосе стальные нотки, движения четкие, как будто вот-вот взовьется ракета - сигнал атаки.

- Они там ничего не знают, - говорил он встретившим его командирам. Они думают, мы после смерти Ильича руки опустим. А мы стиснем зубы, проглотим слезы и будем еще крепче!

Командиры молчали. Кто "они", которые "ничего не знают"? О ком говорит Котовский? Ну да, это там, за рубежом, те, что все еще надеются задушить советский строй.

- Товарищи! - гремел голос Котовского, и его соратникам чудилось былое: "Вперед, орлы!" - Делом, и только делом, мы можем выразить нашу скорбь. Не хныкать! Действовать! Жить! Искать новые скорости! Шагать!

И он был полон жизни, полон энергии.

- Что тут был за юбилей? - спросил Котовский Гукова.

И уж, конечно, попало старику Гукову за чрезмерное восхваление комкора.

- Вы же сами всегда говорите, что нужно учитывать политический эффект, -

оправдывался Гуков. - В данном случае он несомненен. И бойцам полезно послушать, как воевали в наши дни.

Возражение было веское. Котовскому оставалось только рассмеяться и передать приглашение на обед.

- Нет-нет, - отговаривался Гуков, - никак не могу, благодарю покорно, но, с вашего разрешения, воздержусь.

- Да почему же?

- Занят. Ужасно занят! Передайте уважаемой Ольге Петровне мою сердечную признательность и прочее подобное...

- Кстати, не сказал самое главное: Ольга Петровна просила сообщить, что бабкой нас сегодня угостит.

- Бабкой?

Гуков озадачен. Отказывался он из скромности. Слишком уж, дескать, зачастил к Котовским, днюет и ночует у них, намозолил глаза, надо же, дескать, Григорию Ивановичу хоть по приезде отдохнуть без посторонних... Но бабка... Это любимое его блюдо...

И Гуков сдается:

- Если бабка, то дело в корне меняется. Не смею отказаться, характера не хватает. Во сколько прикажете? Часиков в пять?

- В семнадцать ноль-ноль.

- Есть, в семнадцать ноль-ноль, товарищ командир!

Впрочем, кроме вкусной румяной бабки предстояли и важные разговоры. Котовский рассказывал о Москве, о съезде, о том, как встречена была весть о кончине Ленина, о поездке в Харьков к Фрунзе, о том, как много потребуется от них всех, чтобы одержать победу. Котовский говорил:

- Когда ты берешь в руки лопату, чтобы вскопать гряды, когда ты встаешь у станка, выезжаешь в поле на тракторе, открываешь учебник, сидя за партой, когда ты строишь дом, или готовишь обед для артели, или просто подметаешь улицу, или судишь преступника, или ведешь в открытом море торговое судно, или испытываешь новой конструкции самолет, - помни, ты строишь новое, социалистическое общество! - Помолчав, он заключил: - Ну, а теперь давайте рассказывайте, как и что у вас?

Котовский входил во все дела корпуса, его интересовало все без исключения, он не упускал ни одной мелочи. Да и существуют ли мелочи в таком ответственном деле, как военная выучка? Слишком дорого может обойтись впоследствии малейшее упущение. В военном деле мелочей нет.

Григорий Иванович с удовольствием беседовал с Гуковым. Вот бесценный старик! Работает азартно. Дело знает. С таким легко и спокойно: не подведет. Гуков обстоятельно излагает самую суть. Из его доклада видно, что он вникает во все стороны корпусной жизни, знает порядок, знает людей, а главное - относится к делу не по-казенному.

"Хороший старикан!" - думает Котовский, любуясь им. Однако вслух этого не произносит. Знает по себе, как неприятно выслушивать похвалы. Котовский так рассуждает: нельзя хвалить за то, что ты хороший, честный, храбрый, что ты выполняешь долг. Ведь все это - обязательные качества человека.

Выслушав доклад, Котовский сказал:

- Значит, опять эскадрон связи подкачал? Снова отлынивает от физической подготовки?

Физическую подготовку, ежедневную гимнастику Котовский считал непременным условием военной учебы. В корпусе он начал с того, что отобрал по нескольку человек из каждой дивизии и стал заниматься с ними, приглашая к себе, знакомя их с литературой по физическому воспитанию, объясняя значение спорта и гимнастики, рассказывая о своей личной практике и демонстрируя перед ними весь цикл упражнений по системе доктора Анохина.

Таким образом удалось подготовить первых инструкторов в корпусе.

В гимнастическом зале корпусной школы ежедневно происходили занятия. Гимнастика и спорт были обязательными предметами. Зимой по указанию Котовского постепенно снижали температуру в гимнастическом зале. Когда курсанты были достаточно подготовлены и закалены, гимнастику перенесли на свежий воздух, стали делать упражнения, стоя на снегу, в трусах и тапочках. Котовский показывал пример. Надо сказать, что на курсантов школы можно было полюбоваться, это были здоровяки на подбор, с отличной мускулатурой и отличным настроением. Котовский настойчиво подчеркивал, что не наблюдалось ни одного случая простудного заболевания среди молодежи.

- Вот что значит закалка! - торжествовал он. - Вам никогда не понадобятся порошки от кашля!

Особенно привилось физическое воспитание в артиллерийских частях, стоящих в Умани. И отдельная 37-миллиметровая батарея, и артшкола были лучшими. Котовский приказом объявил им благодарность за постановку физического воспитания. Относительно же эскадрона связи Котовский говорил:

- В семье не без урода. Но будем надеяться, что и наши связисты поймут значение спорта.

- Они говорят, - усмехался Гуков, - что и так никогда не простужаются.

- Вот в этом и коренится их ошибка! Разве значение спорта и физического воспитания исчерпывается тем, что избавляет людей от насморка? Связисты говорят, что они и без гимнастики не простужаются. Можно также решить, что незачем мыть руки, и так чистые! Правда, всегда считалось, что самые развитые и толковые в армии - артиллеристы. Но времена-то сейчас другие. Разве саперам не требуется такая же серьезная подготовка? А связисты в наше время? А что вы скажете об авиации? Разве мало требуется от разведчика? И разве теперь не должен каждый боец, а особенно командир, знать не только свою, но и другие отрасли военного дела? Быть знакомым со всякого рода оружием? Изучать самым основательным образом связь всех родов войск между собою и их взаимодействие?

- Само собой разумеется, - охотно соглашался Гуков, - теперь это становится азбучной истиной.

- Вы знаете, Владимир Матвеевич, я убежден, что физическое воспитание - это первый шаг к воспитанию характера, к воспитанию вообще. Это самодисциплина. С этого начинается человек. Вежливость, внимание к людям, уважение к женщине, добросовестность во всех делах и поступках, привычка быть хозяином своего слова, обязательность - все это, вместе взятое, и есть, по сути, привычка мыть руки перед едой и привычка начинать день с гимнастики. Это все равно что не забыть утром завести часы: забудешь остановятся. А можно ли ждать от неаккуратного или нечистоплотного человека, что он окажется хорошим гражданином? Что он не свихнется? Что он не напутает?

- Ого, куда вы повели! Но, пожалуй, вы правы. Человек, который задолжал вам и не отдал рубль, может подвести и на тысячу, - согласился Гуков.

- Эскадрон связи пренебрегает физическим воспитанием. Хотите, пойдем и посмотрим, не отразилось ли это на всем их отношении к своим обязанностям?

- Я хорошо знаю связистов. Приличный народ. Думаю, у них все в порядке.

- А вот мы сейчас и убедимся.

2

Слово Котовского не расходится с делом.

До эскадрона связи рукой подать. Котовский появился в конюшнях эскадрона рано утром.

- Свалился как снег на голову! - рассказывали потом связисты. - Знали бы, что придет, все бы сверкало, как стеклышко!

От Котовского ничто не ускользнуло. Сопровождавший его начальник штаба еле успевал записывать:

- Лошади вычищены скверно, шерсть забита пылью. Записали? Не стыдно ли так обращаться с лошадьми, ведь лошадь - первейший наш друг в бою! Это записывать не

нужно, и так ясно... А стремена, видели стремена? Ржавчина!

- Да, это же просто глина, товарищ комкор! - обиделся командир эскадрона.

- И глины хватает, и ржавчина. Значит, после езды, как было, так и бросили. Хороши голубчики! На коже слой пыли толщиной с палец, можно подумать, что седла лежат без движения со времен похода Александра Македонского на Персию.

- Уж и с палец! - протестовал комиссар эскадрона. - Так себе, просто налет. В нашем деле разве обойдешься без пыли?

- Вот еще обратите внимание, - продолжал осмотр Котовский, - днища кормушек проедены, железная обивка отстает, а эти гвозди - они же могут поранить лошадей!

- Уже приняты меры, - вступился командир эскадрона. - Не верите? У меня уже и отношение написано, после того как дневальный доложил.

- Кстати, где дневальный? Кто может ответить на этот вопрос?

Выяснилось, что дневальный до того увлекся чтением, что не заметил прихода командира корпуса.

- Конечно, непорядок, - примирительно пробормотал Гуков, - но в пользу дневального говорит, что он не спал, не играл в "козла", а читал книгу. Ведь мы именно сейчас проводим кампанию по внедрению в армию книги.

Это замечание вызвало смех. Рассмеялся и Котовский. Установили, что дневальный читает "Королеву Марго".

- Эх ты, тютя! - расстроился комиссар эскадрона. - Нет чтобы читать "Азбуку коммунизма"! Учишь вас! На кой ляд сдалась тебе эта "Королева"!

- "Королева Марго" - тоже неплохо, - решительно заявил Котовский. Погоди, я тебе "Анну Каренину" пришлю. Не читал? А эту, как прочтешь, товарищу комиссару передай, пусть и он прочитает, а после мне доложит, что там написано. Ясно? Я, например, так зачитался этой "Королевой" - всю ночь напролет читал, пока не кончил... Только я-то читал не в рабочее время и тем паче не на дежурстве. Ясно? Дайте ему три наряда вне очереди, чтобы у него было время обдумать мои слова.

Осмотрев конюшни эскадрона, прилегающие к Торговой улице, отправились на улицу Октябрьской революции, в помещение канцелярии эскадрона. Командир эскадрона и комиссар только переглянулись при этом.

- А? - чуть слышно произнес командир.

- Плохо! - прошептал комиссар и развел руками.

Гуков снова взялся за карандаш.

- Смотрите! - вскричал Котовский. - Смотрите, что делается у них в общежитии сотрудников канцелярии эскадрона! Грязища, немытая посуда! Вот этот котелок с остатками вчерашней каши мы захватим с собой! Экспонат! А ведь докладывают мне, что в эскадроне все в должном порядке! Чуть было не объявили их образцовой частью! Вот какие ловкачи... И уж конечно, пронюхай они, что к ним комкор с начальником штаба собираются, - букеты бы на столах расставили, коврики бы разостлали... Видимо, очковтирательство еще бытует в нашем эскадроне связи, как вы полагаете, товарищ начальник штаба?

После такого конфуза в эскадроне три дня и три ночи скоблили и чистили. Дневального, зачитавшегося книгой, так и прозвали "Королевой Марго". Командир эскадрона, получив в приказе выговор, ходил к командиру корпуса и выпрашивал обратно котелок, в который заглядывали поочередно все краскомы, даже те, что приезжали из Гайсина и Тульчина, из Бердичева и Киева.

3

Весна победоносно шествовала по Киевщине, по Подолии. Все цвело. Все ликовало. Солнца было столько, что им захлебывались долины и рощи и расплескивали его через край.

Настроение было такое, что никак не могло прийти в голову, что окажется что-нибудь не так, что-нибудь плохо. Поэтому случившаяся неприятность чуть не застала врасплох.

Когда в корпусе заболело большое количество лошадей, Котовский связал эту беду с прохладным отношением некоторых командиров к своим прямым обязанностям.

- Помните случай с эскадроном связи, как он манкировал уроками гимнастики? - говорил он Гукову. - А вслед за тем мы с вами воочию убедились, что лошади у них в запущенном состоянии. А теперь, изволите ли видеть, лошади чахнут и болеют, подозрение на сап, изолировали, намереваются пристрелить.

- Кажется, полагается пристреливать? - осторожно напомнил Гуков.

- Лечение сапа запрещено санитарным законодательством всех стран, это-то я знаю, - возразил Котовский, - знаю, что лошадей, заболевших сапом, полагается убивать. Но я не убежден, что наши лошади больны сапом, вот в чем дело. И я пока что запретил убивать лошадей.

Ветеринары негодовали. А Котовский поехал в Москву и привез чемодан книг, учебников и справочников по ветеринарии: и Тартаковского, и Потапенко, и Фридбергера в переводе Светлова, и Nocard'a на французском языке.

В доме Котовских шли дискуссии о маллеине и его диагностическом значении для определения сапа у лошадей, о разновидностях сапа, о кислом растворе сулемы, применяемом для дезинфекции помещений... Котовский уже знал, что сап очень распространен в Лондоне, что наиболее восприимчивы к сапу ослы, что сап различают носовой, легочный и кожный, который носит еще название "лихой", или "гильчак".

- Где вы видите истечения из носа? Где тут сап?! - кричал Котовский на ветеринаров, осматривая вместе с ними больных лошадей.

- Истечения нет, это не острая форма, - возражали ветеринары, - а при хроническом сапе лошади кажутся почти здоровыми. Предупреждаем, что мы вызовем из Москвы специальную комиссию, если вы не разрешите уничтожить зараженных лошадей. Мы не можем рисковать.

Лошади, приговоренные ветеринарами к смерти, стояли понурые, со взъерошенной клочковатой шерстью, покрытые болячками и лишаями.

И все-таки точка зрения Котовского восторжествовала. Прибывшая из Москвы комиссия сапа не нашла. Взялись за лечение, выходили коней, вернули их в строй.

Все были довольны, только ветеринары ворчали:

- Подумаешь, большая беда пристрелить дюжину хворых лошадей! А подняли такую бучу, будто весь свет провалится!

- Надо разбираться, - спорили с ветеринарами кавалеристы, - никогда не следует торопиться в землю закопать. Наш комкор - человек справедливый, а вы кто? Настоящие живодеры! Если бы проверить, сколько вы так-то ухлопали зазря, по одному подозрению?

- Да уж, - раздавались голоса, - видать, верно старые люди говорят, что иные прочие и живут-то только для того, чтобы другим от них житья не было.

- Чего вы взъелись, ребята? - шли на попятный ветеринары, видя, что разговор оборачивается против них. - Мы же согласно инструкции, там ясно сказано... Мы - люди науки.

Кавалеристы корпуса крепко запомнили этот урок. Стали уделять больше внимания чистоте, уходу за лошадьми. Что и говорить, техника идет вперед, кое-кто уже называет танковые колонны конницей будущего. И в составе кавалерийского корпуса есть уже танковые и авиационные подразделения, но коню еще предстоит принять участие в битвах, а кавалеристы любят и свою профессию, и коня.

4

Было совершенно очевидным, что работа Котовского не пропадает даром. Корпус по справедливости можно было назвать образцовым. И когда на осенних кавалерийских маневрах в Подолии проносились в строю бойцы 9-й Крымской дивизии в фуражках с желтым околышком и синим верхом, когда выполняли сложные перемещения бойцы 3-й Бессарабской в фуражках с желтым околышком и красным верхом, Котовский любовался своими питомцами.

"Посмотрел бы на это зрелище дорогой, незабвенный друг комиссар Христофоров! - думал Григорий Иванович. - И какой крик поднял бы Няга, если бы узнал, как работает

нынешняя молодежь, какая посадка, какая дисциплина и сознательность, как владеет конем!"

Харьковская газета "Коммунист", сообщая об этих маневрах, отмечала хорошую подготовленность корпуса. В отчетной статье подчеркивалось, что во время маневров совершались стоверстные переходы и ни одна лошадь не вышла из строя, что сбор конно-пулеметного эскадрона производился в четыре минуты, а сбор кавалерийского полка в шесть минут.

Эту статью Ольга Петровна знала наизусть, потому что при появлении в доме каждого нового человека Григорий Иванович якобы случайно вспоминал о маневрах и просил Ольгу Петровну прочесть статью.

- Только, пожалуйста, читай внятно, не скороговоркой. Статья не такая уж длинная, пусть человек послушает... Как ты считаешь, Леля, ведь хочется человеку знать, достаточно ли подготовлена Красная Армия?

Статья прочитана со всей выразительностью и подчеркиванием некоторых мест.

- Ну как? - спрашивает Котовский.

- Замечательно! - обычно отвечает слушатель. - Только вот когда вы сами рассказывали об этих маневрах... у вас, Григорий Иванович, честное слово, получалось живее и интереснее!

В Умани не одни деловые будни, случаются и праздники. С какой помпой происходило, например, вручение корпусу Почетного знамени! На Соборной площади состоялся парад частей корпуса с участием всевобуча. Торжество было назначено на летний день, когда улицы Умани полыхали жаром, а сады, цветники, клумбы изнемогали от неги и пышного цветения. Как красовались на конях кавалеристы! Как сверкали медные трубы! Как визжали от восторга босоногие мальчишки!

Так протекали дни Григория Ивановича Котовского. Это была кипучая, полная смысла жизнь. Все делал он с увлечением. И столько живых нитей связывало Котовского с людьми, к нему ехали, шли, к нему тянулись, от него получали заряд бодрости, как из благостного колодца, открытого для всех, черпали воодушевление.

У Котовского была огромная переписка, ею ведала Ольга Петровна. На ее обязанности было помнить все адреса, фамилии и следить, чтобы ни одно письмо не осталось без ответа.

- Ты не помнишь, Леля, мы ответили Савелию Кожевникову? Он спрашивал мое мнение об удобрениях?

- Как же, ответили и книгу послали.

- Пионеры прислали письмо, просят рассказать о лошадях. Не поручить ли Гукову?

Гуков охотно берется за поручение. В чем другом, а в лошадях он толк понимает. Он посылает пионерам форменную диссертацию. Пускаясь в рассуждения о "глубине подпруги", о "длине заднего окорока", давая характеристики шотландских тяжеловозов и американских рысаков, Гуков писал:

"Милые, дорогие ребята! Когда вы станете большими, возможно, что лошадку сменит мотор. Уже сейчас ямщики и извозчики известны больше в песнях. Может быть, и кавалерия когда-нибудь станет старомодной, кто знает. Но мы, ребятки, очень любим лошадь, мы с нею неразлучны. И то сказать: красивое животное! Умница! С нею мы бороздим поле, с нею бросаемся в атаку на врага. Каждому свое. Не знаю, на чем вы будете мчаться, друзья. Но, вспоминая о нас, вспомните и о лошади, нашем верном друге!"

Дальше Гуков рассказывал о лошадях, которых сам он выращивал, выезжал, наблюдая их повадки, изучая их характеры.

Котовский прочитал послание Гукова и пришел в восторг, велел размножить на пишущей машинке и раздать командирам для чтения и руководства. К Гукову стали обращаться за справками, советоваться о рационе лошадей, о значении того или иного названия.

- Откуда вы все это знаете, товарищ Гуков? - спрашивали с завистью и удивлением.

- Во-первых, читал. О лошадях много написано. Во-вторых, у меня у самого в былые времена имелись конюшни. В русском офицерстве считалось неприличным не уметь ездить

верхом. У меня были недурные верховые лошади.

На этом вопросы обычно обрывались. Неудобно напоминать человеку о его происхождении, если и без того было ясно, что он дворянин. В дореволюционной России существовало обидное выражение "незаконнорожденный". Вот так же неприлично было теперь намекать человеку, что он "дворянскорожденный". Коли человек свой, работает на Советскую власть добросовестно, значит, не следует его прошлое ворошить, незачем его конфузить, что было, то прошло и быльем поросло, а мы незлопамятны.

Так рассуждали эти простые люди. Гуков понимал по выражению их лиц, что они деликатно обходят вопрос о его социальном происхождении, и добродушно усмехался. В анкетах у него черным по белому записано: ни в каких партиях не состоял, против Советской власти не боролся, связи с заграницей не имеет, в рядах Красной Армии находится со дня ее существования.

О Гукове в корпусе говорили:

- Скажи, пожалуйста, вот ведь и бывший полковник царского времени, и сам буржуазного происхождения, а человек как человек! Бывают чудеса на свете!

Так рассуждала молодежь. Те, кто прошли через гражданскую войну, знали две окраски: белый - это тот, кто в тебя стреляет, красный - это тот, кто в одном строю с тобой, плечо к плечу, идет в атаку.

Григорий Иванович, ежедневно встречаясь с Гуковым по делам службы, часто беседуя с ним в домашней обстановке, не подозревал, что Гуков разбирается в лошадях. Сам Гуков на эту тему не высказывался. Котовский считал Гукова большим военным специалистом, хотя и старой закалки. Но лошади... Нет, это было полной неожиданностью, это было открытием. Гуков неизмеримо вырос в глазах комкора.

- Выходит, вы немало побыли в седле? Выходит, вы любите коня? Ты слышишь, Леля, какой у нас Владимир-то Матвеевич скрытный? Знаток лошадей - и помалкивает!

- Разговору как-то не заходило... И помилуйте, какой же я знаток? Мой кучер и тот был больше знаток, чем я. Или мой тренер по верховой езде это действительно виртуоз. Правда, я в спортивном обществе состоял, это, конечно, давало кое-какие знания, некоторую сноровку...

- Вот-вот, - ухватился Котовский. - Спортивное общество, говорите? А ну-ка, садитесь поближе и рассказывайте. Вот и я утверждаю: спорт - это венец физической подготовки!

5

Спорт - это венец физической подготовки. Об этом и шла речь в приказе по корпусу, о постановке физической подготовки в частях и организации конно-спортивных и стрелковых кружков.

Это и Фрунзе одобрил:

- Дело нужное, это мы везде введем, в обязательном порядке. Это привьется не только в армии, этим духом будет пронизано все воспитание молодежи. Нам нужно здоровое, бодрое поколение, сильные, волевые люди, а не размазни и хлюпики!

Котовский объяснял, что в коннице круг деятельности физкультуры значительно расширяется, так как здесь объектом являются и конь, и человек, и то, что мы называем всадником, - то есть сочетание человека с конем.

- Но и это не все! - добавлял Фрунзе, подхватывая мысль Котовского. Всадник, который готовится стать боевым кавалеристом, должен вырабатывать особые, свои специфически военные навыки.

- Об этом и разговор! Физкультура в частях корпуса должна слагаться из физической подготовки бойца - гимнастика, легкоатлетика и тому подобное - плюс физическая подготовка коня к условиям боевой службы в поле. И далее - подготовка всадника-спортсмена, спортсмена-стрелка, отважного спортсмена-охотника...

- Так-так! Парфорсная езда, парфорсная охота!..

- А все, вместе взятое, дополнит боевую подготовку кавалерийской части в целом.

Фрунзе посоветовал, прежде чем развертывать это дело, хорошенько изучить

материалы, подготовить базу.

- У меня есть помощник и советчик, - похвастался Котовский. - Золото, а не человек! Начальник штаба корпуса. И лошадей любит.

- Ну, если лошадей любит, значит - все! - рассмеялся Фрунзе, знающий, как относится к лошади Григорий Иванович.

Котовский взялся за новое дело с обычным жаром. Он сам во всем показывал пример. В конно-спортивных кружках проводятся состязания. Владение холодным оружием. Сменная фигурная езда. Конкурсная езда. Состязания на выравнивание аллюров на отмеренной версте разными колоннами и развернутым строем. Полевые галопы без препятствий и с препятствиями. Парфорсная охота.

Конный спорт становился на новые основы.

- Совершенно отказаться от скаковых конюшен и жокейских скачек, приказывает Котовский. - Скаковые конюшни расформировать, и лошадей в виде поощрения передать лучшим наездникам из комсостава по усмотрению командиров дивизий. В круг работы конно-спортивных кружков включить подготовку строевого коня, подъездку, выездку, правила ухода, корма и воспитания лошади.

"Конечно, - думал Котовский, - такие кони, как мой Орлик, редко встречаются. С них только рисовать картины. Но вырастут, должны вырасти новые Орлики... а может быть, и не Орлики? Может быть, стальные кони? Бронетанки? Самолеты? Сверхмощные! Сверхскоростные! Ведь техника стремительно идет вперед. И тогда мы, кавалеристы, станем лишь символом, красивой сказкой для воодушевления молодежи..."

Котовский все свои планы, замыслы, размышления, о трудностях, о радости успехов - все это излагал дома внимательной слушательнице Ольге Петровне, Григорий Иванович перед ней развивал мысли о необходимости учебы кавалеристов, о значении стрелкового спорта, о твердом его решении сделать кавалерийский корпус стальным. Отличнейшим! Безупречнейшим!

Григорий Иванович бросал на стол ложку, забывал о супе, который стынет в тарелке, и, вскакивая и начиная кружить вокруг стола, горячо доказывал:

- И он будет отличный, будет безупречный, будет стальной! Ты веришь этому, Леля?

Леля верила. Но она хотела, чтобы муж хоть изредка отдыхал и уж во всяком случае съел суп, пока он еще окончательно не остыл.

- Верю, но высказывай свои надежды не так громко: Гришутка спит.

- И Гришутка у нас будет отличный! Как ты думаешь, Леля?

Сыну исполнилось два года.

- Вот вырастешь - и тебя посажу на боевого коня, - говорил ему Григорий Иванович, - и будешь ты скакать галопом навстречу ветру. Может быть, к этому времени мы уже победим всех врагов? Или еще не победим? Как ты думаешь?

Маленький Гриша смотрел на отца серьезно и внимательно, как будто и в самом деле обдумывал этот сложный вопрос.

Затем начинались игры. Все летело вверх дном в квартире! Григорий Иванович изображал тигров и леопардов, великанов и людоедов, они устраивали показательные бои, маленький Гриша визжал от восторга. Но трудно было решить, кто получал больше удовольствия и кто сильнее увлекался забавами - маленький Гриша или большой.

6

Никогда не покидало Котовского чувство ответственности за судьбу человека. Если Григорий Иванович видел голодного, раздетого, несчастного, обиженного, он страдал, ему было невыносимо зрелище унижения человека. Как можно преспокойно есть, если рядом с тобой умирающий голодной смертью? Как можно безучастно относиться к совершаемой по отношению к кому-то несправедливости?

Ольга Петровна и сама такая и любит Григория Ивановича именно за его порывистость и отзывчивость. Однако добавляет, что все-таки нужны преобразования, а не частная благотворительность.

- Мы говорим, Леля, о разном. Конечно, нужна речная охрана, но если человек тонет - бросайся спасать, а не звонить по телефону в Общество спасения утопающих! Я - советский человек? Значит, я отвечаю за все! За то, что вот этой женщине задержали зарплату. За то, что вырос плохой ребенок. За то, что завод не выполнил план. Какой бы ни был завод, любой, все они мои! Мне стыдно, если что-нибудь плохо. Невыносимо стыдно!

Когда пришел к Котовскому ободранный, босой человек, Григорий Иванович вовсе не из желания покрасоваться схватил и отдал ему свои новешенькие сапоги. Ничто не могло его остановить. Он был гражданином во всей полноте этого слова. Он любил людей, ему нравилась эта смятенная, озаренная солнцем и обвеваемая бурями эпоха. Ведь именно сейчас встало во весь рост убеждение, что самое главное, самое ценное и прекрасное на земле - человек.

Сравнительно легко было разрешить вопрос с жизнеустройством таких людей, как Савелий, Марков, Гарбарь, Криворучко, Белоусов. Но куда денутся, где преклонят головы после демобилизации те бобыли, которые и семью за войну потеряли, и дом у них сожжен, да и все селение исчезло, выгоревшее дотла? Специальности никакой, единственно что они умеют - сеять хлеб, пусть дедовскими приемами, с сохой и лукошком, но все же умеют. Только ведь у них нет и земли! А те, что пришли из Молдавии? Их родина захвачена врагами. Их землю топчут сапоги интервентов. Что делать им? Куда податься?

Григорий Иванович придумал кое-что, но сначала решил посоветоваться с Фрунзе.

Фрунзе выслушал его со вниманием. Григорий Иванович видел, что он одобряет, что ему нравится затея.

- А что? - воодушевился Фрунзе. - Пусть трудятся и вместе с тем пропагандируют новое социалистическое земледелие! По-моему, прекрасная мысль! Только необходимо, Григорий Иванович, так подготовить коммуну, чтобы не оскандалиться на первых же шагах. Вот что. Я поговорю в ЦК, а ты, Григорий Иванович, продумай, подготовь, ты агроном по образованию, все прикинь: что и как, откуда изыскать средства и все такое.

- Средства? - подхватил Котовский. - У меня уже все обмозговано! Средства корпус предоставит, поддержим, пока не встанут на ноги! Главное политический эффект! Вокруг крестьянство, мелкие, единоличные, раздробленные хозяйства - и вдруг коммуна! Все вместе, сообща... Это знаете какое впечатление произведет? Куркули взбесятся, беднота призадумается.

В ЦК одобрили замысел группового трудового устройства демобилизованных бессарабцев. А Котовский уже и место присмотрел: в Подолии, поблизости от городка Тульчина, еще ближе к городку Бершадь.

Оба эти городка ничем не примечательны, если не считать, что в Тульчине при раскопках нашли зубы мастодонта, а под Бершадью в лесу построен заштатный монастырь.

Подолия - цветущая земля. Рекою Збруч она отделяется от Галиции, южнее, за Днестром, лежит Бессарабия. Заливные луга, сады, пасеки, виноградники - вот что такое Подолия. По откосам ее рек рдеет темно-красный кизил. Над лугами жужжат хлопотливые пчелы. Кто же не едал ушицкого чернослива и не курил местных сортов деруна-бакуна и забористой махорки? В Балтском уезде выращивают айву. В Ольгопольском мастерят глиняные горшки и макитры. А в Ободовке, которую Котовский наметил для Бессарабской коммуны, жили колесники, делавшие обода для колес.

Вплотную примыкал к Ободовке холм Кучугуры, где было родовое имение помещика Собанского, ведущего свой род от шестнадцатого века и получившего от папы Льва XIII графский титул. Собанский построил в своем имении дворец - с верандой, импозантным подъездом, с зубчатой башней, - словом, в полном соответствии с родовитостью хозяев. У главного входа во дворец, на видном месте, так, чтобы каждый обратил внимание, прикреплена мраморная доска, на которой золотыми буквами высечено, что дом этот построен Феликсом Собанским в 1763 году и реставрирован Михаилом Собанским в 1840 году для потомства.

Это потомство в лице коммунаров-котовцев пришло сюда строить новую жизнь. Здание

отремонтировали, конюшни, надворные постройки привели в порядок.

Коммуна получила от военсовхоза шестьсот десятин земли, жилые и хозяйственные постройки, небольшой запас овощей, зерна и фуража. Помимо двадцати двух лошадей коммуна получила быка-производителя, корову Царицу и кровного рысака Бандита.

Так и начала свое существование 6 августа 1924 года Бессарабская сельскохозяйственная коммуна - детище Котовского.

Кажется, не было в этих краях пяди земли, где бы не лилась кровь, не разгоралась битва с лютыми врагами Советской страны, где бы не промчались отважные конники Котовского, то отбиваясь от петлюровцев, то отгоняя прочь пилсудчиков, то вылавливая бандитские шайки Грызло и Гуляй-Поле, Хмары, Подковы и Волынца.

Теперь требовалось другое: нужно было знанием, умением и упорным трудом отвоевывать один за другим редуты у постылого прошлого.

Как радовался созданию Бессарабской коммуны Котовский! Как торжествовал! Что ни маленькая победа коммунаров, то ликование Григория Ивановича:

- Электростанцию пустили! Вот молодцы! Пусть поглядывают куркули из окрестных деревень: светится, сияет хозяйство коммуны!

Проходило еще некоторое время.

- Леля! Ты слышала? Наши-то в Ободовке купили тридцать коров! Представляешь, как это важно и своевременно?

Вот тогда и родилась мысль у Котовского, что новому хозяйству нужна и новая техника, об этом и Ленин всегда говорил. Эта мысль не оставляла Котовского ни на минуту: обобществленное ведение сельского хозяйства требует перевооружения - нужен трактор.

Котовский выяснял, наводил справки... В то время своих тракторов еще не было, они выписывались из-за границы. Котовский и это учел. Он стал наведываться в Одессу. И вскоре в Ободовку пришла телеграмма: Котовский предлагал срочно выехать в Одессу председателю коммуны Виктору Федоровичу Левицкому, а также старшему бухгалтеру и механику.

Они зачарованно смотрели, как разгружаются в Одесском порту тракторы, а затем оформляли через банк получение коммуной трех тракторов.

Настал долгожданный день. Все население высыпало на улицу, чтобы полюбоваться необычным зрелищем. Школьники Ободовки в этот день были освобождены от занятий. Оркестр грянул марш, когда показались добрые чудовища, спокойные, уверенные в своей силе.

Был митинг, был праздник. А уж разговорам, пересудам не было конца. И лошади посматривали из конюшен на свою смену, на трех стальных коней, пришедших на поля громыхая, скрежеща, возвещая о новой эре.

7

А нетерпеливая мысль Котовского шла дальше и дальше. Котовский уже зондировал почву относительно создания Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики на левом берегу Днестра, под боком у порабощенной чужеземцами Бессарабии.

- Пусть наша Автономная Молдавская республика светит, как маяк, призывает тех, что за Днестром, к борьбе, к счастью! - говорил Котовский, подавая докладную записку в ЦК партии.

Так он мечтал, так он государственно мыслил и всегда встречал поддержку и одобрение у своего друга и вдумчивого руководителя - Михаила Васильевича Фрунзе.

Одна цель объединяла их, так же как и всю славную ленинскую гвардию ленинский ЦК, ленинскую партию и выращенную ими молодежь, боевую комсомолию, и выпестованных ими непреклонных, закаленных в боях рабочих, и весь твердо вставший под красными знаменами непобедимый народ. Эта цель создание сильного государства, построение социалистического общества, построение коммунизма.

Сознание этой большой цели пронизывало каждого, кто бы он ни был, слесаря и учителя, свинарку и академика, пограничника и директора банка, землероба и землекопа,

шахтера и летчика-испытателя, инженера и домохозяйку. Может быть, не все они сумели бы объяснить, чего добиваются, ради чего терпят лишения, жертвуют сном, покоем, даже жизнью! Но они доподлинно, безошибочно знали: пусть бывают несуразицы, пусть бывают нехватки, неполадки - пусть! Все-таки основное - это движение к высокой цели, на благо народа, на благо человечества, на благо всех живущих на земле.

Были изумительны дела людей в годы гражданской войны, когда наперекор всему, опровергая все теории, все нормы, все расчеты вражеских стратегов и политиков, они упорно шли к освобождению. Плохо одетая, полуголодная Красная Армия одерживала победы над щеголеватыми, сытыми, обученными полчищами белых. Красные полководцы, вдруг появляясь из толщ народа, обнаруживали и военные знания, и талант. Красные заводы работали на полную мощность, несмотря на изношенную устарелую технику, на голодный паек.

Но и позднее, в двадцатые годы, совершалось в нашей стране нечто необыкновенное, чего никак не могли понять люди старой формации. Они подходили не с той меркой! Они судили поверхностно и однобоко! Они человеко-единицы множили на доллары. И в итоге получался просчет. Все дело в том, что в стране социализма были разбужены невиданные доселе новые силы, открыты новые скорости. И до чего же нелепо звучали претензии империалистов, то объявлявших крестовый поход против коммунизма, то решавших взять нас измором, то подсылавших наемных убийц, то угрожавших интервенцией.

В те годы еще были крыты соломой крестьянские избы. В те годы у нас еще не было своего трактора, своего автомобиля, своих самолетов. Разоренная, истерзанная страна возрождалась из пепла. Она не прожектерски, по-деловому принималась перестраивать хозяйство на новый лад, технически перевооружаться, она приступила к электрификации - словом, осуществляла вторую революцию. Это-то больше всего и бесило наших врагов. Они начинали нервничать, суетиться, торопиться, назначали сроки окончательной нашей гибели, сроки эти переносили по независящим от них обстоятельствам с одной даты на другую.

Каждый выигранный нами год лил воду на нашу мельницу, только на нашу мельницу! Вот это и есть основное, что характеризует памятные, славные, гордые двадцатые годы: стиснув зубы, напрягая все силы, люди яростно учились, исступленно строили, всесторонне готовились к столкновению с оголтелым, озлобленным, похожим на ослепленного в ярости быка, опасным и сильным, хотя и смертельно раненным врагом.

И какое же нетерпение охватывало каждого советского человека засучив рукава, восстанавливать, строить, налаживать! Работы непочатый край!

Так и у Григория Ивановича Котовского. Жадно набрасывается он на каждое дело. Рождается за проектом проект.

Создать Автономную Молдавскую республику у самой границы, перед самым носом империалистических держиморд - разве это не блестящая идея? И какой смелый эксперимент - устройство сельскохозяйственной коммуны! И когда - в 1924 году!

Корпус шефствует над комсомолом Днепропетровска. Корпус открывает свои мастерские, заводы, совхозы, "лавки Котовского" уверенно выбивают из седла частных торговцев, и те просят пощады, так как не могут по тем же ценам продавать - себе в убыток.

На все Григорий Иванович Котовский находит время, во все вкладывает душу.

Приехал в Умань Карп Андреевич Кулибаба, встречавшийся с Котовским в подполье Одессы в девятнадцатом году. Нашел и для Кулибабы теплое словечко Григорий Иванович. Ольге Петровне представил: "Этот человек спасал мне жизнь в Одессе, прошу любить и жаловать". Вместе сели обедать, вместе пошли осматривать город, и Кулибабе запомнилось, как на улице Котовского окружила гурьба мальчуганов, закадычных его приятелей...

Создавая Бессарабскую коммуну, Котовский не ограничился тем, что издал приказ: таким-то демобилизованным явиться для инструктажа. Нет, Котовский беседовал с каждым будущим коммунаром, расспрашивал о семье, справлялся, что намерен делать после демобилизации, объяснял, что такое сельскохозяйственная коммуна и как нужно там работать и жить, чтобы заслужить уважение окрестных селян.

Как бережно выращивал Котовский людей! Выращивал, и сам рос вместе с ними, никогда не стеснялся поучиться.

8

Много надежд возлагал Котовский на хорошего командира и фантастического храбреца Криворучко.

- Мы сделаем из него такого командира, какого еще свет не видывал! уверял Котовский, отправляя его учиться.

Но отослали Криворучко в Москву не сразу. Сначала он был передан на попечение Ольги Петровны. Ей не впервой устраивать школу на дому, через ее руки прошло много людей. Обучала она и Оксану, подготавливала к поступлению на рабфак Митю Пащенко... Бывало, свихнется человек, натворит чего-нибудь - Котовский и его вручает Ольге Петровне: перевоспитывай, научи уму-разуму.

С Николаем Николаевичем Криворучко пришлось начинать с грамматики. Надо отдать справедливость, это был прилежный и выносливый ученик. Иногда он удивлял неожиданными ответами. Особенно запомнился Ольге Петровне случай, когда Криворучко слово "аппетит" написал "опятит".

- Ну, знаете, всякие ошибки делают в этом слове, но такое коверканье встречаю впервые!

Криворучко был страшно удивлен:

- А как же, Ольга Петровна? Это слово что означает? Опять и опять хочется есть. Значит, и писать надо "опятит".

Об этом споре Ольга Петровна любила рассказывать, когда хотела развеселить компанию. Если разговор происходил в присутствии Криворучко, он добродушно усмехался и уверял, что со словом "аппетит" до сих пор не примирился.

Ольга Петровна не сердилась, но и не поднимала на смех упрямца. Она терпеливо и настойчиво объясняла:

- Человеку всегда трудно отказываться от своих ошибок. Это и не удивительно. Жил-жил, ошибался-ошибался - и вдруг надо отвыкать, надо перестроиться на новое! Я по себе знаю, как трудно.

- А разве нельзя сделать так, что если удачная ошибка, то и принять ее на вооружение?

- Что же тут удачного? Исковеркал слово и думает, что реформу языка произвел!

Криворучко оправдывался:

- В народе непонятные слова приспосабливают часто. Мне довелось, например, слышать, как один дядя вместо "критическое положение" говорил "кряхтическое положение". А что? Разве плохо? Именно кряхтическое!

Другие предметы давались Криворучко легко. Особенно любил он историю. Ольга Петровна поражалась его памяти: раз прочтет - и на всю жизнь запомнит. Отличная память!

Закончилась подготовка, отправили Криворучко в Москву, как будто все получилось - лучше не надо. Котовский заранее провел все переговоры, даже комнату нашел для своего питомца. И вдруг Криворучко прислал Ольге Петровне отчаянное письмо: "Передайте, мамаша, комкору, чтобы отозвал меня отсюда, а не то я застрелюсь".

Это письмо всполошило все семейство. Отличительной чертой и Ольги Петровны, и Григория Ивановича было то, что они не умели любить наполовину. Уж на что Григорий Иванович обожал сына, восторгался им, любовался, высказывал всяческие предположения, кем будет сын, когда вырастет, но с таким же пылом он любил и Николая Криворучко, и Ивана Белоусова, и Маркова, и Гарбаря, и коммунаров из Бессарабской коммуны, и Митю Пащенко, и Оксану. Разве садовник, выращивая яблони, меньше отдает внимания кустам смородины или сирени, грушевому дереву или каштану?

Вот тогда и вызван был на семейный совет Владимир Матвеевич Гуков, начальник штаба корпуса. Он ничуть не удивился, что с ним обсуждают вопрос о том, как поступить с неким Криворучко, который не хочет учиться и угрожает пустить себе пулю в лоб, если его не вернут обратно, в Умань, во вновь обретенную им семью.

- Что делать, Владимир Матвеевич? - спрашивала Ольга Петровна. Застрелиться он не застрелится, а бросить учебу и сбежать может.

- Нельзя этого допустить. Надо учиться. Обязательно надо учиться! хмурился Котовский. Он не любил, когда его планы рушились.

Владимир Матвеевич понимал, что, если к нему обращаются с таким вопросом, значит, именно он может спасти положение. Уговаривать старика не понадобилось.

- Все ясно, - решительно произнес он. - Парень не в силах справиться один. Надо спасать! Спасти могу только я, ведь не напрасно же я оканчивал когда-то Академию генерального штаба. Один полковник-шутник в старину говаривал: академия - это нечто среднее между институтом благородных девиц и иезуитской коллегией. Короче говоря, когда прикажете выехать? Помните, Николай рассказывал, что кто-то выразился "кряхтическое положение"? Мой диагноз: у Николая Криворучко кряхтическое положение! Завтра поездом ноль пятнадцать выезжаю.

Сначала, как сообщал Гуков, дело у них не ладилось. Криворучко фырчал, брыкался, жаловался на генералов, которые важничают на высших академических курсах, на ВАКе, как они в практике именовались. Однако с таким человеком, как Владимир Матвеевич, трудно было не поладить. У него был удивительно мягкий характер и достаточно обширные знания по военным вопросам. Когда Криворучко жаловался на преподавательский состав, Гуков принимался рассказывать про свою учебу:

- То ли еще, Коленька, было в наши времена! Помню, тактику у нас преподавал толстый краснощекий генерал Кублицкий Петр Софронович, царство ему небесное. Он читал лекции сидя, нужные места на карте показывал ногой. Наполеоновские войны читал сахарозаводчик Баскаков. Не знаю, как у него обстояло с сахаром, а наполеоновские войны ему были явно ни к чему. А еще был генерал Макшеев. Не Макшеев, а горе луковое! Читал он военную администрацию европейских армий. Мухи дохли на его лекциях! А сам глухой, принимал доклады слушателей через рупор. Представляете такую картинку?

Криворучко вздыхал и ничего не отвечал. Однако слушал с интересом.

- Да-с, Николай Николаевич!.. Теперь что? Благодать! Бывало, как заведет полковник Золотарев свою волынку, начнет перечислять речушки мелкие, речушки покрупнее, ручьи и болота в пограничной полосе с Германией и Австро-Венгрией... Силы небесные! Тощища! А вынесли? Все вынесли! Он военную статистику читал. Вообще же главная беда той, старой, царского времени Академии генерального штаба в том, что зачастую мы слепо принимали принципы германской доктрины... "Успех, достигаемый силой, есть высший критерий справедливости"! Сколько лет прошло, а помню! Это вот и есть одна из установок германского генерального штаба. Но при всех недостатках и старая академия закладывала какие-то основы. Во всяком случае, следует изучать все, что было разработано русской военной мыслью... А сейчас и время такое - только учиться! Нет, Николай Николаевич, вам унывать и отчаиваться никак нельзя! Давайте вместе разберемся, если что вам кажется непонятным. Нуте-ка, покажите, какая у вас задача?

Криворучко еще раз вздыхал, и занятия начинались.

Зимой Владимир Матвеевич приехал в Умань отчитываться. Прежде всего извлек из старомодного, с какими-то медными застежками чемодана два свертка.

- Это, Ольга Петровна, вам. Московские гостинцы.

Ольга Петровна развернула пакет, поворчала, зачем так тратиться, но от коробки шоколадных конфет и флакона духов "Ideal Reve" была в восторге.

- А это ваше, Григорий Иванович. Часть вновь полученных из ВАКа программ, а также работа товарища Криворучко по обороне: соображения комдива седьмой стрелковой дивизии по обороне позиции на фронте Юраши Рацево и приказ седьмой стрелковой дивизии. Работа выполнена при моем участии, но и он попотел, бедняга.

Котовский потащил Владимира Матвеевича к себе в кабинет и тут же стал разглядывать материалы.

- Как я уже писал вам, задача по обороне будет решаться продолжительное время,

причем каждый слушатель ВАКа должен пройти роли комкора три, комдива семь - правофланговая дивизия на участке корпуса, командира правофлангового полка седьмой дивизии, командира одного из батальонов этого полка и в конце концов командира одной из рот.

- Ясно!

- При этом необходимо детально изобразить на участке батальона и роты решительно все части до отдельных постов включительно. Представляете?

Владимир Матвеевич смаковал все эти перечисления. Он постепенно выкладывал из свертка материалы, с таким трудом добытые в ВАКе, при этом хитро подмигивал и хихикал:

- Вот, видите? Карта-одноверстка Юраши - Сокола и план северной части этого участка в масштабе сто сажен в дюйме в горизонталях. Представляете? И карта, и план - секретные, еле выпросил для вас под личную расписку. А как без них обходиться - подумали бы они!

- Спасибо! Это я сразу же под замок.

- Как я писал, первый семинарий закончился обслуживанием того размещения тыла тридцать первой стрелковой дивизии, какое я вам прислал с нарочным.

- Как же, как же, получил! Прорабатываю.

- Криворучко говорит, что руководитель признал его размещение вполне отвечающим данной обстановке. Вообще Криворучко не узнать. Стал относиться к нашим занятиям с несомненным интересом.

- Стреляться больше не собирается?

- Не скрою, трудновато ему приходится. На езду много времени уходит. А вообще - молодец.

Гуков деликатно, исподволь указал Григорию Ивановичу, какими источниками следует пользоваться для работы.

- Заочникам куда сложнее! Вот даже и книги, ведь не все вы найдете в Умани. Напишите, пришлю из Москвы. А еще лучше - сделаю выборки самого главного.

Помолчал-помолчал и добавил:

- Удивительный вы человек. Такую нагрузку, как у вас, не всякий выдержит.

Котовский побарабанил пальцами по письменному столу, видимо придумывая, как перевести разговор на другое: он не любил, когда его хвалили.

- Сына хотите посмотреть?

- Ого! Не все удостаиваются такой чести!

- Вы знаете, растет не по дням, а по часам. Я что-то думаю, обязательно ли ему быть военным? Может быть, пойти ему по научной части? Ближайшие десятилетия у нас - это техника, и только техника...

- Да, - грустно согласился Гуков, - если только не помешают... Кстати, не рановато ли решать вопрос о профессии, о призвании, когда у человека, в сущности, еще молочные зубы? А? Представляете?

- У меня самого во многих отношениях еще "молочные зубы", - вздохнул Котовский. - Наверстывать упущенное, осваивать новое... Главное, ведь военное дело - такая штука, что никогда нельзя захлопнуть книгу и сказать: "Теперь все!" Как только захлопнешь книгу, перестанешь следить за новинками, так и окажешься в обозе!

- Даже относительно обоза нужно многое знать.

Так они тихо обменивались мыслями, стоя около кроватки, в которой безмятежно спало еще ничего не ведающее, ничем не озабоченное существо.

9

Когда приехал Белоусов, Григорий Иванович и Ольга Петровна очень ему обрадовались.

- Не забываете нас, - приговаривала Ольга Петровна, наливая ему чаю.

- Ну что вы, Ольга Петровна! Вы для меня все - и родители, и воспитатели, и самые дорогие на свете люди!

Выглядел Белоусов превосходно. Правда, на лбу появилась глубокая морщина, скулы

выдались, но в целом он производил впечатление здоровяка. Шла ему кожаная куртка, хотя Котовский и пошутил:

- Вы, Иван Терентьевич, как из романа Пильняка, ведь он коммунистов изображает каменными, саженного роста и обязательно в кожаной куртке, откуда столько кожи-то берут!

- И непременно еще метелица, - подхватил Белоусов. - Революция у него - метелица, дескать, подует-подует да и утихнет.

И добавил, усмехнувшись:

- Публика!

А потом уже другим тоном пояснил, что для его работы кожаная куртка незаменима.

- Ездить много приходится, - вздохнул он, - вся жизнь на вагонных лавках, и никогда не знаешь, в какую погоду попадешь. Выедешь зимой, вернешься летом.

- Либо дождик, либо снег! - засмеялась Ольга Петровна.

Любила она этих взращенных Котовским крепышей, без хитростей, без претензий, верных, надежных и очень человечных. Но среди всех любимцами у нее были Марков и Оксана да вот Ваня Белоусов, который, видите ли, стал уже Иваном Терентьевичем, не как-нибудь.

Белоусов поддержал шутку:

- Вот именно! Правильно вы сказали: либо дождик, либо снег, а то в одну поездку застанет и снег и дождик.

- Как ты думаешь, Леля, не прочитать ли Ивану Терентьевичу статью о маневрах? - с невинным видом спросил Котовский.

Ольга Петровна покорно извлекла с полки статью и прочитала ее насколько могла с выражением.

- Здорово! - сказал Белоусов и рассмеялся.

- Вы чего смеетесь? Плохо читала?

- Нет, не хуже, чем в прошлый мой приезд.

- Значит, вы уже знакомы с этой статьей? Чего же молчали?

- Приятно и второй раз послушать, результаты учебы, как видно, прекрасные, корпус - хорошая боевая единица. Только разве так надо писать о Котовском? Погодите, о Котовском легенды будут слагать, поэмы писать, художники станут изображать Котовского - на коне, во всем великолепии, а дети на вопрос, кем ты хочешь стать, будут отвечать: "Хочу быть Котовским".

- Ну ладно, ладно, Иван Терентьевич! Лишнячку хватили! Пейте лучше чай.

- Ничего не лишнячку! Я ведь так понимаю это: "хочу быть Котовским" означает - хочу быть таким ленинцем, как Котовский, хочу быть храбрым, хочу побеждать врагов.

- Так и говорите. Вся молодежь в нашей стране хочет походить на своих отцов и продолжать их дело. У вас, наверное, и чай остыл, Иван Терентьевич. Леля, налей ему свеженького.

Разговор переключился на международные темы и увлек постепенно всех собравшихся.

- Соединенные Штаты, - принял участие в разговоре и Белоусов, - с удовольствием скушали бы нас даже без соли, да, видно, кусок не по зубам. Изоляция Советского Союза тоже у них не получается. С Германией-то торговый договор заключили? Форд уж на что мракобес, а тракторы нам все же продает? Значит, у них рынок узковат, поджимает!

- Такая у них установка, - добавил и Гуков, который без газеты не мог дня прожить, следил за международным положением и любил говорить на эти темы.

- Какая? - спросила Ольга Петровна, видя, как Гукову не терпится высказать свое суждение.

- Известно, какая: каждый за себя и к черту остальных.

- Позвольте, так этого же придерживаются и французы! - воскликнул оживившийся Белоусов: - У них тоже чужие интересы - это quantite negligeable. - И обернулся к Гукову: - Так, кажется? Или я что-нибуть переврал? Я с французским-то не очень.

"Ого! - отметил мысленно Котовский. - Парень-то, кажется, стал изучать языки!

Молодец!"

Народу за столом было, по обыкновению, немало. Все собравшиеся - в основном командиры и политработники - достаточно знали об Америке, о злобном шипении реакционеров в капиталистических странах, о плане Дауэса, о подготовке вооруженного нападения на Советский Союз.

- Нынешний президент Кулидж со всей откровенностью заявил: дело нации - бизнес.

- А золотишка-то Соединенные Штаты изрядно нагребли, чуть не половину мировых запасов!

- Разжирели на войне!

Вероятно, еще долго бы толковали на эту тему, если бы кто-то не взглянул на часы.

- Товарищи! Пора и честь знать!

- Мне завтра в шесть утра вставать!

- Ольга Петровна! Что же вы нас не гоните?

- Разрешите, я покажу пример... Спокойной ночи! Спасибо за проведенный вечер!

- И за восхитительную бабку! (Это, конечно, Гуков!)

Вскоре комната опустела. Остался только Белоусов, который приглашен был переночевать. Он отодвинул от себя недопитый чай. И когда Ольга Петровна и Григорий Иванович взглянули на него, сразу поняли, что приехал он, как всегда, неспроста и хочет сообщить что-то важное. Лицо его стало строгим, глаза колючими. Теперь это был не приятный собеседник за приятным ужином, а вдумчивый, готовый ко всяким неожиданностям, бесстрашный и суровый чекист.

Котовский снова остался им доволен. Прийти с каким-то важным сообщением и виду не подать - все это понравилось Котовскому.

"Вот это выдержка! - промелькнуло у него в голове. - Видать, хорошую школу прошел у Дзержинского. Приятно, когда звание человека соответствует его призванию!"

Белоусову не понадобилось проверять, нет ли поблизости посторонних ушей: он приехал не один, и было кому позаботиться, чтобы разговора никто не слышал. Поэтому Белоусов без предисловия приступил к самой сути:

- Григорий Иванович! Я приехал с довольно неприятным делом. Однако нами своевременно приняты меры.

- Понятно! - произнес Котовский. - Какое же это дело?

- Ольга Петровна, я попрошу и вас послушать, дело серьезное и касается нас троих.

Ольга Петровна заметила, что правая рука Котовского то сжимается в кулак, то разжимается. Это было дурным признаком. Ольга Петровна подчеркнуто спокойным голосом ответила:

- Ну что ж, послушаем, что у вас за новости.

Белоусов сжато, точно сообщил, что органами ГПУ дважды задержаны диверсионные террористические группы, заброшенные из-за рубежа с заданием убить Котовского.

Сообщение было выслушано молча. Ни реплик, ни восклицаний. Только рука Котовского машинально еще энергичнее заработала, как бы хватаясь за эфес, а Ольга Петровна сидела бледная, с плотно сжатыми губами.

- Эта наемная рвань, - продолжал Белоусов, - долго не запиралась и все нам выложила: кто посылал, и какие указания давал, и сколько обещано за работу, и какие явки и пароли были сообщены. Мы проверили, действительно все так, как они говорят, и нам удалось, использовав их пароли и адреса, выловить и их сообщников.

- Понятно! - снова промолвил Котовский. - Жаль, что они не добрались до Умани. Я бы с ними поговорил по душам.

- Хорошо вести прямой разговор в бою, лицом к лицу с противником, возразил Белоусов, - а эти подонки рода человеческого стреляют из-за угла.

- Не отлита еще та пуля, которая сразит Котовского, - ответил Григорий Иванович, все более наполняясь гневом. - Сунулись бы в дом - я бы их перестрелял, как рябчиков.

- Только этого не хватает! - всполошилась Ольга Петровна. - Ты забыл про Гришутку,

ведь можно насмерть перепугать ребенка! Поднять стрельбу!

- Ничего, ему надо привыкать, на его век еще хватит выстрелов.

- Да ведь это теперь отпадает, - примирительно остановил их спор Белоусов. - Бандиты пойманы и получат по заслугам. Но я приехал, во-первых, рассказать о том, что было, во-вторых, для принятия, так сказать, профилактических мер.

- Вы думаете, что это еще не все? - насторожилась Ольга Петровна.

- Разве можно ручаться за эту... за этих паразитов? У них же ассигнования! На подлость, на убийства - на все ассигнования. Раз уж деньги ассигнованы, их нужно тратить. Ведь так? Ну а наша задача смотреть в оба.

- Смотреть! Ведь Григория Ивановича не удержишь, он повсюду разъезжает, повсюду бывает...

- Задержанные в одни голос заявляют: нам дали адрес. Они даже знают, что это каменный дом и при доме сад. Довольно точное описание. Ну и револьверы, деньги у них, конечно... даже фотокарточка Григория Ивановича...

- Ужасно! - вырвалось у Ольги Петровны.

- Они там, за рубежом, не учитывают, что теперь не восемнадцатый год, границы мы охраняем, не разгуляешься. А все-таки надо предусмотрительными быть. Вдруг проскочат? Вот мы и решили около вашего дома специальный пост установить.

И, заметив протестующий жест Котовского, поспешно добавил:

- Временно, Григорий Иванович. Для проверки...

Белоусов замялся было, затем пояснил:

- Один из них проговорился, что сформирована еще одна группа. Может быть, врет, скорее всего, что врет, никто ему не стал бы докладывать, что там сформировано. Его дело маленькое: нанялся - выполняй. Но так как намек все-таки был, мы обязаны подготовиться. Ну и пограничникам даны указания, и еще некоторые меры приняты.

- На меня и в Жмеринке нацеливались, как вы, вероятно, помните... И с самолетов сбрасывали угрожающие записки, - рассмеялся Котовский. - А зачем? Я ведь не прятался, я был на виду - милости просим, пожалуйте в бой, там всегда представится случай повстречаться. Все, Иван Терентьевич. Спасибо за предупреждение. Отрадно, что чекисты у нас службу знают. А теперь давайте-ка спать.

- Григорий Иванович! - настойчиво заговорил Белоусов. - У меня есть приказ, я должен его выполнять. Вы разрешите установить наблюдательный пункт. Временно, может быть, недельки на три... Мы наведем справки... уточним - и если окажется, что все в порядке, то и слава богу.

- Что с вами делать! Устанавливайте, я не могу вмешиваться в ваши дела. Но мнение-то я могу иметь? Считаю, что напрасная трата трудов и времени.

- Спасибо, Григорий Иванович, - облегченно вздохнул Белоусов. Значит, с этим утрясено, улажено. А я и ребяток с собой привез. Фактически пост уже установлен. В саду. Никто и знать ничего не будет.

Перед сном Белоусов и Котовский вышли на крыльцо, хотелось полной грудью вдохнуть напоенный запахами цветов и трав благодатный уманский воздух. Составил им компанию и Фокс - самый серьезный пес, какие только водились на свете.

Ночь была великолепна. Сверкало в небе такое количество ярких, как бы мигающих звезд, как будто прибыло новое пополнение. Деревья стояли темные, недвижные, не шелохнулся ни один листок. Задумались они о чем или спали?

- Когда только люди научатся пользоваться такой благодатью! Ведь красота-то какая! - тихо, будто боясь разбудить уснувшие деревья, произнес Белоусов.

- А все-таки они там, значит, обо мне помнят, - удовлетворенно пробасил Котовский. - Специально засылают, так сказать, именные банды диверсантов. Лестно.

10

И жизнь пошла своим чередом. Сады цвели, люди трудились, отдыхали, строили планы, мечтали, любили, радовались, печалились, растили детей, сооружали дома,

прокладывали дороги, жили.

Как всегда, Котовский просыпался в пять утра. Делал гимнастику, обливался водой. Затем отправлялся на городской стадион, построенный по его настоянию и при его живейшем участии. По дороге не пропускал ни одного дома, где жил или штабной работник или служащий уманских учреждений.

Котовский стучал в окна и торонил:

- Засони! Все на свете проспите! Давайте, давайте, жду на стадионе, пора делать гимнастику! Смотрите, какая погодка! А вы и окна позакрывали, как только терпите такую духотищу!

- Встаем, Григорий Иванович, - отзывались заспанные голоса. - Ох уж этот Григорий Иванович! Как петух на заре поет! Идем, идем, Григорий Иванович! Одна нога здесь, другая там!

Так начинался день в Умани. А потом шло одно за другим - и все казалось срочным и неотложным. Котовский следил за ходом обучения призывников, наведывался и на курсы штабной службы, где подготавливались штабные работники. Не оставалась без внимания и корпусная школа младшего комсостава. Котовский шефствовал над школой сельской молодежи под Уманью. Настойчиво советовал им изучать агрономическую науку и цитировал высказывания Ленина относительно перестройки сельского хозяйства на социалистической основе...

Словом, дел хватало, и все дни были заполнены до отказа. И никогда не видели Котовского усталым, невнимательным, бездеятельным. Он все делал со страстным увлечением и своей стремительностью увлекал других.

Ольга Петровна всегда умела улучить момент, чтобы зазвать к себе домой и покормить дежуривших посменно круглые сутки военных, одетых в штатское. Белоусов же поселился в общежитии красных командиров, питался в столовой повторных курсов и старался как можно реже появляться у Котовских.

Через некоторое время он пришел сияющий и довольный. Им получено приказание пост снять, оставить только наблюдение за приезжающими в Умань лицами, поручив это местным работникам.

Как будто инцидент можно было считать исчерпанным. Но тревога осталась. Особенно беспокоилась Ольга Петровна. И главное, она чувствовала свое полное бессилие. Что она может сделать? Что предпринять?

А Григорий Иванович вскоре перестал и думать о сообщенном Белоусовым. Допустим, что банды засылались. Ну и что ж такого? Их выловили. Да и сам Котовский достаточно владеет оружием. А если говорить про опасность, так она сопровождала Котовского неизменно. Вся его жизнь - опасность. Нельзя же поминутно оглядываться.

- Если так рассуждать, - говорил Котовский, - то вообще нет человека на свете, которого не подстерегает опасность. Как ты считаешь, Леля? Тебе это особенно видно, ты врач. Идет человек, споткнулся, вывихнул ногу.

- Положим, это еще не смертельно.

- Да, но с вывихнутой ногой он или попадет под машину или не успеет эвакуироваться... За каждым углом нас подстерегает какая-нибудь зараза, бацилла какая-нибудь, на первый взгляд - тьфу, мелочь, не стоит обращать и внимания, а конец будет неизвестно еще какой.

- Для того-то и существует профилактика, - наставительно пояснила Ольга Петровна.

- Ваш брат - медицина - на все случаи придумает словечки. Профилактика, диагностика... Я ведь только хочу сказать, что на каждый чих не наздравствуешься. А думать об этом да ждать - это все равно что на фронте каждой пуле кланяться: обязательно и убьет.

Поговорили, и ладно. Жизнь шла своим чередом. Сады цвели, люди трудились.

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Немало времени прошло с тех пор, как Марков увидел бывшего своего друга Женьку

Стрижова в ресторане "Кахетия", увидел - проникся к нему жалостью и решил непременно побывать у него и попробовать наладить отношения.

"Надо отремонтировать нашу дружбу! - неоднократно говорил себе Марков. - Может быть, даже наложить заплаты, но так вот отмахиваться, вычеркивать человека нельзя".

Однако всякий раз, как намечал он это несложное мероприятие, обязательно что-нибудь мешало. А ведь так просто - пойти на Фонтанку, войти в знакомый-презнакомый двор, где столько раз бывал, где знает и помнит все-все: и ржавые брусья, сваленные в углу рядом с кучей битого кирпича, и поленницы дров - много и каждая на особицу, потому что каждая принадлежность такого-то жильца такой-то квартиры... Марков даже знал, что, если пройти этим двором, окажется поворот, затем как бы вторые ворота уже другого дома, затем площадка, где выбивают ковры, сушат матрацы и стеганые одеяла, затем опять длинный узкий двор, по которому выйдешь совсем неожиданно к Александрийскому театру. Марков помнил все изгибы и повороты этого проходного двора, так же отлично помнил темную лестницу, пахнущую котами, дверь, обитую клеенкой...

Настал 1924 год. И тут отодвинула все другие дела и помыслы смерть Владимира Ильича Ленина. Неожиданная встреча на Московском вокзале с Крутояровым, траурный день, проведенный ими в Москве... а затем томительный вечер в столовой у Крутояровых... Грустили, говорили о Ленине... Все это сроднило Маркова с Иваном Сергеевичем... и опять заслонило воспоминания о Евгении Стрижове, о тех днях, когда они, бывало, не разлучались.

Напомнила о Стрижове, и весьма решительно, Надежда Антоновна:

- Что это у вас не видно того симпатичного паренька, он у вас часто бывал. Уехал куда-нибудь? В командировке?

Спросила и так посмотрела на Маркова, будто насквозь пронзила. Казалось бы, вопрос самый невинный, но почему же Марков вдруг покраснел?

- Видите ли... - хотел он объяснить, но ничего не придумал веского, убедительного: он ведь и сам не разобрался, что произошло. Ах да! Нэп! Но как объяснить это Надежде Антоновне, ведь она, как хороший музыкант, малейшую фальшь в интонации почувствует.

Марков, смутившись и покраснев, возмутился своим криводушием:

"Что я, трус? И разве я не прав, что порвал со Стрижовым?"

- Видите ли, Надежда Антоновна...

- Да?

- Он водку стал пить... а я не выношу пьяных...

- Водку стал пить? С чего бы это?

- Тут сложная история... Если в двух словах - он в революции разочаровался.

- Что-о? В революции?! Ничего не понимаю. Да ведь он, Оксана рассказывала, участник гражданской войны? Участвовал в разгроме Колчака? Воевал в рядах чапаевцев? Почему же разочарование в революции?

- Нэп, нэп его возмутил... Не нэп, а нэповщина. Он, знаете, впечатлительный, ему показалось...

- Да вы приведите его сюда! Потолкуем, Ивана Сергеевича пустим в ход - тяжелую артиллерию... Когда вы его видели в последний раз, этого чапаевца?

Марков всегда считал себя честным, правдивым. Но тут он покривил душой:

- Да в тот самый день, когда мы праздновали выход моей книги.

Это была явная ложь. Он понимал: Надежда Антоновна спрашивала не о том, а о его разладе со Стрижовым.

На следующий день Михаил Марков шагал по набережной Фонтанки, любуясь на кроны тополей, хорошеньких, подстриженных ершом, похожих на кокетливых краснофлотцев, собирающихся на танцевальный вечер. Из кармана Маркова торчала книга, его собственная, с заранее заготовленной надписью наискось на титульном листе: "Дорогому Евгению Стрижову от автора. Дружба не ржавеет".

Марков шагал по набережной Фонтанки и размышлял о разных разностях: о том, что надпись на книге звучит иронически, так как дружба у них изрядно проржавела... о том, что

неизвестно, как его встретит Стрижов, не покажет ли ему на дверь.

"Как должен я поступить в этом случае? Повернуться и уйти? Пробовать урезонить?"

Марков решил, что если Стрижов выгонит его, то он не пойдет на ссору и скажет по возможности мягко: "Евгений! Я ухожу, но считаю тебя по-прежнему другом". Нет, глупо! Лучше так: "Евгений! Не забывай, что мы, кроме всего, сверстники и участники незабываемых боев гражданской войны..." Тоже неудачно и невероятно длинно, надуманно, книжно! Самое разумное крикнуть: "Женька! Не дури! Все равно ведь придешь извиняться..."

Так, ни на чем не остановившись, Марков подошел к клеенчатой двери и позвонил.

2

- Кого я вижу! Мишенька! Сколько лет, сколько зим! До чего же я рада вам!

Анна Кондратьевна захлопотала, заохала, уж она и разглядывала Маркова со всех сторон, и похлопывала его, и восхищалась его костюмом, прической, уверяла, что он возмужал, похорошел, и все это со всей искренностью, со всем радушием.

"Какой я был идиот, что столько времени сюда не шел! И что за дрянная привычка считаться только с мужчиной, "главой дома", и уж если ты порвал с "главой", то само собой разумеется, что ты порвал со всеми его чадами и домочадцами. А разве у меня нет самых сердечных отношений с чудесной Анной Кондратьевной? Но мне и в голову не пришло навестить ее, хотя бы послать открытку и поздравить, допустим, с Новым годом. Скотина я, вот кто!"

Марков уселся в очень знакомое, в каком не раз сиживал, старомодное кресло, вероятно, еще из приданого Анны Кондратьевны, и заговорил о своих делах.

Опять взрыв восторгов, одобрения, похвал. Но странно, она ни слова не сказала о Евгении.

- А что, - осторожно спросил наконец Марков, - Евгений еще в институте? Все человеческие недуги изучает?

- На заводе он! Какие там недуги, он давно уже медицинский-то бросил. А вы что, разве не знали?

- Видите ли... мы с ним давненько не встречались...

- А-а! Тогда вы ничего не знаете. А у нас много всякого было.

Анна Кондратьевна придвинулась ближе и громким шепотом стала рассказывать:

- Совсем ведь было свихнулся парень, пить начал, сколько я слез пролила. Никогда у нас в роду такого не водилось. Пить, пить стал, самым настоящим образом! Придет пьяненький и начнет каяться да всякую ересь молоть...

- Вы знаете, Анна Кондратьевна, из-за этого у нас и дружба пошла врозь, откровенно говоря. Неприятно как-то...

- Вполне понимаю вас! Кому удовольствие с пьянчугой да забулдыгой якшаться? А я - мать...

- И во взглядах у нас несогласие. Он говорит, у него разочарование в революции получилось, что революция на попятный пошла, перед буржуазией капитулировала. Анна Кондратьевна, каково мне было слушать? Я хоть и недоучка, может, в чем и не разбираюсь, но я вырос на том... Понимаете, Анна Кондратьевна? Для меня Родина - революция, а революция - Родина. В общем, трудно это объяснить...

- И объяснять не надо, я и так понимаю. Что-то святое должно быть у человека. Устойчивость.

- Совершенно верно. И вот - так все и случилось. Спорить мы не спорили, да я и не умею. А стало нам не о чем говорить... все реже стали видеться... так и оборвалось...

- Вот оно что! А мой-то ведь молчал. Ничего про то не рассказывал... Вон какая история!

- Да... Так и шло...

Маркову удивительно легко было рассказывать и во всем признаваться этой милой женщине с грустными глазами. Даже легче, чем Евгению. И Марков испытывал

удовольствие от того, что говорил со всей прямотой, не щадя ни Евгения, ни своего самолюбия. Некоторые обстоятельства ему самому стали ясны только теперь, когда он объяснял другому.

- Меня упрекали, - продолжал он свою исповедь, - говорили, что нельзя отдергивать руку, если человек падает в пропасть. Справедливый упрек. Малодушие? Малодушие! Но видите ли, Анна Кондратьевна, здесь есть еще одно обстоятельство, которое мне трудно вам объяснить...

Марков имел в виду свой творческий замысел. В самом деле, этого не объяснить, не рассказать. Для самого-то Маркова было тут много неясностей. Он часто размышлял об этом. Считал первой своей ошибкой, что надумал конкретного человека, живущего рядом, подвергающегося всяким случайностям, мало того, далеко еще не сложившегося, - вдруг сделать героем книги. Какая наивность! Какая неопытность! Стрижов может, например, простудиться, заболеть и умереть. Может попасть под трамвай. Может утонуть, купаясь в реке. Между тем герой художественного произведения хотя и совсем настоящий, совсем такой, как в жизни, но вместе с тем совсем не такой! Писатель - вовсе не фотограф, и писательский труд куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это Марков почувствовал, приступив к писательской работе!

И еще было одно соображение: Марков страшно обиделся, что его герой ведет себя не так, как должен вести по замыслу автора. Марков хотел изобразить Евгения Стрижова совсем-совсем обыкновенным. Мальчик. Читает книжки, взятые из библиотеки. Катается на коньках. Огорчает маму, нахватав троек по геометрии... И вдруг этот почти еще мальчик - становится мужчиной, едет на фронт, никаких особенных подвигов не совершает, но не хуже других сражается, не менее других храбр, воодушевлен. Происходит сражение, о котором впоследствии будут писать, которое войдет в историю. Герой Маркова опять ничем особенным не выделяется. Такой, как все. Маркову именно хотелось провести эту мысль: не хуже и не лучше, но всем им безыменным, обыкновенным - вечная слава и благодарность народа, потому что все они - безыменные, обыкновенные - удивительные герои, вставшие на защиту правды на земле. Презренны те, кто попрятался в норы, кто отсиживался, уверяя, что не в его характере рисковать собой. Таков был первоначальный план Маркова. И весь этот план перечеркнул сам герой произведения, сам Женька Стрижов, споткнувшись, оказавшись неустойчивым, принявшись бить себя в грудь кулаком и кричать: "За что боролись!"

Время шло. Разочарованный романист порвал со своим героем. А мысль работала. Ее не остановить. Вдруг, неожиданно для самого себя, Марков подумал:

"А почему бы мне не взять Стрижова от сих до сих, а дальше сделать своего Стрижова, какой мне кажется наиболее типичным для нашего времени? Могу же я делать такого Стрижова, какого мне надо, а не списывать в точности, буква в букву, с житейского подстрочника?! С другой стороны, почему бы моему герою и не ошибиться? Чего я, собственно говоря, так переполошился? Почему у него не может быть какого-то изъяна? Разве все сразу разобрались что к чему? Может быть, именно это и поможет создать убедительный образ? Может быть, именно это и будет типично?"

Одним словом, Марков много раз обмозговывал все то, что являлось предметом споров в литературной среде того времени. Там тоже говорили о положительном герое. Некоторые настаивали, что надо обязательно показать какую-нибудь червоточинку, потому что не существует идеальных людей, следует избегать лакировки, нельзя писать двумя красками - черной и красной, и так далее в этом же роде. Другие им возражали.

Итак, Марков готов был принять облюбованного им героя со всеми его недостатками и приговаривал:

- Полюбите нас черненькими. Беленькими-то всякий полюбит.

Но тут же сам себе возражал:

- Не люблю черненьких! И не буду любить. С какой стати?

Дальше шли его размышления:

"Вот взялся бы я, например, написать роман, где главное действующее лицо -

Котовский. Неужели понадобилось бы выискивать, нет ли чего-нибудь в этой светлой личности плохого, хотя бы маленьких отрицательных черточек? Некоторые упрекали его в партизанщине, другие отмечали его вспыльчивость. Но я-то сам прошел все военные дороги под водительством Котовского, сам наблюдал повседневно этого удивительного человека - и не могу сказать о нем ничего плохого. Дай бог каждому походить на него! Водятся на свете этакие соглядатаи, мелкие душонки, которым нет большего удовольствия, как сказать пакость про хорошего человека. "Иван Иванович, говорите, премилый? Да от него жена сбежала. Петр Петрович талантлив? А как он пьет! Мопассан? А чем он был болен? Достоевский? Читал я, как он в рулетку проигрывал женины браслеты!"

...Анна Кондратьевна смотрела на Маркова благожелательно, слушала, говорила со всей искренностью. Марков тоже хотел быть вполне искренним, но оказался в затруднении: он не сумел бы пояснить ей всех своих сомнений, может быть, несколько смешных поползновений не попросту дружить с Евгением, а рассматривать его как некий экспонат и сердиться, что Евгений не совпадает с эталоном. Да и вряд ли она поняла бы его путаные рассуждения. И он просто сказал:

- Можно сердиться, можно спорить, но дружбой кидаться нельзя. Я кругом виноват. Разыгрываю чистоплюя! Не нравится что - скажи. Пьет? Ругай его. Ты не поп, чтобы отпускать грехи, но и не прокурор, чтобы клеймить преступника. Вы видите, я и сам-то себя не понимаю. Но Женька мне друг, и я, несмотря ни на что, пришел. Вот. Книгу принес. С автографом. Мою.

- Спасибочко. Сами написали? Подумать только! Мне бы сроду не написать. Заявление писала недавно в жакт, что дрова у нас крадут, и то намучилась.

- Да. Так вы говорите, медицинский бросил? Ушел на завод? Плохо.

- Уж не знаю, плохо или хорошо. Мне-то хотелось, чтобы он по стопам отца шел. А детки не всегда по стопам-то ходят.

- Что ж это он? Без специальности? Чернорабочим?

- Что вы, голубчик мой! - замахала Анна Кондратьевна на Маркова руками. - В технику ударился, днем работает, вечером учится. Да он сам все расскажет, вот-вот обедать прибежит.

- Как же его держат на заводе, если вы сами говорите, что он пьет?

- Я говорю? Очкнитесь, батюшка! Женя в рот не берет проклятущей этой водки. И в доме не держим.

- Вот те на! Да вы только что сами же сказали...

- Сказала. Пил. Вы что же, совсем ничегошеньки не знаете? Называется, дружок! Пил, безобразничал, с отпетой шпаной водился. "Все равно, мама, жизнь пропала!" А я ему все нашатырного спирту нюхать давала, не нравилось, отворачивался, а я ему: "Нюхай, несчастный!" И все это шло до самого дня, когда нас горе постигло.

- Горе? - дрогнувшим голосом спросил Марков.

- Горе. Владимир Ильич скончался. Великое горе. А надо сказать, Евгений-то сильно Ленина уважал. Как громом нас ударило. Опасалась - руки на себя наложит. "Мама, кричит, презирайте меня, предатель я, последний я человек". Думала я, ну, теперь окончательно покатится сынок под горку, не остановишь. А вышло наоборот. Весь день где-то шатался, я, конечно, по своей дурости полагала - по кабакам. Пришел серьезный такой, молчаливый. "Мама, я в партию записался. Многие сейчас в партию вступают, Ленинский призыв". - "Ну что ж, говорю, сыночек, поступай, как совесть подсказывает, только привычки-то у тебя больно беспартийные". - "С этим, мама, покончено. Дурь, говорит, на меня напала, а теперь все выветрилось". Пришли его "жоржики" приглашать на танцульку, а он их за дверь выпроводил: "Я, говорит, больше вам не компания"... Вот как у нас!

Марков сидел в оцепенении. Всего он ожидал: и жалоб, и слез, и проклятий по адресу непутевого сына, но только не того, что рассказала Анна Кондратьевна. Она замолкла, смотрела на него торжествующе и была несколько обижена, что он не выразил радости по поводу внезапного превращения Жени.

Наконец Марков пришел в себя. Буря мыслей, чувств пронеслась у него в голове. Он бросился к Анне Кондратьевне, обнял ее, расцеловал и только бормотал:

- Анна Кондратьевна! Анна Кондратьевна! Что же это такое?..

- Значит, рады?

- А как же! И главное, Анна Кондратьевна, какой сюжетный поворот, это же чудо! Самому бы никогда не выдумать.

3

Может быть, Марков долго бы еще кричал, вопил и силился объяснить Анне Кондратьевне законы сюжета и значение сюжетных поворотов, но в этот момент раздался звонок.

- Батюшки, а я и суп не поставила подогревать, заговорилась с вами... Пришел, пришел мой сыночек! Ключ, что ли, забыл? Чего звонит?

С этими возгласами Анна Кондратьевна бросилась открывать дверь, но вместо Евгения в квартиру ввалилась шумная компания юнцов.

- Куда вы? Куда вы? Говорю же, нет его дома!

- Ничего, бабуся, над нами не каплет, обождем.

- И ждать нет никакой надобности!

- Как же вы говорите, его нет, а это кто за столом сидит?

- Эжен! Или это не он? Пардон, боку бонжур, фрикасе! Ха-ха-ха!

Вся орава ввалилась в комнату и стала поочередно представляться Маркову:

- Ричард.

- Роберт.

- Мэри.

- Познакомимся: Марков.

- Не сердитесь, бабуся. Но Эжен нам нужен как воздух. Не обращайте на нас внимания, занимайтесь своим хозяйством, штопайте чулки и тэ-дэ и тэ-пэ. Мы как-нибудь займемся сами!

Марков разглядывал их. Их было пятеро. Две девушки, обе молоденькие, тоненькие, обе поражали обилием косметики на лице и противоестественными манерами. Можно было подумать, что они пародируют кого-то или невозможно переигрывают, изображая отрицательных, идеологически невыдержанных героинь из современной пьесы. Прически у них были ошеломляющие, с челкой и крутыми зачесами на ушах, походка вихляющаяся, платья до того короткие, что нельзя было ни нагнуться, ни сесть. Вначале Марков не расслышал, но из разговора понял, что одна из них - Мэри, а другая - Зизи. Двое молодых людей отрекомендовались Ричардом и Робертом, а третий оказался и вовсе без имени, он отзывался на кличку "Мабузо".

Марков смотрел на них с откровенным изумлением, ему не случалось встречать ничего подобного. Мабузо, в желтом свитере, в ярко-желтых ботинках, с подбритыми бровями на мелком незначительном лице, произвел на Маркова особенно сильное впечатление. Он ломался, неизменно награждаемый дружным смехом, коверкал русские и иностранные слова, придумывая какой-то "запрокидончик", "дундук", вместо tete-a-tete говоря "теточка с теточкой", а вместо "здравствуйте" - "дайте пять".

Роберт - долговязый, прыщавый - сам ничего не выдумывал, и роль его ограничивалась тем, что он при каждом трюке Мабузо дико хохотал. Ричард же молча, сосредоточенно щипал девочек и с удовольствием слушал, как они визжали.

- Do you smoke? - обратился Мабузо к Маркову.

- Вы спрашиваете, курю ли я? Нет, не курю.

- Какое разочарование! - паясничал Мабузо.

Долговязый Роберт дико захохотал, схватил яблоко из вазы, стоявшей на столе, и стал его грызть.

- Смотрите, смотрите, он ест яблоко! - вскричала Зизи.

Долговязый Роберт схватил книжку Маркова, прочел надпись, строго спросил:

- Писатель?

И, не дожидаясь ответа:

- Мабузо! Честь имею представить: твой коллега.

- Интэрэсно! - отозвался Мабузо. - В самом деле?

Повертел в руках книжку Маркова:

- Дивно! Сколько получили монет?

- Существуют ставки, - нехотя ответил Марков.

- Сек-рет? I understand you! Понятно!

- Хо-хо-хо! Уж Мабузо скажет так скажет!

- А вы стихов не пишете? - полюбопытствовала Зизи.

Ричард ущипнул ее, она взвизгнула.

- Милорды! А мы опаздываем! - посмотрел на часы Мабузо. - Эжен Эженом, а нам пора маршеном!

- На дорожку прочел бы свои стихи. Вот и товарищ бы послушал.

- Нет настроения.

- Вам нравится Шершеневич? - снова обратилась к Маркову Зизи.

- De gustibus disputandum! - пожал плечами Мабузо и специально для Маркова перевел: - О вкусах не спорят.

- По-моему, спорят, - ответил Марков.

- Например, вы за что: за примат формы или за примат содержания? Сейчас требуют поэзии пресса и молота. Вы согласны, что литература гибнет?

- Не согласен.

- Все ясно, как апельсин. I understand you! Деточки! Потопали! Бабуся, передайте вашему отпрыску, что, если надумает, сегодня у Шаповаловых сбор. Скажите, и Стелла будет.

Как появились внезапно, так внезапно и исчезли. Несколько минут с лестницы доносились визги, крики, дикий гогот долговязого Роберта. Потом все затихло.

Марков и Анна Кондратьевна некоторое время молчали, ошеломленные этим вторжением. Потом Анна Кондратьевна подняла с пола огрызок яблока, брошенный Робертом, и положила его в пепельницу.

- Шалые, - вздохнула она. - Вот уж шалые!

- Это что же, бывшие приятели Евгения? - спросил Марков.

- Эти еще не из худших, тут к нему и вовсе никудышные ходили, по-моему, даже и из тех... Я все за шубы боялась, что шубы стащат.

- Почему у них имена какие-то странные?

- Ничего не странные, напускают они на себя. Например, Зизи. Вовсе она даже и не Зизи, а Зинаида Куропятова, я и ее мать знаю. А вторая так, потерянная душа. И Роберт не Роберт, а Федя Миронов, сын гостинодворца.

- А Мабузо?

- Мабузо - это Игорь Стеблицкий. Не как-нибудь, сын известного профессора...

- Что, правда он стихи пишет?

- Да какие это стихи? Срамота одна. "Шулы-булы, карабулы"... Наслушалась я их. И до чего народ упрямый. Женя их сколько раз выгонял, все лезут! Особенно Игорь, этот самый Мабузо. Я, кричит, новатор, новое течение изобрел! А Евгений книжку вытащил: вот, смотри, где твое изобретение - в девятнадцатом веке сделано! Очень сильно объяснялись они.

4

- О чем шумите вы, народные витии? - вошел Евгений Стрижов, совсем не тот, что был, совсем непохожий Стрижов. - Я еще на лестнице слышал...

Друзья обнялись, никаких объяснений у них не последовало, заговорили так, будто вчера только расстались. Марков сел с ними обедать, а уж до чего Стрижов книжке обрадовался:

- Вот это да! Вот это отколол номер! Я видел, читал, даже купил твою книжечку - вот она! Но это совсем другое дело - с надписью! А я ведь часто о тебе думал. О том, какую книгу следует тебе написать. Конечно, трудно будет, но если поднатужиться, потрудиться в поте лица...

- Ты разговаривай, а сам ешь в поте лица, - пододвинула ему тарелку Анна Кондратьевна.

- Какую же книгу?

- О самой сути: о всех нас.

- Хватил! О всех нас еще сто лет писать будут и материала не исчерпают.

- Пускай себе пишут, в добрый час. А ты не через сто лет, а сейчас, не откладывая, напиши. Мама, я супу больше не хочу, не подливай. Что у тебя еще? Котлеты? Вот это дело! Я тебе очень советую, послушайся меня.

- Советуешь, а сам даже рассказать не можешь, о чем же советуешь написать. Разве так советуют? Хочешь, сознаюсь? Я уже давно задумал - о тебе роман написать.

- Ну-у, брат!..

- А что? По-моему, так интересно.

- Нет, брось ты чудить, давай серьезно. Слушай меня. Значит, так. Я тебе все с самого начала. Наша эпоха. Ленин. Понятно? Или нет, я начну издалека. Вот Михаил Васильевич Фрунзе. Почему он разгромил Колчака? Изучил обстановку. Все продумал. Сосредоточил всю силу в один пункт, в одну точку. Так?

- Так.

- И нанес сокрушительный удар. Вот и книгу назови "Сокрушительный удар".

- Никто и читать не станет книги с таким названием!

- А как лучшие произведения называли? Самым простейшим образом: "Дым", "Обрыв", "Война и мир", "Маскарад". Чем хуже - "Сокрушительный удар"!

- Значит, ты предлагаешь написать роман о Фрунзе? Я так тебя понял?

- И так и не так. Я тебе один пример привел. А вот второй: Котовский с горсточкой людей захватывает Одессу, десятками берет в плен генералов, тысячами солдат и офицеров...

- Понимаю, не объясняй: произвел разведку, установил обстановку, точно рассчитал и нанес сокрушительный удар. Так?

- Так.

- Значит, ты мне рекомендуешь еще раз написать "Искусство побеждать"?

- Ни черта ты не понял. Знаешь, как Ленин предупредил ЦК партии: двадцать четвертого октября совершать переворот слишком рано, двадцать шестого октября - слишком поздно. Было выбрано двадцать пятое октября семнадцатого года. Теперь я все тебе сказал. Напиши роман о коммунистах, роман о советском народе, об Октябре, о новой эре человечества.

- И все сразу охватить? Этого не сумел бы сделать даже Лев Толстой.

- Он, конечно, не сумел бы. А ты должен суметь.

Такая решительность рассмешила не только Маркова, но и Анну Кондратьевну. Евгений посмотрел-посмотрел на обоих и тоже начал хохотать, даже вилку уронил на пол.

Но вот он перестал смеяться. Марков еще раз выслушал рассказ о том, как смерть Ленина заставила Стрижова одуматься, понять свои заблуждения и резко изменить жизнь.

- Не могу себе простить, что был таким дураком, не разобрался в очевидно ясной вещи! Ну ничего. Бывает. Ум за разум зашел. Теперь все. На всю жизнь. И знаешь: я счастлив.

- Ты мне еще не рассказал, на каком заводе работаешь.

- На ленинградском.

- А-а, понимаю. На энском?

- Вот-вот.

- И делаете вы энские изделия для военных целей. Понял, больше вопросов нет.

- Нас недавно Фрунзе навещал. Хвалил.

- Анна Кондратьевна, а что же вы поручение не выполняете?

- Какое еще поручение?

- Мабузо наказывал.

- Мабузо? - нахмурился Стрижов. - Опять они приходили?

- И просили тебе сообщить, что сбор сегодня у Шепетиловых или Шепталовых...

- Ну-ну. У Шаповаловых.

- И что будет Стелла.

Марков нарочно все это преподнес, чтобы посмотреть, как отнесется Евгений и прочен ли его разрыв с этой компанией.

- Ничего у них не выйдет, не пойду. Да и некогда мне, у меня курсы.

- А Стелла? - посмотрел Марков испытующе на друга.

- Стелла подождет. Кстати, никакая она не Стелла, а Сима, значит, Серафима. Ерундят ребята.

Марков заметил, что Анна Кондратьевна при упоминании Стеллы поджимает губы и осуждающе молчит - дескать, я не одобряю, а там дело твое. А Стрижову явно не безразлична Сима-Стелла, видно по всему, хоть он и старается не показать это. Марков усмехнулся: кажется, попал в точку. Что ж, если Стелла хороша и нравится Евгению, так тут возразить нечего, а матери... матери всегда считают, что все жены не достойны их прекрасных сыновей.

Стрижову пора было отправляться на курсы.

- Технику изучаю. Нашел свое призвание.

Марков проводил приятеля, и тот по старой привычке всю дорогу декламировал.

- Значит, стихам не изменил?

- Я не понимаю людей, которые уткнутся в технику и отрицают поэзию, литературу, музыку. Где же еще и учиться взлетам фантазии и вдохновению?.. Ну, так тебе куда? Направо? Жму руку, дружище. Скоро навещу.

5

Он сдержал слово и вскоре появился на Выборгской, в квартире Крутоярова. И пришел не один. С Орешниковым!

- Где вы познакомились? - встретил их Марков.

- Как где? Вот это вопрос! Николай Лаврентьевич? Да он у нас на заводе как дома, их заказы-то выполняем. А Иван Сергеевич дома?

- Сейчас выясним. Оксана! Принимай гостей!

В комнате послышался голос Оксаны: "А-а, пропащая душа! Ну-ка, ну-ка, где вы тут?" А Миша пошел к Крутояровым.

Надежда Антоновна встретила его у порога и шепнула:

- Ну как? Будем перевоспитывать юного чапаевца?

- Да нет, он уже, кажется, выправил линию. Все в порядке.

Иван Сергеевич, видимо, прилег вздремнуть на диване (он говорил: "Люблю спать в неудобной позе и невзначай!"), но услышал голоса и явился в своем великолепном, с кисточками, халате.

За ним, важничая и лениво потягиваясь, проследовал почтеннейший кот Мурза. Он щурил глаза и всем своим видом выказывал недовольство, что их с Иваном Сергеевичем потревожили.

И конечно же, всех потащили в крутояровскую столовую, за большой овальный стол с низко висящим над ним сиреневым абажуром. И конечно же, Надежда Антоновна быстро организовала чай.

Стрижов улучил момент, чтобы сообщить Маркову:

- Нарочно притащил этого человека. Видал он всего перевидал! Ты непременно познакомься с ним - материалов получишь кучу!

- Ты чудак, Евгений, - так же тихо ответил ему Марков. - Николая Лаврентьевича я, наверное, лучше, чем ты, знаю. А насчет материалов - так разве же я сумею охватить такие горизонты?

- На это, милый человек, всегда отвечают: "А разве Лев Толстой был женщиной, а какая у него Каренина?! Разве Жюль Верн плавал под водой?"

- Ничего себе мерка: меньше, чем Толстой, ты и не представляешь размаха!

- Дерзать надо!

- Чего вы там шепчетесь?

- Ругаю его, - пояснил Стрижов, - и велю дерзать.

- Дерзать? Надо! - подхватил Крутояров и с увлечением стал развивать эту мысль.

Затем общим вниманием завладел Орешников. Он рассказывал о Деникине, о белых. У него был острый глаз и большая наблюдательность, рассказы его захватили всех. Крутояров буквально набросился на него, выспрашивая, выпытывая, поощряя.

- Да у тебя тут конкуренты, - встревоженно пробормотал Стрижов, наклоняясь к Маркову. - Пока ты думаешь да примеряешь, Иван Сергеевич уже двадцать раз напечатает рассказ...

Но вскоре Стрижов пристыженно переглядывался с приятелем. Никогда не следует спешить с выводами! Крутояров прямо обратился к Маркову:

- Михаил Петрович! Ваша тема, мотайте на ус!

Орешников смутился и сразу стал менее красноречив, стал говорить вычурно, тщательно подбирать слова. Вскоре всем стало неинтересно и даже неловко за рассказчика.

Крутояров знал, как рискованно говорить людям, что их слова, их жизнь, их непосредственные живые рассказы могут превратиться в материал для художественного произведения. Часто бывает достаточно сообщить, что здесь присутствует писатель, чтобы нарушить всю прелесть беседы.

Крутояров попробовал исправить свою оплошность:

- Вы не совсем правильно поняли меня, Николай Лаврентьевич. Марков не собирается идти по стопам Булгакова и писать "Дни Турбиных". Но он, вероятно, соберется когда-нибудь написать о Котовском. И ему полезно послушать ваши интересные рассказы об Одессе, о белогвардейщине, а также о ваших встречах с Григорием Ивановичем.

- Я так и понял, - скромно ответил Орешников и стал рассказывать о своем Вовке, который каждый день удивлял все семейство необыкновенными суждениями и поступками.

Крутояров видел, что Орешников умышленно перевел разговор на другое, и тогда начал сам рассказывать о своих поездках на фронт, о встречах с самыми разнообразными людьми. Рассказал, как они однажды напоролись на разъезд белых. И незаметно тоже добрался в своих повествованиях до Котовского.

- Закон войны: старайся, чтобы тебя не убили и чтобы побольше убить врагов. Но в гражданской войне появился новый вариант. Я сам присутствовал при удивительной сцене, когда привели пленного деникинца и Котовский стал на него кричать: "Ты в кого же стрелял, такой-сякой? В такого же, как ты, бедняка? Может, в соседа, с которым каждый день сиживал под яблоней? Кого защищал? Пана-помещика? И не совестно тебе нам в глаза смотреть?" Что же вы думаете? Дали парню коня да клинок, и стал он заправским красным кавалеристом.

- Таких случаев сколько угодно было, - поддакнул Марков. Действительно новый вариант.

- Этому варианту и я - подтверждение, - улыбнулся Орешников.

Затем Стрижов рассказал, как его ранили, а он все порывался вернуться в строй, неловко было, что другие воюют, а он на койке валяется.

Потом стали говорить о литературе. Стрижов возмущался, что становится хорошим тоном ругать пролетарскую поэзию времен военного коммунизма. Она, видите ли, отвлеченна, она агитка, пустоцвет!..

- Неверно, ну неверно же это! - горячился он. - Она очень хорошо отражала настроение этих лет. Правда, она мыслила в мировом масштабе. Но и мы мыслили в мировом масштабе. Не забывайте, что мы подумывали об уничтожении денег, пробовали распустить налоговое управление, вводили бесплатность почтовых услуг... Это была романтика. Мы жили в

розовом тумане, усталые, нестриженые и небритые, мы были чисты мыслью и сердцем. Как же можно так быстро забыть все это? И поэзия была такая же, она отражала наши чувства, порывы, чаяния. Она не знала серого неба, не признавала полутопов. Честь ей и слава. Пришли другие дни. И правильно Алексей Николаевич Толстой призывает нас изучать революцию, предлагает художнику стать историком и мыслителем. Говоря словами поэта, "больше гордого дерзанья!". Это я, Миша, адресую к тебе.

По-видимому, Орешников и Стрижов достаточно хорошо узнали друг друга, общаясь на работе. Орешников благожелательно слушал Евгения и подбадривал его восклицаниями: "Так-так, Женя! Молодец, Женя!"

Крутоярову тоже понравилась защитительная речь Стрижова.

- Это все ничего, - говорил он, - это все утрясется, это все на пользу.

- Какая же польза цыкать друг другу и хватать за волосья? Дошло до того, что тридцать шесть писателей направили в адрес отдела печати ЦК протест против вздорного толкования слова "попутчик"!

- Да, и ЦК опубликовал предостережение не относить огулом всех попутчиков в лагерь буржуазной литературы.

- А вы читали статью Зощенко "О себе и еще кое о чем"? А "Отрывки из дневника" Пильняка?

- Два лагеря. Ну, и в запальчивости не разбирают, по какому месту ударить, лишь бы больней. Беседовал я как-то с Фадеевым. Молодой, высокий, говорит как в трубу трубит. А слова прочувствованные: "Нам, говорит, нужно выбирать, на чью сторону стать. Выбирать нужно потому, что этого требует совесть". Хорошо сказал. В пролетарские писатели зачисляются, как бойцы вступают в партию перед боем: "Прошу в случае моей смерти считать меня коммунистом". А тут еще Троцкий подсунул словечко "попутчик". Нехорошее слово, наделавшее много путаницы и вреда! Попутчик - значит, до поры до времени? Разве Алексей Николаевич Толстой до поры до времени? Шишков - до поры до времени? Федин - до поры до времени? И им, конечно, обидно. Тогда начинаются скидки, поправки: этот - левый попутчик, тот - поправее. Я вот, - несколько смущенно добавил Крутояров, - в левые попутчики попал. А кой-кого прямо в грязь топчут. Этот "буржуазный", тот "мелкобуржуазный", "сменовеховец". Некоторые крикуны доболтались до того, что вообще все культурное наследие нужно побоку... А в том лагере ударились в противоположную крайность: "Талантов много, только литературы нет!", "Будущее нашей литературы - это ее прошлое!" Или еще того беспринципнее: "Ни одна партия нас не привлекает. С коммунистами или против коммунистов? Ни так, ни этак, мы сами по себе!" Или еще: "Вредная литература полезнее полезной!"

Крутояров умел заразительно смеяться. А ведь умение смеяться - это тоже талант. Если он смеялся, то всласть, с наслаждением, и невольно все вокруг тоже начинали посмеиваться, каждый на свой лад, кто как умел.

Вдосталь нахохотавшись, так что слезы выступили на глазах, Крутояров добавил уже серьезно:

- Жизнь в двенадцать баллов, так и перехлестывает через край. Бывало и голодно, и холодно, и невмоготу, только я ни на какую другую эпоху наше время не променял бы!

Крутояров призадумался, как будто прикидывая, действительно ли нравится ему сейчас жить.

- Пройдет лет пятьдесят, и будут читать о наших днях, как о необузданной фантастике, не все и поверят, скажут: да разве можно выжить, получая осьмушку - восьмую часть фунта! - хлеба? Разве не анекдот, что в Петрограде на Выборгской однажды возникла группа коммунистов-футуристов "Ком-Фут" и они настаивали, чтобы этот самый "Ком-Фут" был зарегистрирован как партийная организация?! Может быть, будут смеяться, узнав, что комсомольская молодежь отказывалась носить галстуки, так как галстук есть украшение буржуя? Что чапаевцы отказывались от орденов, заявляя, что все они равны и в победе и в смерти?

Крутояров окинул всех торжествующим взглядом:

- А? Ведь хорошо? В замечательное время, товарищи, мы живем! В неповторимое! В чудесное!

- А дальше? - вдруг включилась в разговор безмолвствовавшая до сих пор Оксана. - А дальше хочется посмотреть? Дальше тоже хорошо будет, даже лучше.

- А мы и посмотрим! - бодро воскликнул Крутояров. - Даже я посмотрю, при моем почтенном возрасте. А уж вы-то... господи боже мой! - вы-то таких чудес насмотритесь! Завидую ли я? Завидую! Ну что ж делать!.. Еще в древности было сказано: как басня, так и жизнь, ценятся не за длину, а за содержание.

Восклицание было полно бодрости, но упоминание о короткой, как басня, жизни отнюдь не располагало к особенному оптимизму. Молодые почувствовали некоторую неловкость и даже вину, что они молоды и здоровы. Орешников сказал:

- Сколько я знавал безусых прапорщиков, совсем мальчишек по сравнению со мной, оставшихся лежать на полях сражений. С тех пор я отбросил прежнюю мерку жизни - возраст и здоровье. В наше время наибольшему риску подвергаются как раз самые молодые и здоровые.

- То есть призывники! - уточнил Стрижов.

Надежда Антоновна молчала. Беседа разладилась. Единодушно побранили ленинградскую погоду, обменялись мнениями о премьерах в театрах, о вышедших из печати произведениях и разошлись по домам.

6

Вот когда Марков понял, что такое писательский труд. Все казалось невероятно сложным. Марков часто приходил в отчаяние и намеревался все бросить и отказаться от своего замысла.

Целыми днями просиживал в прохладных тихих залах Публичной библиотеки. Со всех полок на него смотрела история. Давнее прошлое, седая старина соседствовала там с трепетными бурлящими днями нового времени. Многолетние и многотомные труды пребывали рядом со скорописью исповедей, объяснительных записок, опровержений...

Марков казался себе микроскопическим существом перед всей этой громадой ума и вдохновения. Выписки, цитаты... новые и новые книги... новые и новые названия... уточнения... разнобой мнений и оценок... факты, факты, какое множество фактов! Ими захлебываешься, и начинают расплываться контуры первоначального плана.

Несколько раз Марков изменял всю структуру задуманного романа. Попробовал составить список действующих в романе лиц. Вспомнил, как поступал Золя, сочиняя о каждом даже незначительном лице подробнейшие биографические очерки... Но это уводило в такие дебри, что пришлось бросить затею.

Встречаясь со Стрижовым, Марков непременно принимался обсуждать свой план, свои намерения. Но Стрижов предъявлял какие-то странные претензии, говорил общими фразами и, пожалуй, даже сбивал с толку.

Например, его мысль о сокрушительном ударе. Стрижов считал, что этой стратегией концентрации сил на важнейшем участке пронизана вся революционная жизнь, вся советская действительность. Ударные стройки. Ударные бригады. Нацеливание всех усилий на ту или иную важнейшую в данный момент область производства... В таких выражениях Стрижов излагал свою заветную мысль. А попробуй воплоти это в романе!

- Понимаешь, это - ленинский стиль работы, - объяснял Стрижов, ленинский метод руководства, ленинская стратегия и тактика.

Марков понимал. Но от понимания до воплощения идеи в образы, в поступки героев было огромное расстояние.

Крутояров, если с ним заговорить о своих замыслах, невольно начинал сам фантазировать и сочинять. Это были талантливые экспромты, но Марков совсем иначе чувствовал и иначе все представлял.

Всего легче было говорить о будущем романе с Оксаной. Ей все нравилось, ее все

восхищало. Она, увлекаясь, подсказывала вдруг такое простое и правильное разрешение задачи! Она не умела отвлеченно мыслить, сразу же все переводила на людей, на повседневное и даже приводила примеры из собственной жизни или из того, что попадало в поле ее зрения в поликлинике, в школе. Марков любил с ней советоваться, слушать ее.

Оксане жалко было беднягу: сидит ночи напролет, утром лицо вытянутое, глаза красные от утомления. Оксана спросит осторожно:

- Ну как?

Марков молча покажет на корзину для мусора, доверху наполненную скомканными листами.

- Вот. Тут вся четвертая глава. Ты помнишь Торопова? Я тебе рассказывал, у меня в романе будет такой Торопов. Комбат.

- Ну-ну. Конечно помню. Ты рассказывал, как он женится на телеграфистке, они встретились на фронте.

- Так вот, я хотел его женить, а теперь вижу, что не женить его, сукина сына, а расстрелять перед фронтом, ведь он какое дело прошляпил!

- Какое? - испуганно спрашивает Оксана.

- Там, по ходу действия, долго рассказывать. Замучился я с Тороповым. Главное, и мужик-то он неплохой...

Все эти муки и поиски, вся эта изорванная в клочья четвертая глава, все эти тревоги за несуществующего, выдуманного им же самим Торопова, все эти бессонные ночи, то отчаяние, то удачная находка, - все это и составляло теперь непередаваемое, ни с чем не сравнимое, огромное, как мир, счастье Михаила Маркова.

П Я Т Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Михаилу Васильевичу последние месяцы нездоровилось. Он крепился, не подавал виду, но особенно трудно было обмануть Софью Алексеевну. Михаил Васильевич преувеличенно громко смеялся, вовсю шутил, даже ел то, что врачи запрещали, чтобы показать, до чего он отлично себя чувствует. Абсолютно здоров! Но нет-нет да и морщился от боли.

Хворать было нельзя. Не хватало времени на хворь. Каждый час был дорог.

Троцкий не прекращал антипартийную возню. На XIII партийном съезде в мае 1924 года он поставил на голосование свою платформу. Не получил ни одного голоса. Ни одного! Хотя на съезде присутствовало 748 коммунистов. Но Троцкий не успокоился. Он сколачивал блок, устраивал секретные, подпольные совещания, мутил воду и никак не унимался.

В январе 1925 года Объединенный пленум ЦК и ЦКК собрался, чтобы обсудить поведение Троцкого. Пленум осудил новую вылазку Троцкого, всю его деятельность квалифицировал как попытку подменить ленинизм троцкизмом.

Выступления на пленуме были одно другого резче. Терпение коммунистов иссякало.

- Не хватит ли, товарищи? - говорили ораторы. - Не пора ли делать выводы?

И пленум снял Троцкого с работы в Реввоенсовете. Вместо него председателем Реввоенсовета СССР был назначен Михаил Васильевич Фрунзе.

Он переехал в Москву и немедленно включился в работу.

Москва была шумная. Михаилу Васильевичу она пришлась по нутру. Как ни был он занят, а все же понимал, что нельзя жить в Москве и не побывать в Третьяковке, нельзя хотя бы мимоходом, между двумя совещаниями, не махнуть на Тверскую, не посидеть за чашкой кофе на красном бархатном диване в кафе "Бом".

Однажды Фурманов привел к Михаилу Васильевичу Фадеева. Высокий, угловатый Фадеев носил кавказскую рубашку с ремешками и часто насаженными пуговками. Михаилу Васильевичу он понравился. Взглянешь на него - и поверишь, что может писать хорошо.

С актерами, художниками встречался Фрунзе. Был у Василия Каменского. Сердито слушал его "Танго с коровами", сердито спросил:

- А зачем, собственно, вы ломаетесь? Ну что это такое: "Жизнь короче визга воробья"?

При чем тут "оловянное веселие" и что это за собака плывет на льдине? Бред сумасшедшего! Писали бы просто.

- Нельзя, - ответил Каменский, подумав. - Ведь я все-таки футурист.

Фрунзе понравилось, как Каменский играет на баяне. Лицо становится задумчивым, голова наклонена набок, а тонкие пальцы так и порхают по клавиатуре.

Был как-то Фрунзе на "Жирофле-Жирофля" у Таирова. Весело, пестро, нарядно, глупо. В общем, ничего. Но Фрунзе больше любит оперу. "Пиковую даму" готов слушать снова и снова.

Как и в Харькове, у Фрунзе постоянно бывают его друзья и соратники. Приезжал Котовский, завсегдатаями были Федор Федорович Новицкий и Сергей Аркадьевич Сиротинский. А вообще у Фрунзе всегда людно, всегда интересно и весело.

Давний друг - Демьян Бедный - обычно требовал, чтобы ему налили покрепче чаю.

- Знаете, настоящего. Чтобы действительно был чай.

И пускался в воспоминания:

- Помните, на Врангеля вместе ехали? Меня тогда послали вроде как пушку, на вооружение.

Фрунзе просил прочесть "Манифест барона Врангеля". Демьян Бедный умел читать свои произведения. Фрунзе подсаживался поближе и, слушая, смеялся так заразительно, что Демьян Бедный просил его всегда бывать на его выступлениях.

- У вас и так успех обеспечен!

Особенно нравились Фрунзе в "Манифесте" строчки:

Вам мой фамилий всем известный:
Их бин фон Врангель, герр барон.
Я самый лючший, самый местный
Есть кандидат на царский трон...

- Знаете, - говорил Фрунзе уже серьезно, - Врангель был одним из самых способных представителей белого лагеря. Сделавшись главнокомандующим, он развернул в Крыму колоссальнейшую работу. Расправился с конкурентами, соперниками, тоже метившими в "правители". Перевел из тыловых учреждений в строй все кадровое офицерство. Перевешал офицеров, чиновников и солдат, проявлявших неповиновение. В результате создал внушительную боевую силу, приблизительно в тридцать тысяч штыков и сабель. И воевал неплохо. Вообще не следует думать, что среди наших врагов одни олухи и дураки. И Ленин об этом не раз говорил.

- Правильно! - отозвался Демьян Бедный. - Они не дураки, но бить их надо.

- Бить, конечно, надо, - подтвердил Фрунзе, - и "самых лючших" и не самых "лючших". Просматривал я сегодня иностранные газеты. Там все время идет антисоветская возня. Вы слыхали что-нибудь о некоем Арнольде Рехберге? Бывший личный адъютант кронпринца, крупный промышленник, кажется, связан с германским калийным синдикатом... Бредит мировым господством! А уж бонапартиков развелось - невероятное количество! И все наперебой предлагают спасение от большевизма.

- А что такое с этой комиссией по обследованию Красной Армии? Что-нибудь серьезное?

- У нас идет сейчас очень большая перестройка Красной Армии. Комиссию мы действительно назначили, она произвела обследование и доложила пленуму ЦК партии о результатах. Результаты малоутешительные. Материальные средства нас поджимают. В стремлении облегчить для населения военное бремя мы дошли до крайних пределов. Достаточно сказать, что царь держал под ружьем полтора миллиона, да и у нас в двадцатом году было три миллиона, а сейчас мы оставили пятьсот шестьдесят тысяч.

- Маловато! - расстроился Демьян Бедный. - Ведь сами говорите - тучи вокруг ходят!

- Фронтов нет, нэп у нас, товары появились... и создалось у некоторых людей излишнее благодушие. Дескать, ниоткуда опасность не угрожает, можно не волноваться. А там - шуруют! Армии перевооружают, новые военные планы разрабатывают...

- Сегодня разрабатывают, завтра разрабатывают, а там и грохнут. Злят меня еще эти троцкистские выкормыши! Ведь они совершенно откровенно считают, что не будет большой беды, если интервенты захватят страну: все равно, дескать, надо идти с повинной, в ножки поклониться капитализму.

- Вам не чудится в этих капитулянтских нотках страшно знакомая мелодия? Кто это говорил когда-то еще очень давно и очень похожее? Струве! Конечно он! Идти на выучку к капитализму! Вот с кем сошлись взгляды людей, осмеливающихся именовать себя коммунистами! Понятно, люди с подобными взглядами отнюдь не содействуют укреплению армии.

- Черт возьми! Так ведь требуются экстренные меры?

- А как же! Вот на меня и возложили эту ношу.

- Вызволите?

- Вызволим. Я ведь не один. Уже кое-что сделано. Вот создали полевую артиллерию... Сейчас ведем переговоры с Францией о возвращении наших судов, которые угнал Врангель. Суда находятся в настоящее время в Бизерте: линкоры "Воля" и "Георгий Победоносец", крейсера "Кагул" и "Алмаз", с десяток эскадренных миноносцев да сотня транспортов и пароходов. Главное же - готовим новые кадры, налаживаем военную промышленность. За какой-нибудь год армия будет неузнаваемой. И до троцкистов доберемся!

Демьян Бедный молча разглядывал открытое, смелое лицо Михаила Васильевича: да, пожалуй, этот сделает.

И на самом деле выбор ЦК был удачен. Фрунзе понимал, что надо немало труда вложить, чтобы достичь желаемого. Что ж. Раз надо, значит, надо. У нас есть только остов будущей армии. Подготовка страны к обороне должна стать делом всей страны, всего советского аппарата. С этого и начать: расшевелить, довести до сознания. Армия у нас будет, и еще какая!

- Товарищи рабочие, берегитесь! - встревоженно предупреждал Фрунзе. Враг окружает нас и зорко следит за каждым нашим шагом! Время отдыха и спокойного труда для нас еще не настало! Смотрите, какая идет перестройка вооруженных сил в капиталистических странах. У нас, например, нельзя даже серьезно считать воздушным флотом те несколько сот аппаратов, которые среди летчиков известны под названием "гробов", а в той же, например, Франции воздушный флот насчитывает тысячи аэропланов... существуют аэропланы, вооруженные артиллерией... Сделано кое-что и у нас в этом отношении, но мало. А мы должны не только не отставать, но и быть впереди.

Об этом речь шла на съезде партии. Лучшим представителям военного командования было поручено сколачивать боеспособную армию, позаботиться об оснащении армии новейшей техникой. Это было ответственнейшее дело, то, от чего зависело, может быть, даже существование Советского государства. И Фрунзе вместе с другими боролся с беспечностью, с легкомысленным отношением к вопросам нашей обороны.

Надо сказать, что дело у Фрунзе ладилось. Каждый месяц давал ощутимые перемены к лучшему. Когда Фрунзе натыкался на сопротивление, даже на попытки сорвать проводимую работу, он беспощадно разоблачал троцкистов и их подпевал. Это было довольно щекотливое мероприятие: очистить армию от всех разлагающих элементов. У Фрунзе не было еще случая, чтобы дрогнула рука. Начав, он доводил дело до победного конца. Придя к решению, он уже не отступал, пока все не выполнит.

Троцкисты жаловались, вопили, бегали по инстанциям, обвиняли Фрунзе во всех смертных грехах. Это не останавливало Фрунзе. Он спокойно делал задуманное. Гнал их беспощадно. Гнал и тогда, когда сам их обнаруживал, гнал и в тех случаях, когда поступали соответствующие сигналы.

Однажды приехал Котовский и сразу, с места в карьер, еще в прихожей, не раздевшись, заговорил о самом больном:

- Михаил Васильевич, да уберите вы у меня этих чертовых троцкистов! Я призываю красноармейцев и командиров к культуре, напоминаю, что надо изживать нашу привычку

ругаться последними словами, но с этой публикой я не ручаюсь за себя, я могу и выругаться! Кого угодно выведут из терпения!

- Одной руганью не поможешь, - нахмурился Фрунзе. - Гнать их надо поганой метлой из армии, оздоровить надо наши ряды. Вот она - мирная, тихая жизнь! Твердим, что фронтов нет, что выдалась передышка, а какая там передышка? Незатихающие сражения, только война приняла более сложные формы, а враг стал более вертким, да стратегия его стала хитрей... Пока на земле есть хоть одно капиталистическое государство, не будет покоя.

Оба озабоченно призадумались. Невесело было на душе. Котовский предложил:

- Нагрузить бы ими воз - да туда, за рубеж, к их хозяевам, вывалить всю кучу во двор буржуазии! Получайте!

- Там-то их встретили бы с распростертыми объятиями!.. Нет, Гриша. Здесь, у себя, повоюем с ними!

2

Год назад Фрунзе был по совместительству назначен начальником Академии генерального штаба. По своему обыкновению, он, вступая в эту должность, прежде всего изучил историю академии со дня ее основания, то есть с 1832 года.

Слов нет, из Академии генерального штаба вышло немало видных военных деятелей. Но какая рутина! Какая затхлость! Это и немудрено, если властителями умов и законодателями военной науки в царское время были древние мумии, если там насаждались германские доктрины, на практике ни разу не оправдавшие себя!

Фрунзе раздобыл тома Леера, снова перелистал страницы Мольтке, Шлиффена, извлек даже творения Михаила Ивановича Драгомирова... Теперь все друзья Фрунзе - и невозмутимый Новицкий, и сдержанный Карбышев, и быстро воспламеняющийся Фурманов, и столь же горячий и вспыльчивый Котовский все должны были прослушать цикл лекций на тему "История русской военной мысли", как удачно определила Софья Алексеевна. Вскоре подготовительная работа была закончена, и Фрунзе решил посетить академию.

Он, конечно, знал, в каком сейчас состоянии академия. Это был своего рода осколок, островок былого, уцелевший каким-то чудом, несмотря на все очистительные грозы и штормы Октября. В стенах этого здания сохранялся еще прежний душок. Преподавательские и профессорские посты и даже чисто хозяйственные должности занимали старые кадры, генералы и офицеры царского генерального штаба. Можно представить, с какой тревогой ждали они появления старого большевика, известного своей решительностью и принципиальностью, - "красного генерала" Фрунзе!

Их опасения были не напрасны. Фрунзе не любил полумер. Пришел он в академию не робким новичком, который был бы подавлен величием генеральских бород, премудростью военной науки, которую господа генералы, спасибо им, вбивают в головы присланных сюда красных командиров, иногда воевавших не совсем по правилам военной науки, хотя нельзя сказать, что безуспешно. Генералы знали, кто такой Фрунзе. Блестяще проведенный им контрудар на Восточном фронте, поистине сказочная оперативность, когда он в месячный срок разгромил армию генерала Белова, а затем ошеломивший весь военный мир удар по Врангелю... Вряд ли у кого-нибудь повернулся бы язык утверждать, что Фрунзе не умеет воевать. Как военного теоретика Фрунзе тоже знали. Иногда пытались полемизировать с ним, вносить поправки, но и только.

По предложению Фрунзе академия стала называться Военной академией Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Может быть, кому-нибудь не по душе были слова "рабоче-крестьянской". Однако потребовалось немного времени, чтобы убедиться, что наименование соответствует и содержанию. Остряки говорили конечно, шепотком! - что Фрунзе взял штурмом неприступные стены старой академии. Дореволюционный душок был выветрен. Окна были распахнуты настежь. Академия стала подлинно советским учреждением, как и должно было быть. Впрочем, все военные специалисты, пожелавшие работать при такой установке, были сохранены, их престиж не был подорван, их опыту и знаниям воздавалось должное. Академия обрела четкое политическое лицо, она стала отличаться чисто

большевистской слаженностью, пронизывающей ее жизнь сверху донизу. Да и задачи академии расширились. Академия должна была возглавить всю военно-научную работу в Советском Союзе, в первую очередь работу по оснащению армии, по превращению ее в несокрушимый оплот революции.

Фрунзе не упускает ни одной возможности, чтобы напоминать, напоминать и доказывать, что без сильной, хорошо оснащенной, сознательной, дисциплинированной армии мы рискуем потерять все завоевания Октября, все дорогой ценой завоеванные нами позиции.

На Всесоюзном учительском съезде Фрунзе обращается к учителям с горячей просьбой.

- Мне хотелось бы, - говорит он, - чтобы к осени двадцать пятого года вы проделали такую работу, чтобы ни один новобранец, явившийся в ряды наших красных полков, не оказался неграмотным, ни в смысле культурном, ни в смысле политическом. Этим вы сослужите колоссальную службу делу обороны страны.

Перестройка в стенах академии позволила говорить с деятелями академии о самых серьезных вещах. Фрунзе выступает на заседании Военной академии в годовщину смерти Ленина с блестящим докладом на тему "Ленин и Красная Армия". Он отмечает связь между военной деятельностью и деятельностью политической, говорит о глубоком проникновении в самое существо всех явлений, которое характерно для Ленина, и указывает, что Ленин был гениальнейшим стратегом и тактиком. Фрунзе напоминает положения, выдвинутые в статье "Лучше меньше, да лучше" и в ряде других произведений Ленина. Далее Фрунзе отмечает, что успехи Советского государства вызывают ярость в империалистических кругах, а это заставляет нас особенно насторожиться и все усилия направить на укрепление нашей военной мощи.

Все недюжинные способности Фрунзе отдавал одной идее. Он упорно бил, бил в одну точку. Непрерывно расширяя свои знания, кропотливо, как самый прилежный ученик, изучая военную науку, он в то же время выискивал новых и новых поборников своих взглядов. Это был поистине титанический труд. Он брал пример с Ленина, у которого каждая минута была на счету, учился у Маркса, который установил себе норму десятичасового рабочего дня для работы в Британском музее.

Однажды Михаилу Васильевичу понадобилось срочно посоветоваться по какому-то вопросу с Александром Ильичом Егоровым, членом комиссии по реорганизации армии, и он направился к нему на квартиру.

В комнатах звучал рояль, играла жена Александра Ильича, прекрасная пианистка.

Фрунзе был поражен. Он весь с головой ушел в работу, был ею захвачен, даже по дороге сюда был занят исключительно деловыми мыслями... и вдруг музыка! Это было так неожиданно, так странно, словно он попал в какой-то другой мир.

Фрунзе сразу узнал - Чайковский. Открывшая ему дверь хорошенькая девушка спрашивала о чем-то, а Фрунзе стоял в прихожей и безмолвствовал, весь превратившись в слух.

Девушка поняла. Она постаралась не мешать этому военному слушать музыку и тихо удалилась. А Михаил Васильевич машинально нащупал стул, сел здесь, около вешалки, и унесся вслед за трепетными аккордами, за мелодией, так и хватающей за душу.

Пианистка, видимо, любила этого композитора и безукоризненно передавала всю взволнованность Чайковского. Михаил Васильевич не шевелился, не двигался. Он весь отдался порыву, весь погрузился в прозрачный очистительный поток.

Чайковский рассказывал о том, как хочется человеку необычайной, какой никогда еще не бывало, очень счастливой жизни. Только бы вырваться из тесного мира насилия и произвола. И чтобы не было слез. Это будет, это настанет! Зачем черные тучи загораживают солнце? И как предугадать очертания грядущего золотого века, которого так неотступно жаждет человек?

Да, да. Разве не того же добивается Фрунзе? Разве не за эти же идеалы борются

большевики? Оказывается, это вовсе не какой-то особенный мир музыка говорила о том же, о чем думал и чем жил Фрунзе!

Если бы музыка не захватила так врасплох, Фрунзе, может быть, и не поддался бы ее чарам. Но тут он капитулировал. Он полностью отдался наслаждению, и кто, как не Чайковский, мог так потрясти, растревожить, проникая в самую глубину чувств, к самому заветному в человеке!

Фрунзе подумалось, что он мог бы чаще делить досуг с Софьей Алексеевной, чаще бывать с детьми... Вот и музыка... Ведь можно бы и музыкой заниматься... Как же преотлично, интересно, разнообразно можно было жить, если бы не мешали недруги, если бы не злобные пасти ощерившихся орудий, направленных на нас из-за рубежа! И дети росли бы иначе, и достаток у людей был бы иной... Жить бы да радоваться... Сколько прекрасных вещей существует на свете, сколько необыкновенного, чудесного можно увидеть, узнать, испытать! И ведь будут же когда-нибудь жить так беспечально, так заполненно, так необыкновенно?!

Рояль захлебывался наплывающими, нарастающими звуками. Рояль плакал, кричал, протестовал, требовал. Рояль рассказывал о дерзаниях, о поисках. Это был крик души! Это был взрыв!

Бледный, потрясенный, Фрунзе сидел на стуле в прихожей и слушал.

Вот иссякло, ушло далекими грозовыми раскатами это исступление хроматических гамм, но не для того, чтобы сдаться. Маршевые четкие ноты говорили о настойчивости, о решимости не сдаваться.

Фрунзе сделал глубокий вдох. Стряхнул оцепенение. Выпрямился. Вот так. Держать себя в руках. Жизнь в борьбе. Он счастлив. Все ясно. Он выбрал такой путь, какой ему по вкусу. Шаг его тверд. Он берет от жизни все, потому что отдает жизни все.

В дверях показался Александр Ильич, такой славный, такой понятный и близкий, со своей светлой покоряющей улыбкой.

- Вы что же это не проходите, дорогой Михаил Васильевич?

3

И опять работа, и опять напряжение всех помыслов и сил.

Вот Фрунзе озабочен подготовкой командного состава во вневойсковом порядке. Он знает, как широко поставлена такая подготовка в Соединенных Штатах, во Франции. Знает, что в Японии сейчас обсуждается проект военизации средней и высшей школы.

Вот он принимает ряд мер для улучшения социального состава командиров. Уже созданы солидные кадры красного Генерального штаба и произведен ряд выпусков квалифицированных красных специалистов по артиллерии, инженерному делу, связи, авиации, химии. При непосредственном участии Фрунзе разрабатываются правила прохождения службы командным составом, основные положения об отбывании воинской повинности.

Вот он борется с беспринципным подыгрыванием красноармейской массе, с демократизмом в кавычках. Водились кое-где такие неправильные взгляды на воспитание и обучение в Красной Армии.

Фрунзе пояснял:

- Товарищи! Не перегибайте палку! Приказ есть приказ. Уговаривания и увещевания к выполнению приказаний сами по себе суть грубейшие нарушения дисциплины!

То, чего Советское государство добилось в какие-то два года, при других обстоятельствах потребовало бы, возможно, десятилетий. Медлить нельзя, время не терпит, нужно действовать чисто ленинскими методами, воодушевляя, мобилизуя. И Фрунзе горел, выполняя волю партии, борясь за ее принципы. А люди у нас были такие, что с ними можно горы ворочать.

- Мы, военные работники, - говорил Фрунзе, - должны усвоить лозунг юных пионеров. Так же, как они, на призыв "Будьте готовы!" отвечать твердо и уверенно: "Всегда готовы!"

И добавлял:

- Ведь на самом деле наш Советский Союз вместе с Красной Армией является своего рода пионером. Мы вторглись в старый мир как новое, страшное для него явление. Самим фактом нашего существования мы подрываем его основы, разрушаем устойчивость. Конечно, это приводит его в ярость. Можно ли ожидать, чтобы старый трухлявый пень полюбил острый топор, принявшийся за расчистку пустоши для молодых посадок? Горько трухлявому пню! Обидно! Ведь он искренне убежден, что является украшением жизни, что трухлявые пни самим богом поставлены на вечные времена!

Большие требования предъявляет Фрунзе к командиру:

- Наш командир должен стоять на недосягаемой высоте, как командир совершенно своеобразной армии социалистической революции. Для этого нужно, чтобы он в совершенстве овладел методом марксизма-ленинизма.

Фрунзе настойчиво повторяет:

- Стратегия, являясь высшим обобщением военного искусства, должна учитывать не только чисто военные элементы, такие, например, как численность армий, но должна учитывать и моменты политического характера.

Растут новые кадры. Фрунзе учит, что Красная Армия - армия нового типа, она должна поэтому создать новую тактику и новое оперативное искусство. В отличие от буржуазных армий, лживо провозглашавших принцип "армия вне политики", вручавших политическую направленность лишь руководящей верхушке, - мы всю силу нашей Красной Армии строим как раз на широко поставленной политпросветительной работе.

Вместе с тем Фрунзе требует внимания и к организации тыла. Без налаживания правильного питания фронта всем необходимым, без точного учета перевозок, без организации эвакуационного дела немыслимо ведение больших военных операций.

В Военной академии создан снабженческий факультет. Фрунзе говорит, что царская армия представляла собой, употребляя экономический термин, замкнутое домашнее хозяйство, она все должна была готовить сама. Опыт показал полную недостаточность ресурсов одного военного ведомства. Подготовкой должен заниматься весь наш тыловой гражданский аппарат.

Так звено за звеном подготавливает Фрунзе полную реорганизацию военного дела. В те годы подобные взгляды были новшеством, а внедрение их требовало настойчивости, требовало полного напряжения сил.

Страна меняла облик. Увеличивалась посевная площадь, строились Каширская, Шатурская электростанции, росла промышленность, налаживались дороги. Людям так хотелось жить в довольстве, в благополучии: спокойно трудиться, читать, ходить в театр, хорошо одеваться, вкусно и сытно есть... Но постоянно грызла тревога, не покидало сознание, что у самых наших границ непрерывно идет возня и подготовка, что в странах, которые мы не трогаем, не задеваем, то и дело раздаются призывы: "Сокрушить!", "Истребить!". Так как же нам не держать порох сухим?

Отставание, медлительность были совершенно нетерпимы. Военное дело развивалось с необычайной быстротой. Много голов работало над новыми схемами, над новым вооружением. Приходилось следить за тем, что делается в этом направлении и у нас, и в других странах. Нельзя было довольствоваться одним опытом гражданской войны. Нужно было учиться и переучиваться.

Вот почему наряду с высшими школами дополнительной подготовки решено было создать еще высшие курсы усовершенствования, задача которых освежать познания комсостава, держать его на уровне всех современных требований.

Может быть, самым острым вопросом становилось налаживание высоко развитой, передовой военной промышленности. Это было самое больное место. Фрунзе был крайне озабочен тем, чтобы мы не только освободились от ввоза изделий из-за границы, но и научились сами изготовлять безупречные изделия. Недаром же в кабинете Фрунзе так часто появлялись военные инженеры, конструкторы, изобретатели.

- Какая жалость! - говорил, беседуя с ними, Фрунзе. - Нет уже в живых Николая

Егоровича Жуковского! Владимир Ильич называл его отцом русской авиации. Это почетное звание, и хорошо, что отец вырастил достойных детей.

- Мало того, оставил детям приличное наследство, - добавлял кто-нибудь из присутствующих, - более ста семидесяти работ по теоретической и прикладной механике и математике. Шутка сказать!

- Да, товарищи, - волновался Фрунзе, - военно-техническое оснащение нашей армии - это фундамент, на этом зиждется наша мощь. Не секрет, что исход будущих столкновений зависит теперь от людей чистой науки даже в большей степени, чем от командования.

Конструктор Поликарпов, участвовавший в этом разговоре, скромно произнес:

- Люди чистой науки не заставят себя ждать.

Присутствующие посмотрели на его многозначительное лицо и дружно рассмеялись: все они так же верили, что ждать они не заставят и сделают все от них зависящее.

- Одно крупное изобретение или открытие в области военной техники сразу дает колоссальное преимущество, - продолжал Фрунзе.

- Если даже одно крупное изобретение дает такой перевес, то нужно дать сто крупных изобретений! - предложил молодой изобретатель, пришедший вместе с Поликарповым.

- Всем известно, какими семиверстными шагами идем мы вперед, любуясь юношей, сказал Фрунзе. - Вот вам цифры: в двадцать втором году мы покупали за границей девяносто процентов самолетов для наших нужд, в двадцать третьем - только пятьдесят процентов, а сейчас, в двадцать пятом году, вовсе не покупаем, стали делать свои! Нужно ли пояснять, как это важно?

- То ли еще будет! - сказал Поликарпов, кое-что знавший о новых работах Чаплыгина, Туполева, инженера Ветчинкина.

- Как дальновиден был Владимир Ильич, когда говорил, что без новых научных открытий мы коммунизма не построим!

- Он еще утверждал, что дюжина наших, советских учреждений стоит меньше, чем одна хорошо работающая лаборатория. Так, кажется?

- Совершенно верно. Не помню слово в слово, но мысль была такова.

- Но если одна лаборатория представляет ценность, - снова не выдержал юный изобретатель, - то еще лучше, если мы откроем тысячу лабораторий.

- Ты, Вася, прав, - серьезно отозвался Поликарпов, - тысяча в тысячу раз больше единицы.

Молодой человек не был обижен, когда эта шутка вызвала общий смех. Эти люди были дружной семьей, и в этом был залог успеха. Ни конкуренции, ни происков, ни подсиживания. Ведь в основе их труда не было стремления личного возвеличивания, карьеры или обогащения. Ими двигали высокие чувства патриотизма. И они так любили свое дело! Это были неисправимые энтузиасты. А когда человеком владеет вдохновение, он может совершать даже невозможное, так как известно, что "тот, кто верой обладает в невозможнейшие вещи, невозможнейшие вещи совершить и сам способен".

4

Фрунзе часто думал, глядя на самолеты, взмывающие ввысь:

"Километр над землей, десять километров над землей... Но и это не предел? Ведь не предел? Вот безграничная сфера деятельности для будущих Колумбов!"

Фрунзе вглядывался в синие глубины небосвода, и ему уже рисовались будущие воздушные бои, будущие воздушные трассы... Фрунзе предугадывал большое будущее наших авиационных сил. Из небольшой, созданной по указанию Ленина "Летучей лаборатории" вырос солидный аэрогидродинамический институт, именуемый сокращенно ЦАГИ. Здесь Фрунзе был частым гостем. И какой радостью наполнялось его сердце, когда он любовался фигурами высшего пилотажа при испытании первого советского истребителя, созданного конструктором Поликарповым и испытываемого отличным летчиком Владимиром Филипповым! Самолет был послушен в его руках.

- То ли еще будет! - басил стоявший рядом с Михаилом Васильевичем Поликарпов,

скромник и труженик.

И он был прав. Усилиями Фрунзе дан толчок, поставлено дело на правильные рельсы. Теперь оно пойдет, теперь не остановишь!

Группа летчиков стояла невдалеке от Фрунзе. Они делились впечатлениями.

- Хорош, что и говорить!

- Уж во всяком случае не хуже заграничных! - прозвучал чей-то сочный голос.

Фрунзе прислушался. Это оценка Российского, одного из славных зачинателей летного дела в России. Он зря не скажет!

"И все до последнего винтика - все наше, отечественное! - размышлял Михаил Васильевич. - Те капиталистические страны, которые упорно не желали нам ни в чем помочь, оказали нам большую услугу: поняв, что нам рассчитывать не на кого, мы поднатужились, приналегли и сами стали налаживать все необходимое. И то сказать - богата наша страна, все у нас есть, потому и в будущее смотрим мы бодро. Тысячу раз прав товарищ Поликарпов: то ли еще будет!"

- Вы чего-то улыбаетесь, товарищ Фрунзе, - подошел летчик Громов и показал в небо на делающий мертвую петлю самолет. - Неплохо, а? Одобряете?

- То ли еще будет! - повторил Фрунзе понравившиеся ему слова Поликарпова.

- А как же! - отозвался уверенно Громов, поняв, о чем идет речь. Это обязательно!

Фрунзе видел, что их обоих наполняет одно чувство: гордость достигнутым и нетерпение двигаться дальше, дальше, ведь нет предела для человеческих устремлений, а счастье человека в том, чтобы созидать, доискиваться, творить.

Оба сильные, оба воодушевленные торжественностью минуты, летчик и любимый народом нарком стояли и молча любовались самолетом, который по воле пилота то падал камнем, то взмывал ввысь, то кружил и кувыркался, как жаворонок, упоенный простором и солнцем.

5

Дела, дела. Нужно обладать кипучим характером Фрунзе, чтобы успевать повсюду и не суетиться. Ведь это он принимал самое живейшее участие в разработке плана первой пятилетки. Ведь это он разъезжал по стране, проводя инспекторские смотры, он нанес визит Германии, прибыв в Кильскую бухту на линкоре "Марат". Он присутствовал при передаче авиаэскадрильи имени Дзержинского в распоряжение Военно-воздушных сил.

- Редко нам удается видеть папу, - говорит Софья Алексеевна, когда Тимур и Танечка забираются на колени отца.

- Соскучился я по вас, - признается Фрунзе, - но что же делать? Надо. Время такое. Вот в Ленинград на днях поеду. Ведь надо?

24 февраля 1925 года Фрунзе выступает на торжественном заседании расширенного пленума Ленинградского губисполкома. Заседание посвящено 7-й годовщине существования Красной Армии.

Настроение у всех приподнятое, праздничное. Как там ни говорите, а дела идут успешно, усилия всего народа, всей страны не напрасны. И всем без исключения нравится этот коренастый, деловитый, без всякой позы и аффектации человек.

Как тепло он говорит о Ленинграде:

- Каждая улица, каждый камень на его мостовых являются свидетелями величайших событий и могут многое рассказать нашим грядущим поколениям.

Да! Конечно! Все ленинградцы любят свой город и любят, когда о нем говорят хорошо.

Фрунзе напоминает о некоторых этапах истории Ленинграда, говорит о тех днях, когда армия Юденича появилась на подступах к городу и встретила достойный отпор. Он выражает надежду, что и в будущих столкновениях, если таковые произойдут, Ленинград будет стоять несокрушимым форпостом на крайнем фланге наших войск.

- Сейчас в заграничной прессе немало шума, призывов к крестовому походу против коммунизма. Мы знаем, что лягушки квакают к дождю, поэтому принимаем кой-какие меры, чтобы дождь не застал врасплох.

Заканчивая речь, Фрунзе с большим подъемом провозглашает здравицу:

- Вашему городу, стальному городу Ленина, живому горячему сердцу революции, оплоту и надежде наших октябрьских заветов - слава и наш братский привет от Красной Армии!

Умеет Фрунзе затронуть большие чувства в душе человека, умеет воодушевить. Среди присутствующих и Николай Лаврентьевич Орешников, уж ему-то больно по душе слова Фрунзе.

Крупными мазками набрасывает Фрунзе облик страны, определяет задачи Красной Армии. Затем делает обзор международных событий.

До чего хотелось бы Орешникову поговорить с Фрунзе! Но куда там! До Фрунзе и не добраться! Его окружили, его засыпали вопросами, его куда-то увезли, кажется, выступать на заводе или в воинской части.

Орешников уже примирился с тем, что не удалось побеседовать с Фрунзе или хотя бы поблагодарить его за выполненное обещание: за перевод в Ленинград.

И вдруг - на следующий же день после собрания - звонок в дверь, и на пороге появляется коренастая фигура Фрунзе.

В квартире поднялся переполох. Быстро подхвачено и унесено какое-то белье, висевшее на спинке стула, ловким движением ноги задвинут под кровать детский горшочек. Любовь Кондратьевна сбросила передничек, который надевала, когда мыла посуду, а Лаврентий Павлович натянул на плечи заслуженный, сшитый еще в 1912 году, синий в полоску пиджак.

- Показывайте, показывайте вашего Вову, который решил копить деньги при коммунизме! - слышался голос в прихожей. - Знакомьтесь, никак не мог доказать, что найду как-нибудь Васильевский остров и без сопровождающего, сам когда-то на Васильевском жил...

Фрунзе сопровождал чистенький, молоденький военный из управления. Сначала с Фрунзе намеревался охать командующий военным округом, но Фрунзе решительно запротестовал, объяснив, что хочет посетить знакомых не как нарком, а как обыкновенный смертный.

Выражение "обыкновенный смертный" вызвало дружный взрыв смеха и возгласы одобрения. Однако сопровождающего все-таки подкинули, уверяя, что он и город знает и что вообще невежливо бросать высокого гостя на произвол судьбы.

Сопровождающему, бойкому молодому краскому Пете Соломинцеву, успели шепнуть, чтобы посмотрел, что там и как, не нуждается ли в чем этот самый Орешников, как оказалось, личный знакомый Фрунзе.

Николай Лаврентьевич обрадовался гостю. Он суетился, за что-то извинялся, глазами показал жене на тарелку с недоеденной манной кашей - и тарелка моментально исчезла.

- Извините за беспорядок... Знакомьтесь, пожалуйста... Это мой отец.

- Лаврентий Павлович Орешников! - отрекомендовался сам глава семейства. - Гым-гум!

- Это мама. А это жена. Любовь Кондратьевна.

- Как же, как же, сразу узнал по описаниям. Учебу закончили? Нет еще? На последнем курсе? Вот как!

В кухне столпотворение. Ставили на примус чайник, нарезали хлеб, затем Любаша ловко проскочила в прихожую и помчалась в ближайший магазин за печеньем, пирожными, колбасой и сыром.

Капитолина Ивановна извлекала тем временем из старомодного буфета с резными узорами, разноцветными стеклышками парадный, голубой, с золотой каемочкой, гостевой чайный сервиз, из которого пили чай еще на ее свадьбе.

- Вас-то как звать? Михаил Васильевич? Чайку с нами не откушаете? Какое варенье больше любите? Малиновое уважаете? Да я лучше всякого положу.

- Тесновато что-то у вас, - обозревал жилище Петя Соломинцев. - Две комнаты - и все?

- Нам не танцевать, - примирительно говорила Капитолина Ивановна. Раньше-то у нас

три комнаты было, да куда нам? Одну соседней квартире отдали, вон и дверь кирпичом замуровали. И правильно, ничего особенного, нам хватает...

- Какое хватает! - великодушничал Петя Соломинцев, входя в роль квартирной комиссии. - Надо что-то придумать...

Капитолина Ивановна полностью завладела Михаилом Васильевичем, который ей с первого взгляда понравился. Она уже успела показать ему семейный альбом с портретами дедов, прадедов, тетушек еще невестами, тетушек уже замужем, скромненьких племянниц, дочерей и пучеглазых внуков голышом.

Вернулась запыхавшаяся Любаша со свертками, звякали тарелки на кухне, затем произошло торжественное представление гостям белобрысого, с румянцем во всю щеку, упитанного, весьма самостоятельного Вовы, вернувшегося с прогулки.

И тут все наперебой стали рассказывать о проделках Вовы, о словечках Вовы, о различных с ним случаях, с несомненностью доказывающих, что он чудо как хорош, что он - необыкновенный ребенок и что, конечно, будет из него толк.

Вова отрекомендовался, протягивая Фрунзе ручонку:

- Владимир Николаевич Орешников, сын собственных родителей.

Может быть, его этому научили, может быть, кто-нибудь в шутку сказал это при нем, но он всегда так говорил, если приходили незнакомые.

Фрунзе смеялся:

- Сколько же тебе лет, сын собственных родителей?

- Пять лет и пять месяцев! - с гордостью ответил Вова.

Тут разговор коснулся Котовского. Орешников и Фрунзе в два голоса начали восхищаться его энергией, его кипучей натурой, его талантами. Петя Соломинцев навострил уши: "Эге! Да этот Орешников, видать, незаурядная личность! С какими людьми знается!"

Чаепитие прошло великолепно. Фрунзе с удовольствием ел бутерброды и печенье, шутил, Петя Соломинцев рассказывал анекдоты, Лаврентий Павлович сначала ограничивался своим "гым-гум", а потом оживился и, поняв из разговора, что гость прибыл из Москвы, рассказал много интересного о московской старине: о том, что под Новодевичьим монастырем в былые времена были луга, где паслись государевы кони, а на Остоженом дворе заготовлялось в стогах сено, что славились в Москве трактир Тестова, егоровские блины и Сандуновские бани, что Кунцево - бывшее имение Нарышкиных, Архангельское Юсуповых, а Останкино - Шереметева... Лаврентий Павлович так и сыпал названиями, сообщил, сколько раз Москва выгорала, перечислял храмы, музеи, имена актеров, губернаторов... Фрунзе по удивленным лицам всех домашних понял, что они в первый раз в жизни слышат, во-первых, что Лаврентий Павлович может быть словоохотлив, во-вторых, что он, оказывается, когда-то жил в Москве, видимо, еще до женитьбы, и даже изучал ее историю.

Впрочем, за столом все говорили много и охотно. Любаша рассказала об университетских делах, Капитолина Ивановна - о том, как Любаша и Коленька ходили-ходили в кино да и поженились...

В двенадцатом часу сердечно распрощались, Петя сбегал узнать, на месте ли шофер, и они уехали.

- Молоденький-то так себе, - сказала очень довольная, сияющая Капитолина Ивановна, убирая со стола посуду.

- Пустозвон! Гым-гум.

- А вот который с бородкой - приятный человек. Это кто же он будет, Коленька? Твой сослуживец?

Орешников расхохотался:

- Да это же министр, мама, по-нынешнему, нарком. Это Фрунзе!

Капитолина Ивановна отмахнулась:

- А ну тебя, никогда серьезно с матерью не поговоришь, все шуточки да прибауточки. Любаша, кто же это он, Михайло-то Васильевич? Да вы что, ребятки! Вправду министр?

Мать пресвятая богородица! Да что же вы меня не предупредили? Слышишь, Лаврентий Павлович? Министр!

- Гым-гум...

- А я-то его вареньем потчевала!

- Что ж, и министры варенье едят. Фрунзе - человек умный, а главное воспитанный, словом, интеллигентный. Так-то рассуждать: что особенного, что в гости пришел? Обыкновенная вежливость...

- И порядочность, гым-гум...

- Да, и порядочность. Мы знакомы, я у него и дома бывал. Теперь он приехал в Ленинград, знает, что я в Ленинграде, - хорошо получилось бы, если бы он пренебрег? Поважничал?

Но Орешников говорил это, убеждая себя, а в душе ликовал и восторгался: вот это человек!

Тут и Любаша и Лаврентий Павлович стали уверять, что они сразу поняли: человек этот необыкновенный, выдающийся человек.

И еще долго не ложились спать, беседовали, смеялись, припоминали, как все было, как Любаша сбегала в магазин, как убрали недоеденную манную кашу...

- А Вовка ему понравился.

- Еще бы!

- Гым-гум! Приятно, когда в правительстве люди как люди! Очень хорошо побеседовали!

А Фрунзе наутро побывал еще на одном номерном заводе военного ведомства. Продукцией, выпускавшейся на этом заводе, остался доволен:

- Преподнесем сюрпризик, если кто сунется к нам! Сразу получат от чужих ворот поворот!

Так как до поезда осталось немного свободного времени, Михаил Васильевич решил хотя бы взглянуть на памятные места города, места, связанные со светозарной юностью, с теми годами, когда Фрунзе приехал двадцать лет назад в Петербург, тем более что комендант города предоставил в его распоряжение машину.

- Куда теперь, Михаил Васильевич? - спросил шофер, видать, толковый парень, с военной выправкой и несколько панибратскими ухватками, в кожанке, чисто выбритый - словом, типичный "личный шофер".

- Начнем с Выборгской, - предложил Фрунзе. - Катнем прямиком к Политехническому?

- Понятно! - сказал шофер и газанул по Литейному.

До Политехнического было далеко. И Фрунзе, поглядывая на постройки Финляндского вокзала, озирая рабочие кварталы, вспоминал студенческие сходки, лекции - накаленную атмосферу 1904 года...

На обратном пути свернули после Литейного моста вправо, миновали Марсово поле и по Миллионной выбрались на Дворцовую площадь.

- К Медному Всаднику? - лаконично спросил шофер.

- Остановимся на площади. Здесь было первое сражение народа с царизмом.

- Штурм Зимнего?

- Раньше. Кровавое воскресенье.

- А-а! Разве это сражение? Чистая бойня.

- Что верно, то верно. И я тогда получил царапину.

Фрунзе задумчиво смотрел на громадину Зимнего дворца, на величавую арку. Денек был кисленький. Типичная ленинградская погода.

- Действительно, каждый камень здесь история! - вздохнул Фрунзе.

- Дальше некуда! - отозвался шофер.

И они, навестив Медного Всадника, отправились на Московский вокзал.

6

Чего совсем не умел Фрунзе - это сидеть в кабинете и отдавать распоряжения. У него и

кабинет был местом споров, совещаний, разработки проектов. А вообще - Фрунзе любил все видеть сам, все ощупать, представить, а главное - поговорить с людьми, понять людей и поверить им. А поверив, проверить и поторопить.

То он выступает на заседании, посвященном двухлетию Общества друзей Воздушного Флота, то проводит совещание кавалерийских начальников армии и еле успевает перекинуться двумя-тремя словами с Григорием Ивановичем Котовским. А там - совещание Военно-научного общества, где Фрунзе говорит о характере будущей войны, о значении психотехники, о подборе наиболее пригодных людей во все рода войск, так как не всякий может быть, например, летчиком или моряком...

Разве можно не побывать на заводе "Икар", где изготовляется первый советский авиационный мотор? А бронетанковые части? И он, и Егоров уделяют им много внимания, в то же время приветствуя советское тракторостроение: пусть трудятся наши тракторы на полях в мирное время, а придет война - из них получатся прекрасные тягачи.

Еще одно нововведение: полковая артиллерия. Насколько сильнее стала пехота! И как это пригодится в случае войны!

Но нельзя не позаботиться также о пулемете. Не пора ли избавиться от заграничных пулеметов Максима и Дризе, которые с давних пор на вооружении нашей армии? Не пора ли создать свой, отечественный, русский пулемет, и чтобы он был не хуже иностранных?

Фрунзе вызывает к себе известного конструктора-изобретателя стрелкового оружия Дегтярева и конструктора-оружейника Федорова, двух друзей, работающих сообща и безраздельно.

- Догадываетесь, зачем я вас пригласил?

- Думаю, что потолковать о том же, о чем думка и у нас самих.

- Что нужно сделать, чтобы работа у вас шла успешнее?

- Сказать по правде, у меня и чертежи уже сделаны...

- Пулемета?!

- Пулемета.

- Значит, понимаете, как это нужно? Разве не обидно, что до сего времени кафтан-то с чужого плеча носим? Добро бы хоть не умели. Умеем! Еще как умеем! Недавно я вычитал: парашют-то - чье изобретение? Котельникова! Чать, и вы тоже не слышали об этом? И никто не знает. А почему? В таких вещах скромность неуместна.

- А радио? А электрическая лампочка? - стал перечислять Дегтярев. Кто о Попове знает? О Яблочкине? Мы-то по-человечески подходим, без торгашества, а там, у капиталистов, все на рубли переложено: талант на рубли, ум на рубли, совесть...

- Ну, совесть-то у капиталистов дешевле.

Фрунзе обращался то к Дегтяреву, то к Федорову, расспрашивал их, рассказывал сам. Завязался интересный разговор. Михаил Васильевич позвал их к себе домой. Квартира у него просторная, солнечная, и место хорошее у самого Кремля. А в квартире все шкафы, шкафы наставлены, снизу доверху книгами заполнены, а книги все больше по военному делу.

Пили чай. Обсудили, прикинули. А когда вышли от наркома, переглянулись и видят: у того и у другого глаза горят, лица помолодели. Раззадорил их Фрунзе!

- Сделаем пулемет, - сказал Дегтярев.

- Сразу надо приниматься, - согласился Федоров. - Сегодня же, не откладывая.

- Да не просто пулемет, а чтобы у этого Дризе глаза лопнули от зависти!

- Не для буржуазии делаем, для народа. Надо постараться.

Так они толковали, остановившись перед домом, где жил Фрунзе. Щурились от яркого солнца и блеска кремлевских куполов, говорили кратко, отрывисто, по-деловому.

А там, у Фрунзе, как только распрощались изобретатели и ушли, произошел другой разговор.

- Не щадишь ты себя, - сказала Софья Алексеевна, подсаживаясь на кресло к мужу. - Не щадишь, а у меня язык не поворачивается попрекнуть тебя и остановить. Да и бесполезно. Сколько я знаю тебя, еще с Читы, всегда ты такой неугомонный. Отдаешь без меры, любишь

без оговорок... Хороший ты у меня!

У Фрунзе начинался приступ болезни, он готов был кричать от боли, но улыбнулся и сказал:

- И ты у меня - самая лучшая женщина на свете!

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Очень много работы. Уйма работы. Михаил Васильевич справляется со всем только благодаря умению распределять время. Иные суетятся, а дело ни с места. Это происходит от разбросанности мыслей, от беспорядка в доме и в голове. Часы и недели утекают, как песок из пригоршни, а ведь известно время никого не ждет. У Михаила Васильевича непоколебимая дисциплина труда, железная воля. Поэтому он никогда не торопится и все успевает.

Много значит дружная семья. Все приспособлено, слаженно, все вещи знают свое место. Как бы ни устал, как бы ни растревожился - дома встретит неизменно привет и ласку, дома услышит спокойный голос жены, найдет внимательного слушателя, вдумчивого собеседника, верного друга. А это так важно, так нужно, чтобы собраться с силами для нового наступления, для новых боев.

Софья Алексеевна окружила мужа заботами, создала ему соответствующую его напряженной жизни обстановку. Легко и просто разделяла с ним все тяготы и заботы, причем никогда не показывала вида, что устала, что ей невмоготу. Она жила талантливо, так, как танцует талантливая балерина: вкладывая много труда и умения, но сохраняя при этом непринужденность и легкость, простую и светлую улыбку.

Познакомились они в далекой Чите. Софья Алексеевна помогла тогда некоему Владимиру Григорьевичу Василенко. Документы на имя Василенко Фрунзе получил при содействии партийной организации после побега из ссылки. Под этим именем Фрунзе поступил на работу в статистическое управление Читы. Там он и познакомился с сотрудницей статистического управления Софьей Алексеевной Поповой. Когда полиция напала на след, Фрунзе переменил документы и под фамилией Михайлова уехал в Москву. Всю дорогу он изображал тяжелобольного, а подруга Софьи Алексеевны взялась сопровождать его в качестве сиделки.

Снова встретились Фрунзе и Софья Алексеевна уже в революционные годы, встретились, чтобы больше не разлучаться. Теперь Софья Алексеевна ни на шаг не отставала от мужа, куда он, туда и она.

Кончились битвы с интервентами, сгинули и Врангель и Колчак. Но не убавилось работы. Выяснилось, что суворовское правило "Сначала ознакомься, изучи, а потом действуй" приложимо в равной степени к военным операциям и к любой деятельности в мирное время. Да и можно ли назвать мирным временем тревожные двадцатые годы?

День заполнен до предела. Тут и поездки в воинские части, и чтение лекций, и бесчисленные приемы, требующие внимания, указаний, советов, принятия мер... Ночь предназначена для учебы, для углубления знаний, для изучения военного дела. Конспекты, писание статей, руководств... Почему-то всегда оказывается что-нибудь срочное - то подготовка выступления о задачах академиков в армии, о военно-политическом воспитании Красной Армии, о фронте и тыле будущих войн, то срочные статьи о военной технике, о воздушном флоте, о единой военной доктрине в Красной Армии.

Ночь. Тишина. На полках, на столе - книги, книги, книги - молчаливые друзья и добрые советчики. Стакан крепкого холодного чая. Удобное кресло. Зеленый абажур проливает мягкий свет, бросает блики на стены, на потолок, располагает к вдумчивости, к размышлениям...

Все понять. Все оценить. Составить план действий и тогда только действовать. Здесь нельзя размышлять об отвлеченном. Мысль должна быть точной, как наводка артиллерийского орудия. Ошибаться нельзя. И когда будут сделаны вычисления, можно подать команду - "Огонь!".

В открытое окно веет прохладой. Чуть-чуть пошевеливается край занавески. Как любит Михаил Васильевич эти ночные часы работы! Весь он безраздельно принадлежит партии, он отдал жизнь, сколько бы она еще ни длилась - год или десятилетия - отдал всю целиком служению народу, И сознание, что выполнит все, что требуется выполнить, создает полную согласованность, полную гармоничность всего существа.

Он счастлив.

Работается хорошо. Мысли на редкость четки и стройны. Продумано и записано все, что нужно будет сказать в выступлении.

Закончив работу над докладом, Фрунзе откинулся в кресле. Мигом обступили видения пережитого, незабываемые картины борьбы, исканий и побед...

После поездки в Ленинград особенно часто вспоминался 1905 год.

2

В тот памятный год царь дал сражение безоружной толпе из-за охватившего его животного страха, из-за туманящей мозг жгучей ненависти. Он стрелял, а у самого поджилки тряслись. Он боялся даже безоружных!

Расправа с народом была преднамеренной. Сговорившись, расставив войска, притаились и ждали. Притворялся граф Витте, что ровно ничего не знает, и пожимал плечами, когда к нему пришла делегация интеллигентов и просила предотвратить кровопролитие. Притворялись бессильными что-нибудь сделать эсеры. Умывали руки сюсюкающие меньшевики. А царские генералы и полковники сидели в засадах и готовились ударить по "внутреннему врагу".

Думал ли тогда Фрунзе, что ему придется еще не раз встретиться с этими господами на ратном поле?

Вел толпу поп Гапон.

По знаку самодержавного убийцы полковник Дельсаль приказал открыть огонь по народу, шедшему к Дворцовой площади. Дельсалю мерещились награды, повышения в чине, почетная старость и немеркнущая слава в веках!

Фрунзе был на Дворцовой площади, когда войска открыли огонь по безоружной толпе, несшей иконы и царские портреты. Он шел с путиловскими рабочими.

Большевики пытались предотвратить шествие, уберечь народ от кровавой расправы, от напрасных жертв. Но поняв, что манифестация все-таки состоится, они хотели превратить ее в рабочую демонстрацию. И в знаменитой петиции, которую предполагалось вручить царю, содержались требования о сокращении рабочего дня, об улучшении жизни рабочих.

Фрунзе оказался среди манифестантов не случайно. Он хотел разделить с рабочей массой опасность, все превратности судьбы.

Удивительно, что манифестанты, несмотря на преграды, все-таки прорвались на Дворцовую площадь. Но здесь толпу расстреливали в упор.

Сначала Фрунзе не поверил, что солдаты стреляют боевыми патронами. Но вот он увидел, как упал простосердечный старый рабочий, наивно хранивший надежду на доброту царя-батюшки и теперь столкнувшийся лицом к лицу с жестокой правдой. Старик нес, как носят икону в престольный сельский праздник, портрет царя в тусклой золоченой раме. Сусальный царь на портрете выглядел добродушным и совсем не походил на подлинного царя, осторожно выглядывавшего из окна своего дворца. Пуля попала в портрет, в самую физиономию самодержца, пробила картон и вонзилась в сердце доверчивого рабочего. Он упал. Кровавое пятно расплылось на портрете. Царскую бородку смочила рабочая кровь.

Фрунзе наклонился над рабочим, и в это время другая пуля ранила его самого. Рана была легкая, пуля не задела кость. Все же это была рана. Фрунзе пришел в себя лишь в приемном покое, где ему забинтовали руку. Первое, что он увидел, - участливое лицо врача, приговаривавшего: "Легко отделались, молодой человек! Поздравляю, вам еще повезло!"

Как и всякий другой, день 9 января 1905 года кончился. Стемнело. Настала черная тяжелая ночь. Стрельба прекратилась. Повсюду на улицах валялись неубранные трупы, безмолвно кричавшие об отмщении. А в больницах до утра работали операционные.

Непрерывно двигались носилки. Кого несли на больничную койку, кого - в морг. Царь мог подвести итоги: тысяча убитых, пять тысяч раненых. Это ли не успех!

Забрызганы кровью стены дворцов, залита кровью торцовая мостовая. Каждый убийца стремится замести следы преступления, отмыть пятна крови на рукавах. Глухой ночью, крадучись, строго наблюдая, чтобы никто ничего не увидел, развозили по кладбищам мертвецов. Грузили на подводы без разбору, навалом. Грузили молча. Приказано было шума не производить. Рассеяли толпу, собравшуюся у Александровской больницы, - нечего глазеть. Разогнали и родственников. Но Фрунзе все видел.

В два часа ночи везли трупы на Смоленское кладбище. В следующую ночь вывезли трупы из Обуховской больницы. Их на скорую руку закопали на Преображенском кладбище. Тут надо было обеспечить следование подвод до Николаевского вокзала. Генерал-майор Лангоф рапортовал о выполнении этой малопочетной задачи. Генерал-майор барон Неттельгорст позаботился, чтобы оттеснили толпу, собравшуюся на кладбище. Барон службу знает! Энергично действовал и генерал-майор барон Гернгрос, не жалея ни сил, ни времени. На Охтенском кладбище учащаяся молодежь хоронила своего товарища студента. Конная полиция следила, чтобы не пели "Вы жертвою пали".

Много хлопот с покойниками, еще больше с живыми. На заводах разместили улан. Рота под командой штабс-капитана Лимберга наводила порядок в Василеостровском конно-железнодорожном парке. На ликерном заводе Бекмана 60 тысяч ведер спирта. Войска несут цареву службу около спирта, оберегают ликерную территорию, даже ходят провожатыми штрейкбрехеров, чтобы тех не побили, когда они возвращаются домой. На меднопрокатный завод Розенкранца пристав Шолтинг тоже вызвал эскадрон драгун. Для спокойствия.

Палачам и убийцам было не по себе, их преследовали призраки убитых. Среди ночи вскакивает с постели в холодном поту великий князь Сергей Михайлович, названивает по телефону и истерическим голосом отдает приказ немеденно привести в боевую готовность кавалергардский полк. Скачут отборные войска по пустым безлюдным улицам, по Литейному мосту, по Дворцовому мосту, вдоль Малой Конюшенной, по Лиговке, по набережным Невы... Охраняют фабрику Лаферм, оружейный завод Шафа, лицеистов, институты благородных девиц, керосиновые склады на Обводном канале...

Фрунзе ночевал в квартире знакомого рабочего. Там уже знали все новости. Рассказывали, что Николай II сразу же сбежал в Царское Село, наглухо заперся в Александровском дворце и дрожал мелкой дрожью. Окружив дворец самыми надежными войсками, он решил постоять за себя. Вся округа поднята на ноги. Всё на военном положении. Разъезды, приказы, рапорты. Вот скачет во главе своих кирасир полковник Раух разгонять почудившиеся в ночном мраке народные массы. Никого не обнаружив, кирасиры возвращаются назад. Вот отправляется в разведку поручик Старженецкий-Лапп. Вот по боевой тревоге некий грозный генерал атакует деревню Пулково, полагая, что там собралась вооруженная разгневанная толпа. Дежурят ночи напролет. Звонят по телефону. Назначен пост даже возле Чесменской богадельни!

3

Большие события в жизни человека никогда не стираются, врезаются в мозг, постоянно хранятся где-то в архивах памяти. В минуты раздумья или затронутые случайным словом в разговоре, они вдруг всплывают во всей полноте и яркости, как будто все это произошло только вчера.

Так прочно запечатлелся у Фрунзе поход рабочих к царскому дворцу. Врезался в память сраженный пулей старик рабочий, раскинувший руки на мостовой, а рядом простреленный царский портрет, обагренный рабочей кровью...

Этот день решил дальнейшую судьбу Фрунзе. Все, что он видел на Дворцовой площади, а затем в приемном покое, до глубины потрясло его. И, шагая по опустевшим улицам Петербурга, Фрунзе поклялся до конца своих дней бороться с властью царей, со всеми врагами народа.

Вскоре он очутился под надзором полиции, затем был выслан... Партия направила его

на подпольную работу в славный революционными традициями Иваново-Вознесенск. Началась полная опасностей жизнь подпольщика...

...Зеленый свет абажура мягко ложится на стены. Стакан чаю отбрасывает лучистых зайчиков на потолок. Чуть колышется светло-зеленая штора на открытом окне. Какая замечательная ночь! Доносится равномерный гул, мощное дыхание Москвы. Пахнут тополя. Удивительные стоят деньки. В полдень жарко, а в полуночные часы - упоительная свежесть и прохлада.

Фрунзе откинулся в кресле. Он думает. Он вспоминает. И перед его взором проходят одна за другой памятные картины...

В лесных чащобах, на затерянных среди ельника полянах шуйские и иваново-вознесенские рабочие учатся стрелять из винчестеров и револьверов. Серьезно и деловито готовятся они к предстоящим боям. Руководит обучением Фрунзе. Оружие доставать трудно. Вооружались своеобразно: ночью дружинники подстерегали городовых и, пригрозив револьвером, отнимали у них оружие. Так предложил Фрунзе.

- Это только восстанавливает справедливость, - смеялся он. - Оружием, предназначенным для нашего истребления, мы сокрушим самодержавие.

Фрунзе тоже усердно учился стрелять и вскоре стал отличным стрелком. Когда звуки выстрелов долетали до постороннего уха, всегда находился человек, который пояснял с самым невинным видом:

- Не иначе как по уткам стреляют. Сейчас самая охота на дичь.

Но утки могли спокойно плавать в озерках, среди густого ивняка и кустов черемухи. Никто не покушался на их спокойствие.

- Рабочему вот как пригодится военная подготовка, - радовался Фрунзе. - Ведь никто нам добровольно власти не уступит.

По всей России шли ожесточенные сражения. Новое сражалось со старым.

Некоторые отставшие от жизни политические эмигранты заявляли, что это "вспышкопускательство", что не надо было начинать. Нет, дело было посерьезнее. Недаром даже самые заядлые реакционеры кляли в эти дни Николая и, не мысля России без царя, прочили на престол великого князя Дмитрия Павловича. В кадетских кругах, представлявших революцию по образчику буржуазных революций Западной Европы (так же мыслили и меньшевики!), прочили в президенты своего ставленника. Все это свидетельствовало о смятении умов, о том, что трон зашатался, что Россия была накануне государственного переворота.

Революция 1905 года открыла новую страницу в истории. Таких революций еще не происходило. Это сразу же понял Ленин, утверждая, что победа буржуазной революции в России невозможна как победа буржуазии. Этого так и не поняла отсталая русская буржуазия, не уразумели выездные лакеи буржуазии - меньшевики.

Революция выявила расстановку сил. Стали ясны чаяния буржуазии. Полностью разоблачили себя меньшевики, вполне заслужившие резкую, но точную оценку Ленина, который назвал их ликвидаторской сволочью.

Нет, не пропали даром усилия, не были напрасными жертвы! Вспоминая об этих стремительных днях, Фрунзе и сейчас еще испытывает волнение. Глаза загораются, кровь приливает к лицу. Презрительно усмехается, когда приходят на ум все дешевые отговорки ликвидаторов: рабочий класс-де не созрел, надо, мол, с социалистической революцией смиренно ждать до тех пор, пока пролетариат в результате экономического развития общества не станет большинством нации.

- С этой дрянью, - бормочет Фрунзе, щуря глаза, - с этой увертливой публикой еще придется повозиться! Тысячу раз прав Ильич, что считал этих маневрирующих мещан более страшными, чем Деникин!

Фрунзе глубоко верит, что вслед за нашей разразятся революции в других капиталистических странах и отжившему старому устройству мира несдобровать.

Кто следующий?! Учтите опыт 1905 года и победы Октября! России пришлось

прокладывать путь по неизведанному. Запомните все! Не повторяйте отдельных наших ошибок! Предусмотрите все неожиданности! Выберите подходящую обстановку, используйте колебания во вражеских рядах, подхватите воодушевление в народных массах! Больше смелости!

"Да! - размышляет Фрунзе, досадуя. - Нам бы опыт, который есть сейчас, нам бы единство партии, какого добиваемся мы сейчас! Непростительно, какие в 1905 году упускались возможности. Не использовать восстания Ростовского гренадерского полка, расквартированного в Москве! Ведь они предлагали передать нам весь арсенал, даже только что появившиеся в России пулеметы! Была бы совсем другая картина! Не понадобилось бы из ломаных диванов и поваленных киосков с прохладительными напитками сооружать живописные, но ни от чего не защищающие баррикады! Что делали тогда московские руководители? Заседали! Ох, дорого нам обходятся заседания и бумажная писанина! Восстание Ростовского полка было подавлено, а мы все еще "ставили вопрос", голосовали, хотя рабочие давно уже были "за"! Когда же раскачались в конце концов и начали всеобщую забастовку, не сумели уберечь руководивший восстанием федеративный комитет, и он был арестован. В эти же дни арестован был и Петербургский Совет..."

Фрунзе помнит все. Да и впоследствии он внимательно изучал минувшие годы. Изучал, чтобы извлечь практическую пользу, чтобы, зная прошлое, правильно ориентироваться в настоящем. Может быть, по той причине, что сам он был участником этой борьбы, Фрунзе не мог относиться к пережитому со спокойствием историка. Он принимал близко к сердцу каждое упущение, проникался ненавистью к тем, кто был помехой, преисполнялся гордостью, думая о беззаветной храбрости, о гордой неподкупности рабочих, сражавшихся на баррикадах со своими жалкими "бульдогами" и смитт-вессонами против пулеметов и артиллерии.

Послали тогда в Бельгию за оружием, и деньги на это нашли. Но когда послали? Только в октябре, когда все события уже шли полным ходом! А ведь известно, что после драки кулаками не машут. Бомбы петербургской лаборатории специально предназначались для Москвы, но изготовлены были к самому концу восстания и так до места и не доехали. И не возмутительна ли преступная медлительность с разрушением железнодорожных путей между Москвой и Петербургом? Николаевская железная дорога не бастовала. Но почему же не бастовала? Почему не нашлось убедительных слов для этих железнодорожников? Почему не подумали об этом раньше? Но если так, то следовало взорвать мосты, железнодорожное полотно. Кто медлил? Кто не выполнил это важное поручение? В результате Семеновский полк благополучно проследовал из Петербурга на усмирение. Как же можно было допустить, чтобы этот чертов полк преспокойно разместился в вагонах, погрузил с собой и пушечки и, прибыв в Москву, принялся планомерно истреблять революционных рабочих?

Фрунзе сжимает кулаки, стискивает зубы.

Опять все те же меньшевистские штучки! Опять все та же половинчатость, нерешительность, несогласованность! 10 декабря в центре Москвы начался орудийный обстрел, а на Пресне все еще митинговали, все еще ждали каких-то указаний. Только 11-го была наконец напечатана в "Известиях Московского совета" инструкция.

На улицах уже дрались. Удалось даже отбить у драгун пушку. Замечательный народ у нас в России! Сколько бы ни злословили недруги и вероломные псевдодрузья, никак им не опровергнуть того факта, что у нас совершенно особенный, вызывающий гордость и восхищение народ! Он еще не раз удивит весь мир, не раз еще выручит из неминуемой беды человечество, не раз еще покажет пример щедрости души, благородства и доблести!

Фрунзе до сих пор помнит и всю жизнь будет помнить красивые, мужественные лица защитников Пресни, участников уличных боев.

Помнит он и еще один эпизод того времени.

Захватили лысоватого жирного начальника охранки Войлошникова. Он был расстрелян на фабричном дворе Прохоровки. Когда его вели к месту казни, он мелко дрожал, лязгал зубами. Потом сдавленным, лающим голосом говорил о каком-то выкупе, клялся, что у него

много денег и он заплатит, им же будет выгоднее, для них же лучше... Увидев кирпичную стену, понял, что здесь все и произойдет. Он слишком хорошо знал технику этого дела! Не раз ему случалось видеть, как вышибают скамейку из-под ног приговоренного к повешению, как бьется в конвульсиях тело расстрелянного. Ему всегда представлялось, что, убивая или приговаривая к смерти, он тем самым обеспечивал себе лишний кусочек жизни. И вдруг теперь осознал, что это он, он будет через несколько минут просто-напросто падалью, ничем, и, сколько бы над землей ни промчалось времени, хотя бы миллионы миллионов лет, он, чиновник департамента полиции Войлошников, он, такой значительный, важный, облеченный такой властью, никогда уже не появится, не будет пить чай, не будет ходить в баню, не будет получать наградные... И тут он завизжал, стал упираться, брыкаться, так что пришлось его волоком тащить и, кое-как прислонив к стене, прикончить.

Рабочий, распоряжавшийся всей процедурой, даже сплюнул от досады.

- Жили похабно, - пробормотал он, - и умереть по-человечески не умеют! Пошли, ребята!

И они даже не оглянулись, бряцая винтовками, направляясь туда, где сражались с драгунами, сыщиками, черной сотней отважные их товарищи.

4

В Москву Фрунзе приехал со своими боевиками. Иваново-Вознесенский комитет большевиков, узнав, что Москва строит баррикады, решил послать на помощь москвичам отряд боевой дружины. Дружинники были вооружены, обучены, полны готовности сражаться.

Отряд построился и, не обращая внимания на жандармерию, погрузился в вагоны. Дружинники были в приподнятом настроении. Ведь им в первый раз в жизни предстояло участвовать в настоящем сражении. Впрочем, пока никто ясно не представлял, что их ожидает.

В вагонах было шумно. Кто шутил и смеялся, кто рассказывал друзьям о своей жизни. Поезд мчался, не останавливаясь на промежуточных станциях, всюду были предупреждены железнодорожные комитеты, всюду знали, какой поезд следует в Москву.

На баррикады! Врагам нет пощады!

Дружно выговаривали бодрые слова революционной песни. Паровоз дымил, вагоны мерно раскачивались. Мимо мелькали поля, строения, березняки.

Сразу же, с места в карьер, пришлось вступить в бой. У Николаевского вокзала делали перебежки, и Фрунзе взял на мушку нахального усатого штабс-капитана, который так раскричался на медливших со стрельбой солдат, так размахивал руками, что был отличной мишенью.

На Триумфальной площади отряд залег за баррикадой, построенной еще ночью при деятельном участии дворников, кухарок, при живейшей помощи курсисток, мастеровых. Здесь по восставшим был открыт жестокий огонь. Баррикады плохо защищали, один за другим падали дружинники. Убитые так и лежали, распластавшись возле нелепого сооружения из домашней рухляди. Раненым тоже некуда было деваться. Пока они пытались ползком добраться до какого-нибудь укрытия, их настигала пуля. Вообще некуда было отступать. Необходимо пробиться к Пресне, туда есть только один путь - по Садовой. Но Садовая простреливается пулеметными очередями, и двигаться по ней - значит идти на верную смерть.

Может быть, это был первый маневр будущего полководца: Фрунзе учел обстановку, понял, что единственный выход из положения - прекратить пулеметный огонь. Он выбрал для задуманной им операции двух самых отчаянных смельчаков из дружины и вместе с ними отправился в путь, где ползком, где перебегая от одного угла дома до другого. По задворкам, по чьим-то садочкам, между какими-то сараями пробрались к тому месту, откуда видны были вспышки при стрельбе из пулемета. Войдя в чистенький, подметенный двор двухэтажного дома и взобравшись по пожарной лестнице, увидели пулеметчика. Это был высокого роста человек в солдатской шинели, с лычками на погонах.

Фрунзе одним прыжком очутился около него. Схватка была короткой. Здоровенный детина рухнул на земляной пол чердака.

- Хороший трофей! - пробормотал Фрунзе, разглядывая пулемет. - А ведь таких игрушек могло быть у нас около десятка, если бы мы захватили арсенал!

...Тысяча девятьсот пятый... Романтика... Баррикады из сломанных стульев... Смитвессоны... И тогда была настоящая, живая кровь, священная кровь, обагрившая мостовые!

Может быть, вспоминая об этом сражении, так же как и о дальнейших крупных военных операциях и битвах, Фрунзе впоследствии говорил, что победит лишь тот, кто найдет в себе решимость наступать. Сторона, только обороняющаяся, неизбежно обречена на поражение. Но в некоторых случаях и маневренные отступательные операции разумны и являются в конечном счете наступлением.

Уже гремели по рельсам Николаевской железной дороги вагоны, наполненные муштрованными семеновцами - опорой царя. Солдаты орали песни, полковник Мин - выкормленное на народных харчах бесчувственное животное равнодушно смотрел в окно вагона на мелькающие деревья, на станционные постройки. Любань... Малая Вишера... Бологое...

Для того ли трудились русские строители, сооружая эти насыпи, виадуки, мосты, для того ли талантливый инженер Мельников решал сложные задачи, проверял рабочие чертежи, объезжал все участки стройки, чтобы теперь по великолепной дороге, может быть, лучшей в России, мчался в воинском эшелоне этот убийца, храбрый, когда приходится сражаться с безоружными?!

Поезд громыхал по стыкам рельсов, паровоз раскатывал басистый крик по просторам, паровозный дым застревал в сучьях берез, стлался по низине.

Не мучила ли совесть машиниста, ведшего этот состав? И не мерещилось ли в ту ночь полковнику Мину дуло револьвера Коноплянниковой, которая убила полковника спустя всего каких-нибудь восемь месяцев?

Машинист, машинист! Когда ведешь паровоз, думай, кому ты служишь. И если делу свободы - прибавь ходу, машинист! Прибавь ходу во имя всего светлого и справедливого! А если для черного дела...

5

- Милый! Ты что-то очень засиделся!

Софья Алексеевна входит в кабинет с заплетенными в косу волосами, с не совсем еще проснувшимися глазами, в домашнем капоте и с зажженной свечой.

Михаил Васильевич рассеянно улыбается, все еще находясь во власти нахлынувших видений.

- Смотри, уже рассвело, можно даже погасить свет.

- Я уже закончил доклад. По-моему, получилось четко и вразумительно.

- Отлично. Но почему же ты не ложишься спать? Надо же и отдыхать когда-нибудь. Ведь у тебя только что был приступ!

- Сейчас лягу. Честное слово, лягу. Немножечко замечтался, задумался. Мы, старики, любим вспоминать давние времена.

- Что же вспоминал "старик", которому еще нет сорока лет от роду?

- Вспоминал ту, первую революцию. Удивительное дело, Сонечка, кажется, все бои позади, бесследно исчез царизм, разбиты вдребезги одна за другой армии интервентов и контрреволюции...

- Ну и что же? И очень хорошо.

- Да, но сражения не затихают. Я не говорю уж об опасности извне. Но и здесь, внутри страны, приходится давать бои на каждом съезде, на каждом совещании!

- Вчера я мыла бутылку из-под масла, - спокойно проговорила Софья Алексеевна, погасив свечу и усаживаясь около мужа.

- Какую бутылку?!

- Из-под масла. Я же тебе объясняю. Налила я в бутылку теплой воды. Масло всплыло,

но не все, на стенках тоже остались масляные следы. Пришлось насыпать песку да ежом, ежом хорошенько тереть? Очень трудно отмывать бутылку из-под растительного масла!

Фрунзе внимательно слушал. Веселые искорки прыгали у него в глазах. Он сразу понял, что хочет сказать Софья Алексеевна.

- Умница ты у меня! Ты, конечно, права, не бывает так, чтобы до пограничного столба жили одни только праведники от социализма, а за пограничной чертой одни только злые упыри и колдуньи капитализма. Пока существует капиталистический строй, не переведутся и его подпевалы даже у нас, в социалистическом лагере. Единственно - это они будут менять личины и пользоваться разными приемами беспощадной, незатихающей борьбы.

- На этом и постановим! - поднялась с места Софья Алексеевна.

С Е М Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Новый, 1925 год в Умани встретили весело, доверчиво, дружно. Строго по-военному и тоже радостно отмечали Новый год в частях корпуса, размещенных в Бердичеве, Гайсине, Тульчине.

Эти небольшие местечки вряд ли помнили свое пышное прошлое, с балами и выездами, с кровавой резней и звонкими титулами их властителей.

В Бердичеве был когда-то монастырь кармелитов, монашеского ордена, по преданию, основанного самим пророком Ильей. Кармелиты свой монастырь окружили рвами и высоким валом, поставили пушки, прорезали в стенах амбразуры... В подземной церкви здесь был когда-то заключен Мазепою известный гетман Палий. Одно время город был личной собственностью княгини Элеоноры Радзивилл. Впоследствии и монастырь упразднили, и рвы засыпали, и стал этот городок на берегу реки Гнилопят самым заурядным уездным захолустьем.

Котовский восстановил старые казармы на Лысой горе, сам обдумывал расположение и размещение, сам чертил планы конюшен. К казармам проложили узкоколейку. Устроили гимнастические залы с брусьями, трапециями и шведскими лестницами. И началась здоровая, трудовая жизнь. Учились, строго придерживались распорядка, осваивали трудную военную науку, вырабатывали силу воли и силу мышц.

Гайсин, соседствующий с Уманью, особенно ничем но примечателен. Почва в этих местах черноземная, местность преимущественно степная. Встречается, впрочем, красавец граб, с сережками соцветий и светло-серой гладкой корой ствола, да кое-где кудрявятся дубовые рощи.

Тульчин - большое промышленное местечко. Здесь до революции были провиантские магазины, паровая мельница, каретная и табачная фабрики и кожевенные заводы. В стародавние времена здесь граф Потоцкий собирал свое войско.

Пришла другая эпоха. В городе разместился 2-й кавалерийский корпус. Кавалеристы не готовились к завоевательным походам, не мечтали о грабежах и легкой наживе в чужеземных городах. Это были настоящие воины, готовые постоять за родные края. На их стороне была маневренность, инициатива, все новейшее оснащение армии, неисчерпаемые ресурсы, организованный тыл и единодушие всего народа.

Котовский хотел как можно лучше воспитать новые кадры армии. Да и сам он был воплощением силы, смелости, инициативы. Он видел, что молодежь растет боевая, напористая. Он любовался ею, старался помочь ее росту. Он сердился, когда ему толковали об отцах и детях, о том, что дети отказываются от наследия отцов и непременно норовят сделать все по-своему, пускай плохо, лишь бы наперекор.

- Вранье все это! - решительно объявлял он. - Впрочем, я не берусь судить о старом отжившем мире, там во всем разнобой. А в Советском государстве, если отец падает, сраженный пулей, сын подхватывает его винтовку. Разве у безусого комсомола свои, особые знамена? Где-то я вычитал, что не обязательно быть богатым, великим или ученым, но честным быть обязательно. Мне часто случается беседовать с молодежью, и я говорю им: "Обязательно будьте честными! Но кроме того, обязательно будьте богатыми, обязательно

будьте великими, обязательно будьте учеными. Весь мир - для вас. Устраивайте его. А хотите, все выскажу в одном слове? Будьте ленинцами!"

Об этом настойчиво говорил Котовский командному составу корпуса, об этом толковал красным бойцам, об этом шла речь и на съезде комитетов незаможных селян, и на съезде Советов Киевщины, и в обращении к студенчеству, и в страстном призыве к молодежи в статье "Мой завет".

2

В апреле 1925 года состоялся Первый съезд Общества бессарабцев. И конечно же, на съезде был Котовский, был и выступил с такой речью, что весь зал долго грохотал аплодисментами.

На съезде присутствовало немало борцов с захватчиками Бессарабии. Съезду было сообщено о незатихающей борьбе бессарабцев за свою свободу.

Котовский хорошо помнил, как он, теснимый интервентами, переправлялся с отрядом через Днестр. С тех пор как в 1918 году в Бессарабию вторглась боярская Румыния, поддержанная всеми империалистами, с тех пор как по самый Днестр была захвачена солнечная Бессарабия, не переводились там смелые люди, не прекращалась борьба.

Хотинских повстанцев усмиряли французские войска. Об этом рассказал на съезде один из участников восстания:

- На рыночной площади Хотина интервенты из пулеметов расстреляли пятьсот человек, а в общей сложности в Хотине было убито свыше одиннадцати тысяч.

И закончил он выступление так:

- Попили они нашей крови всласть, а любви народной этим не стяжали. Да будет проклят каждый усмиритель и палач, который поднимает руку на угнетенных! Товарищи! Смерть палачам! Да здравствует международная солидарность трудящихся!

Затем выступил Котовский, а после него один из подпольщиков Бессарабии. Он рассказал, как коммунисты выпускают воззвания, даже издают в Кишиневе подпольную газету. Еще он рассказал, как сигуранцей были убиты некоторые виднейшие большевики Бессарабии, как начались аресты и состоялся известный "процесс двухсот семидесяти".

- Это еще до восстания в Татарбунарах. Восстание в Татарбунарах началось в сентябре тысяча девятьсот двадцать четвертого года, как вам известно. Мы так рассудили, что лучше погибнуть в бою, чем жить в унижении. На подавление восстания интервенты бросили девять полков. Как видите, дело крупных масштабов. Конечно, нам было трудно: у них и кавалерия, и тяжелая артиллерия, и военные корабли дунайской флотилии... Повстанцев окружили в районе Вилкова. Кого захватили живыми, топили в реке Прибойне, в озере Кундук... Говорят, они собираются устроить "процесс пятисот". Значит, еще будут расправы. Но разве убьешь целый народ? Даже у завзятых живодеров сил не хватит! Мы не успокоимся, пока вся Бессарабия не будет свободна. Перед нами - пример и образец Молдавской автономной республики! Маяк, который нам светит!

Этот сдержанный, деловой доклад выслушали в тяжелом молчании. И долго еще в зале стояла тишина.

На Котовского было страшно смотреть. Невыносимо было ему, с его деятельной, кипучей натурой, слушать рассказ о вопиющей несправедливости, о бесчеловечности, слушать и ничего не предпринимать, не выхватить клинок из ножен, не броситься на обидчика! Эх, если бы только сделан был знак, только было бы сказано, что терпение иссякло, что довольно дипломатических переговоров, должны наконец понести заслуженную кару румынские помещики за замученных, расстрелянных, потопленных!.. Красная конница по первому сигналу перемахнула бы одним прыжком через Днестр и, напоив коней в реке Прут, двинулась бы дальше, неся знамя свободы...

Со съезда Григорий Иванович вернулся мрачным, подавленным. Перед его глазами стояли эти душераздирающие сцены, будто он сам наблюдал, как озверелые солдаты бьют, топчут, сбрасывают в воду - там, в Татарбунарах, и только за то, что люди не хотят быть рабами.

И разве только в Татарбунарах? Сколько еще людей томятся в бесправии, надрывно работая и влача жалкое существование только для того, чтобы жирел ненавистный капиталист! Вероятно, половина человечества живет впроголодь... И сколько тюрем переполнено отважными борцами за счастье народа! И сколько честных, самоотверженных, справедливых людей замучено и казнено!

- Мне что-то не по себе, Леля, - только и сказал он дома. - Не обращай внимания, пройдет.

Никогда Ольга Петровна не видела Котовского таким удрученным. А тут еще поехал он в Киев по делам корпуса, и там у него случился приступ желудочно-кишечных болей. Профессор Яновский, предположив язвенную болезнь, предложил Григорию Ивановичу лечь в клинику на исследование.

Но не так-то просто было уложить Котовского на больничную койку. Приступ прошел, нахлынули дела, заботы - какая уж там клиника!

Ольга Петровна решила не уступать. Она считала, что как врач обязана принять меры, сделать все от нее зависящее. Котовский и не подозревал, что она действует в этом направлении. Он едет на губернский съезд Советов. Он объезжает части корпуса, посещает Повторные курсы для командного и начальствующего состава, открытые в Умани. Он занят непрерывно. Он бодр, полон энергии. И только порою набегает тень на его лицо, его преследуют образы замученных, казненных там, по ту сторону Днестра, там, по ту сторону границы. Между тем Ольга Петровна сообщила о состоянии его здоровья Михаилу Васильевичу Фрунзе, предупредив, что делает это в строжайшем секрете от мужа и просит ее не выдавать.

Котовский был удивлен, когда получил в приказном порядке предложение выехать в Москву для обследования состояния здоровья.

- Наверное, профессор Яновский поднял бучу, - строил догадки Григорий Иванович. - Уж он меня и так и этак уговаривал лечь на исследование, а я ни в какую. Вы что, говорю ему, смеетесь? Что я, инвалид? Я здоров, дай бог каждому. А что поболело у меня - ну, значит, съел что-нибудь неподходящее... Вот он мне и отомстил.

Котовский не догадывался, что виновник вызова - вот он, сидит рядом. Ольга Петровна же усиленно поддакивала:

- Конечно Яновский! Непременно он. Только сердиться на него не следует, ведь он добра тебе желает, заботится о тебе. И почему бы нам не съездить в Москву? Давай, давай, приготовься, отдай все распоряжения, и поедем вместе, у меня уже и вещи уложены.

Две недели ходил Григорий Иванович по медицинским учреждениям. Рентген, всесторонние исследования, консультации профессоров, анализы... Ругался Григорий Иванович страшно, однако все терпеливо выполнил.

Ольга Петровна сама отправилась получать результаты проверки, выслушать выводы. Профессор - тучный, сам, по-видимому, не блещущий здоровьем, страдающий одышкой, - встретил приветливо. Врачи любят сообщать пациентам что-нибудь утешительное.

- Так вот, коллега, что я вам сообщу относительно вашего мужа: язвенная болезнь исключена, это отпадает категорически. Ни операционного вмешательства, ни специального лечения по этой линии не требуется, и я могу вас поздравить. Но установлено другое, и тоже серьезное заболевание невроз кишечника как проявление тяжелой неврастении.

Ольга Петровна хотела пояснить, как протекала жизнь Григория Ивановича, рассказать о тяжелых его переживаниях, о тюрьмах, о постоянном напряжении, о смертном приговоре, о каторге, об одесском подполье, о военных передрягах, но профессор ее остановил:

- Знаю. Все знаю, уважаемая Ольга Петровна. Тут не только неврастения, тут с ума можно сойти. Мы все изумлялись атлетическому сложению и феноменальному здоровью товарища Котовского. Но всему есть предел! Нельзя требовать от организма больше, чем возможно. Французы говорят, что даже самая красивая девушка не может дать больше, чем она имеет. Неврастения у Григория Ивановича в весьма тяжелой форме. Требуется отдых, отдых и еще раз отдых. Нельзя издеваться над своим организмом. Представьте себе, что мы

натягиваем очень прочную стальную струну. Сначала она звенит все тоньше и тоньше, издает чистый серебряный звук. Но если продолжать ее натягивать, она лопнет. Я так и доложу командованию. Требуется санаторное лечение, абсолютный покой, длительное отстранение от всякой деловой обстановки.

- На это он не пойдет... Я знаю его. Если бы удалось заставить его хотя бы взять отпуск, он и отпуск никогда еще не брал.

Профессор развел руками:

- Тут я уже ничего не могу сказать, сударыня. Болезнь хорошо лечить, пока она не запущена, in statu nascendi. А если у человека сегодня потрясение, завтра потрясение и так - бесконечное испытание прочности нервов, то, сами понимаете, даже gutta cavat lapidem, капля долбит камень. Я поговорю с Михаилом Васильевичем Фрунзе, хотя ему о своем здоровье надо бы подумать, но он принимает горячее участие в судьбе Котовского. Наш общий долг - поддержать этого человека, вернуть ему силы, равновесие, он еще многие-многие годы будет служить народу, находясь в армии, этом sancta sanctorum государства.

3

От санаторного лечения Григорий Иванович категорически отказался:

- Все равно я оттуда на другой же день сбегу. Смотреть на эти постные, кислые физиономии, глотать таблетки, ложиться спать по звонку и питаться всяческой диетической гадостью... Нет, делайте со мной что хотите, но увольте от такого бесчеловечного наказания! Я просто не влезу в санаторный халат! По мне лучше каторга, чем санаторий!

Тогда Фрунзе предложил ему взять месячный отпуск и ехать с семьей в военный совхоз Чебанку, под Одессой.

- Прелестное место, я сам жил там прошлое лето, - убеждал Фрунзе. Тут тебе и море, и тишина, а главное, Одесса рядом... Кормят там хорошо, а у вас домик будет отдельный, веранда, сад... Чего еще надо человеку? Рай земной!

- Ну, если рай, - улыбнулся Котовский, - можно попробовать, я всю жизнь больше по преисподням слонялся.

В отличном настроении приехал Котовский в Умань, и начались сборы в дорогу. Все складывалось как нельзя лучше. И корпус было на кого оставить, и Григорий Иванович радовался за сына - пусть подышит морским воздухом, да и Ольге Петровне совсем не мешает отдохнуть.

Порадовали Котовского и коммунары. Приехал из Ободовки председатель коммуны Левицкий, рассказывал, как хороши у них дела, привез с собой показать Котовскому новое пополнение - двух демобилизованных красноармейцев, принятых в коммуну.

Котовский обо всем расспрашивал, даже о том, сколько у них молодняка и каковы надои молока.

Виктор Федорович подробно обо всем докладывал. Вид у него был превосходный, он загорел, от него веяло здоровьем, полем, благополучием. Такие же были и его помощники.

- Дорогие товарищи! - любовался на них Котовский. - Очень рад слышать о ваших успехах. Рад, что вы оправдали все ожидания и надежды, даже перешагнули за них. Ваша коммуна становится предметом внимания всего Союза, и это должно вдохновлять вас. А ведь в Советском Союзе все должно стремиться стать образцовым, самым что ни на есть лучшим. В этом и заключается счастье. Метко сказал кто-то из классиков, что счастье - как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.

- Да, - согласился Левицкий, - пока что дела у нас идут в гору, не нарадуемся.

- Я думаю, дорогие друзья, ввиду того, что ваши акции поднимаются, не мешает осенью или зимой, когда я буду в Москве, поднять вопрос о передаче вам Ободовского сахарного завода. Справитесь?

- Чего не справиться! Нам только было бы к чему руки приложить!

Котовскому хотелось еще и еще сказать им что-то приятное, подбодрить и воодушевить. Он не привык хотя бы на один день приостанавливать работу. И теперь, уезжая в отпуск, старался все предусмотреть, всем дать наказ, чтобы успешнее шла работа, чтобы

чего-нибудь не напутали тут без него.

- Кооперацию, - рассказывал он коммунарам, - я рубль за рубль передал Молдавской республике. Конечно, мы пошли на жертву, но ведь надо же учитывать политический эффект. Следует поддержать их на первых шагах, создать материальную базу для нашей молодой Республики.

Коммунары одобрили это решение:

- По-государственному решаете, - сказал Левицкий, - с пользой для дела.

- Вот так-то, - продолжал Котовский. - Дела как будто бы идут хорошо, все радует, все будит надежды. Вот увидите, товарищи, пройдет каких-нибудь десять - пятнадцать лет - и мы построим социализм. Уж больно народ-то у нас хороший.

Прощаясь с ободовцами, Котовский крепко пожимал им руки:

- Я еду полечиться, осенью непременно загляну к вам. До того хочется, чтобы все шло успешно, так бы, кажется, сам всюду вмешался и подсобил!

- Спасибо, спасибо, Григорий Иванович! Чувствуем это, чувствуем вашу поддержку. Наказ ваш выполним, не беспокойтесь.

- Будьте сильны и здоровы! Всей душой с вами! Передайте мой привет героям и героиням, славным коммунарам!

Уехали ободовцы, а Котовский все ходил и улыбался.

- Хороший народ! Как ты считаешь, Леля?

- Хороший.

- Знаешь, какая у меня идея? Что, если нам никуда не поехать, ни на какой отдых, ни в какую Чебанку?

- Ты что, смеешься? Я уже и подорожников напекла!

- С подорожниками управимся и без дороги! Нет, давай поговорим серьезно. Исследование уважаемые профессора сделали? Сделали. Никаких язвенных болезней у меня не нашли? Не нашли. Я же говорил тебе: здоров и полон сил, чего и вам желаю! А к этой самой Чебанке-Кабанке, или как там ее, у меня просто душа не лежит. Ну как это я буду там ничего не делать? Не умею я ничего не делать!

Ольга Петровна сделала строгие глаза:

- Как! Ты, значит, ничего не понял? Тебе нужно очень серьезно отнестись к советам врачей, тебе необходим покой, полный отдых - ведь слышал же, что говорил профессор? Хорошо, я согласна, не езди в санаторий, тебе санаторный режим претит. Но пожить на лоне природы... чтобы было море, были сады...

- Ну ладно, - вздохнул Котовский. - Тогда вот что: я возьму с собой "Капитал" Маркса и буду его изучать.

- А если просто отдохнуть? Без всяких заданий? Можно это позволить себе хоть раз в жизни?

Котовский молчал, он обдумывал. Наконец ответил:

- Раз в жизни? Как ты считаешь, Леля? По-моему, и раз в жизни нельзя.

4

Так они попали под Одессу, в совхоз Чебанка, где был также дом отдыха на тридцать человек, так что у Котовских не было заботы и о питании. Ольга Петровна взяла с собой сестру, Елизавету Петровну. Елизавета Петровна была привязана к маленькому Гришутке, крепко дружила с сестрой и благоговейно относилась к Григорию Ивановичу.

Разместились хорошо. Спать Григорий Иванович решил на веранде. Все было бы превосходно, если бы не смутные тревоги и опасения, преследовавшие Ольгу Петровну. Но она приписывала это своей беременности. Вообще же в Чебанке было все, чего хотела Ольга Петровна: развесистые яблони с душистыми румяными яблоками, которые с легким стуком падали на землю и ждали здесь, на горячем припеке, не захочет ли кто-нибудь полакомиться ими... тихие, поросшие травой улицы, хорошенькие домики, рыбачьи лодки на морском берегу... солнце и море - золото и бирюза... и душные горячие южные ночи, наполненные запахами моря и трав...

В день приезда Котовский действительно полностью отдыхал, может быть, впервые в жизни. Он лежал в шезлонге перед окнами домика. Прошелся к морю. Разговаривал с сыном, отвечая на его вопросы: зачем устроено море, зачем оно соленое, везде ли растут деревья и кто их сажает, почему рыба живет в соленом море, а сама не соленая. Ольга Петровна была в восторге, что муж все-таки по-настоящему отдыхает. Она даже уговорила его вздремнуть часок после обеда:

- Ведь и в санаториях устраивают мертвый час!

Со следующего дня все пошло иначе. Котовский, по обыкновению, вставал в пять часов утра, делал гимнастику и шел на море купаться. После завтрака он усаживался за "Капитал". Читал, делал выписки и отмечал, какие книги ему понадобятся дополнительно в ближайшее время. Почувствовав, что устал, он отправлялся в совхоз. Знакомился со служащими, выслушивал добрые советы и сам делился опытом и знаниями. После обеда снова занимался. А вскоре в Чебанку стали приезжать с докладами корпусные работники, так что фактически Котовский и здесь продолжал руководить корпусом.

Киевская объединенная школа командиров отмечала шестилетие существования. Котовский порывался поехать на торжество, но Ольга Петровна так решительно протестовала, что Котовский ограничился письмом. В письме он высказывал пожелание, чтобы школа всегда оставалась такой же образцовой и выпускала полноценных красных командиров. Котовский советовал уже теперь, в стенах школы, повести беспощадную борьбу с одной из застарелых язв, бытующих порой в Красной Армии, - с показной парадностью и очковтирательством, а также не самообольщаться своими якобы большими знаниями в области военного искусства. Требуются многие и многие годы, чтобы вполне овладеть им, оно чрезвычайно сложно и постоянно претерпевает коренные изменения в связи с прогрессом техники. Наконец Котовский настойчиво советовал обратиться к спорту, так как каждому бойцу Красной Армии нужны сильная воля и стальные нервы для осуществления задач, поставленных перед ним самой историей.

Котовский писал с присущей ему страстностью, писал так, как будто давал наказ родному сыну, завещая ему быть достойным преемником.

Ольга Петровна заметила, что он целый день сидит за письменным столом.

- Что это ты пишешь?

Котовский объяснил, что хочет высказать свои пожелания курсантам.

- А если бы ты их высказал после отпуска, месяцем позже? - сдерживая досаду, спросила она. - Человечество что-нибудь потеряло бы от этого?

- Да ведь юбилейная-то дата у них сейчас, а не через месяц? Человек ничего не должен откладывать, нужно всегда поступать так, как будто завтра ты умрешь. Тогда уж непременно будешь добросовестен в делах и поступках! И тогда все успеешь! Ты как считаешь, Леля?

Ольга Петровна не могла долго на него сердиться. И разве она не знала характера Котовского? Хорошо хоть вечерами он не работает. Соберет обитателей дома отдыха и начнет рассказывать о подполье Одессы, о боевых делах. Или отправится в соседнее село и ведет степенные беседы со стариками. А по воскресеньям созывал молодежь на просторный совхозный двор - и допоздна шли тогда танцы, игры и веселье. Создал хор и сам руководил им, разучивая народные напевы и удалые солдатские песни.

Вот такие вечера Ольга Петровна любила. Да и Елизавета Петровна выползала на крылечко послушать молодые голоса.

Подоспела уборка хлебов. Где же было повстречать теперь Котовского, если не на полевых работах? То он лазит под локомобиль, что-то винтит ключом, что-то подкручивает и возвращается домой весь перемазанный мазутом. То хлопочет, командует, суетится, помогая наладить косилки. То ходит с директором совхоза, осматривает поля и ведет дискуссию, будет ночью дождь или туча пройдет стороной.

Однажды Ольга Петровна увидела, что Котовский куда-то собирается и все посматривает на нее виновато. Она сразу заподозрила что-то неладное.

- Ты куда?

- Видишь ли, Леля...

- Вижу, вижу, ты уж выкладывай начистоту, куда собрался? Ах, Гриша, Гриша, неугомонный ты человек!

- Лучше ты мне ответь на вопрос: председатель я ревизионной комиссии Центрального управления промсовхозов или не председатель?

- Нет, не председатель. В данный момент по крайней мере. Ты отдыхающий. Вот ты кто.

- Но как ты думаешь, ничего не случится, если я съезжу в Николаев, сделаю проверку военсовхоза и вернусь?

После слабых попыток удержать его Ольга Петровна сдалась, только настаивала, чтобы он хотя бы не задерживался долго.

А там в Чебанку приехали из Одессы кинооператоры и постановщики картины, в которой, согласно сценарию, должны были сниматься Котовский и вся его бригада. Они устроили форменное совещание, спорили, на ходу сочиняли, консультировались, говорили слова "кадр"... "наплыв"... "массовочка"... и утомили Котовского ужасно.

Как везде и всюду, за короткий срок у Котовского завелись закадычные друзья и приятели - подростки со всей округи. Они оказались надежными союзниками Ольги Петровны, потому что частенько срывали занятия Григория Ивановича, появляясь гурьбой и дружным хором упрашивая дядю Котовского отправиться куда-то в экскурсию, о чем он давал обещание, если только не сам же и затеял эту прогулку.

- Капитулирую! - кричал, поднимая вверх руки, Котовский. Смеясь, захлопывал книгу, убирал в стол конспекты, выписки, наброски, и они уходили в степь охотиться на змей.

- Вот спасибо ребятишкам! - радовалась Ольга Петровна. - Одна такая прогулка принесет больше здоровья, чем десять длинных рассуждений директора совхоза об азотистых удобрениях, хотя Григорий Иванович и уверяет, что эти беседы действуют на него, как снотворное, следовательно, полезны.

Котовскому продлили отпуск, но он решил, что довольно. В военных кругах упорно ходили слухи, что Котовского куда-то выдвигают, что Котовского очень ценит Фрунзе и, кажется, намеревается сделать его не то своим помощником, не то назначить заправлять бронетанковыми силами Красной Армии. Во всяком случае, дел накапливалось все больше, а нетерпение Котовского все росло. И в Москве надо было побывать, и о корпусе соскучился и в Ободовку обещал съездить.

И еще одно обстоятельство заставляло Котовского торопиться: Ольга Петровна скоро должна родить, и нужно заблаговременно приготовиться к появлению на свет сына или дочери.

Назначили отъезд на утро шестого августа, с тем чтобы в Одессе сразу же сесть в поезд. Котовский повеселел, все время говорил о своих планах, о новых проектах и намерениях. Мысленно он был уже там - в гуще дел, на самой быстрине полноводной жизни.

Вызвали "оппель" - у Котовского была своя машина, ее подарило ему правительство. Шофер прикатил из Одессы немедленно, пятого же числа, и зачем-то привез Майорчика-Зайдера.

- Прямо навязался, - оправдывался шофер.

Этого субъекта - Майорчика - вообще-то не выносили у Котовских. А после всего, что рассказал Белоусов, особенно.

Пятого августа Котовского пригласили пионеры Лузановского пионерского лагеря на костер. Он рассказал им о Матюхинской операции, рассказывая, сам заново пережил все и, конечно, устал.

- Вот какие на свете бывают истории! - закончил он свое повествование. - А вы, ребята, запомните мой рассказ. Возможно, что в ваше время матюхины уже переведутся, но матюхины живучи, не в той, так в другой личине явятся. Ребята, мы в Чебанке дружной компанией ходим охотиться на змей, и я научил совхозовских ваших сверстников обезвреживать этих гадин. От всей души желаю вам, чтобы вашу цветущую жизнь не

омрачали никакие тучи. Но на всякий случай - кто знает, как все сложится? - на всякий случай возьмите за правило: змеиное жало с корнем вырывать. Делайте это решительно, но не сосредоточивая на этом внимание. Жить надо не для ненависти - для любви. Эх, ребята! Ведь у вас все впереди! И каких чудес вы только не насмотритесь, ведь вы живете в замечательное время! Только чур - не робеть, пионеры! Дерзайте! Вперед! Есть хорошая поговорка: многие умеют храбро умирать, но немногие умеют храбро жить!

Пробыл у пионеров Котовский долго, вернулся поздно. Тут бы ему и отдохнуть, но в совхозе и доме отдыха затеяли проводы, причем с ужином, тостами и речами...

5

Пока Котовский был в Лузановке у пионеров, Ольга Петровна укладывала вещи. А тут этот назойливый, какой-то липкий Майорчик! Он очень много говорил, предлагал Ольге Петровне остановиться у него, когда будут в Одессе. С какой стати остановиться? И с какой стати у него?

Ольга Петровна даже не удостоила его ответом. Тоже, объявился друг-приятель! "Остановиться у него"! Вон до чего договорился! Сроду у него не бывали, да и его-то отвадить следовало!

Зайдер не обиделся, когда Ольга Петровна бесцеремонно выпроводила его. Но он не ушел, лишь вышел на крыльцо. Слышен был его неприятный визгливый голос. Он уже болтал с шофером, над чем-то раскатисто хохотал и напевал дурацкую блатную песенку, подражая воровской манере: коверкая слова, пришепетывая и завывая.

Завтра я эдэну мэйку гэлубую,

Завтра я эдэну брэки клеш...

Д-две пути-дэроги, вэб-бирай лэбую,

Эт тэрьмы дэлеко н-не уйдешь!

Не успела оглянуться Ольга Петровна, а он опять тут. Льстил, улыбался, лез со своими длинными и неумными рассуждениями. Ольга Петровна сердилась: и чего Григорий Иванович деликатничает? Гнал бы прочь этого фигляра и болтуна! А уж шоферу Сережке она непременно даст нагоняй, чтобы не привозил, кого вздумается, без разрешения.

Досадовала Ольга Петровна и на то, что даже в последний вечер перед отъездом Григорию Ивановичу подсунули мероприятие. Можно бы хоть на этот раз его не эксплуатировать!

Зайдер жужжал и жужжал, как назойливая муха. Непонятную неприязнь испытывала Ольга Петровна к этому человеку. Даже, пожалуй, отвращение. Она сама не могла еще разобраться. Отталкивающее впечатление производила на нее и эта грубая лесть, и эти ужимки: он умышленно играл в "блатного", щеголял словечками "ксива", "кнокать", "шамовка".

"Нехороший у него взгляд, - думала Ольга Петровна, - не верю я ни одному его слову. И чего ему надо? И самолюбия ни на грош. Он держится так, будто хочет чего-то добиться, о чем-то просить".

- Ольга Петровна! Благодетельница! - кривлялся Майорчик. - Я вижу, вы меня презираете. Еще бы! Что я - и что вы! Ольга Петровна! Дорогуша!

- Кажется, я просила вас уйти? Вы мне мешаете и страшно надоели.

- Вы наша в некотором роде мамаша! Я, не думайте, я не "нотный", вот она, вся моя душа на ладони! Запомните: я не негодяй, но я ничтожество, я ноль. А вы? Вы наша благодетельница, Ольга Петровна!

- Не люблю таких разговоров. Ради чего вы мне льстите?

- Вы слышали? Она меня спрашивает - ради чего! Не видать свободы!..

- Опять вы свои словечки!

- Позвольте. А кто хранит как зеницу ока знаменитость Молдавии, гордость революционного движения? Я говорю за легендарного Григория Ивановича... Это, знаете, заслуга перед историей человечества, это, как хотите, один - ноль в вашу пользу.

- Оставьте в покое историю и меня.

- Я знаю, вы раздражаетесь, потому что все треплют нервы комкору Котовскому. Что делать? Популярность! Вот, например, меня - меня никто не беспокоит! А тут, пожалуйте бриться, сегодня создавай орган Советской власти, завтра агитируй, выступай, гони речугу... Тяжелый случай!

Ольга Петровна не слушала, а он говорил, говорил, даже в каком-то возбуждении и что-то несвязное, так что она подумала, не выпил ли он или, скорее всего, не сделал ли укол: в блатном мире в большом ходу кокаин, пантопон и морфий...

Григорий Иванович не шел и не шел. Она поминутно поглядывала на часы. Она подумывала позвать шофера и распорядиться, чтобы он вывел этого субъекта.

Быстро темнеет на юге. Августовская ночь мерцает, синяя-синяя. Пахнет яблоками. Вот сверкнула, покатилась, черкнула по синему небосклону и погасла падающая звезда...

Почему стало так тихо? Оказывается, Зайдер ушел. Ушел как-то внезапно. Оглянулась - нет его, растаял в сумерках, как дурной сон.

Слышно, как шофер Сережа храпит в машине. У него это отличительное свойство - мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться, в зависимости от обстановки.

6

Но вот Ольга Петровна услышала знакомые торопливые шаги.

- Наконец-то! Так задержали?

Котовский пришел хмурый, недовольный.

- До зарезу не хочется идти на эти проводы! Не могут, чтобы не закатить банкет!

- Может быть, принесем извинения?

- Неудобно, люди от всего сердца... традиция... Главное, хотя бы попросту пожали руку, попрощались - и все, а то ведь начнут выступать ораторы... Послушать их - говорят все правильно, а слушать невозможно.

Котовский не ошибся. Собрались поздно, около одиннадцати часов. Столы были накрыты, женщины разнарядились, мужчины были при галстуках. Все эти люди искренне любили и уважали Котовского, и сами были хорошие, дельные люди, и чувства, которые они старались выразить в речах, были настоящие, хорошие, искренние чувства. Но стоило одному из них встать, неловко задеть скатерть, чуть не опрокинуть стул и высоко поднять бокал с местным вином, как вдруг язык у него костенел, лицо становилось необычайно глупым, он начинал заикаться и из всех человеческих слов выбирать самые поношенные, самые бесчувственные: "Да позволено будет"... "Паче чаяния"... "В сей достопамятный день"...

Вечер определенно не клеился. Котовский сидел ссутулясь, серый, мрачный. Ему было жалко этих людей, занятых непривычным для них делом, а главное - неприятно, что все так неумеренно расхваливают его, с каждым новым оратором все больше поддавая жару, так что еще немного - и может оказаться, что один Котовский и всю революцию сделал и всех врагов истребил.

Наконец хорошенькая жена директора совхоза не выдержала:

- Товарищи! Второй час ночи, мы все ужасно любим Григория Ивановича, но давайте же ужинать!

Даже и на этом все испытания не кончились. Приехал старший бухгалтер Центрального управления военно-промышленного хозяйства, подсел тут же, среди пиршества, к Котовскому, развернул казенные папки и повел разговор на языке цифр, оправдываясь, что это срочно нужно. Уже и банкет кончился, все стали расходиться, а он все сидел и сидел, не отпуская Котовского.

Тогда решено было, что Ольга Петровна пойдет домой и пока что приготовит постели. Дома было необычайно тихо. Тишины не нарушало ни похрапывание шофера, ни монотонное пение цикад.

Ольга Петровна с особой нежностью взбила подушки и новую прохладную простыню подоткнула со всех сторон. А Григорий Иванович все не шел. В открытые окна залетали на огонь ночные бабочки. Маленький Гриша разметался в постели, розовый, пухлый...

Мысли были рассеянные: не забыть бы термос, в вагоне понадобится... какой противный этот старший бухгалтер из учреждения с длинным названием... хорошо, если бы родилась дочка, сын уже есть, а дочь - это было бы славно... и Григорий Иванович хочет дочь... Ольга Петровна улыбалась, думая о муже. И так жалко было, что его задерживают!

Впоследствии она никак не могла вспомнить, когда это произошло. Во всяком случае, уже глубокой ночью. Вдруг выстрел. Второй. Негромкие. Щелкнули - и все замерло. Даже цикады молчали. Ольга Петровна вздрогнула. Что-то подсказало ей страшную мысль. Впрочем, она даже не думала. Она не помнила, как выбежала из дому. Дверь осталась настежь открытой. В нее длинной полоской лился свет и ярко освещал гамак, яблоню, песчаную дорожку...

Ольга Петровна в один миг оказалась за калиткой. И вот она увидела что-то темное. Но она уже знала, она догадывалась, она поняла. Возле угла главного корпуса отдыхающих на еще теплой от дневного пекла земле лежал Котовский, ничком, лицом вниз. Ольга Петровна бросилась к нему, стала нащупывать пульс. Пульса не было. Разорвала ворот рубашки. Кровь.

Она не помнит, кричала ли она, звала ли на помощь. Кажется, звала. Появились люди. Первым прибежал шофер Сережа. Вместе с совхозным агрономом и теми, кто только что произносили заздравные тосты, перенесли тело в дом.

Какая-то незнакомая женщина плакала. Мужчины подробно рассказывали, как они ничего не думали - и вдруг выстрел... И они повторяли свой рассказ несколько раз на все лады и с жалостью и страхом поглядывали на безмолвное тело.

Хорошенькая жена директора накапала Ольге Петровне валерьянки. Ольга Петровна отстранила мензурку:

- Спасибо, не надо. Идите отдыхайте, Марианночка, тут уже ничего нельзя сделать. Ранка маленькая, но смерть наступила мгновенно, пробита аорта.

- Нашли кобуру, в кусты была заброшена! - сообщил шофер Сережа, искавший, куда бы применить свои силы, испытывая потребность что-то сделать для Григория Ивановича.

Если бы не холодная мертвенная бледность, которая разливалась от шеи, по щекам, по лбу Котовского, можно было бы подумать, что он просто закрыл глаза, что вот он сейчас поднимется и скажет: "Ну, давайте рассказывайте, как у вас дела!"

Ольга Петровна ничего не видела и не слышала, делала все машинально, сознание было затемнено. Села на стул возле него, возле своего дорогого Григория Ивановича. Смотрела в одну точку перед собой. Она не плакала. Она окаменела от горя.

Елизавета Петровна, напротив, суетилась, то и дело громко всхлипывала и только все старалась, чтобы не проснулся Гришутка.

Постепенно все, кто находились в комнате, почувствовали, что они здесь лишние, и по одному стали расходиться, вздыхая, выражая каждый по-своему глубокое сочувствие. Ни у кого и мысли не было лечь спать. Собирались кучками, вполголоса толковали о происшествии. И тут родилось гневное слово.

Кто?! Кто этот изверг, изувер, низкая душонка? Чья рука поднялась на такого человека?

И стали выясняться странные вещи, одна за другой стали возникать улики. Кто был с Котовским в последний момент? Оказывается, услышав выстрелы, директор совхоза сразу же выбежал из дому и тут натолкнулся на Зайдера.

- Что за выстрелы? Не знаете?

- Не знаю, - ответил тот. - Наверное, Котовский проверяет оружие.

Но этот же Зайдер уверял шофера, будто слышал приглушенный голос: "Товарищи, я сам себя убил". Эта версия была до того неестественна, что подозрения сразу пали на этого вертлявого человека, видимо заблаговременно выдумавшего свою жалкую ложь. Чтобы Котовский, истинный коммунист, наполненный жизнью, энергией, оптимизмом, вдруг ни с того ни с сего покончил самоубийством? Никогда!

И действительно, судебная экспертиза установила, что он вообще не мог ничего

произнести после выстрела, смерть наступила мгновенно, и сразу хлынула кровь. Но и в первый момент у людей сразу мелькнула догадка: Зайдер! Зачем он приехал в Чебанку? Зачем болтался ночью по совхозу?

Но где же он? Шофер Сережа первым бросился искать.

Между тем Ольга Петровна сидела наедине с безмолвным Котовским и смотрела, не видя, подавленная горем. Пришла она в себя, услышав какой-то шум. Дверь приоткрылась, и в комнату проскользнул откуда-то взявшийся Майорчик-Зайдер.

Ольга Петровна все еще не могла понять, что происходит. Она даже на минуту представила, что это еще вечер, она укладывает вещи, Зайдер назойливо вертится около нее, а Котовский все не идет, не идет из Лузановки. Она поминутно смотрит на часы и подумывает, не позвать ли Сережу, чтобы он выгнал вон этого субъекта...

Но тут же она все вспомнила. Котовского нет на свете. Но что же делает здесь этот человек? Зачем он?

Поведение Зайдера было необычно. Он прислушивался, стоя у двери, и бормотал:

- Благодетельница... Мать обездоленных... Они разорвут меня! Разорвут!..

На веранде послышался говор, топот ног. Майорчик взвизгнул, как подстреленный заяц, и выпрыгнул в окно.

- Убийца! - закричала Ольга Петровна, пораженная осенившей ее догадкой.

У нее только хватило сил показать на окно вошедшим людям.

- Не уйдет! - прошептал Сережа.

Через минуту послышалось конское ржание, а затем цокот копыт. Погоня была отправлена по всем направлениям. Скоро привели и Зайдера. Его нашли шагающим по дороге к Одессе.

Его вели, а вокруг слышались проклятия, и чей-то надсадный голос призывал:

- Будьте благоразумны! Граждане! Он ответит! Будьте благоразумны! Передадим его в руки правосудия!

Прибыл секретарь обкома, приехали следователи. Зайдер плел новую историю: будто бы Котовский выхватил у него, Зайдера, револьвер, ударил им Зайдера и потом застрелился...

- Где ударил? По какому месту? - спросил следователь. - Ведь удар револьвера оставил бы след...

Судебной экспертизой и эта версия была отвергнута.

С каждым днем всплывали новые доказательства виновности Зайдера. Пришли незнакомые женщины к следователю и рассказали, что они живут в Одессе и видели, как Зайдер в своем саду тренировался в стрельбе по цели.

- Каждый день как на службу выходил! - сказала одна.

Вторая добавила:

- Нарисовал на заборе человека во весь рост. Выстрелит и смотрит, где отметина. Мы еще говорили: "Смотрите, Майорчик в охотники записался". А он вон куда целил!

Было еще утро, а уже вся Одесса знала о свершившемся злодеянии: дурные вести быстроноги. Город оделся в траур. С балконов свешивались траурные ленты, на фонарях появились флаги с траурной каймой. И уже шли по дороге в Чебанку через Пересыпь встревоженные толпы народа.

- Убит! Убит! - передавалось из уст в уста.

Тело Котовского перевезено в медицинский институт и бальзамировано. К зданию института идут со знаменами части одесского гарнизона. Молча, в глубоком раздумье, шагают рабочие делегации. Прибыли пионеры из Лузановки, приехали коммунары из Ободовки с венками, сплетенными из колосьев. Приехали представители корпуса, Криворучко, Белоусов. Прибыла делегация Реввоенсовета во главе со старым соратником Котовского - Семеном Михайловичем Буденным.

7

Михаил Васильевич Фрунзе не мог приехать на похороны. В июле он попал в две автомобильные катастрофы, после чего его самочувствие резко ухудшилось, боли теперь уже

не отпускали, между врачами шел спор, делать ли операцию немедленно или повременить. А тут пришло это сообщение, как громом поразившее Фрунзе.

Софья Алексеевна испугалась, увидев лицо Михаила Васильевича, когда он повесил телефонную трубку.

- Что? - спросила она коротко, готовая принять и разделить с ним любой удар, любую страшную весть.

- Котовский убит. Только что пришло сообщение. Надо идти.

- Что ты! Куда ты пойдешь? Врачи что сказали?

- Тогда вызови стенографистку.

- Как он убит? Несчастный случай?

- Война. Как убивают на войне?.. Политическое убийство.

Софья Алексеевна ничего не поняла из такого объяснения, однако не решилась настаивать на более подробном рассказе. Стенографистку вызвали. Фрунзе ушел с ней в кабинет и плотно закрыл за собой двери.

Софья Алексеевна прислушивалась к голосу мужа, то громче, то тише звучавшему за стеной. Дети присмирели. За последние дни редко раздается в доме смех. Стали часто наведываться врачи, профессионально бодрые, профессионально шутливые, но не приносящие веселья.

- Нуте-ка! - приговаривал один из них, всегда надушенный, всегда благовоспитанный от пят до холеной бороды. - Молодцом! Сегодня мы молодцом! - неизменно здоровался он с пациентом.

Молоденькая застенчивая стенографистка Ниночка поместилась за предназначенным для нее столиком и стала аккуратно раскладывать остро отточенные карандашики, озабоченно поглядывая на Фрунзе, который сегодня не сказал, как обычно, приветливых слов, а только поздоровался и поблагодарил за то, что пришла так быстро. Ниночка видела, что он расстроен, но чем? Текст, видимо, будет не из веселых.

Но Фрунзе понял ее вопросительные взгляды и подумал, что ведь это не автомат для записи человеческой речи, а человек, хороший советский человек, милая старательная девушка.

- Мы составим, Ниночка, - пояснил он мягко, - очень печальное письмо. Убит Котовский...

- Григорий Иванович?! - взметнулась Ниночка. - Боже мой! Я его видела и отлично помню. Такой здоровяк. Большой такой... Красивый...

Фрунзе прохаживался по кабинету, обдумывая, что будет диктовать. Ниночка приумолкла и приготовилась стенографировать. Она раскаивалась, что сказала больше, чем полагалось бы в служебное время. Никто ее не спрашивал, какая наружность была у товарища Котовского и был ли он красив.

- Это, Ниночка, пойдет телеграммой. В адрес Второго кавалерийского корпуса.

И Фрунзе, помолчав, снова заговорил, но сделал знак, что еще не начал диктовать:

- Мы, военные люди, никак не привыкнем, что если не гремит орудийная канонада, не поступают сводки, то это еще не значит, что нет войны. Война идет непрерывно, только принимает различные формы. Может быть, самая подлейшая из них - тайная война. На этом фронте мы и понесли сегодня урон, потеряли Григория Ивановича...

Фрунзе взглянул на Ниночку.

- О чем я сейчас говорил, об этом мы с вами писать не будем. А напишем так. Давайте!

Ниночка приготовилась.

- Сегодня мной получено донесение о смерти Котовского, - диктовал Фрунзе. - Известие это поражает своей неожиданностью и бессмысленностью. Выбыл лучший боевой командир всей Красной Армии. Погиб бессмысленной смертью, в разгаре кипучей работы по укреплению военной мощи своего корпуса и в полном расцвете сил, здоровья и способностей.

Ниночка писала и страх как боялась, что расплачется. И наверное, расплакалась бы,

если бы не вспомнила, как ее дома зовут "ревой" и "плаксой". Тогда собралась с силами и только нахмурила ниточки-бровки.

- Знаю, что ряды бойцов славного корпуса, - продолжал Фрунзе, охвачены чувством скорби и боли. Не увидят они больше перед собой своего командира-героя, не раз водившего их к славным победам. Умолк навек тот, чей голос был грозой для врагов советской земли и чья шашка была лучшей его оградой.

Фрунзе заметил, что Ниночка как-то ежится.

- Я не слишком быстро говорю? Успеваете?

- Нет, ничего.

- Вот, Ниночка, говорят, что у нас воинственный дух, что мы стремимся завоевать весь мир. Неверно это. Мы любим землю пахать, дома штукатурить. Вот это мы любим. А войны никогда не хотели и не хотим. Кто хочет достоверно убедиться, хотим ли мы войны, пусть наведут об этом справки у тевтонских рыцарей, возлежащих на дне Чудского озера во всем своем кольчужном великолепии. Ведь потопили-то мы их здесь, у себя, значит, не мы лезли на рожон! На черта нам война, у нас и мирных дел не оберешься. Кому угодно уяснить, хотим ли мы войны, могут об этом справиться у наполеоновских гренадеров, обморозивших морды при переправе через Березину. Ниночка, но река Березина на нашей земле? Так, кажется? Я не ошибаюсь? Так кто их звал сюда? О нашем миролюбии мог бы порассказать и шведский король Карл Двенадцатый, который развил бешеную скорость, нахлестывая коня от самой Полтавы и до границы. Да и генерал Жанен и генерал Пуль могли бы подтвердить, что воевать мы не любим, хоть и умеем. Так оставьте нас в покое, дьявол вас побери!

Фрунзе совсем забыл про стенограмму. Ниночка притихла и слушала. И только когда послышался в дверях голос медицинского светила, произносившего свое излюбленное: "Нуте-с, где наш больной..." - Фрунзе оторвался от своих мыслей вслух, крикнул:

- Одну минуточку!

И додиктовал письмо, адресованное кавалерийскому корпусу:

- Рука преступника не остановилась перед тем, что она поднимается против лучшего из защитников Республики рабочих и крестьян. Она решилась на позорнейшее, гнуснейшее и подлейшее дело, результат которого будет на радость нашим врагам.

Фрунзе диктовал быстро, резким, отчетливым голосом. Когда он сделал небольшую паузу, Ниночка переменила карандаш.

- Вся Красная Армия переживает те же чувства тяжелой утраты и боли. От имени всех бойцов Красной Армии и Красного Флота, от имени рабоче-крестьянского правительства Союза ССР выражаю осиротелым бойцам корпуса горячее братское соболезнование. Пусть память и славное имя почившего героя-командира живут в рядах бойцов его корпуса! Пусть и в мирное время и в грозный час военных испытаний служит оно путеводной звездой в жизни и работе корпуса. Почившему комкору два - вечная слава!

Ниночка подождала. Но Фрунзе молчал. Все? Ниночка подняла голову и увидела, что Фрунзе плачет. Это очень страшно, когда плачет мужчина.

В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Оксана взяла отпуск на август. Марков в конце июля сдал наконец новую свою повесть, которую должен был по договору сдать издательству еще в июне. Крутоярова тянуло куда-то поехать, где-то побродить, на него находили такие настроения, и ему понравилась идея, возникшая у Маркова. В общем все благоприятствовало решению поехать в Умань к Котовским. Оксана отчитается в своих успехах Ольге Петровне, Марков преподнесет книгу, а Крутояров отведет душу в воспоминаниях о "гражданке" и фронтовой жизни.

Разве не возмутительно, что Миша Марков до сего времени не удосужился это сделать? Считая, что первую свою книгу нельзя посылать Григорию Ивановичу по почте, а следует отвезти и вручить лично, Марков откладывал и откладывал поездку, все находились какие-то неотложные дела.

- Уж лучше бы ты сразу послал книжку, - отчитывала Маркова Оксана. Стыдобина в

глаза посмотреть Григорию Ивановичу, Ольге Петровне: вот, скажут, хороши деточки - с глаз долой, из сердца вон!

- Ладно уж ты, я и сам понимаю, что свинство. Но ведь и ты немножко виновата. У тебя связано с отпуском, а я не мог двигаться, пока не кончу повесть. Отсылать же книгу по почте было бы непревзойденным хамством. Книгу по почте допустимо посылать в редакции, на рецензию, но никак не друзьям и ни под каким видом Котовскому. Ведь он нас растил, он нас венчал... Словом, сама понимаешь.

- Понимать-то понимаю, а как подумаю: два года глаз не кажем! Ой, матенько!

Подарки, гостинцы покупались под непосредственным руководством Надежды Антоновны. Но когда чемоданы были уложены, вмешался Иван Сергеевич.

- Это что за поклажа? Вы что это, к тетеньке в Пензу едете? Давайте-ка посмотрим, чего вы там натолкали. Два костюма Михаилу Петровичу? Оба вынимайте. Что это за парад? И затем: не на Северный полюс едем, консервы долой. Надо везти такое, чего там нет, чудаки вы этакие, вы еще луку захватите да шубы про запас! Пять платьев? Милочка, мы едем не на бал. Возьмите два, и то учитывая женское кокетство и безрассудство. А зеркало зачем? В сумочке есть зеркальце - и достаточно. Вы бы трюмо еще упаковали!

После горячих споров вес чемоданов вдвое уменьшился. Сам Крутояров, показывая пример, ехал с одним маленьким легким чемоданчиком: бритва, носки и смена белья.

Впрочем, последнее слово было все-таки за Надеждой Антоновной. Потихоньку от мужа она вручила Оксане "на всякий случай" свитер Ивана Сергеевича, так как может быть похолодание, а также массу мелочей: рубашки, галстуки, носовые платки, целую походную аптечку, предусматривающую все случаи заболеваний.

Но какая это удача, что опять задержались с отъездом! Оксана послала заблаговременно открытку Ольге Петровне, извещая ее об их приезде. Она просила Ольгу Петровну не беспокоиться, не настаивать на их размещении с ночевкой, они найдут пристанище, а то нагрянет такая ватага, будет не радость встречи, а только волнения и хлопоты. Ну и что еще напишешь в открытке? Приветы, раскаяние, что так долго не могли выбраться, уверения, что есть что порассказать и что Оксана и Михаил любят Котовских по-прежнему и на этот раз уж обязательно приедут. Одновременно Оксана написала открыточку и бывшей своей квартирной хозяйке в Умани. Просила приютить, слала привет, намекала, что везет подарочек... Если бы не задержка (теперь по вине Крутоярова, утрясавшего свои дела), конечно, ответа на обе открытки они не успели бы получить до отъезда. А тут сразу пришло два письма.

Квартирная хозяйка писала, что, какой может быть разговор, Оксана для нее как родная дочь, а Оксаниного мужа она отлично помнит, так что просит приезжать без церемоний и жить у нее хоть целый год, слава тебе господи, места хватит.

На вторую же открытку, посланную Ольге Петровне, пришел ответ, написанный незнакомым почерком и подписанный так неразборчиво, что все четверо так и не выяснили, кто им отвечал. Ответ менял всю картину. Почему это никому и в голову не приходило, что Котовские могут быть в отъезде? Самое слово "Умань" вызывало представление о прочной, налаженной жизни, о кирпичном домике, всегда шумном, всегда радушном и гостеприимном, домике, в котором Ольга Петровна талантливо, умно распоряжалась всем ходом событий, домиком, где Григорий Иванович рассказывает занятные истории, дает советы, руководит, заражает своей кипучестью всех, кто с ним соприкасается. Ответ же гласил, что Григорий Иванович с семьей уехал в отпуск в дом отдыха под Одессой и что на всякий случай адрес его такой-то.

- Что же нам делать? - в отчаянии спросил Марков, усевшись на уложенный чемодан. - Два года собирались - и такая неудача!

- Знаете что? - сказал Крутояров. - У меня блестящая идея: мы и поедем не в Умань, а в эту самую Чебанку! А? Скажите после этого, что у меня не светлая голова?

- Тогда и Одессу повидаем! - воскликнула Оксана.

- Только не позволяйте Ивану Сергеевичу купаться, - сразу встревожилась Надежда

Антоновна. - У него сердце!

Крутояров запел пошлейший фокстротный мотив:

У меня есть сердце,

А у сердца песня,

А у песни тайна,

Тайна - это ты!

- И все переврал, - наставительно сказала Надежда Антоновна, а сама улыбалась. - Сначала тайна, а потом песня.

- Нет, сначала песня, - начал было спорить Крутояров. - А впрочем, это все равно, от перестановок слова не сделаются еще глупее.

Маркову нравился новый маршрут.

- Мы вам и Одессу покажем, все-все, и откуда Котовский ворвался в город, и где были конспиративные квартиры во время оккупации... и знаменитую лестницу, и гавань, и памятник Ришелье!..

- Может быть, послать телеграмму в Чебанку? - предложила рассудительная Надежда Антоновна.

Но ее предложение было отвергнуто дружно и единодушно.

- Никаких телеграмм! Нагрянем как снег на голову!

- А купаться я буду! - шепотом сообщил Иван Сергеевич, когда Надежда Антоновна вышла из комнаты. - Я еще не такой идиот, чтобы у Черного моря и не купаться!

- Миша! Иван Сергеевич! - важничала Оксана. - А хороши бы мы были, явившись в Умань! Все-таки признайтесь, что я умно поступила, послав Ольге Петровне открытку!

- Позвольте, а кто же отрицает это? Покажите мне этого наглеца!

- Ты вообще умница и прелесть! Ты чудо, Оксана!

- Предлагаю крикнуть в честь Оксаны троекратное "ура"!

- Ура! Ура! Ура!

2

В тот же день были куплены билеты. Надежда Антоновна поехала провожать. На вокзал явились заблаговременно, так что отъезжающие успели получить от Надежды Антоновны множество полезных советов и добрых пожеланий.

Когда поезд тронулся, все облегченно вздохнули. Нет ничего томительнее предотъездных минут. Но тут-то, по обыкновению, вспомнили самое важное: Надежда Антоновна спохватилась, что не положила для Ивана Сергеевича плащ на случай проливных дождей, Оксана жалела, что не позвонила подруге и не поручила ей поискать необходимую книгу по акушерству, Марков только сейчас сообразил, что следовало взять не один, а несколько экземпляров своего сборника "Крутые повороты", так как повстречается много друзей, однополчан, товарищей, которым захочется преподнести свой труд, а Крутояров забыл напомнить Надежде Антоновне, чтобы она отнесла в издательство корректуру.

Что же делать! Теперь поздно обо всем этом думать. В окнах вагона мелькают заводские трубы, пустыри, кустарники, железнодорожные будки и телеграфные столбы. Оксана с важностью и сознанием ответственности достает сверточки, кулечки, накрывает на стол.

В купе три места принадлежат им. Оксана на нижней полке слева, Крутояров на нижней полке справа, Марков наверху. Четвертое место занимает великий молчальник. Как только поезд тронулся, этот пассажир забрался к себе, как он выразился, "на верхотуру", повернулся к стене, моментально уснул и, к изумлению всех, так и проспал всю дорогу. Изредка только вскакивал, наклонял вниз взъерошенную голову, таращил заспанные глаза, хриплым голосом спрашивал:

- Эт-то чего? Эт-то какая станция?

И, не дожидаясь ответа, валился на постель и уже посапывал носом.

- Феноменально! - показывал на него глазами Крутояров.

- Хоть бы покормить его, - тревожилась Оксана. - Товарищ, хотите чаю?

Молчание. Никакого ответа, никакой реакции. И только через большой промежуток снова появляется взъерошенная голова:

- Эт-то чего это? Эт-то какая станция?

- А вам какую надо-то? - справляется Марков.

Никакого ответа. Никакой реакции. Пассажир уже спит.

3

Поездка сулила быть замечательной. Какой у всех аппетит! Как остроумен и весел Крутояров! Как заботлив и внимателен Миша!

По мере приближения к Киеву, ко всем этим памятным местам, как будто сохранившим отзвуки гремевших здесь залпов, все трое все больше приходили в возбуждение. Марков поминутно бросался к окнам. Даже ночью вглядывался, вглядывался в темноту.

- Интересно, мы проезжаем Жмеринку? Если бы вы только видели, Иван Сергеевич, что тут творилось! Неужели мы ночью будем проезжать Казатин? От Казатина как раз идет ветка на Умань... Там было депо, от него после боев кирпича целого не осталось...

Днем Марков высовывался из окна чуть не по пояс, и Оксана держала его за полы пиджака, опасаясь, что он вывалится.

- Оксана, смотри, ведь это Фастов? Сколько раз он переходил из рук в руки! Иван Сергеевич, ведь это здесь курган, именуемый "Острая могила"? Как вспомнишь эти места сразу после боев, после отхода противника... Валяются конские трупы... Ни одного уцелевшего здания, битое стекло, груды кирпича, тлеющие головешки... Кладбище вещей! Лафеты, пушки, обломки повозок... На железнодорожных станциях полыхают ярким пламенем пакгаузы, эшелоны... Поминутно взрываются сложенные в вагонах снаряды... Никогда это не выветрится из памяти! Это походит на конец света! Хрустишь по битому стеклу, перемахиваешь через огонь, через трупы - некогда разглядывать. Дана команда преследовать отступающего врага. Лошади в мыльной пене... У некоторых бойцов головы завязаны окровавленным бинтом... Вперед! Только звенят копыта... Были дела!

- А нам, военным корреспондентам, не полагалось оружие. Блокнот и карандаш... и забубенная головушка. Чтобы доказать, что мы не какие-нибудь "цивильные", не тыловые крысы, мы лезли на рожон, обязательно увязывались в разведку, шатались по линии огня и боже упаси, чтобы мы поклонились летящей пуле! - вспоминал Крутояров, и начинались рассказы, приводились случаи, назывались имена, все трое перебивали друг дружку, все трое говорили враз.

Оксана не отставала от мужчин, ей тоже было что порассказать. Много насмотрелась она в лазарете. После каждого сражения ни одной койки свободной и не успевают выносить в морг... Это там, в строю, война выливалась в бешеную скачку, в грохот орудий, татаканье пулеметов, раскатистое "ура" и звуки горна. Оксана видела изнанку войны: клочья мяса, тазы с кровью, лица, искаженные от боли, ноги, завернутые в простыню, выносимые из операционной...

Поезд мчался среди полей пшеницы и гречи, мимо живописных сел Подолии.

- Иван Сергеевич! Скорее, скорее, ведь это же Белая Церковь! Восьмого июня - в двадцатом году - мы ворвались на полном аллюре в город... Это почти в такое же время года, как сейчас! Вы представляете? Все цветет, благоухает... И конница мчится, и, может быть, люди и сами не замечают, что они кричат, кричат "ура", кричат "бей!"... и все сметают на пути... Сверкают клинки на солнце... Как странно, что никакого следа, ни одной вмятины! Купола церквей... ветряки... женщина идет, несет полные ведра воды на коромысле...

- Да-а... Белая Церковь... - в раздумье произносит Крутояров. - На этом месте стоял когда-то древний город Юрьев... Да-а... Все цветет. Все забывается. Всему черед.

- Вот здесь, кажется, смертельно ранило папашу Просвирина... Или не здесь?.. Иван Сергеевич! Скорее! Что это? Как будто станция Вапнярка? Да, она. На этой станции эскадрон Криворучко, помню, захватил эшелон с обмундированием. Вот было дело! Все раздетые, разутые, и вдруг - целый эшелон! Одних валенок два вагона! Хотел бы я побывать на реке Тетерев, на реке Здвиж... Прийти и постоять на берегу... Течет река, журчит река и

все былое смывает. Помню, я лежал рядом с Савелием, мы ждали сигнала атаки. Туман был, можете себе представить, в двух шагах ничего не видно. Оттого ли, что приходилось лежать неподвижно, но пробирало до костей. Даже сейчас хочется поежиться... Правда, странно все это? Вот и туман рассеялся, и бои кончились, и хлеба на полях убирают, а я еду в поезде, в отдельном купе... и на столике у нас пирожки с рисом, с яйцами...

- Миша, расскажи про голубей, - попросила Оксана.

- Да, это действительно забавно. Голуби сопровождали нашу бригаду во всех походах, куда мы - туда и они. Все-таки у нас не переводился овес, и вообще бойцы любят птиц. И знаете до чего привыкли голуби к боевой жизни! В пору хоть зачисляй в эскадрон. Нас они абсолютно не боялись, клевали крошки хлеба с ладони, знали, когда кормят лошадей - значит, и им перепадет, сидели на повозках, как в городах сидят на карнизах крыш. Начнется бой - голубей как языком слизнет, как будто их и не было. И знаете почему? Прятались в ящиках пулеметных тачанок. Ведь до чего сообразительны! Это был у них блиндаж, боевое укрытие. Очень смешные птицы!

4

Чем ближе подъезжали к Одессе, тем больше было воспоминаний и рассказов. Однако неизвестно, когда, с какого момента, в вагон стала проникать какая-то тревога, какое-то предчувствие неминуемой беды - той, о которой скептики говорят, что, если тихо идешь, беда догонит, а шибко идешь - беду нагонишь.

Все трое - и Оксана, и Крутояров, и Марков - были неисправимые оптимисты, любили жизнь, верили в добро и всячески старались стряхнуть с себя необъяснимую задумчивость, странные, ничем не оправданные предчувствия. Но почему это у железнодорожника, который стоит на платформе, такое хмурое лицо? О чем там возбужденно толкуют, собравшись в кучку? Мало ли о чем. Но видимо, были уже неуловимые признаки чего-то, взволновавшего всех.

Первым увидел траурный флаг Марков. Все трое молча переглянулись. Мысли всех троих унеслись в Москву. Никто из них не назвал ни одного имени. Но некоторые дорогие, привычные имена мелькнули в сознании. Ведь если траурные флаги на вокзале, значит, умер какой-то крупный деятель... На лицах всех троих было написано: "Кто?" Ни одному из них и в голову не приходило, что произошло в действительности.

- Что это означает? Флаги... - спросил Крутояров проходившего мимо военного.

- Вы что, не знаете? Убит Котовский.

5

Померкло небо. Померкла радость. Так весело начавшееся путешествие окончилось столь неожиданно и печально. Кто бы мог подумать, что ехали на свидание, а попали на похороны?!

Все трое стояли у гроба. Крутояров был молчалив и задумчив. Сверкали ордена. Боевое оружие было возложено на гроб. Рядом темнели кандалы - те самые, что когда-то бряцали, сковывая руки и ноги славного борца за свободу.

Как осунулся и сразу постарел Крутояров! Какая бледная стала Оксана! На ней лица нет. Марков был в состоянии окаменелости. Известие о смерти Григория Ивановича оглушило, как самый жестокий удар. Как в тумане воспринималось все происходящее вокруг.

Марков молча пожимал руки съехавшимся отовсюду котовцам. Как много дорогих, знакомых, близких! Вот и Криворучко. Вот и Белоусов. А это кто? Костя Гарбарь? Встретил бы на улице, прошел бы мимо, так он изменился, повзрослел.

С каждым поездом прибывают все новые и новые лица. Делегация от курсантов... Делегация от пионеров... Делегацию Реввоенсовета возглавляет Буденный. Мужественное, овеянное ветрами степей лицо славного полководца нахмурено. А вот в уголке отвернулся и плачет старый вояка, конник-котовец, тысячу раз глядевший смерти в глаза...

Марков знал уже подробности убийства. Рассказал Белоусов. Рассказывал с паузами, замолкнет, страшным усилием воли овладеет собой и продолжает хриплым голосом:

- Недосмотрели. Обо всем подумали, а вот это... что найдется продажная гадина, - вот этого не учли...

На Белоусова страшно смотреть. Стиснуты зубы, глаза полыхают черным пламенем ненависти. Лицо искажено судорогой. Скулы заострились. И голос стал какой-то другой.

- Я ведь с первого взгляда понял, что этот меняла, этот грязный комбинатор и аферист не наш человек, чужак, по всему складу чужак. Кабатчик был, кабатчиком и остался. А Григорий Иванович беспредельно верил, что в самой отпетой душе сохраняются какие-то человеческие зачатки...

Белоусов опять замолк, захлебнулся душившей его яростью, мучившей его скорбью.

- Да. Так вот. Никто не обманывался относительно Зайдера. Но на такое дело я никак не считал его способным. Ей-богу, что-что, а это даже в голову не приходило. Ведь помимо всего трус он паршивый! Я считал его неисправимым, а Котовский все надеялся, что в обстановке советской трудовой семьи он обживется, поймет, что со старыми, грязными ухватками сейчас не проживешь...

- Да ведь кто, как не Григорий Иванович, его и на работу пристроил? От таких выродков благодарности не жди.

- Те, кто засылали диверсантов с заданием убить Котовского, - а это было, теперь скрывать не приходится, - так те отчаялись добиться своего, две группы мы проследили и выловили...

- Значит, было и это? - прошептал Марков, пораженный таким сообщением.

- Мы установили, хотя, конечно, без полной гарантии, что там, за рубежом, была команда "Отставить". А они, оказывается, вон какой путь выбрали... Они эту мокрицу пустили в ход! Вы знаете, какое у него было оружие? Браунинг номер два! И пульки-то как семечки!..

Белоусов застонал и замолк. Больше он не мог говорить.

Марков и Оксана ходили в родильный дом навестить Ольгу Петровну. От потрясения у нее начались преждевременные роды, это было в воскресенье, с трудом нашли нужных людей, чтобы открыли родильный дом. Она даже не могла быть на похоронах мужа, сразу после трагического события попав в больницу. Теперь она лежала бледная, измученная, одновременно познавшая утрату самого близкого человека и появление на свет самого близкого существа, какое может быть для матери: родилась дочь, раньше срока, но здоровенькая, на радость всем.

- Назовем Еленой, - слабым голосом говорила Ольга Петровна. - У Григория Ивановича была любимая сестра Елена. В честь нее.

Двойственное было у нее чувство: там в гробу лежит отец новорожденной... он никогда не увидит своего ребенка... ребенок никогда не увидит отца... Жизнь и смерть поместились рядом. Жизнь утверждала свое. Жизнь продолжалась. И какое нужно самообладание, какая сила характера, чтобы испытывать невыносимую боль утраты, но твердо помнить, что святая обязанность матери - вырастить детей, что роженице не позволено волноваться, огорчаться, плакать, иначе испортится молоко. В определенный час принесут в палату беспомощное существо, розовое, нежное, с таким победным плачем.

- Мы хотим есть! - скажет медицинская сестра, подавая батистовый сверток матери.

Что можно на это возразить?

Маркова быстро выпроводили из родильного дома. Оксана осталась. В больничном халате ее было не узнать. Пришло время и ей оказывать помощь Ольге Петровне, заботиться, ухаживать, строго останавливать: "Вам нельзя так много говорить"... поправлять подушку, подавать ребенка...

- Григорий Иванович хотел, чтобы родилась дочь. А то, говорит, вдруг родится сын и окажется лучше Гришутки, я не хочу...

Новорожденной любовались все: и врачи, и весь персонал родильного дома. Оксана же особенно бурно выражала свои восторги:

- Господи, да какая же она хорошенькая! Смотрит, смотрит! Честное слово, она вас уже

узнает!

Только женщины умеют так восхищаться крохотными новорожденными существами.

6

Потрясенный, убитый горем, стоял Марков вблизи знаменитой одесской лестницы и невидящим взором смотрел куда-то перед собой - на бирюзовое море, на бесчисленные суда, столпившиеся возле гавани, на безучастно улыбающиеся легкомысленные облака, такие безразличные к переживаниям Маркова и ко всему происходящему на земле.

Марков думал о командире, о славном Котовском, своем воспитателе, учителе, втором отце. Нет Котовского! Котовского - такого прочного, такого несокрушимого, наполненного до краев смелыми мыслями, доблестными делами, и вдруг его нет - совсем нет!

Даже взять хотя бы этот город - ведь весь он насыщен незабываемыми, один другого удивительней подвигами Котовского.

Марков жмурился от яркого солнца. Море переливалось муаровыми складками, нежилось, ластилось. Белые здания южного города были ослепительны, а деревья устали от зноя, листва поникла, от раскаленных двухсот мраморных ступенек великолепной лестницы струился нагретый воздух.

Одесса была даже как-то вызывающе красива. Но Марков старался не замечать этой красоты, она причиняла ему боль. Так бывает неприятно, когда в присутствии покойника громко смеются и вообще непристойно себя ведут.

Марков отыскал тенистое уединенное место, сел на скамейку и задумался. У него уже выработались навыки писателя - не просто вспоминать, не просто наблюдать, а тотчас же все воплощать в еще бесформенные наметки сюжетов, сценок, главок еще не выдуманной и не написанной повести. И теперь он то представлял, как скачут котовцы по одесским улицам, наводя панику на белогвардейцев, то как идет, не прячась, бесцеремонно оглядывая вражескую толпу, переодетый, перевоплотившийся Котовский по оккупированной Одессе... Какая удивительная все-таки личность, какой близкий русскому сердцу человек! Именно такими бывают любимые наши герои, именно такими запечатлеваются в памяти и отливаются впоследствии в былины и сказки. Быстрый, стремительный, беспощадный к врагу и полный неисчерпаемой доброты и участия ко всем обиженным. В каких только передрягах не видел Марков Григория Ивановича, и всегда он молниеносно избирал верный ход, а решение у него неизменно совпадало с действием. Недаром в его блокнотах записано: "Хотеть - значит мочь", он сам показывал это Маркову, провожая его в Петроград. А его любимой поговоркой было: "Остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга".

Марков сделает это девизом своей жизни. И если суждено ему стать писателем, он и в своих произведениях будет проводить эту мысль: остерегайся друзей твоего врага, обрушь всю ненависть на врагов твоего друга. Это глубоко верно: ведь враги твоего друга - твои враги, а друзья твоего врага еще опаснее, они нападают с фланга.

Здесь, в прохладе, деревья сохранили свежесть, и под их благоухающей тенью мысли становились свежими. Марков грезил наяву, вдруг припоминая многие сгладившиеся в памяти происшествия.

Вспомнилось опять, как он и отец вышли из родного дома, чтобы никогда не возвращаться сюда. Вспомнилась длинная печальная дорога и наивная детская уверенность, что стоит встретиться с Котовским - и разрешатся все трудности пути. Вспомнилась первая встреча с Котовским и живописные села, через которые проходил маленький отряд - горсточка непреклонных людей. Даже стук копыт по дорогам Молдавии, даже переправа через Днестр и запах водорослей с выпуклой отчетливостью припомнились Маркову в этот солнечный и мрачный, сверкающий и траурный день.

Марков не заметил, как рядом с ним на скамейке очутился невзрачный сутулый человек. Возможно, что они сидели долго, оба не произнося ни слова. А когда незнакомец заговорил вкрадчивым и скрипучим голосом, Марков машинально поднялся, порываясь уйти. Встал и незнакомец. Но Марков все еще его не видел, погруженный в свои светлые

грезы.

- В жизни все наоборот, - скрипел незнакомец, жестом стараясь удержать Маркова. - Солнце радуется, а знаменитый воин в гробу. Только, извиняюсь, на солнце пятна не мешают излучать свет, а как быть с пятнами на совести? Две большие разницы, как говорят у нас в Одессе.

Марков мысленно мчался на норовистой Мечте, и был знойный полдень, и был трудный переход через пески и голую степь...

Марков не слушал. Он все еще находился в мире своих грез, все еще жил воспоминаниями о днях минувших битв и стоял, задумавшись, и смотрел на незнакомца ничего не видящим и ничего не понимающим взглядом.

А незнакомый непрошеный собеседник скрипел и скрипел. Вздыхал. Закатывал глаза. Кому-то соболезнуя, покачивал головой:

- Нехорошо! Ай-ай-ай! Нехорошо!

Марков наконец очнулся от своих дум, прислушался. Что он бормочет? Кто он такой? Что ему надо?

- Вы меня извините, но у меня сейчас нет никакого желания разговаривать.

- Ради бога! Не настаиваю! Всего лишь мысли вслух, - проскрипел незнакомец. - Раздумья над превратностями судьбы... Тысяча извинений!

- Какие превратности?

Только теперь Марков вдруг понял, о чем говорит этот тип...

Для Маркова все, что связано с его командиром, свято. И если Котовский не может сейчас сам выхватить клинок из ножен, чтобы достойно ответить на обывательские сплетни, это сделает он, конник Котовского Миша Марков.

Никому не удастся очернить славное имя героя, как никому не удастся и приписывать себе доблесть Котовского, дела Котовского, победы Котовского! Пусть остерегаются клеветники и хулители, им несдобровать!

- А ну-ка, повторите... - тихо, потому что нахлынувшая ярость мешала говорить, сказал Марков.

- Повторить? Я и так вам битый час растолковываю! Извиняюсь, вы иностранец?

Марков всегда отличался застенчивостью, тихим, смирным характером. Он сам впоследствии не мог понять, как у него все получилось. Суровая школа походной жизни, видимо, повлияла на него, а привычка делать гимнастику и обливаться холодной водой явно содействовала развитию мускулатуры и слаженности движений. Об этом можно было судить хотя бы по тому, что от полученной затрещины клеветник и злопыхатель пташкой перелетел через садовую скамейку и исчез, как дым, со сверхъестественной быстротой, словно его никогда и не было.

Марков с минуту стоял в оцепенении и потирал ушибленный кулак.

- Гадине повезло, - усмехнулся он наконец, мысленно восстанавливая всю сцену с самого начала. - Будь на моем месте Криворучко... или еще какой из богатырей-котовцев - ему бы и вовсе несдобровать!

Вокруг не было ни души. Но Марков все озирался, все чудился ему пакостный скрипучий шепоток. И разве это не установившаяся издавна ухватка убийц, карабкающихся к власти карьеристов, подлых интриганов, политических шулеров: сначала убить, а потом еще осквернить могилу - пустить какой-нибудь грязный слушок, памятуя, что от клеветы всегда что-нибудь остается?

И Марков, крепко сжав кулаки, грозно, как проклятие, торжественно, как зарок, внятно произнес:

- Во все времена, сегодня или завтра или в любое время, даже по прошествии многих лет - помните, люди: если услышите шепотки и наговоры, кривые улыбки и пошлые намеки, порочащие светлую память Григория Ивановича Котовского, знайте, что перед вами убийцы или сообщники убийц!

Честь? У них нет чести! Ужас перед судом истории? Но им нечего терять! Они

подсыплют в кушанье яду, состряпают подложные документы, они будут в отлично оборудованных типографиях на роскошной бумаге печатать любую мерзость, любую неуклюжую клевету. Они будут пытать, истязать, упрятывать честных людей в казематы и тюрьмы. Не сами. Они любят комфорт и душевное равновесие. Они найдут в клоаках и притонах любого города готовых на все исполнителей. С давних пор повелось у них опираться на грязных подонков, на моральных уродов.

Маркову вспомнился жуткий рассказ Мопассана "Мать уродов". "Это гнусная баба, сущий дьявол. Каждый год эта тварь умышленно рожает уродливых детей, отвратительных, страшных чудовищ, и продает их содержателям паноптикумов". Как она это делает? Стягивает себе живот изобретенным ею жестким корсетом из дощечек и веревок. Она научилась придавать разнообразную форму своим уродам, рожает и длинных, и коротких, и похожих на крабов, и похожих на ящериц, со сплюснутым черепом, с выпученными глазами. Доходная статья!

Когда Марков читал этот рассказ, ему было невыносимо страшно. А сейчас он догадался: да ведь писатель изобразил больше, чем хотел! Он рассказал о капиталистической системе! Это она фабрикует профессиональных убийц, усердных шпионов, узаконенных разбойников... Да, да, капиталистические уродцы! Как это Марков раньше этого не понимал? Ведь все это написано безжалостно, беспощадно, без умолчаний!

Михаил Марков размышлял о фабрике уродов, делал литературные сопоставления. Он хотел осмыслить, поставить на места представшие перед ним сумбурные явления жизни. Если этого не сделать, можно сойти с ума. Всему найдется ясное, точное определение, если проследить основные пружины - то, что двигает стрелки истории.

Маркову было трудно. Изволь осмысливать, когда сердце разрывается от отчаяния, когда хочется кричать, выть, биться головой о стену!

Нет Котовского. Оказывается, можно так вот, запросто, подойти и убить человека. Не в запальчивости, а выполняя свой план. Это было бы непонятно по своей чудовищности, если бы не знать, что такое наша эпоха, не знать ее железных законов. А что она такое, если сказать в двух словах? Перелом. Крушение старого мира - казалось бы несокрушимого. Приход новой эры, очертания которой давно уже грезились человечеству и которая вступает наконец в свои права. Борьба. Непрекращающаяся, жестокая. Яростное сопротивление старого мира этому новому. Настоящая война. И смерть Котовского, с которой никак не хочет примириться разум, - один из моментов этой войны.

Когда Марков понял, уяснил это, ему стало легче.

Люди растут толчками, не миллиметр за миллиметром, час от часу становясь умнее, опытнее, образованнее, взрослее. Какой-то толчок извне, какое-то запавшее в душу слово, встревожившая сердце книга, пьеса, картина, или происшествие, или сильное переживание - и вдруг умная учительница Жизнь переводит человека из четвертого класса в пятый.

Так случилось и с Марковым. Из сквера с уединенной скамейкой в тени платанов и белых акаций он вышел новым, иным человеком, с горькой складкой около губ, с прямым взглядом проницательных строгих глаз, с умудренностью, с твердым решением не сдаваться, не отступать.

7

В августе на одесских улицах очень много солнца. Если бы не обилие садов и парков, тенистых аллей, можно бы, кажется, воспламениться от такого жара. Белоснежные здания, старинные особняки, театр, биржа, публичная библиотека - все сверкает, слепит глаза.

Крутояров приобрел белую войлочную шляпу с бахромой. Его уверяют, что он походит в ней на бедуина.

- Разве бедуины такие? - коварно спрашивает Крутояров. - В самом деле, какие бедуины?

Теперь Оксану они совсем не видят, она поселилась в помещении при родильном доме и будет сопровождать Ольгу Петровну, когда врачи разрешат ей ехать.

Крутояров и Марков много бывают вместе. Крутояров видит тяжелое состояние Миши

и делает все, чтобы отвлечь его мысли, поднять его дух. Марков понимает, с какой целью Крутояров заводит разговоры о бедуинах, о температуре воздуха, о красоте белых акаций - о чем угодно, только не о том, о чем неотступно думает Марков.

- Вы знаете, Михаил Петрович, какой был герб у Одессы? Щит, разделенный пополам. Верхняя половина золотая, и на ней изображен орел. Нижняя половина червленая, и на ней серебряный якорь. Не знаю, что это должно было означать раньше. А сейчас я бы так объяснил эту символику: орел - гордое парение ввысь, якорь - надежда.

Марков слабо улыбается.

- Одесский порт раньше называли пшеничным городом. Мы посылали хлеб в Великобританию, в Голландию, в Германию...

Крутояров говорит с жаром, с увлечением, как будто его больше всего на свете занимает хлебная торговля России. Марков отлично видит, что это все напускное, но побуждения Крутоярова самые хорошие. Марков не сомневается, что сейчас ему будет сообщено, что давнее название Одессы Хаджибей, а также о деятельности герцога Ришелье и князя Воронцова... Но Крутояров чувствует, что усилия его тщетны, и уже без всякого азарта сообщает, что до революции широко славились одесские арбузы, которые почему-то называли "монастырскими"...

Махнув рукой на свои ухищрения, Крутояров начинает говорить о том, что только и занимает сейчас их обоих: о Григории Ивановиче Котовском, о каком-то слове, сказанном Григорием Ивановичем, о каком-то случае, разговоре...

- Странно устроен человек, - говорил Марков, - ведь только что мы проезжали станцию Бирзула. Помните, Оксана помчалась покупать яблоки, а мы смотрели на гусей, грозно вытягивающих шеи, чтобы напугать чумазого мальчишку, и я вам рассказывал, как в один из августовских дней мы начали именно отсюда тяжелый поход, решив пробиться на север, на соединение с частями Красной Армии...

- Это я помню. Значит, именно там Куценко взрывал свой бронепоезд?

- А завтра мы отправимся в Бирзулу хоронить Котовского...

- Мне понравилось чье-то размышление, я даже записал его в своей записной книжке...

- Ваша записная книжка - настоящая кладовая.

- Вот это размышление или изречение, как хотите называйте: "В метрических свидетельствах пишут, где человек родился, когда он родился, и только не пишут, для чего он родился". А ведь это немаловажный вопрос. Но когда думаешь о Котовском, такой вопрос не возникает. Вот когда бесспорно ясно, кому отдал человек каждую каплю крови, каждый помысел, каждое усилие! Он служил большой правде, он боролся за счастье на земле. И этого не отнимет никакая подлость, никакая пуля, никакой заговор. Люди, которые рассчитывают выстрелами остановить ход истории, - это окончательно отчаявшиеся люди. История не из пугливых. А методы террора были скомпрометированы еще эсерами. Не понимаю, чего за них цепляются империалисты?

Марков рассказал Крутоярову о своей встрече в приморском парке и о финале этой встречи.

- Эх, жаль, что там не было меня! - вздохнул Крутояров. - Уж я бы его так не выпустил! Таких подлецов надо учить!

- Вам вредно, у вас сердце. Но можете мне поверить, я не оплошал.

Вечерами, когда немного схлынет жара, они медленно прогуливались по улицам, прислушиваясь, как камни потрескивают остывая. И снова говорили о Котовском, о его самобытности, о его яркой жизни. Все в этом городе напоминало о подвигах, о боях, об опасной подпольной работе... Марков запомнил многое, о чем рассказывал Котовский. И теперь они сообща пытались отыскать бывший кафе-ресторан "Дарданеллы" в Колодезном переулке - славную явку французской группы "Иностранной коллегии", часовую мастерскую на Большом Фонтане, где работал коммунист-подпольщик, дом номер одиннадцать на Провиантской улице, где Котовский встречался со связным Кулибабой...

Какое бесстрашие! Какая самоотверженность! Великая честь быть в числе таких

деятелей, как Иван Федорович Смирнов (Николай Ласточкин), Жанна Лябурб и Елена Соколовская!

Но Марков больше мог рассказать о другом: о том, как в февральскую оттепель в 1920 году Котовский первым влетел на коне в Одессу со стороны Пересыпи - с той же стороны привезли его прах теперь, через пять лет... Марков и Крутояров посетили и Пересыпьский мост, побывали и на Нарышкинском спуске. Утомленные, они возвращались поздней ночью в гостиницу и засыпали сразу же, как только добирались до постелей, ныряя под прохладную простыню.

Пришел день похорон, одиннадцатое августа. Поезд с останками Котовского двигался медленно. На всем пути стояли толпы народа, на всех станциях происходили траурные митинги. Эскадрилья самолетов сопровождала траурную процессию. Шум моторов без слов говорил о том, что заботы Котовского об укреплении Красной Армии увенчались успехом.

Могила Котовского - у самого полотна железной дороги - быстро превратилась в холм живых цветов, венков из колосьев и муаровых лент с отпечатанными на них прощальными словами.

Рыдал военный оркестр аккордами траурного марша. Костя Гарбарь попросил у одного музыканта инструмент и занял место в оркестре, чтобы, как положено, проститься с командиром.

В телеграмме Совета Народных Комиссаров Украины было напоминание о том, что бои с черными силами мировой реакции еще не миновали.

"Крепче сплотим наши ряды!" - призывал Центральный Исполнительный Комитет молодой Молдавской автономной республики.

И твердым голосом закаленного воина, старого солдата произнес прощальное слово над могилой Котовского Семен Михайлович Буденный:

- Никто не сломит нас, дорогой товарищ Котовский. Ты ушел, но мы выполним заветы и задачи, завещанные нам Лениным, которые и ты честно выполнял до конца.

Медленно расходились люди. Одним из последних оторвал взгляд от могилы старый конник, не раз ходивший в строю на врага.

- Вот... - произнес он в недоумении, в горести, - только холм в Бирзуле... и много цветов... и тяжесть на душе... и нет его, нашего дорогого... нет Григория Ивановича... Нет Котовского! И никогда уже мы не услышим его могучий голос: "Орлы! Вперед! К победе!"

Марков стоял рядом. Он ответил:

- Это верно, конечно. Но если присмотреться ко всем, кто прощался с Котовским... Разве не запечатлен в каждом сердце этот призыв: "Орлы! Вперед! К победе!"

Старый конник посмотрел на Маркова грустными слезящимися глазами и ничего не сказал в ответ.

- Кто это? Из бригады Котовского? - спросил Крутояров.

- Я узнал его в лицо, только ни фамилии, ни имени не помню... Одну минуту! Товарищ!

Но старый кавалерист уже ушел и затерялся в толпе.

8

В обратный путь ехали вдвоем. Маркову чего-то не хватало без Оксаны, он привык, чтобы она всегда была рядом, внимательная, ласковая. Он даже удивился, до чего они успели сродниться. Он поминутно спохватывался: где же она? И вспоминал, что она осталась с Ольгой Петровной, что она приедет позднее.

Повсюду на Украине стояла изумительная погода. Шла уборка хлебов. По всему степному пространству можно было видеть снопы, женщин в пестрых одеждах, тяжелые возы, плывущие, покачиваясь, вдоль полей. А на станциях было много ребятишек. Они не помнили и не видели войны. Вероятно, они так и считали, что войны не бывает, о ней только рассказывают словоохотливые старики. Они смотрели доверчиво и с любопытством на огромный мир и были уверены, что в небе полагается летать только ласточкам, а по земле полагается ездить только в город на базар.

Насколько были оживленны разговоры, когда выезжали из Ленинграда, настолько они

были пронизаны светлой грустью теперь.

- Любар... - вспомнил Марков. - Он дорого нам обошелся... И поблизости Горинка, где Григорий Иванович был контужен...

- Разве он не ранен был?

- Нет, контужен. Мы тогда думали, что уже конец... А ранили его после, когда матюхинская операция была... Иван Сергеевич, а где тут Проскуров? Помню, он весь окружен холмами... и все овраги, овраги, речушкам счету нет, одна другой мелководней, и повсюду бьют родники из-под земли... Но нет на свете города лучше Житомира. Это было первое место, где можно было сесть за стол, настоящий, как полагается, со скатертью стол... Житомир был первый город, когда мы выбрались из окружения. Только тогда, когда весь кошмар был уже позади, мы поняли всю отчаянность нашего положения... И опять Котовский. Он вызволил нас из беды, он поддерживал, он подбадривал. Что это был за человек!..

Сказал эти слова Марков и удивился:

- Вот уже привычно произносится - был человек... Был! Никогда, кажется, не поймешь этой загадки!

Крутояров терпеть не мог говорить о смерти. И когда затрагивалась эта болезненная для него тема, он всегда прятал свое волнение под шуткой, каламбуром и уходил от копания в душе, как он это называл.

- Если бы не оставалось уже ни одной загадки, пресновато было бы жить, - возразил он Маркову. - Человечество до безумия любит решать кроссворды. А я сейчас пытаюсь решить загадку: удастся нам или не удастся купить на ближайшей станции вареную курицу. Чертовски хочется есть.

Перед самым Ленинградом Миша полез зачем-то в чемодан и обнаружил свою книгу, так и не преподнесенную Григорию Ивановичу. Он даже вздрогнул, нащупав ее.

- Что же вы не вручили ее Ольге Петровне?

- Счел нетактичным. Надпись-то сделана живому Котовскому. Понимаете?

- Да, пожалуй. Но мы непременно навестим Ольгу Петровну и постараемся на этот раз не затягивать поездку до бесконечности. Однако подъезжаем к Ленинграду. Первое, что мне предстоит, - это взбучка от Надежды Антоновны, что не прислал телеграммы. Она не любит провожать, а встречать для нее первое удовольствие.

9

Милый, милый Ленинград! Как приятно смотреть на твои дома, на твои улицы и угадывать малейшие происшедшие за короткий срок перемены! Вот здесь не было булочной, а теперь открыли. Хилые деревца вдоль фасадов домов... их только что посадили. Привьются ли? Мы так не бережливы к природе, к очаровательной живности! Например, воробьи. Как скучно было бы без разудалых крикливых воробьев! Какие были бы несчастные, мертвые городские площади, если бы над ними не мелькали крылья! Побольше птиц! Белки должны быть ручными и прыгать с ветки на ветку в Александровском саду! Побольше цветов и деревьев!

Так размышлял Марков, когда они с Крутояровым ехали по родному городу. Крутояров-то был в самом деле старожилом. Но и Марков считал себя коренным ленинградцем. Ведь он здесь уже два года - и каких два года, каждый стоит десяти!

- Какой ужас! - встретила их Надежда Антоновна. - Так неожиданно и трагично! Представляю, что переживает бедная Ольга Петровна! Ах, вы оставили с ней Оксану? Умно поступили. В таких случаях так нужна дружеская рука! Расскажите же, как это было, в газетах очень скупо излагаются факты.

Рассказывая последовательно и подробно, и Крутояров и Марков пережили все заново. Надежда Антоновна слушала с широко раскрытыми глазами. Особенно потрясло ее то, что в момент похорон отца появилась на свет его дочь.

- Представляю всю эту обстановку! - шепотом произнесла она и снова переспросила: - Он еще не погребен, а появилось уже новое существо, продолжение его жизни?

Как пустынно в комнате Миши! Все вещи на своих местах. И оттого, что все вещи на местах, с особенной отчетливостью возникло в сознании, что Котовского нет на свете, что Миша так и не повидался с ним со времени отъезда из Умани.

Воспользовавшись тем, что Оксаны нет дома, Миша забился в угол и дал волю своему горю. Он плакал горючими слезами, не стесняясь, не думая о том, годится ли плакать старому котовцу, бравому кавалеристу.

Вошел Крутояров, как будто почувствовал, в каком состоянии Миша. Вошел, не обратил ни малейшего внимания на слезы и всхлипывания, как будто бы это самое обычное дело. Стал прохаживаться по комнате, крупными шагами отмеривал ее во всю длину. Миша видел сквозь слезы, как Крутояров лучился, дробился на куски. Он был широкоплеч, массивен и самим своим видом действовал успокаивающе.

Косматые брови его были сдвинуты, лицо, как бы вылепленное смелым ваятелем, неподвижно. Седая грива волос рассыпалась волнистыми буграми, как взбаламученное море. У Крутоярова был скорее грозный, чем подавленный и опустошенный вид.

Миша постепенно переставал плакать и бездумно, автоматически следил за движениями Крутоярова. Оба долго и без неловкости не произносили ни слова, думая вместе и об одном и том же, поэтому как бы мысленно беседуя.

Затем Крутояров заговорил. Голос у него был строг, звучал как сигнал атаки. Миша недоверчиво, настороженно слушал, сначала даже не вникая еще в смысл, улавливая только самый звук и по звучанию чувствуя уверенность, силу убеждения.

- Народ не ошибается в своих избранниках, - говорил Крутояров, как бы произнося надгробное слово. - Котовского любят и будут любить. Уж очень он нам по духу, уж очень он наш, русский - с широкой, открытой всему хорошему, светлой душой. Вот уж у кого никогда не было задней мыслишки, мелкого расчета! Удивительный человек!

Постепенно у Миши Маркова просыхали слезы и прояснялась мысль. Теперь он слушал - и как слушал! Крутояров шагал по комнате, останавливался порой, подыскивая нужное слово, и снова говорил. Иногда его речь становилась путаной, шероховатой, но это оттого, что мысли, образы переполняли его, шквалом налетали, обгоняя друг друга, Крутояров еле успевал воплощать их в слова:

- Я люблю русский народ, люблю самозабвенно, неистово. Часто думаю, сколько же выпало на его долю испытаний, а он не сгибался, не утрачивал своих благородных качеств, оставался все тем же - добрым, талантливым, сильным. Вы не задумывались о заслуживающих громкой славы, достойных преклонения, почестей, удивления, но безвестных героях? Ну, объясните мне, пожалуйста, какая убежденность заставляла некоего Петра, некоего Василия, Андрея, Акима, Поликарпа обнять жену, поцеловать детей и без пышных слов, без позы, просто и деловито отправиться из своей Касьяновки, Михайловки, Малковки сражаться с чужеземцами, с вражеской тучей, со всеми врагами революции? Сражаться - и, может быть, умереть! И лечь в ряду с однополчанами в братской могиле... Вы русскую историю знаете? Кого ни возьмите... Например, Дмитрий Донской... помните? В те времена на шее нашего народа сидели очередные прихлебатели - Золотая Орда. Угрожая смертью и разорением, они требовали выплаты дани. Что делать? Приходилось терпеть и платить. И вот - представляете? - являются посланцы за получкой; причитается с вас столько-то и столько-то, просим поторопиться, ждать нам некогда. Дмитрий Донской берет эту собачью ханскую грамоту, рвет ее в клочья и топчет: хватит, посидели на нашей шее, убирайтесь подобру-поздорову, и больше чтобы ноги вашей не было. Воображаю, как взбеленились эти самые чингисхановы полпреды! Ладно же, думают, мы тебя научим повиновению! Прискакали к своему хану, докладывают, а тот как топнет ногой - и сразу начинает собирать в поход своих чингисханских тех времен колчаков и Деникиных, всяких гревсов и тому подобных пилсудских. Не тут-то было! Искрошили русские петры и поликарпы в крошево разъевшихся кровопийц, намеревавшихся вечно жить на чужой счет, грабежом и насилием... Вот она какова, история нашего народа. Печенеги с Востока, печенеги с Запада, печенеги свои собственные, доморощенные... только и успевай

отбиваться да отмахиваться.

- Иван Сергеевич! А это когда было? - сбитый с толку своеобразной манерой рассказчика, спросил озадаченно Марков. - Это было очень давно? В древности?

- Это всегда было. Это характерно для всей истории нашего народа. А то, что произошло в семнадцатом, этого до той поры никогда не было. Возможно, что впоследствии и летоисчисление будут вести с семнадцатого года. Сейчас значение свершившегося нам, современникам, заслоняют разные детали, мы из-за деревьев леса не видим. Рассеется пыль, поднятая рухнувшими стропилами прошлого, со всеми его трухлявыми междуэтажными перекрытиями, и тогда откроется перед народами изумительная панорама...

- Григорий Иванович этого уже не увидит.

- Не увидит? Может быть, и мы с вами не увидим. Но всего не пересмотришь, мой мальчик. Да и неправильно вы говорите. Григорий Иванович все это видел, чувствовал, осознавал. Ведь он был ленинцем. А Ленин открыл перед нами такие просторы - только ослепленные яростью не видят, а вообще-то нельзя не видеть. Немыслимо! Невозможно!

Пока Крутояров говорил вообще о России, вообще о смысле жизни, он оставался сравнительно спокойным. Но по мере того как разговор сосредоточивался на главном, что его сейчас волновало - на смерти Котовского, - он все больше распалялся, всё убыстрял шаги, а голос его становился все резче и раздраженней. И тогда - на какой-то паузе в его гневной речи - в дверях появилась Надежда Антоновна со стаканом воды и пузырьком лекарства.

Крутояров взглянул на жену и сразу сбавил голос:

- И что ты все выдумываешь, Надя? Никто не волнуется и не выходит из себя. А всякое лекарство от частого применения перестает действовать, как тебе известно, появляется иммунитет...

Крутояров говорил, доказывал, а Надежда Антоновна молча капала капли. Тогда Крутояров махнул рукой, схватил стакан и выпил его содержимое одним залпом.

Когда Надежда Антоновна ушла, полная сознания выполненного долга, Крутояров сказал:

- Оскорбительная вещь - надвигающаяся старость. Вам этого не понять. Когда мне без лишних разговоров капают эти проклятые капли, у меня такое чувство, как будто мне дали отравы. А тут как-то я ехал в трамвае... и вдруг маленькая девушка вскакивает со своего места и уговаривает меня сесть... Лучше бы она меня ударила! Миленькая такая, в голубом берете под цвет глаз. Я ей говорю: "Что вы, девушка, с какой это стати я буду занимать ваше место?" - "Нет, уж вы, пожалуйста, все равно мне скоро выходить". Черт бы тебя побрал, душечка, с твоей любезностью! Весь вагон смотрит с этаким, знаете ли, одобрением, дескать, правильно она поступает, надо старичку уступить место, есть же у нас сознательная молодежь, не перевелись еще воспитанные девицы. А мне бы в пору на ходу выпрыгнуть из трамвая, от стыда, от обиды, от ущемленного, знаете ли, мужского самолюбия. Главное, и ругаться нельзя, все вежливо, деликатно, от души... Вот, дорогой Михаил Петрович, такая-то история. Когда состаритесь, мой друг, ходите лучше пешком, дело-то вернее будет. Без сочувствия.

Крутояров говорил, по своему обыкновению, весело, с усмешкой, хотя у него кошки скребли на душе. Марков, только было рассеявший тяжесть, только было осушивший слезы, теперь снова готов был прослезиться от жалости, от горячего сочувствия. Так, мимоходом, к случаю, из-за этих чертовых капель, Крутояров приоткрыл перед Марковым тайное тайных, сугубо личное, и тоже в конце концов большую трагедию. Она разыгрывается вот тут, рядом, бок о бок с ним, но Марков почему-то о ней и не подозревал.

"Молодость эгоистична, - размышлял он. - Ей только до себя. Зачем заранее задумываться, заранее портить себе настроение? Восемнадцатилетнему тридцатилетние кажутся стариками. И тридцатилетние считают, что тот, кто перевалил за полвека, отжил свое. Но вот передо мной человек, переваливший за пятьдесят: Крутояров. Какая восхитительная зрелость, какое богатство души, какая высоковольтность! Видимо, он не

терял понапрасну времени и за прожитые десятилетия во многом разобрался, многое постиг, продумал, да и сделал на своем веку предостаточно, но, как выяснилось, только сейчас в полную меру овладел мастерством, только сейчас достиг зенита в творчестве. Да, зенита. А сердце-то пошаливает? Как болезненно он воспринимает даже намек на приближающуюся старость, как протестует, негодует, возмущается при одном только предположении, что скоро будет немощен, слабосилен, дряхл, никому не нужен... пригоден разве только на то, чтобы еле ползать, кряхтеть, кашлять, жаловаться на боли в пояснице, охая, усаживаться на скамейку, которую ему снисходительно и любезно уступила в трамвае девчонка!.."

Крутояров заметил, какое впечатление на Маркова произвели его слова. Того гляди бедняга опять расхлюпается. И дернула же нелегкая затронуть этот болезненный и щепетильный вопрос!

Крутояров снова стал совершать рейсы от книжной полки до окна и от окна до книжной полки.

- Да-с, милостивый государь, - остановился он вновь перед Марковым, смена поколений. Эстафета жизни. Это закономерно и естественно. Диалектика! Непрерывный процесс возникновения и уничтожения, бесконечное восхождение от низшего к высшему. Это еще Маркс открыл. Вот мы с вами рассуждаем о высоких материях, вы сидите в кресле, я расхаживаю по комнате. А в это время в нас свершаются чудеса. Сердце ежесекундно прополаскивает нас, как бутылку из-под молока. Желудок, печень, легкие, всевозможные железы работают со всем усердием. Клетки, кирпичики всего сооружения, погибают, отмирают, на их место изготовляются новые, и мы к концу нашей приятной беседы в значительной мере... гм... обновимся, будем уже не те, кто начинал разговор. А ведь это всего лишь клетки. Что же происходит в обществе? Как обстоит дело с человечеством? Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории, - об этом говорил еще Энгельс в речи на могиле Маркса, а сейчас это говорят на уроках школярам.

"Все, что он сейчас говорит, правильно, - думал между тем Марков, но рассказ о девушке, уступившей ему место в трамвае, потрясающ".

Крутояров с преувеличенным усердием развивал мысль об эволюции, о смене эпох... Марков понимал, что о страхе перед надвигающейся старостью Крутояров проговорился нечаянно, и теперь Марков с интересом наблюдал, как Крутояров петляет, стараясь увести подальше от этой темы:

- Когда я родился, не было еще автомобиля. Радио еще не звучало. Не было кино. Все было накануне своего свершения. Академик Павлов приближался к мысли о рефлексах, Александр Степанович Попов докладывал об изобретенном им радиотелеграфе. Яблочков освещал улицы изобретенными им электрическими свечами. Зарницы будущего! Отец русской физиологии Сеченов только что написал свои замечательные "Психологические этюды". Весь устремленный в завтрашний день Циолковский разрабатывал теорию реактивного движения и грезил о звездоплавании. Возникла электронная теория материи, породившая растерянность и смятение умов. Ленин разрабатывал программу той партии, которой суждено открыть новую страницу мировой истории. Таким образом, в недрах девятнадцатого века вынашивалось то новое, что двадцатому веку надлежит претворить в жизнь. И если взглянуть на вещи так, отмирание мельчайших клеток общественного организма покажется не столь ужасным. Но что меня приводит в ярость, когда подумаю о гибели Котовского, - это не смерть, смерть - она что же - обязательна. Но этот беспардонный разгул жалких шавок! И на кого поднимают руки! Сколько Котовскому было лет? Сорок четыре? Здоровый, полный замыслов, энергичный... и вдруг является такая тля, что и мизинца Котовского не стоит со всеми своими предками и потомками, - и обрывает жизнь! Я понимаю, конечно, у нас такие уж установки - гуманность и все прочее подобное... Но я бы... На мой бы вкус... Убить - мало! Вы помните такую фамилию: Муравьев? Из эсеров, командовал Восточным фронтом и переметнулся на сторону врагов. Какое воззвание написал тогда Ленин!.. Заканчивалось оно так: "Бывший главнокомандующий на

чехословацком фронте левый эсер Муравьев объявляется изменником и врагом народа. Всякий честный гражданин обязан его застрелить на месте". А? Как вам нравится? По-моему, великолепно. Что в самом деле? Кичкаться с ними? Я за гуманность. Бывает, когда самое гуманное - на месте застрелить подлеца.

- Вы, Иван Сергеевич, выстрелили хоть раз в жизни?

- Не случалось. Белобилетник. Но тут я бы не утерпел. Это был бы, очевидно, первый мой выстрел.

Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

Рябинину стукнуло шестьдесят. Он смертельно боялся адресов, поздравлений, тостов и тщательно скрывал эту дату, даже пустил слух, что уезжает не то в Австралию, не то на Алеутские острова, причем на длительный срок, так что и неизвестно, когда возвратится.

Следовательно, опасность визитов отпала.

Но все-таки он ждал, что его поздравят хотя бы его собственные дети. На это-то он мог рассчитывать? Но они, видимо, забыли, так-таки взяли и забыли.

Рябинин приказал накрыть роскошный праздничный стол, весь дом уставили живыми цветами, лакеи, похожие на сенаторов (поскольку и сенаторы походят на лакеев), сверкали белоснежными манишками, горничные полны были тошнотворной преданности и безграничного усердия, прямо пропорционального полученным чаевым.

Рябинин проснулся в этот день в отличном расположении духа, напевал что-то такое из "Сильвы" и придумывал поучительные нравоучения, которые преподнесет детям. Но дети не пришли.

Рябинин постепенно становился задумчивым, обиженным, затем раздраженным и язвительным и с каждым часом все более свирепел.

Прелестная дочка, выскочившая за этого норвежского кретина, от которого воняет треской, могла бы на худой конец прислать поздравительную телеграмму, если уж ей никак нельзя выбраться поздравить отца, если никак невозможно на три каких-нибудь дня расстаться со своей Норвегией, чтобы ей ни дна ни покрышки, чтоб она провалилась в тартарары.

А сыновья - бог им судья, - у них, видите ли, банкет в чертовой Ecole normale, военной академии в Париже, где придумали готовить к войне - с кем, спрашивается, и за кого? - сынков белых офицеров и сынков белой знати, пригодных разве на то, чтобы играть в бридж. Не могли сыночки пожертвовать банкетом ради отцовского юбилея!

На всякий случай Рябинин припарадился, хотя и не любил фрак и всякий раз, натягивая его, думал, что делает кому-то уступку, а мог бы при своих-то капиталах плевать на все моды и на этикет.

Видя во всех зеркалах свое отражение, Рябинин отводил душу, проклиная весь свет, и в то же время никак не мог отделаться от привязавшегося с утра мотива, который так и вертелся в уме.

"Уж не думают ли они, что из-за празднования юбилея этой дурацкой академии их отец перенесет свой день рождения на более удобный для них срок? Дожидайтесь! На третий год, когда черт умрет! ("Сильва, ты меня не любишь..."). Вскормил на свою беду остолопов! Ах, им нужно усиленное питание! Ах, их нужно вывести в люди! Тут няньки, тут мамки. Не все княжеские отпрыски такое воспитание получали. Вот теперь любуйся! Воспитал!"

Во фраке Рябинин выглядел моложавым. Никаких мер не принимал, а вот не отрастил брюшко. Хорош. Хоть сейчас жениться. Черта с два, как бы не так!

Поразмыслив, Рябинин решил, что по случаю торжества сыновей, конечно, не могли отпустить из академии. Стало быть, они отпросятся только вечером и останутся дома ночевать.

Настал вечер. Сыновья не являлись.

Отлично, он может отпраздновать свой день и один. Да и кому, кроме него самого, интересно, что некий русский промышленник и миллионщик Рябинин родился ровно

шестьдесят лет назад, прозябает теперь в изгнании, злится на весь мир и все никак не соберется покинуть эту плачевную юдоль, променяв ее на вечное блаженство?

Разумеется, Рябинин не пошел на торжество, на кой ляд сдалась ему Ecole normale вместе со всеми лягушатниками да и всей стаей шакалов, которые лязгают зубами вокруг России. Говорят, сегодня там предстоит полное сборище иконописных епископов, породистых русских князей и княгинь, из тех, что все еще не профершпилились, живя на широкую ногу в Париже, а также храбрых русских генералов, проигравших большевикам все сражения. Конечно, не обойдется и без нефтяной цистерны - сэра Детердинга, вообразившего почему-то, что русские дела лично его касаются ("Сильва, ты ме-ня за-губишь!").

Рябинин изнывал от безделья. Входил в роскошно убранную столовую, отделанную деревянной резьбой под боярские хоромы и как будто скопированную с полотен Васнецова. Входил, фыркал, озирая батареи бутылок и сверкающий голубыми, розовыми, рубиновыми искрами старинный хрусталь. Стол был накрыт на двенадцать персон, сыновья могли привести своих приятелей.

"Да у меня тут не хуже Ecole normale!"

Рябинин, обращаясь к фужерам и графинам, восклицал:

- Милостивые государыни и милостивые государи! Рад вас приветствовать в день моего рождения!

Шутка не удалась, получилась довольно кислой. А уж до того хотелось Рябинину отколоть какую-нибудь экстравагантность! Например, усадить за стол всю прислугу - поваров, шофера, горничных - и чокаться с ними: "Ваше здоровье!" Или нагнать с бульваров дюжину шлюх и напоить их до бесчувствия...

А не спокойнее ли будет сесть одному за стол, плотно поужинать, выпить бокал шампанского и лечь спать? Зачем шуметь? Чтобы безобразничать, нужно быть чуточку моложе.

Рябинин бродил, как неприкаянный, по огромной безмолвной квартире. Не пойти ли гулять? Говоря откровенно, ему опротивел Париж, с его пустопорожней болтовней и неинтересными притонами, с его птичьим рынком на набережной De la Cite, с птичьей политикой, птичьими нравами и птичьими глазками проституток. Его раздражало все: и русские кабачки, и Наталья Лысенко на кинорекламах, и нудные споры, кто лучше - Кирилл Владимирович или Николай Николаевич. Все тут омерзительно. Климат дрянной. Людишки мелкие. Герб Парижа - корабль. Только куда он плывет? Чего стоят одни продавцы устриц, креветок, каштанов, порнографических открыток и "petites filles"!

"Да, я люблю Россию, - размышлял Рябинин, любуясь коллекцией расписных матрешек, палехских шкатулок, ярмарочных свистулек, резьбой по кости - кустарными русскими поделками, приобретенными за бешеные деньги. Но что такое Россия? И люблю ли я русский народ? Смотря какой. Русский народ с красными флагами? Сидели бы, делали палехские шкатулки!"

Эти мысли Рябинин переворачивал так и сяк, постоянно к ним возвращался, и они ему осточертели не меньше, чем парижские устрицы. Все было ясно. Россию любит, коммунистов ненавидит. Стоит ли толочься на месте? Допустим, что так. Россию любит, коммунистов ненавидит. Успел вовремя ретироваться и не побывать на Лубянке. И все. Слава богу. Tout est bien, qui finit bien...*.

---

* Tout est bien, qui finit bien - все хорошо, что хорошо кончается (франц.).

Заметив, что "французит", за что сам же постоянно шпыняет сыновей, Рябинин рассвирепел, выругался (на этот раз по-русски) и решительно направился в столовую.

В доме на правах экономки была такая Анастасия Георгиевна, из бывших.

- Покормите меня, - обратился к ней Рябинин, делая вид, что ничего нет особенного в том, что он в такой день садится за стол один. - Нет чтобы напомнить, что пора ужинать!

- Я думала, Сэргэй Стэпаннович... - начала было она (от ее прошлого у нее ничего не осталось, кроме этого, как она воображала, французского прононса).

- Не знаю, что вы там думали. Распорядитесь, чтобы подавали.

В этот самый момент раздался звонок. Рябинин так и просиял. Против воли на лицо наползала глупейшая счастливая улыбка. Пробовал хмуриться, ничего не получалось.

"Примчались-таки мальчишки! Сейчас начнут оправдываться, совать мне сувениры и рассказывать, как сэр Детердинг двигал вставной челюстью и призывал их к войне с коммунизмом. Ну, и задам же я им перцу, паршивцам!"

- Господин фон дер Рооп, - доложила горничная.

Рябинин опять выругался, но по-французски:

- Canail sot espes! Что надо этой немецкой обезьяне? Не слишком ли он теряет представление о расстоянии между нами, чтобы запросто лезть в мой дом?

И все-таки Рябинин сказал стереотипное:

- Проси.

Уж очень ему тоскливо было ужинать в одиночестве.

2

Фон дер Рооп прежде всего рассыпался в извинениях:

- Если бы не исключительные обстоятельства... Если бы не известие о вашем отъезде... Сознаю, что с моей стороны слишком смело... - и так далее, и так далее.

Затем начались комплименты:

- Какое великолепие! Какой вкус! Буквально музей! Бог мой! А коллекция! Надо отдать справедливость - русские большие мастера. А это кто? Коровин? Во Франции его не понимают. Какие смелые мазки, какая игра тонов!

Рябинин подумал не без ехидства:

"Когда дурак вас похвалит, он не кажется уже вам таким глупым. Верно подмечено. Вот и фон дер Рооп мне начинает нравиться".

И неожиданно для себя пригласил посетителя отужинать.

Новые возгласы восторга и удивления:

- О-о! Столовая... это сказка! Билибин! Честное слово, Рерих и Билибин! Но что я вижу: такой стол... Кажется, я все-таки не вовремя? Вы кого-нибудь ждете?

- Особенно никого. Сегодня праздник в Ecole normale, решил порадовать мальчиков.

- Ах так? Приятно. Польщен. Мне просто везет.

"Вот и Ecole normale пригодилась", - подумал Рябинин. А вслух пояснил:

- Они придут очень поздно, когда мы уже будем спать-почивать. Молодежь, знаете ли! Они еще зайдут по пути домой в два-три ночных бара. Словом, это не должно нас беспокоить.

Говоря это, Рябинин все еще надеялся, что сыновья, хотя и с запозданием, придут. Вот тут-то и пригодится этот "фон". Они увидят, что никто их не ждет и за них не волнуется.

Минуты шли. Их с важностью и неторопливостью отсчитывали огромные часы в столовой, массивные, похожие на великолепное надгробие, под которым погребены останки времени.

"По-видимому, они совсем не придут... Щенки! Вертихвосты! Хотя бы позвонили!"

Рябинин снова свирепел. Щеки его стали малиновыми. Он жевал, кхекал, кряхтел и орудовал ножом и вилкой так, будто кромсал своего врага.

Что-то ему показалось не так, что-то не так подали, он швырнул салфетку, оскалился, но заметил взгляд фон дер Роопа, сдержался и только тихо зарычал.

- Да-с, господин фон дер Рооп... М-м-да. Сегодня будем говорить без переводчика, не так ли?

Фон дер Рооп всплеснул руками, изобразив, что принял эту шпильку как забавную шутку.

- Пфе... пфе... Клянусь, хорошо сказано. О да! Совсем без переводчика. И почему бы нам не говорить по-русски? Мы оба русские и оба в изгнании.

Отплатив таким образом щелчком за щелчок, фон дер Рооп и глазом не моргнул и продолжал восторгаться:

- О-о! Пфе-пфе! Тогда сначала я немножко притворялся, что не понимаю по-русски, потом вы немножко притворялись, что не знаете немецкого языка. Это очень смешно!

- Вы хотели сказать, мы оба родились в России, а не хотели сказать, что мы оба русские, - поправил Рябинин. - Ведь если кошка окотилась в конюшне, нельзя же утверждать, что котята лошади.

Замечание было справедливо, хотя и не слишком любезно. Однако фон дер Рооп пропустил его мимо ушей. Он пришел не для того, чтобы ссориться. Он точно установил, что Рябинин - один из самых состоятельных русских эмигрантов. А так как он и один из самых яростных врагов коммунизма, то они могут найти общий язык.

Кто бы ни приходил к Рябинину, первой мыслью его было - не хотят ли попросить денег. У всех у них на уме деньги. Тогда только и вспоминают о Рябинине, когда приспичит. Говорят, бедный имеет мало, скупой того меньше. Рябинин не был скуп. Но он терпеть не мог швырять деньги на ветер. Если давал, значит, считал выгодным, пусть выгодным не в узком смысле слова, но в каком-то отношении полезным для себя.

Ротшильду приписывают слова, что недостаточно любить деньги, надо, чтобы и деньги любили тебя. Деньги любили Рябинина. У него их было слишком даже много. Рябинин жил в убеждении, что так оно установлено природой, деньги считал своей добродетелью и, как творец вселенной, взирая сверху, награждал праведных, лишал своей милости неправедных, вершил страшный суд.

Все у него подчинено мысли, что он безошибочен, что он вправе управлять судьбами людей. Он избранник, а смотрите, как прост в обращении! Как скромен в личной жизни!

Рябинин стремится говорить только по-русски: ведь он - русский бог. Что? Для капитала не существует национальных границ? Неправда, капитал разбирается, где чужое, где свое. Свое он присваивает, чужое заглатывает. Деньги - заядлые политиканы, в том-то и дело.

Рябинин во всем подчеркивает, что он русский, русский. Любит русские простонародные выражения, другой вопрос, искренне ли, но утверждает, что нет для него ничего вкуснее, как русские щи да каша: щи да каша - пища наша. Он и носил в былое время в Петербурге русскую косоворотку, сапоги со скрипом, щегольской купеческий кафтанец, а зимой как прокатит по Невскому в шубе на лисьем меху с бобровым воротником, в бобровой шапке с бархатным верхом - все знают: Рябинин.

Обычно же ходил пешком, хоть и рысаки у него отменные и машины лучших заграничных марок. Церковь посещал, но больше для форсу. Он чуточку играл в простачка, в Тита Титыча, при всей своей образованности.

Как переехал в Париж, эти причуды пришлось свести до минимума, чтобы не прослыть чудаком. После домашних сцен махнул рукой и на детей: они уже говорили по-русски с ошибками и заметным акцентом. Иностранцы!

Так шаг за шагом сдавал одну позицию за другой. Остались в утешение одни ярмарочные матрешки, как у экономки Анастасии Георгиевны ее произношение в нос. Одиночество! Даже Сальникова нет с его цинизмом. Даже Бобровников уехал, не с кем о бескровном вторжении потолковать. Соратников по Торгпрому Рябинин недолюбливал: ни ума, ни воображения. Дерьмо. Вот и докатился, можно сказать, до ручки, в день шестидесятилетия сидит один с этим, прости господи, представителем "высшей расы".

Эти безрадостные мысли промелькнули у Рябинина, пока он подкладывал себе на тарелку маринованных грибов.

- Ну-с, - произнес он наконец, охотясь за ускользающим грибом, - о чем будем говорить? О Ницше? О разведении блондинов? Читал, читал сочинение Германа Бальтцера! Чувство любви - гуманитарное суеверие, женщина - родильный агрегат. Создать случные пункты, взять на учет белокурых девушек и выводить от них белокурую породу, скрещивая их с брюнетами.

- Вы все шутите, - сдержанно отозвался фон дер Рооп, - а мне хотелось бы говорить о серьезных материях и с предельной откровенностью, какая только возможна между единомышленниками и деловыми людьми.

- Какие уж шутки! Вы говорите так, словно это я издал книгу Бальтцера "Раса и культура". А ведь издали-то ее вы. Или еще один шедевр: "Давать образование неграм - преступная насмешка..."

- У вас завидная память. Но об этом ли надо говорить в исторический момент, переживаемый нами?

- Все моменты - исторические. Например, этот процесс фальшивомонетчиков у вас в Германии...

- Что же в нем исторического? Обыкновенное уголовное дело. Грузинские меньшевики Карумидзе и Садатирашвили изготовили целые кипы фальшивых советских червонцев...

- И все? И это вы призываете к предельной откровенности? А как же быть с внезапной смертью генерала Макса Гофмана? Не следует лгать больше, чем это вызывается необходимостью!

- Не отрицаю, Гофман был замешан, как и сэр Детердинг.

- Кто еще?

- Если вы знаете, зачем же спрашиваете?

- Замешано верховное германское командование?

- Возможно. В общем, дело замяли, признали, что соучастники действовали по бескорыстным политическим мотивам и заслуживают оправдания.

- Вот и говорите после этого, что деньги - не квинтэссенция политики!

- Именно потому я и удивлен, что вы держите деньги мертвым капиталом. Скрепя сердце, новая Германия, мы, нацисты, берем деньги у Америки. Кто знает, не настанет ли пора, когда мы схватимся с заокеанскими акулами... Но сейчас деньги приходится брать - вы, например, ведь не даете? Приходится использовать Америку для своих целей.

- Все воображают, что кого-то использовали. Америка рассчитывает стравить Германию с Россией и обескровить обе стороны. Англия и Франция давным-давно заключили L'accord Franco-Anglais относительно разделения зон влияния после захвата России: Англия получает кавказскую нефть и Прибалтику, Франция - Донбасс и Крым...

- Донбасс? Как бы не так! - взметнулся фон дер Рооп и даже перестал жевать. - Любят они, чтобы чужие дяди доставали им каштаны из огня! Посмотрим, как они заговорят, когда германские войска хлынут на русские равнины! Тогда и разберемся, где чья зона!

- Я слышал, опять решили отложить начало войны?

- Будто бы французы еще не готовы. Вранье! Сэр Детердинг категорически заявил, что война начнется летом тридцатого года.

- И конечно, это будет уже не бескровное вторжение? - усмехнулся Рябинин, вспомнив о романе Бобровникова.

- О нет! Крови будет много, - оживленно возразил фон дер Рооп. Сейчас как раз и стоит на повестке задача о механизации убийства. В старину, чтобы казнить одного, воздвигали помост, наряжали палача в красную рубаху, пригоняли на площадь войска, выстраивали караул, приказывали барабанщикам отбивать дробь - и тогда только отрубали одну-единственную голову. Теперь будет не так. Совсем не так! О-о!

Рябинину показалось странным необыкновенное оживление фон дер Роопа. Он посмотрел внимательнее и понял: фон дер Рооп был пьян.

3

В конце 1929 года все было наконец утрясено, согласовано, вот-вот должны были все капиталистические страны обрушиться на Советский Союз, оставалось утрясти кой-какие разногласия.

- Освобождение России может произойти гораздо скорее, чем мы все думаем! - вещали заправилы политической жизни.

Дивизии были укомплектованы, дула орудий наведены...

И вдруг из-за океана прилетели потрясающие сообщения, которым никто не хотел верить: там, на Уолл-стрит, на Нью-Йоркской бирже, голубые экраны взбесились, выскакивающие на них значки и цифры вышли из повиновения, все рушилось, все падало, разлеталось на куски. Лопались банки, разорившиеся фабриканты пускали пулю в лоб или выпрыгивали из окна, выбирая повыше небоскребы.

Рябинин только что прочитал в "Нью-Йорк таймс" заявление президента "Нейшнл сити бэнк", что положение в США является фундаментально прочным, и, представив при этом самодовольную жирную физиономию банкира, подумал с раздражением: "Вам-то что! Вы и в ус не дуете!" И вдруг - все полетело вверх тормашками!

Рябинин внимательно следил за газетами. Недурно бы сейчас взглянуть на главный зал биржи сверху, с галерки, куда пускают широкую публику. Любопытное зрелище - поглазеть на ошалелых, вытаращивших глаза, что-то выкрикивающих, мечущихся около стоек, топчущих обрывки бумаг биржевых игроков, на выносимые оттуда трупы разорившихся самоубийц.

Продано в один день тринадцать миллионов акций!

Продано в один день шестнадцать миллионов акций!

Застрелился Кребс! Знаменитый Сидней Кребс! Покончил с собой Ричард Рамсэй!..

Кукурузу зарывают в землю! Кофе пускают на растопку печей! Транспорты рыбы выбрасывают обратно в море!

- Это все, - мрачно говорил Рябинин, откладывая газету. - Мир сошел с ума.

Кабинет Гувера - правительство миллионеров, как его именовали, совещался. Давно ли Гувер провозглашал "вечное просперити"? Где оно, вечное просперити? Кризис перекинулся и в другие страны. Сам Бенито Муссолини вопит. Американский биржевой крах он расценивает как взрыв бомбы.

- Мы поражены не меньше, - вещал он, - чем был поражен весь мир смертью Наполеона.

Прочитав эту фразу, Рябинин спросил:

- При чем тут Наполеон?

Гораздо более встревожили Рябинина мрачные прогнозы директора английского банка Монтегю Нормана: в этом банке лежали деньги Рябинина. Но в конце концов все эти бури его мало касаются. Море бушует, а его шхуна прочно сидит на мели.

Когда к Рябинину в дом ворвался растрепанный, полупомешанный, с мутными глазами все тот же фон дер Рооп, Рябинин не только не пригласил его к ужину, но еле поздоровался и не предложил сесть.

- Я вас слушаю.

Фон дер Рооп без всякого приглашения упал в кресло:

- Я погиб. Я разорен.

- Вот как? И вы были настолько любезны, что пришли сообщить мне об этом?

Фон дер Роопа не образумили ни ледяной тон, ни жестокие реплики. Он был невменяем.

- Господин Рябинин! Мне не к кому больше обратиться... Спасите меня! Под любые проценты!.. Я из осторожности, не зная, что ждет еще Германию, вложил капиталы в одно итальянское предприятие. Оно лопнуло. Но есть еще шанс сохранить его... Господин Рябинин!..

- Я не совсем понимаю, при чем тут я. Даже если бы мы были родственниками. Но мы и не родственники, насколько я знаю.

Наконец до сознания фон дер Роопа дошли слова Рябинина. Он бы разразился упреками, проклятиями, но у него не было сил и на это. Он встал, повернулся и, пошатываясь, побрел к двери.

- Больше этого господина не впускать. Надеюсь, вы его запомнили?

Только сейчас понял Рябинин, как ненавидит этого человека.

Когда закрылась дверь за этим прогоревшим коммерсантом, Рябинин сначала

радовался, самодовольно посмеивался, припоминал подробности разговора, а главное, свои реплики. Они казались Рябинину верхом остроумия. Рябинин уж так-то был доволен, что отбрил этого "фона"! Вот бы рассказать кому-нибудь, как все это произошло! Вот бы посмеялись!

Рассказывать, оказалось, некому. У Рябинина не водилось друзей. А теперь даже собственные сыновья - и те нос задрали. Вот и верь после этого, что яблоко от яблони недалеко откатывается!

Настроение Рябинина резко упало. Особенно было ему досадно, что не на ком сорвать злость, некому ни пожаловаться, ни поплакаться.

"Поплакаться?! - все больше распалялся Рябинин. - Ну нет, этого они от меня не дождутся!"

"Они" - это, конечно, сыновья с их чертовой Ecole normale, в которой они пропадают.

И Рябинин, расхаживая по пустынным залам своей огромной квартиры, придумывал самые изощренные козни и каверзы, какими он отомстит неблагодарным детям.

О дальнейших поступках Рябинина было немало пересудов. Многие были даже склонны объяснять все это или старческим слабоумием миллионера или состоянием аффекта.

В самом деле, ну к чему было покупать какой-то там остров, затерявшийся в водах Тихого океана?

Конечно, экстравагантных выходок архимиллионеров и без того предостаточно. Все бульварные газеты переполнены описанием то безумной роскоши пиршеств известных магнатов, то перечислением самых невероятных причуд. Чего стоят одни модные мастерские, салоны, парикмахерские, специально обслуживающие болонок и фокстерьеров богачей! А баснословные цены конюшен и прогулочных яхт?

Очевидно было одно: Рябинин во что бы то ни стало хотел растратить свои миллионы, ничего не оставив в наследство сыновьям.

Сначала выходки Рябинина доставляли богатый материал журналистской братии. Но затем и они сбились с толку.

Ходили слухи, что Рябинин на необитаемом острове строит православный храм, точную копию московского храма спасителя. Ходили слухи, что в этом пустом храме непрерывно будет идти богослужение, а колокол, которого никто, кроме акул, не сможет услышать, непрерывно будет звонить.

Почтительный и одновременно наглый поверенный в делах Рябинина сказал:

- Вот, как говорится, и сон в руку: то вы пустили слух, что уезжаете на Алеутские острова, чтобы не одолевали визитеры, а теперь, видимо, всерьез решили проветриться?

- Теперь всерьез. Потянуло на экзотику. Хочу, чтобы тропики, обезьяны, апельсины всякие. Это в нашем русском характере есть: грешим-грешим, а потом в монастырь ударимся да в схимники. Вот если бы кто воевать с Германией стал, составил бы я дарственную на энную сумму, чтобы на нее изготовили парочку снарядов и пустили их в некоего фон дер Роопа. Прямой наводкой. В лоб. Ладно, пустое это. Выхожу из игры. А снарядов и без меня наделают.

Но Рябинин не выходил из игры. Известно, что он оставил миллион "тому, кто когда-нибудь ворвется в красную Москву во главе войска". Оставил и сказал с досадой:

- Пропал миллион. До сих пор не сумели, так уж, видать, и дальше не получится.

Еще вложил крупную сумму в издательское дело - для расходов на выпуск пасквильных сочинений, унылых и непригодных для чтения, но предназначенных, как уверял Рябинин, "для изничтожения всех коммунистов на земле"...

Затем, считая, что все выполнил, и сам Рябинин исчез. Сыновья пробовали его разыскивать, но безуспешно.

4

В эти дни последнюю ставку делал и Гарри Петерсон.

Все началось как будто с пустяка - с нервного расстройства. Доктора уверяли, что

ничего особенного, просто переутомление. И все, кто знал Гарри, говорили, что он отлично выглядит, что у него прекрасный цвет лица.

"Может быть, цвет лица и прекрасный, - думал Гарри, - но самочувствие препакостное и хандра".

Стал принимать какие-то патентованные пилюли. Взял за правило прогуливаться. Вскоре выкинул за окно пилюли и прекратил прогулки.

"Хандра у меня от бездеятельности. Сколько средств, сколько изобретений - и какие плачевные результаты!"

Служащие "оффиса" жаловались, что с шефом стало трудно работать. Он стал придирчив, раздражителен, а главное - никому не доверял и всех в чем-то подозревал.

- Вы говорите, что сами лично побывали в Москве? А как вы переходили границу? - придирался он. - А почему вы не повидали дядю Коку? Ах, арестован? А от кого вы узнали, что он арестован?

Ночами ему было особенно тошно. Гарри лежал с открытыми глазами и вглядывался в темноту. В последнее время он стал плохо спать. Не помогали никакие снотворные. Он стал избегать спиртных напитков, зато пристрастился к кокаину. Однако это увлечение его пугало. Ведь так можно сойти с ума.

Сколько он уже лежит не засыпая? Час? Два часа? Или несколько минут? Чего проще - зажечь свет и посмотреть на часы. Но у него появился странный разлад с самим собой. Примет решение - и медлит. Изменит намерение, а потом все же поступит так, как думал раньше. И еще - выработалась привычка некоторые слова произносить вслух и как бы разговаривать с самим собой.

Вот и сейчас Гарри Петерсон вслух произнес:

- Все дрянь. Все.

Произнес и засмеялся. Но тут же ему стало не по себе, ему не понравился свой смех, ему показался страшным свой смех. Однако он не удержался и снова произнес внятно, с упрямой настойчивостью:

- Я сказал, все дрянь. Кто дрянь? Люди.

Гарри Петерсон стал размышлять о своей жизни. Да, надо признаться, жизнь не удалась. Кто виноват? Во всем виновата одна Люси. Да, и она, и все остальные.

Гарри Петерсон поймал себя на осторожной юркой мыслишке: а что, если эту самую Люси... Почему бы нет? Даже нанимать не надо, это охотно выполнит любой из его агентов? Чик - и готово. Вот ведь могу я поступать так, как хочу. Хотелось мне опять произнести вслух "чик - и готово", однако я не разрешил себе произносить вслух "чик - и готово" - и не произнес!

Гарри Петерсон подробно рисует перед собой всю эту картину: вот он посылает своего агента, агент знакомится с Люси, проникает в ее дом, втирается в доверие, затем находит удобный случай, чтобы подсыпать ей в бокал вина этакое - ха-ха! - сильнодействующее снотворное... от которого не просыпаются...

А собственно, зачем? Пусть себе живет! Если честно сказать (а он может сам себе честно, совсем честно, начистоту сказать) - дело вовсе не в Люси. Да и нужна ли ему Люси? Что ему, женщин не хватает?! Не выдумал ли он всю эту мерихлюндию: любовь, брак, старинный княжеский род, родовое имение?.. На черта ему нужна Люси, пропади она пропадом вместе со своей стервой, молодящейся ведьмой-мамашей!

Гарри Петерсон все больше распаляется, наливается ненавистью, злобой и некоторое время выискивает самые отвратительные ругательства, самые гнусные выражения, самые оскорбительные эпитеты по адресу своей бывшей жены. И не сразу замечает, что всю эту грязную ругань опять-таки произносит вслух, даже выкрикивает ее, даже визжит при этом.

Вспышка утомила. Некоторое время Гарри лежит неподвижно, в полузабытьи.

"Не думать. Не думать. Спать!" - приказывает он себе и тотчас, вместо того чтобы спать, начинает думать, думать, перебирать в памяти все подробности своей непрекращающейся ожесточенной борьбы с неким многоликим, многоголовым, все

растущим, разрастающимся, все больше набирающим силы врагом - с коммунизмом. Вот чему посвящена жизнь Гарри Петерсона. И сколько усилий, сколько планов, сколько кровавых затей!

Гарри пристально смотрит в темноту.

Вот что истрепало мне нервы! Переходы от надежды, от предчувствия полного успеха к полному отчаянию и разочарованию... Другие люди живут обыкновенной, простенькой, как дешевые обои, жизнью: женятся, заводят детей, служат, торгуют, гастролируют, изобретают... и еще - ходят в кино, в гости, путешествуют, дают чаевые, соблюдают режим в санаториях... А что он? Гарри Петерсон? Он изо дня в день встречается с наемными убийцами, шпионами, авантюристами... осторожно выведывает... дает задания... знает всю подноготную, все тайные сговоры и интриги, всю засекреченную международную возню... Он знает о таких злодеяниях, о таком предательстве, что давно утратил веру в искренность и человечность, в хорошие побуждения и честные поступки. Он подозревает всех. Он принюхался к запаху крови. Он воспринимает расправу, резню, смуту, науськивание одних на других - все, что служит его затее, - какой-то сатанинской шахматной игрой.

- Скажите, а кому можно верить? - отбросив всякую осторожность и осмотрительность, снова вслух спрашивает Гарри Петерсон. И даже обращается к себе на "вы".

Хе-хе! Вчера он встречался опять с этим немцем. Они сидели в кафе, разумеется, в отдельном кабинете, и каждый из них, разумеется, позаботился, чтобы их не могли подслушать. Фон дер Рооп говорил исключительно парадоксами. Он уверял, что правда - понятие условное и у каждого своя правда, что правильность любой политической идеи вообще недоказуема и никакого значения не имеет, противоречиво ваше учение или содержит зерно истины.

- Поменьше научных обоснований! - кричал, вытаращив глаза, фон дер Рооп. - Поменьше логики! Не забывайте, что народ - дурак, накачивайте его, воздействуйте на настроение толпы, взвинтите - и толпа ринется за вами!

Гарри Петерсон слушал, невыразительно улыбался, а сам думал:

"Тебя, милый мой, интересует другое. Тебе хочется, чтобы Америка, Англия, Франция и вообще любой добрый дядя помогли тебе встать на ноги, окрепнуть, а тогда ты под соусом борьбы с коммунизмом заодно сожрешь и нас. Все ненавидят всех. Господину фон дер Роопу нравится, что я специализировался на подрыве мощи Советской России. Фон дер Рооп тоже хочет ее гибели. Он мечтает завоевать Советскую Россию, поэтому старается внести раздор, усыпить подозрительность, развалить сельское хозяйство, использовать там каждую страстишку, каждую порочную наклонность - но с какой целью? Чтобы стать самым сильным и поработить весь мир. Пой, ласточка, пой! Гарри Петерсону все эти ходы вот как известны-переизвестны. Но ради чего? Конечно уж, не для того, чтобы, черт возьми, русская нефть, русское железо, русский хлеб помогли этому пивному выскочке, этому тупоумному фон-баронишке прижать к ногтю могущественные Соединенные Штаты! Мы еще посмотрим, кто кого!"

Петерсон знал, что фон дер Рооп разорился, говорили даже, что он хотел выброситься из окна девятого этажа. Видимо, какая-то добрая душа вызволила. А жаль. Очутился бы там Гарри, он бы даже помог ему взобраться на подоконник.

5

Утром Гарри Петерсон встал поздно и в дурном настроении. Нехотя принял ванну, нехотя сел завтракать, вяло просматривал газеты.

Что такое? Не мерещится ли ему? Еще и еще раз перечитал газетную заметку лондонской "Таймс". Вот это новость! Арестован - кто бы вы думали? - Сальников! При попытке перейти советскую границу! В тюрьме он выступил с заявлением, что полностью признает вину, полностью раскаивается и готов рассказать о всех своих заграничных связях и контактах. Английская газета негодовала и решительным образом опровергала все от начала до конца. Она делала предположение, что этот авантюрист Сальников действительно пытался перейти русскую границу и был убит пограничной стражей, а теперь русские хотят

инсценировать судебный процесс, на котором будет в качестве подсудимого выступать подставной агент ГПУ и разоблачать иностранную разведку.

"Может быть, дело обстоит так, может быть, иначе, - усмехнулся Петерсон. - Одно несомненно, что Сальникову капут, а ведь я только что собирался сделать на него ставку!"

Сообщение газеты подействовало лучше, чем стакан крепкого кофе. Вялости и хандры как не бывало. Снова Гарри Петерсон готов был хитрить, интриговать, подсылать своих людей, выслушивать донесения... А так как он намеревался не впрягаться в телегу германской разведки, а проводить самостоятельную линию, то вскоре пришел к выводу, что ему необходимо лично побывать в Советской России и на месте дать указания своим агентам, успевшим там акклиматизироваться.

Ближайшие сотрудники Петерсона советовали ему поостеречься, выяснить сначала все, касающееся провала Сальникова, и тогда только переправляться через русскую границу.

- А вы уверены на все сто процентов, что Сальников не был чекистом? спросил Петерсон, ехидно усмехаясь. - В нашем положении, сэры, ни за кого нельзя ручаться и во всяком случае следует всегда быть готовыми иметь дело с двойником. Святая Мария, до сих пор наши агенты без особенного риска пробирались в Петроград, в Москву и снова возвращались к нам с добрыми материалами. Не знаю, что там случилось с этим самым Сальниковым. Убит ли он, как клянутся английские газеты, или поныне здравствует... Я не удивлюсь, если он даже не Сальников... Но я допускаю и тот вариант, что он в самом деле арестован. Но может быть, арестован по плану? По предварительной договоренности? Тут все варианты возможны!

Сотрудники Гарри Петерсона с некоторым скептицизмом слушали рассуждения своего патрона. Обычно он был не столь многословен. Что касается высказанных им положений, тут спорить не приходилось, они и сами знали, что в той дьявольской игре, в которой они участвовали, в этом политическом покере самая суть заключается в том, чтобы перехитрить, тем более что игра идет втемную.

И вот Гарри Петерсон стал собираться в дорогу. Настроение у него было приподнятое, он что-то напевал, обдумывал, как одеться, придирчиво изучал приготовленные для него подложные документы, разглядывал себя в зеркало, не слишком ли у него "заграничный" вид. Решил, что явится в страну социализма не то чтобы небритым, но небрежно побритым. За свое произношение он не беспокоился. Русские, беседуя с ним, всегда удивлялись, что он говорит без акцента и правильно ставит ударения. На всякий случай в документах значилось, что предъявитель сего - польского происхождения. И фамилию он выбрал соответствующую: Бухартовский. Вячеслав Иванович Бухартовский. Каждый мог сообразить, что "Иванович" - это переделанное на русский лад "Янович". Итак, он будет якобы обрусевший поляк. Родители жили в Привислянском крае, погибли в 1915 году. Семейное положение - холост. И тут Петерсон с мимолетным раздражением подумал, что эта-то рубрика вполне соответствует действительному положению, поскольку жена сбежала. Род занятий? В советских документах есть расплывчатое обозначение "служащий", что означает приблизительно, что ты хотя и не рабочий (это было бы почетно!), но и не какой-нибудь окаянный нэпман и буржуй. Так вот Петерсон и будет по документам "служащий". А если понадобятся подробности, он может рассказать, что перебивается случайными заработками и ищет работенку по вкусу.

Наконец все было готово к отъезду. Гарри Петерсон отдал последние распоряжения, сел в машину и через минуту был уже далеко.

Машина мягко взяла поворот, вымахнула на шоссе и набрала бешеную скорость. Гарри любил быструю езду. Он даже не оглянулся на сотрудников, высыпавших на крыльцо, чтобы помахать платочком и проявить преданность. Он уже мысленно был там, в чужой стране, в дела которой так бесцеремонно вмешивался.

Он перебрал в памяти пароли и условные знаки, которые должны были открыть ему двери и сердца его приверженцев. Все в порядке. Память у него превосходная. Русский язык знает безукоризненно. Да и что говорить, ведь он - старый воробей, о котором русская

пословица говорит, что его на мякине не проведешь...

"Гм, а что такое, собственно, означает русское слово "мякина"? - стал экзаменовать себя Гарри. - Это отходы при молотьбе, скот ест ее неохотно, разве что только в подболтке, с добавкой отрубей и соли... Знаю! Все знаю!"

Однако он чувствовал, что неясно представляет себе многое. Даже улицы Питера, улицы Москвы... Невский проспект, например. Сколько разглядывал его на гравюрах и фотографиях, а все-таки... Или этот, как его... Охотный ряд...

За благополучный переход через границу Гарри не волновался. Он никогда не пользовался чужими средствами, у него были свои, испытанные люди, которых он держал на окладе, хотя они еще больше зарабатывали на контрабанде - это уже приватно, по их собственной инициативе. С ними переход через границу - обыкновенная загородная прогулка. Они сотни раз уже побывали по ту сторону и снова возвращались на эту.

Конечно, сейчас стало труднее. В 1918 году, кто хотел эмигрировать из России, запросто приезжал в пограничный город Белоостров под Петроградом и там прямиком по мостику через реку Сестру уходил в Финляндию и следовал далее, до Брюсселя, Парижа - куда угодно, это требовало только хороших денег. Когда была создана знаменитая ЧК, стало, конечно, опаснее работать, Петерсон почувствовал это сразу. В конце двадцатого года в ЧК был создан Особый отдел по охране границ. Петерсон помнит, что именно тогда у него нарвались на границе два сотрудника. Сами виноваты: привыкли открыто разгуливать, не принимая мер предосторожности. С 1922 года ЧК упразднена. При Народном Комиссариате Внутренних Дел создано Государственное Политическое Управление, ему и поручена в числе других обязанностей охрана границ и борьба со шпионажем. Что ж, ГПУ так ГПУ. Не нами придумано, не нам перестраивать заведенный порядок: в каждом государстве ловят шпионов, а шпионы не переводятся, шпионаж все растет, кадры шпионов обучают в специальных заведениях, изобретатели ломают голову над новейшими видами фотоаппаратов, тайнописи, микрофонов, сигнализации, придумывают сложнейшие коды, используют все достижения техники... Так уж устроен этот лучший из миров. Тут ничего не поделаешь.

Гарри Петерсон улыбается. Его вполне удовлетворяет такое устройство лучшего из миров.

6

Гарри Петерсон улыбается. С этой горделивой улыбкой на стандартном невыразительном лице Гарри Петерсон - после нескольких пересадок и смены автомобиля на экспресс, экспресса на морское судно - добирается наконец до Гельсингфорса и из Гельсингфорса до порта Териоки. Какая удача: все на местах. Гарри Петерсона просят только набраться терпения - нужно собрать кое-какие сведения, навести кое-какие справки, и тогда можно отправляться в путь.

"Святая Мария, - удивляется Гарри Петерсон, - кажется, я волнуюсь? Не потому что опасно. Ведь существует же поговорка, что умереть сегодня страшно, а когда-нибудь - ничего. Если я и боюсь, то только за успех дела".

Он волновался, конечно, но и виду не подавал. Он встретился в Териоках с представителями антисоветской организации. Это были чрезвычайно образованные, чрезвычайно любезные люди, и главный из них производил особенно сильное впечатление: был толст, солиден, авторитетен, говорил на нескольких языках, и на каждом одно и то же: что гибель советского строя неминуема и что "у них", то есть у этой организации, "все готово и даже намечены точные сроки".

Выяснилось, что этот толстяк присоединится к Гарри. Ему тоже необходимо пробраться в Советскую Россию, он везет деньги, инструкции, явки, планы...

- Запомните, мистер Петерсон, этот день, - говорил он, грассируя и лениво цедя слова сквозь зубы, - этот день будет памятной датой: с этого дня начинается новая Россия!

"Судя по его массивному животу, - определил Гарри Петерсон, - он из кадетской партии".

На следующий день они были доставлены к самой границе, их сопровождала специальная финская охрана, любезно предоставленная маннергеймовским правительством. До наступления темноты они укрылись в пакгаузе на берегу пограничной реки. Затем специалисты по переходу границы - угрюмые, неразговорчивые люди - переглянулись, что-то пробормотали понятное только им - и скрылись в темноте.

- Проверяют, нет ли поблизости красного патруля, - пояснил Гарри толстяку, предсказывавшему рождение новой России. - Они тут, как у себя дома, знают каждый куст.

Ждали долго. Но вот угрюмые проводники вернулись, старший махнул рукой, приказывая следовать за ним. Гарри жестом показал на губы: "Ни звука, соблюдать полную тишину".

Старший проводник спустился к воде и стал вброд переходить реку. За ним последовали остальные. Ступали осторожно. Толстяк пыхтел и отдувался. Гарри Петерсон опасливо думал, что в результате такого путешествия заработаешь, чего доброго, ревматизм.

Но вот и противоположный берег. Кажется, все.

Проводник молча шагает к кустарнику. Нет, не все. Оказывается, предстоит еще продираться по болотистой местности, раздвигая мокрые ветки.

Было так темно, что трудно было определить, где кончаются кусты, где начинается небо. Гарри Петерсон в абсолютной темноте шагнул, зацепился за корягу и выругался на чистейшем английском языке - когда спотыкаются, то не пользуются чужим наречием.

Именно в этот момент Гарри услышал окрик, но уже на русском языке...

7

Иван Терентьевич Белоусов сам попросился в пограничные войска сразу же после трагической кончины Котовского.

- Была бы сейчас война, пошел бы на фронт - уж очень руки чешутся за Григория Ивановича отплатить, - объяснял он свое желание. - Ну хоть на границе подстрелю какого-нибудь гада, все легче на душе станет.

- Так сразу и подстрелишь?

- А что? Свинье одна честь - полено.

- У пограничника задача - захватить, не выпустить да спросить, зачем пожаловал.

- Знаю. Но уж если он попытается скрыться, неужели пули на него пожалеешь?

Службу Иван Терентьевич Белоусов нес исправно, всегда был на лучшем счету. Что всех удивляло - рвался на дежурство, хоть в очередь, хоть не в очередь, позволь ему - так он, кажется, не сменялся бы, вовсе бы не уходил с поста.

Командир погранотряда вот как понимал его, но ведь нельзя забывать, что у чекиста, как говорил товарищ Дзержинский, должны быть горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Так будем сохранять хладнокровие! Спокойно!

Командир неоднократно заводил разговор на эту тему. Главное, что и осуждать Белоусова не за что. Ведь Котовский-то был для него отцом, вырастил его, выпестовал, человеком сделал. Как же ему быть спокойным?

- Я, товарищ Белоусов, тоже большой счет могу предъявить врагу, - со сдерживаемой горечью говорил командир. - Да у кого из нас нет такого счета? У кого не осталось шрамов, незаживающих ран?

Белоусов смотрел на преждевременную седину командира, на глубокие складки, которые залегли у его губ. Да, вероятно, многое пережил этот мужественный человек на своем веку.

- А Григорий Иванович Котовский, - продолжал командир, - разве он только ваша утрата, товарищ Белоусов? Нет у нас человека, который бы простил это преступление, который бы искренне не любил Котовского. И можно ли, не помня об этом, ходить по земле, где на каждом шагу - именно на каждом! - на любой лесной поляне, на любой опушке леса, на каждой улице города, в каждом селе - всюду свистели пули, всюду лилась кровь, всюду дымились пожарища, всюду шел бой и неизменно находились защитники, которые отбивали натиск врага?! Сколько жертв! Сколько славных дел! Нет! Никогда мы не простим! Никогда

не забудем!

- Вот и я не прощаю, - горячо согласился Белоусов.

- Да, но спокойно, спокойно. Вот что главное.

- За это ручаюсь: не дрогнет рука.

Любил Белоусова командир, любил его душевность. На самые трудные участки посылал. Впрочем, где у пограничников не трудные участки? У них все участки трудные.

И вот пришла удача Белоусову за его долготерпение и настойчивость. Именно в час его дежурства он и его четвероногий товарищ - награжденный медалями, заслуженный, незаменимый пес Руслан - услышали шорох. Другой бы на их месте ничего не услышал, но у пограничника, как сказали бы музыканты, абсолютный слух. Белоусов услышал не только шорох, но и хруст... а вот ветка обломилась... а вот после длинной паузы еще долетел какой-то звук - не то шепот, не то звякнуло что-то, не то хлюпнула вода...

Белоусов и Руслан переглянулись. Руслан как бы спрашивал: "Тебе все ясно?" Оба понимали, что теперь нужно быть готовым, вот так вот готовым, каждым мускулом, каждой клеточкой мозга: ведь в таком серьезном деле все решают секунды.

Для обыкновенного человека темнота - это значит ничего не видно. Для пограничника темнота состоит из многих оттенков. Например, если сам пограничник находится в кустарнике, то открытое место у реки или лесная поляна кажутся ему достаточно освещенными, чтобы различить, один там нарушитель или их несколько.

Больше медлить нельзя.

- Стой! Стрелять буду! - раздаются стереотипные слова, которые, однако, безобидно звучат только в спектакле.

Когда дана такая команда в пограничной зоне, шутки плохи, а на размышление дается всего несколько секунд.

Нарушители не подняли руки, вместо того они бросились бежать. Гарри Петерсон проявил при этом необычайную прыть и чертовскую натренированность. Он ловко перепрыгнул через муравейник, шарахнулся в сторону, чтобы не наскочить на осину, если только это была осина - разве разберешь в темноте. Выстрела он не слышал. Он только успел подумать, где же у него документ на имя Бухартовского, да, да, во внутреннем кармане пиджака, это он отлично помнит, его надо сразу же предъявить... И еще он, кажется, подумал о Люси... и еще о том, что в следующий раз не полезет на рожон сам, а пошлет наемного агента... Зачем рисковать собой?

Но Гарри Петерсону уже не предстояло никого засылать в чужую страну и вообще соваться в дела, которые его абсолютно не касались. Гарри Петерсон лежал на мокром мху возле конусообразного муравейника. Пуля попала в голову. Одна рука Петерсона неловко подвернулась под рухнувшее тело, другая беспомощно повисла над лужицей лесной воды. А ноги все еще делали слабые движения, видимо, Петерсону все еще представлялось, что он бежит, бежит во весь дух и непременно успеет скрыться.

На выстрел Белоусова спешили пограничники. Заслуженный, награжденный медалями, сильный, широкогрудый Руслан трепал толстяка, мечтавшего о свержении Советской власти, и цепко держал его за шиворот, как и полагается умному сторожевому псу.

Д В А Д Ц А Т А Я Г Л А В А

1

В приемной Вячеслава Рудольфовича Менжинского сидел необычного вида человек. На вопрос секретаря о цели прихода он кратко ответил:

- Пришел по долгу советского гражданина.

- Как о вас доложить?

Посетитель огляделся вокруг, как будто и здесь, в приемной председателя ОГПУ, опасался чужих ушей.

- Профессор Кирпичев, - вполголоса сказал он. - Зиновий Лукьянович. Из Харькова.

Менжинский сам вышел из кабинета, поздоровался с ним и увел к себе. Проницательные глаза наркома раза два скользнули по профессору. Кажется, предстоит

услышать нечто стоящее внимания.

Менжинский усадил профессора в удобное кресло, предложил папиросы.

Кирпичев хотел было отказаться, но потом порывистым движением схватил папиросу. Вячеслав Рудольфович поднес ему зажигалку, сам тоже закурил, и некоторое время оба сосредоточенно молча курили, один собираясь с мыслями, другой готовясь выслушать все: в этом кабинете не существовало невероятного, здесь часто приоткрывались завесы над самыми непроницаемыми тайнами, разгадывались самые замысловатые ходы.

Заметив, что Кирпичев ждет вопроса, поощрения или разрешения говорить, Менжинский предложил:

- Пожалуйста, Зиновий Лукьянович. Я вас слушаю.

Кирпичев погасил папиросу, положил ее в пепельницу.

- Заранее хочу предупредить: не умею быть кратким. Вы располагаете временем?

- Об этом не беспокойтесь!

Кирпичев пристально посмотрел из-под своих седых косматых бровей и понял, что этот человек, сидящий перед ним, вероятно, не спал уже несколько ночей подряд.

- Я понимаю, у вас работа не из легких, но если я начну спешить, комкать, то и вы ничего не поймете, и я окончательно собьюсь. Возраст, знаете ли. Конечно, я не Фонтенель, который ухитрился прожить ровно сто лет, и не Тициан, который протянул до девяноста девяти, и не автор "Общей риторики" Кошанский - тот тоже отмахал сто лет без одного дня. Но и мне, с вашего позволения, далеко перевалило за возраст, о котором говорят "пора и честь знать".

- Ну-ну, не напрашивайтесь на комплимент. Если вы не убоялись такой прогулки, как Харьков - Москва, и послушны долгу гражданина, значит, еще молода у вас душа.

- Душа - да. Она у меня такова post nominum memoriam... А, черт! Сорвалось! Проще говоря, с незапамятных времен.

- Что сорвалось?

- Латинская поговорка. Когда ехал сюда, давал себе торжественную клятву - ни одной латинской пословицы в разговорную речь не совать.

- Это почему же?

- Старит, делает смешным. А дело-то... не до смеха.

- У пословиц есть и преимущество, Зиновий Лукьянович, non multa, sed multum*.

---

* Non multa, sed multum - немного (слов), но многое (лат.).

Странное дело, как только Менжинский ответил на латинскую поговорку латинским изречением, Кирпичев почувствовал себя проще, язык у него развязался, и он стал говорить свободно и легко.

Он рассказал, как познакомился с Михаилом Васильевичем Фрунзе и всем его семейством.

- Вы, Вячеслав Рудольфович, знавали его? Ну конечно! Неуместный вопрос!.. Я всем старческим сердцем полюбил его, а еще того больше - часто бывавшего у него Григория Ивановича Котовского, этого я считал как родного...

Кирпичев помолчал, силясь побороть внутреннее волнение.

- Товарищ Менжинский! Вы верите в святые чувства долга, чести, дружеских обязательств, то есть обязательств, накладываемых дружбой? Нет в живых Фрунзе, нет Котовского. Но Кирпичев был и останется их верным другом. Так каково мне было видеть, что убийца Котовского преспокойно разгуливает по улицам Харькова на свободе и даже не всегда этак, знаете ли, в трезвом виде?

Лицо Менжинского из просто вежливого и участливого стало заостренно-внимательным.

- Убийца Котовского по суду получил десять дет и отбывал наказание в Одесской тюрьме, - сказал он.

- Откуда по чьему-то указанию переведен в Харьков. Какая-то бабушка ему ворожила.

А в Харькове нашли возможным вскоре и совсем его выпустить. Если можно так выразиться, спрятали в тень. Он работает сейчас на вокзале сцепщиком вагонов. Удовольствие, знаете ли, ехать в вагоне, который прицепил к составу убийца Котовского!

- Понятно, - сказал Менжинский, делая запись в блокноте.

- А почему он получил десять лет, позвольте вам задать вопрос? Почему не пристрелили его, как бешеную собаку?

- Видите ли...

- Я отвечу сам. Ему дали вместо высшей меры десять лет, потому что судья изобразил убийство как уголовное. Между тем оно политическое! Это и Фрунзе говорил!

- Понятно, - повторил Менжинский. Ему нравилась запальчивость профессора.

- Но это еще не все, что я хочу рассказать. То, что я сейчас вам открою, - видимо, первый случай в истории человечества, когда отец доносит на преступные действия родного сына.

2

Много трагедий разыгралось перед глазами Менжинского за годы работы чекистом, и когда он был заместителем Дзержинского, и когда после его смерти возглавил ОГПУ. Не раз он видел припертого к стене неопровержимыми фактами лютого врага, когда кипела в змеином вражьем сердце бессильная ярость и туманила взгляд смертельная тоска. Не раз случалось распутывать сложнейшие узлы, созерцать предельное человеческое падение, низость, продажность. Не раз приходилось наблюдать, как преступник извивается ужом, лжет, недоговаривает, а потом, махнув на все рукой, выкладывает все карты на стол, называет сообщников, зарубежных хозяев, выдает явки, пароли лишь бы сохранить свою подленькую жизнь.

А сейчас перед Менжинским раскрывалась большая драма. И Менжинскому становилось понятно, почему профессор Кирпичев не обратился в местные органы политуправления: он изверился, он уже не доверял у себя в Харькове никому, после того как увидел убийцу Котовского на свободе, а своего сына участником какого-то заговора.

- Значит, у вас есть сын, - помог Менжинский, так как Кирпичев опять замолчал, видимо переживая свое горе, видимо захлебнувшись своими страшными по сути словами. - Взрослый? Я говорю: взрослый у вас сын?

- Врангелевский офицер. Вернулся - молчком, и я не лез с расспросами. У каждого, знаете ли, свое. Вернулся - и слава богу. Документы в порядке, не то чтобы скрывался как-нибудь. Ну, думаю, или взяли в плен и отпустили на все четыре стороны, или сам не захотел забираться в чужие края. Словом, кто старое помянет, тому глаз вон. Мы с ним никогда и не поминали и этой темы не касались. Поступил он на службу - старшим счетоводом. Ну, думаю, и то хлеб, счетоводом так счетоводом, не о такой его карьере, конечно, я мечтал, да ведь что делать-то. Так уж получилось.

- Отношения у вас отдаленные? О чем-нибудь вы все-таки разговариваете? Как он дальше планировал свою жизнь?

- Меня называет "папахен", считает, что я выжил из ума. Начнешь с ним по-серьезному разговаривать, а он давай всякую белиберду молоть: тирли-мирли... трум-бум-бум... - дескать, о чем с тобой, старым ослом, толковать? А не то скажет: "Вот что, пупсик! Воспитывать меня надо было раньше, этак четверть века назад. Сейчас мне, мил человек, тридцать с гаком, сам как-нибудь о себе подумаю".

- Нехорошо. Это он в армии огрубел?

- У него такая точка зрения: родители - это бросовый хлам, самое подходящее место для них - на кладбище, совесть, справедливость, свобода и так далее и так далее - это все пугала, чтобы народ в страхе держать, это все боженьки, на которые лоб крестят. "А что же есть?" - спрашиваю. "Есть я, говорит, мой живот, который требует пищи, мой мозг, который должен смекать..."

- Нахватался! Импорт, сплошь импорт! Сначала я так понял, что у вас чисто семейные разногласия. Оказывается, дело обстоит значительно хуже. Но пока - я вижу одни слова.

- За словами следуют и дела. Если бы он не презирал меня да не был уверен, что я из чисто животной привязанности к своему детищу не пикну, он был бы осторожнее. А то придут к нему какие-то темные личности, покажут глазами на меня, а он только бросит: "Папахен". Те сразу и успокоятся одного, мол, поля ягода, sapienti sat. Правда, после того уйдут в комнату сына и двери закроют. Но оружие-то я видел, как они в университетский подвал возили. Расчет у них тот, что кому придет в голову университет подозревать? А у меня квартира, видите ли, при университете. И еще кое-что видел. Дома-то боялся писать, а уже здесь, в Москве, на вокзале притулился в почтовом отделении, будто телеграмму составляю, и вкратце набросал.

- Хорошо. Спасибо. Я ознакомлюсь.

- Я, знаете ли, интеллигент старой формации, у меня все сложно получается. Думал, думал, прикидывал и так и сяк и решил, что молчать не могу. Кто знает, может быть, потому и убийца Котовского на свободе, что там эта шайка орудует? Может быть, все это связано одно с другим?

- Понимаю, как вам было трудно. Поступили вы правильно, честно. Только вот... не лучше ли вам повременить с возвращением домой? Все никуда не ездили и вдруг катнули в Москву! А? Они не будут ничего уточнять, малейшее подозрение - и вам будет худо. Как вы думаете?

- Я уехал, никого не извещая. Сказал только соседке, что еду лечиться, подозреваю рак.

- Ну так это же блестяще! Умница! Вот мы и положим вас в больницу на исследование.

- Стоит ли труса праздновать? Я ведь не из робкого десятка. Вы не смотрите, что выгляжу рамоли. Я спортом занимаюсь. Не боюсь я их. Ей-богу, не боюсь.

- Видите ли, народная мудрость гласит, что богу молись, а к берегу гребись. Да и для нас, Зиновий Лукьянович, удобнее, если мы будем знать, что вы в безопасности.

- Если для пользы дела, я готов. Но вы прикиньте-ка: не встревожит ли эту публику длительный мой отъезд? Не поспешат ли они попрятать концы в воду?

- Конечно, можно послать вашему сыну письмо главного врача... Нет! Вот что я скажу. Поезжайте и везите с собой справку из больницы - это мы приготовим, - справку, что вы нуждаетесь в операции. Приедете, покажете, посоветуетесь: боюсь, мол, под ножом умереть, не знаю, как и поступить...

- Сын скажет: "Надо быть дураком, чтобы что-то еще думать! Раз врачи говорят, значит, ложись". Да. Звучит убедительно. Еду.

Они еще долго беседовали. Менжинский вызвал двух своих помощников. Уточняли адреса, имена. Внимательно разобрали заявление, составленное Кирпичевым. Тем временем принесли и справку из больницы - на больничном бланке, все как полагается.

- Переночевать есть где?

Оказывается, у Кирпичева в Москве родня. Кирпичев сообщил и адрес.

- Совсем хорошо. От родни надо взять записочку для сына. Не забудете?

Когда все было переговорено и стали прощаться, Кирпичев почувствовал, что невероятно устал, совсем выдохся.

- Вы, поди, ничего еще не ели? - всполошились чекисты. - Идемте к нам в столовую! И мы тоже хороши, не спросим, не догадаемся...

- Как у вас с деньгами? - заботливо справился Менжинский. - Ведь вы собрались так внезапно...

- Во-первых, деньги у меня есть, - ответил Кирпичев. - Во-вторых, если бы и не было ни копейки, ни за что бы у вас не взял. Что вы хотите? Интеллигент! Со всеми свойственными предрассудками! Гражданское мужество и денежное вознаграждение - нет, никак это несовместимо.

- Ладно, ладно! Вас не переупрямишь. Но руку пожать уж разрешите. Мы обязательно еще увидимся, дорогой товарищ Кирпичев.

Был уже вечер, когда Зиновий Лукьянович вышел из большого здания на Лубянке, бывшего страхового общества "Россия". Был август. Августовский звездопад. На московских

улицах было людно. На московских бульварах слышался женский смех, чье-то пение, говор, постукивание каблучков. Ярко светились рекламы кино, витрины магазинов.

3

На вокзале Харьков-Пассажирский суета. На путях - нет счета рельсовым переплетам, тупикам, стрелкам, будкам с крохотными окошечками. Куда только не отправляются поезда! Откуда только не приходят!

В залах ожидания у буфетной стойки пьют пиво и лимонад. На покрашенных желтой масляной краской скамьях женщины с грудными младенцами, узлы, крошки хлеба и корки арбуза... У билетной кассы - тесная очередь и вежливый рассудительный милиционер.

- Не присобачивайтесь сбоку, молодой человек, - просит милиционер. Всем хочется поскорей. А ты, тетка, не толокшись, чего толокшиться? Командировочные? Командировочные в кассе номер два, будьте любезненьки.

Востроглазые девушки грызут семечки, складывая шелуху в карман. Хлопцы в заломленных набекрень бараньих черных шапках отпускают такие забористые шутки, что дряхлый дед слушал-слушал, плюнул и отошел.

Был август. Августовский звездопад. Синее небо томилось, ветер еле-еле шевелил листья пирамидальных тополей в привокзальном сквере. Падающие звезды чиркали по небу. Во мраке нескончаемых путей гукали маневровые паровозы, ползли взад и вперед товарные составы - то платформы, то крытые вагоны с пломбами, то вереницы промасленных цистерн.

Где-то не то на шестнадцатом, не то на девятнадцатом пути беззаботно посвистывал сцепщик вагонов с зажженным фонарем в руке. Помашет - и далеко-далеко отсчитает короткими гудками шестнадцатый или девятнадцатый путь маневровый паровоз, лязгнут тормозами вагоны, медленно поползут и стукнутся на тихом ходу об цистерны - прицепляй, сцепщик вагонов, и снова давай сигнал!

А вот на который-то путь прибыл пассажирский. Приезжих не так-то много. Не больше, не меньше, чем обычно. Среди приезжих двое ничем не примечательных людей, таких, что пройдешь мимо и не оглянешься - мало ли встречных и поперечных.

Двое приезжих почти не разговаривали. Видно, все у них уже говорено-переговорено. Прошли в буфет, что-то заказали, съели, затем выпили по кружке пива. Мало ли кто выпивает кружку пива, слоняясь по харьковскому вокзалу?

Двое приезжих посматривали на часы. Но тоже так, без особенного интереса. Почему не посмотреть на часы, если они сами лезут в глаза, пощелкивая электрическими щелчками?

- Пошли, - сказал один из приезжих.

- Да, пожалуй, - согласился второй.

Видимо, им было недалеко, потому что они не подумали занимать очередь на трамвайную или автобусную остановку. Они пошагали куда-то в темноту, вдоль рельсовых путей. Оба были неразговорчивы. Оба скрылись во мраке, который казался еще черней после яркого освещения вокзала.

В этот вечер в 18.00 по московскому времени вступил на дежурство сцепщик вагонов Зайдер. У сцепщика вагонов работа какая? Дай свисток, помаши фонарем и жди, когда подползет товарняк, лязгнут тормозные тарелки, а тогда делай прицепку и снова давай сигнал. Дело несложное, нужна только сноровка. Вообще же - ничего особенного.

Так было и на этот раз. Машинист видел, как сцепщик помахал фонарем. Отозвался на этот сигнал, повернул рычаг, и состав пополз, кряхтя и позвякивая...

Толчок. Стоп! Коротко гукнул паровоз...

Сцепщик не отвечает.

Маневровик подождал и гукнул второй раз.

Никакого ответа.

Какого лешего он там возится, этот свистун?

Слышал машинист крик или не слышал? Убей бог, он не сумел бы ответить на этот вопрос! Кажется, что-то такое слышал... А скорее всего - нет, не слышал... Какое там! Мог ли слышать, ведь в составе-то по меньшей мере до тридцати платформ!

Однако машинист понял, что какая-то неполадка. Молчит сцепщик, нет сцепщика. Что он там замешкался? Вечер августовский, темно-темно!

- Ну чего там? - крикнул в темноту машинист.

Вот, пожалуй что, в этот момент мелькнуло у него подозрение: уж не случилось ли чего?

- Сашко! - еще через некоторый промежуток времени произнес машинист.

- Чего, Иван Никанорыч? - отозвался с тендера чумазый кочегар.

- Пожалуй, надо тово... сходить бы надо. Сигнала нет... ничего нет... А? Как ты думаешь?

- Раз так, то конечно, - согласился кочегар. - Мне, что ли, пойти?

- Пожалуй, надо тово... обоим вместе. Для точности.

Труп извлекали из-под вагона в присутствии официальных лиц: дежурного по вокзалу, милиционера, представителя ГПУ.

Отмечено было, что фонарь сцепщик уронил далеко от вагона. Кроме того, и кепка сцепщика тоже была найдена метрах в десяти.

Но никому не хотелось раздувать истории. Начнется следствие, примутся строчить протоколы, вести дознание... А чего тут дознаешься? Дело ясное: раздавило колесами. Может быть, сцепщик был пьян и с пьяных глаз сунулся под колеса вагона? Или просто не рассчитал?

Акт был составлен в трех экземплярах: "Числа такого-то... Мы, нижеподписавшиеся... Труп был извлечен в мертвом состоянии. Голова целиком и полностью отделена от туловища... Что и удостоверяется..."

Подписали акт в глубоком молчании.

- Все, товарищи, - сказал уполномоченный. - Можете идти.

- М-да, - сказал машинист Иван Никанорович уже тогда, когда очутился на паровозе. - Кепка-то где лежала? А? Сашко! Выходит так, что он сбросил кепку и полез делать сцепку? Или как? Нас это, конечно, не касается, но кепка... и вообще... Наводит меня на разные мысли...

- Дело ясное, что дело темное! - согласился чумазый кочегар.

В местной газете в отделе происшествий было набрано петитом:

"Погиб при исполнении служебных обязанностей".

4

Профессор Кирпичев крепко спал после утомительной дороги, после всех переживаний да еще после обильного ужина, каким угостила его двоюродная сестра, женщина примерно его же возраста.

Он остановился у нее, объяснил, что бросил все и примчался, чтобы показаться лучшим докторам, потому что боится ракового заболевания.

Сестра посоветовала ему непременно идти к доктору медицины Лихачеву, он и ей помог и вообще славится тем, что буквально воскрешает мертвых.

- Докторов-то хватает, - проворчал Зиновий Лукьянович.

Тут на него посыпались советы, что нужно есть, чего не нужно есть, что некоторые рекомендуют чеснок, а один знакомый уверяет, что все спасение в лимонах. Она же сама стоит за алоэ.

- Алой! Алой надо выжимать! - кричала родственница Зиновия Лукьяновича. - Хочешь, уступлю два горшка алоя?

Она была глуха и поэтому сама говорила очень громко.

Профессор Кирпичев крепко спал, когда раздался звонок в дверях и встревоженная сестрица сообщила, что спрашивают его, а кто - она не расслышала. Ах да, кажется, это самое, - из больницы!

Из какой больницы?

Зиновий Лукьянович тотчас узнал одного из помощников Менжинского, хотя он и был теперь в штатском.

- Здравствуйте! Вы товарищ Кирпичев? Вы просили подать машину в десять ноль-ноль. Машина у подъезда. Прием у профессора начнется через полчаса.

- А-а! Да-да! - сообразил Кирпичев. - Видишь, Маша, какая забота о человеке! И машина, и принимают вне очереди как приезжего!

- Не забудь сказать, что у тебя ломота в пояснице!

Когда сели в машину, чекист пояснил:

- Мы боялись, что вы успеете уехать утренним поездом, а есть важное сообщение.

- Сообщение? Уже? - Кирпичеву почему-то представилось, что его сын уже арестован.

- Не то, что вы думаете.

Менжинский и в эту ночь почти не спал. Но он принял душ и был свеж, бодр и деятелен.

- С постели подняли? Не стыдно ли, какой соня! А говорите - спортом занимаетесь.

Опять тот же знакомый кабинет. И кресло, в котором, казалось, только что сидел, а ведь прошла ночь, прошла почти половина суток.

- Садитесь, пожалуйста. Папиросы.

- Кажется, вы уже предприняли некоторые шаги?

- Мы нет. Но они - предприняли.

- Кто они? Эта самая компания? Сын в том числе?

- Пока нет. К этому мы тоже присмотримся. А пока другое. Нам приходится зачастую решать крайне запутанные ребусы. Вот вчера вы возмущались, что убийцу Котовского неправильно судили, как обыкновенного уголовного преступника. Ваше возмущение вполне понятно. Но давайте разберемся во всей этой истории. Что такое Зайдер? Продажная тварь, мелкая гадина, наемный убийца. Так?

- Так!

- Если мы согласимся на том, что он наемный убийца, значит, его кто-то нанимал?

- Логично.

- Так кто же? Этот вопрос стоял перед нами. Мы обратили внимание на мягкий приговор убийце. Далее, мы выясняли, кто именно и какими каналами действует, добиваясь перевода Зайдера в Харьковскую тюрьму. После этого мы проследили, каким образом преступник вопреки букве закона остался на свободе. Надо было выявить его связи. Но Зайдер, видимо, распустил язык, в пьяном виде говорил лишнее. Кой-кому не понравилась его болтливость, да и сам наймит был им больше не нужен. И вот вчера мы получили сообщение, что Зайдер убит.

- Убит?! Значит, бог есть! Ф-фу! Даже от души отлегло!

- Да, убит. Его подсунули вечером под маневровый поезд.

- Вот оно что. Грешно, но радуюсь. Я сейчас в таком месте нахожусь, где сознаются. Так сознаюсь, я даже думал на старости лет не погнушаться и самолично пристукнуть эту гадину. Говорят, паука раздавить - сорок грехов прощается. Кто же оказался, как вы изволили выразиться, "кое-кто"?

Кирпичев сгоряча задал этот вопрос и по вежливым, непроницаемым лицам чекистов - чекистов школы самого Феликса - понял, что спросил лишнее.

- Извините, опять все та же интеллигентская закваска: подай да выложи. Зайдер убит - и, значит, с этим все. Может быть, я не прав, но на мой взгляд необходимо, чтобы такие подлые имена, как, например, эта самая Каплан, стрелявшая в кого - в самого Ленина! - или тот же Зайдер - такие имена должен знать весь народ, чтобы на веки вечные предавать их проклятиям, чтобы их имена были ругательным словом, чтобы они постоянно напоминали: беречь, беречь жизнь каждого советского человека, а тем более лучших из лучших!

- Для истории все будет записано, - с уважением выслушав профессора, заявил Менжинский, - никому не удастся ускользнуть. Но пока... некоторые факты было бы преждевременно опубликовывать. Иначе нити повели бы нас слишком далеко. Да и вообще полезно знать больше, чем это представляется врагу. Учтите: вы тоже ничего не знаете об обстоятельствах гибели Зайдера. Все это сугубо между нами. Вы вообще ни о чем не знаете,

ни о чем не догадываетесь, сына ни в чем не подозреваете - так? У нас вы не были, заняты исключительно своим лечением и делами своей двоюродной сестры так, кажется, она вам приходится?

Тут Кирпичев почувствовал, что нельзя больше злоупотреблять временем этих перегруженных работой людей. Распрощался, взволнованный, взбудораженный, но и в то же время успокоенный, вернулся к сестрице и, присоединив к справке врача тысячу добрых советов старой девы, увесистый пакет с гостинцами и нежнейшую записочку "противному мальчишке, который не хочет нас знать", отправился на вокзал к дневному поезду на Харьков.

"Сумбур! Полный сумбур!" - размышлял он дорогой.

Стал припоминать: что случилось радостное, от чего даже сердце трепещет? Две вещи: выполнил долг. Это относительно сына. И что-то еще? Ах да, убит убийца... Ничего себе радости у вас, профессор! Передали в руки правосудия сына и узнали об убийстве! Ну и что из того? Правильно радуюсь! Правильно поступил! И совесть у меня чиста. Одно грустно - что нет уже в живых Котовского, нет Фрунзе... Молодые! Полные сил! И зачем было Михаилу Васильевичу ложиться на операцию? Так все нехорошо вышло... Крепись, Кирпичев! Нельзя нос на квинту! Как говорил Котовский? Не хныкать! Вперед! Орлы!..

Уже подходя к вокзалу, Кирпичев, остановился посреди улицы и громко произнес:

- Кто сказал, что профессор Кирпичев беспартийный? Вздор! Самый настоящий партийный! Прошу учесть!

Прохожие с удивлением оглядывались. Кирпичев четко, по-военному прошагал в помещение вокзала и отчеканил кассирше:

- Один билет до Харькова! Благодарю!

Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я Г Л А В А

1

Шли недели, месяцы, казалось бы, давно все вошло в норму, а Крутояров все еще переживал дни, которые пробыл в Одессе. Крутояров снова и снова подходил к гробу Котовского, снова и снова смотрел на ослепительные одесские улицы, на лениво играющее переливами бирюзы спокойное, самоуверенное море. Крутояров видел, как ничтожество, жалкий трус, мизерный вертлявый человечек подходил к богатырю, силище, массивному, ладно скроенному Котовскому и стрелял в упор... Это Крутоярову мерещилось много раз, и он настолько воплотился в облик Котовского, настолько стал им, что явственно чувствовал: это в него, в Крутоярова (вместе с тем не Крутоярова), стреляли в упор, это он, Крутояров (но не Крутояров), падал навзничь с пробитой аортой, и кровь лилась у него изо рта... Чрезвычайно сложное ощущение раздвоенности и в то же время слитности!

Никого не касалось то, что переживал Крутояров, это был его внутренний мир, его капище, куда никому нет входа. Даже Надежде Антоновне не положено было этого знать. Это писательское, это то, что впоследствии воплотится в трепещущие страницы произведения и будет вручено людям хозяевам всего на земле.

А так, если посмотреть со стороны, Крутояров жил, как живут обычно: пил крепкий чай, добродушно выслушивал рассуждения Надежды Антоновны о том, что вредно и что полезно, охотно обсуждал ее новые стихи, беседовал с Марковым, с Оксаной, с Орешниковым, с теми писателями, которые были вхожи в его дом и которых он любил. Что еще? Бродил по ленинградским улицам, рылся в книгах у букинистов, ходил в цирк и театр, смотрел в кино "Кабинет Калигарри".

Только иногда прорывалось у него в разговоре то, что было продуктом его размышлений, осмысливания. А так как он никого не впускал в свой внутренний мир, многое, что он говорил, казалось бессвязным, неожиданным.

Опуская ломтик лимона в чай и наблюдая, как ломтик погружается на дно стакана:

- Хм... Всемирная история... М-да-а...

Надежда Антоновна выжидательно смотрит.

- Я о Гейне. "Под каждой могильной плитой лежит всемирная история". Конечно,

лежит. А зачем? Надо, чтобы она не лежала. Надо, чтобы она служила. Чтобы люди знали, как обстояло дело раньше и куда двигаться теперь.

- Так и есть, - пожимает плечами Надежда Антоновна. - Историки пишут историю, а школьники готовят уроки по истории и получают пятерки.

- Хм... да... пятерки. Историю писать должны писатели. Что они там насочиняют, эти историки? Или же историки должны быть писателями.

- А писатели историками. Тебе налить еще чаю?

Беседуя с Марковым:

- Вероятно, в будущем появятся еще удивительнее люди. Даже наверняка. Но посмотрите, что за народ у нас сейчас. Я уж не говорю о больших деятелях. Куйбышев, Киров - какие индивидуальности, какие судьбы! Помните восстание чехословацкого корпуса на Волге, спровоцированное иностранцами? Куйбышев, Тухачевский, Блюхер, Сергей Сергеевич Каменев - какие все блестящие имена! - им было поручено предотвратить смертельную опасность. Они успешно действуют. И вдруг страшная весть: покушение на Ленина. Что же делает Валерьян Владимирович? Рыдает? Заламывает руки? Нет, он и этот удар оборачивает успехом: "Освободим родину Ленина - Симбирск! Отомстим врагу за нашего вождя!" А? Гениально? Все потрясены сообщением из Москвы, все жаждут мести. И вдруг этот лозунг. Он попал в самую точку. Все ринулись в бой. По-моему, это потрясающе. Через три дня Ленину можно было отправить телеграмму: "Дорогой Владимир Ильич! Взятие вашего родного города - это ответ за вашу одну рану, а за вторую - будет Самара!"

- Да, это здорово! - отзывается Марков. - И взяли Самару, слово сдержали.

- Так происходит повсюду. Так поступает каждый, самый, казалось бы, заурядный человек, потому что нет уже заурядных, разбужены невиданные силы, расщеплен атом народного гения, раскованный Прометей и в сотой доле не выражает того, что сейчас свершается у нас на глазах. С каким трепетом будут узнавать об этом грядущие поколения, как бережно будут собирать каждую крупинку, как восторженно и благодарно будут читать каждую правдивую строчку об этих днях! Записывать, записывать надо. Ведут ли сейчас дневники? Вы, например, не обзавелись дневником?

- Обзавелся-то я давно, еще в армии. Очень любил дневник, все-все туда записывал, еще Григорий Иванович, помню, удивлялся. А теперь забросил...

- Забросили? Нехорошо. Обязательно продолжайте, Михаил Петрович! Это надо.

- А вы, Иван Сергеевич?

- Как вам сказать. Купил тетрадку, красивую, в клеенчатой обложке. Вывел красивым почерком: "Тысяча девятьсот такой-то год". На этом кончилось.

- Вот видите!

- Ничего не вижу. И себя осуждаю: писать надо. Мы живем в чудесное время. Мы прокладываем первую борозду. Почетно? Почетно. И скажите, какая другая эпоха могла бы продемонстрировать подвиги не одного, не тысячи, а ста миллионов героев? Разве мы, современники, не обязаны рассказать об этом? Если сто миллионов героев, то о всех ста миллионах и рассказать! Разве они этого не заслуживают?

Для всех эти длинные рассуждения или отрывочные возгласы, то полные яда, то восторженные, были всего лишь случайными репликами писателя Крутоярова. А в нем происходил мучительный процесс, он сопоставлял, вникал, за частным случаем искал типическое, за плоским голым фактом высматривал глубину, социальный смысл.

Пигмей стреляет в исполина. Но ведь в этом-то и суть нашего времени. Изверился в своей правоте старый мир. У него дредноуты, пушки, воздушная флотилия... А правоты нет. Нет правоты, да и только. Ноль целых, ноль десятых. Вот почему он не брезгует последней дрянью. Берет в союзники ничтожество. Неужели он воображает, что, убив Котовского, сделает Красную Армию беспомощной? Нет, он не так глуп, чтобы думать это. Но что же ему остается?

Мысль Крутоярова работает дальше. Убийца Котовского не заслан из-за рубежа. Правда, он выходец оттуда, правда, он своего рода космополит. Но ведь жил среди нас?

Ходил по улицам наших городов? Ел наш хлеб? Сидел рядом с нами в театре, в трамвае, на скамейке парка?.. Вывод: присмотрись к соседу. Только помни предостережение: будь осторожен, но без подозрительности. Наивно думать, что все враждебные нам люди отбыли в чужеземные края, остались и здесь. Кто заблуждался - и оттуда вернутся, вернулся же Бобровников. А эти, если бы и уехали, - не жалко.

Крутояров походит на шахтера, который глыба за глыбой откалывает пласты. Так он будет корпеть и корпеть, пока раздумья не воплотятся в героев, наделенных плотью и кровью, вкусами, мировоззрением, биографией. И тогда явится потребность написать. Но и это не все. Понадобится еще дать чертежи, построить здание будущего произведения, а здание художественного произведения, как и обыкновенное, не допускает просчетов. Нельзя один угол построить выше, другой ниже, так и крыши не возведешь и дом упадет.

Беспокойство владеет Крутояровым. Придет в комнату Маркова:

- Не помешаю?

- Что вы, Иван Сергеевич!

И тогда все пойдет по установившемуся шаблону. Крутояров начнет по своей привычке прохаживаться по комнате. Марков отложит книгу. Он понимает Крутоярова - тоже познал муки творчества, тоже пьет из этого родника. Каждая встреча с Крутояровым будоражит, наэлектризовывает, но при всем глубоком уважении к Крутоярову, при всем признании его таланта Марков идет своим путем, он и не может иначе, у него по-своему думается, пишется, говорится.

Вот Крутояров остановился. Космы его седеющих волос спутаны, брови сдвинуты. Он пришел не советоваться, но и не вещать. Просто ему необходим слушатель.

- Основной постулат энергетики, - гремит его голос, - при минимуме затрат максимум результатов. Согласны? Но не формула ли это вообще для человеческой деятельности? А? То-то и оно.

Марков говорит, улыбаясь:

- Я не о вас, просто хочу рассказать без связи с нашим разговором. Я сейчас читаю занятную статью о трудовом процессе писателей. Оказывается, Куприн напечатал "Молоха" еще в тысяча восемьсот девяносто шестом году. Через шестнадцать лет, выпуская "Молоха" отдельной книгой, Куприн сделал правку и заменил: слово "гигантский" словом "огромный", "ритмические звуки" - "размеренными звуками", заменил слова "мистифицировать", "дебаты", "процессия"...

- Ерунда, - отрезал Крутояров. - Мистифицировать - это и есть мистифицировать, слово обжилось и нечего его чураться. Дебаты тоже. А впрочем... конечно, не следует сорить у себя в произведении. Это было бы неряшливо.

И вдруг расхохотался:

- А-а, понимаю, это вы меня за мой "постулат" прохватили? Ловко! Но ведь мы с вами не роман пишем, а так, разговариваем. Попробуйте стенографировать обыденные разговоры - мы все очень коряво говорим.

Снова хождение по комнате. Взад и вперед. Взад и вперед. И совсем неожиданно:

- Зря вы вчера в театр не пошли.

- Не мог.

- Почему вы не пишете пьесы? У нас бе-едно с пьесами! Режиссеры вопят. Вот вам сюжет. Дарю! Ставят пьесу о бюрократе, а бюрократ сидит в первом ряду, смотрит и аплодирует: "Актуально, говорит, дельно, говорит, правильно автор сигнализирует. Отреагировано! Будем, говорит, изживать на данном отрезке времени пятна прошлого!" И не догадывается, каналья, что он-то и есть это пятно!

- Это, скорее, годится для фельетона, - смеется Марков.

- О бюрократизме и Ленин предупреждал. А разве не страшная штука пошлость? Она просачивается, липнет. Замечено, что посредственность предприимчива и плодовита. Но у нее и еще свойство: скользит, никак не ухватишь... Но что я вам хотел сказать? Специально за этим шел и забыл... Ах да: помните, как осталась непреподнесенной книга Котовскому?

Ничего не откладывайте. Поезжайте навестить Ольгу Петровну. Если у вас есть друзья, съездите к ним, проведайте. Не обижайтесь, что лезу с советами. Хороший тон рекомендует давать советы не раньше, чем тогда, когда к вам за ними обратятся. Но не могу утерпеть!

- Вы не оправдывайтесь, верно говорите. Никак не научусь владеть временем. Захлестывает - и ничего не успеваю. Вот узнаю адреса и поеду. Ничего тут сложного нет. Только наверняка опять не раскачаюсь. К Стрижову, на что он живет здесь же, на Фонтанке, полгода собирался! Тяжел на подъем. Нехорошая это черта, вы правы. Надо перевоспитать себя. Вот освобожусь немного и займусь собой. А знаете, какая главная причина моей медлительности? Творчество! Творчеством заболел! Никогда не предполагал, что к этому зелью можно так пристраститься. Хуже водки! Тянет и тянет. Хожу как сомнамбула. Оксана спросит: "О чем думаешь?" - "О Марианне". "Какой еще Марианне?" - "Ну, ты не знаешь, из рассказа..."

2

В сентябре Марков решил поехать повидаться с Ольгой Петровной, посмотреть на памятные места.

Ольга Петровна поселилась с детьми и сестрой в Киеве. Марков нашел ее спокойной, задумчивой. Она стойко переносила постигшее ее несчастье. На лице ее появилось выражение непреклонности. Взгляд был наполнен затаенной, запрятанной в себя болью и вместе с тем подчеркнутой гордостью. Нет, она не порадует врагов слезами и отчаянием!

Она по-прежнему сохраняла самые сердечные отношения с котовцами. К ней обращались. Ее слово было решающим при всех обстоятельствах.

Побывала она и в Ободовке. Встречали ее коммунары с почетом. И Ольга Петровна радовалась, что дело у них ладится, обещает разрастись.

Там, в Ободовке, доживал свои дни боевой конь Котовского Орлик. Его не заставляли работать. Он свободно разгуливал по всей территории коммуны и осторожно, одними губами брал кусочек сахару, если угощали.

Ольга Петровна и рада была видеть его, и в то же время это было для нее мучительно. Сердце болезненно сжималось, слезы навертывались на глаза. Уж очень живо все вспоминалось, никакого самообладания не хватало, чтобы и тут сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Зато маленький Гришутка радовался Орлику шумно, беспечно и очень любил его.

Марков быстро добрался в Киеве до безмятежного зеленого Десятинного переулка и сразу нашел квартиру Ольги Петровны на третьем этаже. Перед домом шелестели деревья, и, если выйдешь на балкон - на один из трех балконов в квартире, - оказываешься как в саду. Хорошее место. Улица, по которой никто никогда не ездит. Улица, на которой пасутся козы, как на лугу. Рядом - живописная церквушка. А когда Марков выспрашивал у прохожих дорогу, ему отвечали: "Десятинный переулок? Да то ж перед самой-самонькой Гончаркой! Туточки и идите".

Встретили Маркова как родного. Да и никто еще, кажется, не уходил из этого дома не обласканный, не накормленный, не получивший здесь и ночлег, и внимание.

Сразу начались рассказы о том, что сегодня сказал Гришутка, какие игрушки купили Леночке, как все ходили гулять в сквер и каким вкусным борщом угостит Ольга Петровна.

Во всех этих разговорах принимала участие и Елизавета Петровна. Она разделяла с семьей все радости и невзгоды, молча и безропотно выполняла все ей порученное, являясь как бы запасными руками Ольги Петровны. Надо ли доглядеть за детьми, надо ли вскипятить молоко или спутешествовать в булочную - все моментально делалось, без суеты, без канители. Вместе с тем она ухитрялась всегда оставаться незаметной, хотя и обязательной.

Марков с гордостью отметил, что сумел завоевать здесь общее расположение. Маленький Гриша доверчиво поручал ему подержать ружье, пока сам орудует ключом заводного автомобиля. Елизавета Петровна смотрела на него ласково и доброжелательно. Ольга Петровна давала поручения и даже доверяла повести гулять Леночку и Гришутку.

- У нас теперь девочка, - сообщил Гриша. - Только она еще маленькая и ничего не

умеет.

Марков понял, что в этом доме поставлена благородная цель - вырастить двух полноценных людей, поднять их на ноги, воспитать, взлелеять, дать им образование, обеспечить их самым основным капиталом человека - хорошим здоровьем и хорошей душой - и вручить затем советскому обществу: получайте двух сограждан, вклад щедрого наследства Григория Ивановича Котовского. Этой цели было подчинено все в доме. Делалось это дружно, прилежно, единодушно. И Марков сразу сумел приспособиться ко всему укладу этой семьи.

Ольга Петровна ходила на работу, она заведовала хирургическим отделением больницы. Когда она возвращалась домой, ей докладывали о всех событиях. А после обеда обычно начинались воспоминания. Начинались сами собой, без просьб, без упрашиваний. Ольга Петровна была беспристрастна, как летописец, взволнованна, как борец за справедливость, как подлинно советский человек. Она помнила всех, была в курсе всех дел и по-прежнему была для всех заботливой мамашей. Вот и теперь: узнав, что Марков собирается в Умань навестить Криворучко, она попросила его передать гостинцы Николаю Николаевичу.

- Трудно ему. Принять корпус после Григория Ивановича! Ведь он назначен командиром корпуса, вы этого не знали? Поезжайте, тут рядом, он очень обрадуется вашему приезду. Он славный, лучшего преемника Григория Ивановича, чем Криворучко, я и не желала бы.

Хорошая человечная улыбка озарила ее лицо.

- И еще одна просьба, Мишенька. Тут Савелий письмо прислал... Лиза, где у нас письмо Савелия? У них там очень сложно, вот прочтите сами. Вы ведь близко знаете Савелия. Он совсем особенный, правда? А уж язык у него такой цветистый, такой сочный, я бы сказала - почвенный.

- Да, его заслушаешься! - оживился Марков. - Он как-то по-своему воспринимает каждое явление. Стало быть, жив и здоров? Вот кого я хотел бы повидать!

- А я о чем говорю? - обрадовалась Ольга Петровна. - Я как раз и говорю, что надобно бы его повидать. Тут и адрес есть на конверте. Что вам стоит - молодой, бывалый, не такие переходы делали. Лиза! Отпустим его? Пусть от нас поклонится и садам Умани, и полям Пензы. Значит, ты "за"? Постановлено единогласно!

Не успел Марков оглянуться, как все было решено и подписано. И пирожков ему на дорогу напекли. Но, конечно, не сразу выпроводили, погостил недельку. И все семь дней проговорили о Григории Ивановиче, о военных дорогах и передрягах, о корпусе, о боях. Повспоминали тех, кого уже нет на свете, и тех, что живут полной жизнью и сейчас...

- А вы помните, Ольга Петровна, мою Мечту? Вот была лошадь! Как я любил ее! И разве можно было ее не любить!

- Сначала-то у вас нескладно было в этом отношении. Григорий Иванович так за вас переживал - наделили клячей на посмешище всем кавалеристам! Григорий Иванович понимал, что вы мучаетесь.

- Григорий Иванович все понимал.

- Да, глаз у него наметанный... А как вы с Оксаной встретились? Помните? Мы тут много о вас говорили. Какое романтичное знакомство! На пожарище, в дебрях лесов! А здорово она вас тогда огрела? Затравлена была, бедняжка... А сейчас-то, сейчас как распушилась-расцвела, любо-дорого посмотреть. Правда, Лиза, нашу Оксаночку не узнать? Приедете домой большой привет ей.

- Да, Ксаночка сильно изменилась. И к лучшему!

- Вот видите, и Елизавета Петровна это находит. Орлика я недавно видела. На покое, в сельхозкоммуне живет. Постарел.

- Неужели еще жив?

Марков не представлял Орлика без Котовского.

- И почему об Орлике никто книжки не напишет? Впрочем, и написать, так не поверят.

Разве правдоподобно, что конь принимал живейшее участие в сражении? Нападал, кусался, сбивал, а в минуту опасности выносил из пекла, инстинктом угадывая, куда мчаться. Совершенно необыкновенный конь.

- Как и всадник, - напомнил Марков.

- Как и всадник, - повторила Ольга Петровна. - Просят тут меня воспоминания о Григории Ивановиче написать. Сейчас еще не могу, трудно, не зарубцевалось. Но напишу, обязательно напишу.

3

Марков нашел время, чтобы побродить по городу. Город был прекрасен. Марков прошелся по Крещатику, побывал в садах и парках, любовался во Владимирском соборе росписью кисти Васнецова и Нестерова. Был несколько разочарован Аскольдовой могилой. Он представлял некий холм, заросший ковылем. Оказалось, что могила находится под церковью, в подвальном помещении. Это какой-то древний саркофаг. Когда-то здесь была крохотная деревянная церковь, это, вероятно, выглядело живописнее. Поражала только старина: уже было отмечено тысячелетие со дня убиения витязя Аскольда.

Марков размышлял о том, что мы привыкли оперировать десятилетиями, сто лет вызывают у нас уже почтительный трепет... Но ведь пройдет когда-то и тысяча лет со дня убийства Котовского. Будут ли люди помнить об этом? И какие это будут люди? Не похожие на нас? Или что-нибудь вроде? Может быть, окажется, что человек двадцатого века - только черновой набросок будущего человека? Нечто вроде троглодитов, обитателей каменного века, чьи пещеры обнаружены под Киевом? И только лучшая часть человечества наших дней приближалась к совершенству, обгоняя бег времени? Так сказать, перевыполняя план?

Однажды Марков вернулся из своих скитаний по городу и стал настойчиво расспрашивать Ольгу Петровну, не знает ли она, где здесь музей, когда-то открытый при киевской духовной академии. Ольга Петровна удивилась:

- При духовной академии? Собственно, зачем вам? Хотите поклониться мощам? Так идите в Софийский собор, там, говорят, хранилась часть крови господней в серебряном сосуде, часть ризы господней, видимо, в каком-нибудь ларце или сундуке...

- Да что вы, Ольга Петровна, зачем мне риза! Я читал, что в этом музее был крест, которым благословляли Дмитрия Донского.

- Ну и что же?

- Как, - ну и что же? Дмитрий Донской воевал по всем правилам стратегии, с Мамаем покончил. А ведь от мамаев нам сроду житья не было.

Ольга Петровна молча смотрела на Маркова. Растут мальчишки! О мамаях уже рассуждают, историей интересуются...

- Вряд ли музей уцелел, Миша, - ответила она после долгого раздумья. - А что касается креста... сами знаете, нет в нашей стране ни поселения, ни города, который бы не подвергался поголовной резне и грабежу. Если нравы и изменились за тысячу лет, то мамаи все еще не вывелись. Да ведь дело-то не в том, что Дмитрия Донского благословили, а в том, что он победу одержал.

Марков много переделал всяких дел в Киеве. Оставалось еще одно, самое неотложное. С вечера он засобирался, захлопотал, предупредил, чтобы завтра его не ждали ни к обеду, ни к ужину.

- Куда вы опять, непоседа? - встревожилась Ольга Петровна.

Маркову не хотелось говорить о своей затее, но пришлось пояснить, что отправится на реку Здвиж.

- Чего вы там не видели? Порыбачить хотите?

- Мост. Там есть один мост.

- Мишенька, зачем же выдумывать? Хотите ехать, езжайте, никто вас не удерживает. Но к чему приплетать какой-то мост, на что он вам сдался?

- Как на что? Я хочу посмотреть, цел ли тот мост. И вообще посмотреть. Тогда, как сейчас помню, клубами перекатывался туман. Ну вот, верите, ничего не было видно, одна

сырость. А потом Няга подал сигнал. Часового у моста сняли, он и не пикнул. Что было потом - помню смутно, в отрывках. Это был жестокий бой, другого такого мне не случалось видеть. Пожалуй, из дроздовцев мало кто уцелел.

- Ну и что?

- Больше ничего. Тянет меня туда, давно тянет. А ведь тут рядом, я быстро обернусь, вы не беспокойтесь. А потом в Умань.

- Конечно поезжайте. У мужчин все как-то недуром. Они, видите ли, много наубивали на этом месте, так дайка поеду посмотреть. Сроду бы в эти места не заглянула, - ворчала Елизавета Петровна.

- А вы родные свои места хотели бы посетить?

- Еще бы. Конечно хотела бы. Так то родное.

- Вот то-то и оно. Моя родина далеко. Кишинев для меня сейчас дальше, чем какой-нибудь Сатурн. Тот хоть в телескопы разглядывают. И я не хочу тревожить больное место, стараюсь даже не думать о Кишиневе, о крыльце с двумя ступеньками, о курносой сестренке Татьянке... Сколько же ей лет сейчас? Много уже, наверное! Придет время, освободим Молдавию, и повезу я Оксану в Кишинев... Вот, скажу, родители, познакомьтесь: моя любовь, моя зазноба, моя женушка дорогая, прошу любить, как свою дочь. А пока... пока у меня заветные места - это те, где выстрелы гремели, клинки сверкали на солнце, кони ржали, падая наземь с распоротыми животами... На Здвиже-то сколько я дружков оставил поколотых-побитых! Скольких однополчан там не досчитался! Если мы с Савелием остались живы, так это чистое недоразумение...

- Ой, Мишенька, не надо об этом, пожалуйста, не надо! Поняла я теперь. Поклониться хотите, подумать о тех, кого уже нет. Как на кладбище ездят, "родительская" у нас называется...

Марков, оказывается, и попутчика высмотрел. Ранним утром, чуть рассвело, по холодку они и выехали. А там, на месте, Марков самостоятельно бродил по убранным полям, по глинистому берегу.

Он отыскал три моста. У которого же из них была переправа? И где тут ложбинка, в которой ночь напролет провел он рядом с Савелием? И где тут открытое поле, по которому Марков бежал и до хрипоты кричал "ура"?

По плану, разработанному Котовским, офицерский полк заставили отступать к реке, а там их ждали установленные наши пулеметы. Да, да, Марков помнит, как офицеры прыгали в воду, больше им ничего не оставалось. Туман рассеялся, настало ослепительное, бодрое утро. Фыркали лошади, вплавь переправляясь через реку, так как мост был поврежден... Течение было быстрое. Трупы на минуту задерживались, зацепившись за устои моста, а затем их уносило течением дальше...

Но все это лишь в памяти Маркова. А так, если оглянуться вокруг, сейчас была умиротворенная, деревенская тишина, выводок уток плавал возле самого берега. Они добродушно, хозяйственно крякали и ныряли за рыбешкой. На той стороне реки возле опрокинутой лодки стоял, застыв и окаменев, рыбак в соломенной шляпе и смотрел на неподвижный поплавок. Прокряхтел рядом воз. Красивая чернобровая молодка лениво глядела на Маркова, лежа на возу, выковыривая семечки из подсолнуха и поплевывая шелуху. Круглые облака отражались в воде. Квакали лягушки. Марков сел на обрыве возле куста смородины, развернул пакетик и принялся за мясные пирожки...

- Ну как? Довольны? - спросила Елизавета Петровна, когда он вернулся.

- Доволен.

- Посмотрели?

- Посмотрел.

- Ну и хорошо. А теперь в Умань. Поезжайте, миленький, сделайте, что Ольга Петровна просит, хочется ей внимание Николаю Николаевичу оказать.

Накануне отъезда в Умань Марков написал письмо в Ленинград. Обо всем доложил: и о красотах Киева, и о том, как побывал на реке Здвиж, и о том, как мечтал повидать крест,

которым благословляли на ратный подвиг Дмитрия Донского.

В квартире было тихо. Ольга Петровна еще не вернулась с работы. Марков увлекся письмом и не сразу услышал, что кто-то его окликает. Оказывается, Елизавета Петровна заглядывала в дверь и манила его пальцем:

- Идите-ка, что я вам покажу...

Что за таинственность? И почему она говорит шепотом, когда все равно никого нет?

- Знаю я, - шептала Елизавета Петровна, - дружно вы живете с Оксаной. Совет да любовь. Хорошо это. Похвально. Совсем как Григорий Иванович с Ольгой жили. Так вот... никому не показывала, а вам покажу: письма у меня хранятся. Ольга-то все документы, все бумаги, фотокарточки - все в музеи отдала, а Письма от Григория Ивановича - это, говорит, мое, никого не касается, пусть, говорит, будут у тебя.

Елизавета Петровна протягивала Маркову пачку густо исписанных листков. У Маркова дрогнула рука. Письма, написанные Григорием Ивановичем! Все равно что с ним говорить, голос его слышать!

- Удобно ли, Елизавета Петровна?

- Да ведь Григорий-то Иванович вам кто? Посаженный отец! Вы должны эти письма знать, это вам как завещание - и воевать, как он, и жить, как он, и любить, как он. Нате, читайте, сядьте вот тут, на диванчике, и читайте, а мне по хозяйству надо.

И видя нерешительность Маркова:

- Не думайте, что Ольга Петровна рассердилась бы. Нет. Такие письма получать... боже милостивый! Да это превеликое счастье.

И вот остался Марков один. И пачку писем в руке держит. Какой заостренный и твердый почерк! Строчки загибаются кверху. Строчки неровные и быстрые, как весенние ручьи. Может быть, и писал-то письма в перерыве между двумя боями, где-нибудь примостившись и положив листок на полевой сумке на коленях...

"Милая, дорогая, желанная Лелечка!.."

Марков прочел эту строчку и остановился. Читать или не читать? Завещание? Вероятно, в свое время показали письма и Оксане? И значит, было на то разрешение Ольги Петровны, как выражение наивысшего доверия и расположения?

"Каждый раз, когда приходит летучка "оттуда", где ты, моя родная, ненаглядная, - душа моя переживает какой-то удивительно сложный и сильный по остроте момент..."

Теперь Марков уже не в силах был остановиться и прочитывал строку за строкой, листок за листком, захваченный этим бурным порывом, этой силой переживаний.

"Каждый раз хочу послать тебе на бумаге все, что у меня в душе, мое чувство... Эх! Да разве вместит весь мир мою любовь?.."

Марков взволнованно думал:

"Да, это он, Котовский! Человек решительных действий и больших чувств! Таким, и только таким, я всегда и знал его. И поразительно: ни в одном письме ни слова, ни намека на то обстоятельство, что он ежеминутно подвергается смертельной опасности..."

Вот дата на одном из писем: 28 марта 1920 года. Марков наморщил лоб. "Март двадцатого года? Что происходило в марте двадцатого года? Одесса была нами взята в феврале, тогда же взяты Тирасполь и Маяки... Когда мы оказались на переформировании в городе Ананьеве? В конце февраля. Все ясно! Это письмо было написано в те дни, когда у бригады произошли первые стычки с белополяками в районе Комаровцев!"

Марков держал в руках пачку писем, письма были тем звеном, которого не хватало, чтобы представить весь облик Котовского.

Вошла Елизавета Петровна.

- Прочитали? Ольга правильно говорит, что у него была красивая душа. Несмотря на тяжелую молодость, на пережитое в тюрьмах, он остался чист и благороден. Да, это ее подлинные слова, и как они справедливы! Я-то видела их изо дня в день. И тоже могу сказать, что Григорий Иванович умел любить, умел и ненавидеть. Прекрасный человек. Ольге выпало большое счастье, что она встретила его.

Марков удивленно слушал: оказывается, Елизавета Петровна вовсе не так молчалива! Смотрите, с каким жаром она говорит! Марков в раздумье держал в руке письмо. Взгляд его остановился на заключительных строчках:

"...Это счастье - ты и моя любовь к тебе. Будь здорова, мое дивное чудесное счастье, моя мечта! Твой, весь только твой Гриша".

- Ура! Сдавайтесь! А то будет плохо! Ура! - с этими криками ворвался в комнату Гришутка. Он был увешан оружием. В каждой руке по пистолету, через плечо ружье на ремне, за поясом деревянная сабля.

- Тише! Тише! Ты же нашу Лёку разбудишь, вояка!

Но Леночка и не пошевельнулась. Она раскинула розовые, как бы перетянутые ниточкой ручонки в крепко-крепко спала.

4

Таких, как Николай Николаевич Криворучко, взрастила революция, воспитала гражданская война. Пока гремели залпы, все шло у них преотлично. Эти сыны народа обладали абсолютным здоровьем, безумной храбростью, военным талантом. Они быстро выдвинулись из рядовых бойцов и заняли командные должности. Бойцы их любили, так как это были свои, родные, понятные, близкие люди, им можно было довериться, с ними можно было, не задумываясь, идти в самый рискованный бой. Став командирами рот, командирами батальонов, полков, а то и дивизий, они на лету схватывали необходимые знания, на опыте проверяли железные законы войны, чутьем восполняли то, чего не хватало в их образовании.

Результаты были поразительные. Эти выходцы из армейских низов, делегаты от народа, счастливые самородки громили офицерские дивизии, разгадывали хитроумнейшие комбинации генералов - отборной военной касты, выкормленной в царских академиях во славу двуглавого орла.

И они победили.

Когда перестали ухать артиллерийские залпы, перестал строчить, захлебываясь короткими очередями, пулемет, затихла лязгающая поступь войны, мы стали подсчитывать, чем мы располагаем, какое у нас оружие, какова наша боеспособность.

Тут-то и обнаружились все недочеты, нехватки, обнаружилось и это несоответствие: заслуженные красные командиры, полные сил, имеющие за плечами богатый боевой опыт, не располагают, однако, достаточными знаниями. Они - надежнейший оплот революции, они действительно люди, на которых можно положиться в годину опасности, но им надобна самая отчаянная учеба и с самых азов. Будущая война предъявит к ним повышенные требования.

Это понимал и Криворучко.

Что было у него в активе? Редчайшая память. Даже Ольга Петровна заметила, когда первым преподавателем была у Криворучко: что сказано один раз, то запомнит на веки вечные. Глаз быстрый, силушка немеряная, на коне как влитой. Сколько было бойцов в бригаде, каждого знал по имени-отчеству, откуда родом, в чем его можно использовать, что можно ему доверить, кто видом орел, а душой тетерев, кто ловок и хитер, для разведки годится... Котовский нарочно его проверял и ни разу не поставил в затруднение. И в конях Криворучко толк понимал и знал золотое правило: обойдешь, оглядишь, так и на строгого коня сядешь. Бывший вахмистр царской армии, Криворучко хорошо знал службу. Соратник Котовского, он был беззаветно предан революции. Воспитанный на традициях Красной Армии, он был находчив, смел и понимал, что героизм заключается не в том, чтобы умереть, а в том, чтобы остаться целым и невредимым, нанося удар за ударом вражеским силам.

Чего не хватало Николаю Николаевичу Криворучко? Образования, знаний, теории, как и многим командирам тех лет.

Вот и пришел на помощь Криворучко этот самый ВАК - Высшие академические повторные курсы, на которых пришлось Криворучко семь потов спустить и только при помощи старика Гукова преодолеть всю премудрость.

А тут случилось это кровавое злодеяние, после которого даже Криворучко, с его

поистине стальными нервами, долго не мог опомниться.

Пришло назначение: занять опустевшее место Котовского, продолжить его славную деятельность, командовать корпусом.

Криворучко был в смятении:

- Они там смеются надо мной! Вахмистра Криворучко назначить командиром корпуса! Одно дело - Котовский, другое дело - я!

Опять пришел на помощь мягкий, умный, добрый Гуков:

- Беритесь, Николай Николаевич. Поможем. А кого еще было назначить? Решение правильное, разумное. Да и что делать - приказ есть приказ.

Первое, что поразило Маркова по приезде, - это невероятные перемены в облике Криворучко. То есть Марков видел, что перед ним Криворучко, знал, что это Криворучко, понимал, что это Криворучко, но это был не Криворучко, а совсем другой человек, только по старой памяти именуемый Криворучко.

Это все и высказал Марков в первые же минуты встречи, выражая ту мысль, что здорово вахмистра обломали в ВАКе.

Криворучко рассмеялся:

- Все мы подрастаем помаленьку. А вы посмотрите на наш комсостав! Чудеса, да и только.

Марков рассказал о Киеве, о себе, передал гостинцы.

- Видеть вас рад, а Ольга Петровна напрасно беспокоится. Можно бы и без подарков.

Марков пробыл в Умани несколько дней. Умань в сентябре необычайно красива. Появляется первая позолота в листве, как первая проседь на висках, как первые намеки на приближающуюся осень. Но еще в полную силу зеленеют сады. Солнце и не думает сбавлять норму тепла и блеска. На улице не встретишь ни одного мальчишки, не грызущего яблоко, ни одной даже самой крохотной девчушки, у которой не были бы перемазаны щеки ягодным соком или вареньем. И Марков пил чай с вареньем, толкуя с Николаем Николаевичем Криворучко, с комкором Криворучко о разных разностях.

- Я поставил задачей, - рассказывал Криворучко, - сохранить в корпусе весь почерк Котовского, весь его стиль. Та же дисциплина, та же дружная работа, те же занятия физкультурой, та же учеба.

Как в былое время в доме Котовских, у Криворучко всегда народ.

- Мы развернули такую работищу в военно-научном обществе - ого! Москва позавидует! - не мог не похвастаться Гуков, который, видимо, бывал у Криворучко запросто и чуть ли не каждый день.

Марков заметил, что Гуков сильно сдал. Хоть и храбрился, но видно было, как он превозмогает усталость и старается держаться молодцом. Он рассказывал забавные истории, солдатские анекдоты столетней давности:

- Понимаете... осматривает генерал казармы, в которых не позаботились даже поставить печи. Выходя, генерал мрачно говорит: "Какая бес... печность!" Ха-ха-ха!

Марков видит, что Гуков помимо всего старается развеселить и подбодрить Криворучко, которому все-таки не легко на новом месте. Еще он видит, что и Криворучко это понимает. Маркова это трогает.

"Хороший народ. Складно у них тут. Не подкачают!"

Он решил, что напишет Ольге Петровне подробное письмо, и собрался уже ехать.

- Куда вы так скоро? - всполошился Криворучко. - С вами так легко говорится о Григории Ивановиче, о наших делах...

- Никак не угадаете, куда я собираюсь, - признался Марков. Представьте, в Пензу! Хочу разыскать Савелия. Помните такого?

- Кожевникова? Как не помнить! С удовольствием бы составил вам компанию! Только отложите поездку на сутки. Сегодня вечером у меня будет подпольщик из Кишинева. Вам, наверное, интересно будет его послушать.

- Неужели из Кишинева? Тогда я останусь. Но разве можно попасть в Кишинев?

- Вообще-то, конечно, нельзя. Но я же вам говорю: подпольщик. Когда-то нельзя было попасть в Одессу, оккупированную французами. Но Котовский там жил и боролся. - Нечаянно упомянув об Одессе, оба даже вздрогнули. Да, Одесса была для Котовского местом славы, местом борьбы, она же стала местом безвременной гибели.

5

Приезжий из Кишинева внешне был ничем не примечателен. Обыкновенное лицо, спокойные, внимательные глаза. Одет тоже обыкновенно.

- Здравствуйте! Карпенко, - сказал он, входя.

- Очень приятно. Не хотите ли чайку с дороги?

Марков подумал о том, что этот Карпенко, вероятно, еще и Сидоренко, и Цуркан... и еще бог знает кто, смотря по обстоятельствам. Какое у него дело к Криворучко, Марков не любопытствовал. Рассказал Карпенко много историй, каждая из них была невероятна, фантастична, полна драматизма, дерзкой отваги, героики, и каждая была сущей правдой.

Оказывается, еще с двадцать четвертого года издавалась у нас газета на молдавском языке "Плугарул Рош", то есть "Красный пахарь". Издавала ее молдавская секция при Одесском губкоме.

- Ну и она попадает туда? - задал наивный вопрос Марков.

- А как же?

Марков подумал, что вот бы поместить в этой газете свой рассказ и подписаться полным именем... Возможно, что таким способом он мог бы дать знать о себе отцу и матери. Или послать с этим Карпенко записку?

Между тем человек, назвавшийся Карпенко, подробно рассказал о последствиях восстания в Татарбунарах. Был шумный "процесс пятисот". На процессе присутствовал Анри Барбюс и написал о нем книгу "Палачи".

- Такую книгу, - добавил Карпенко, - что кровь стынет. Кажется, сообщалось в советской печати о Ромен Роллане? Он тоже выступил в защиту татарбунарцев...

Марков внимательно рассматривал подпольщика. Необыкновенные люди! Сидит, пьет чай, рассказывает, голос ровный, слова простые. Никакой позы, никаких патетических возгласов, никакой рисовки... Марков раздумывал, мог бы он быть подпольщиком? Тогда бы и он сумел пробраться в Кишинев...

- Что говорить, - продолжал Карпенко, - борьба обходится не дешево, гибнут лучшие люди. Но и мы спуску не даем. Когда сигуранца подлейшим образом убила нескольких большевиков, мы приговорили к смертной казни главного их начальника, выследили, когда проходила его машина, не пожалели на него две лимонки собственного изготовления. Сами понимаете, что от него осталось, хоронить было нечего. Они знают, что ничего безнаказанным не пройдет, хвосты-то поджимают. Помню, когда они замучили Маркова, так железнодорожники шесть эшелонов пустили под откос. Пять с военным снаряжением, а один с солдатами.

- Как вы сказали? - переспросил Марков, бледнея. - Кого замучили?

- Маркова, Петра Васильевича. Дельный был, я его лично знал.

- Маркова... Петра Васильевича...

Сказал, и голос у него сорвался.

- Как же... Мы об этом еще листовку выпускали. А что, вы его знали?

- Это мой отец, - беззвучно пролепетал Марков.

Криворучко слушал, смотрел. Он еще не отдавал себе отчета, что произошло. Мишу Маркова он знал с давних пор. Но Мишиного отца Котовский отпустил на родину, когда Криворучко еще не было в отряде Котовского. Он слышал, что у Маркова в Кишиневе семья. У многих, находившихся в бригаде, семьи были в Молдавии. Когда Карпенко назвал имя, отчество и фамилию жертвы сигуранцы, Криворучко вначале не связал это с Мишей. Мало ли Марковых на свете! О Мише Криворучко знал, что он питомец, почти что сын Котовского, так же как Костя Гарбарь, так же как Шурка... у Котовского немало было таких прибившихся к бригаде мальчуганов без роду, без племени...

Теперь Криворучко понял, какое горестное известие привез этот спокойный, тихий человек. И Криворучко сам не знал, что было бы лучше: не удерживать Маркова, пусть бы уезжал, и до поры до времени оставался в полной неизвестности, или, наоборот, хорошо, что Марков все узнал. Нет, пожалуй, лучше, что он остался: знать всегда лучше, чем не знать.

Карпенко был обескуражен таким оборотом дела.

- Вон оно какое дело... - бормотал он. - Не знал, не знал. Так это точно? Вы не ошибаетесь? Ваш отец работал на железной дороге?

- Мы жили в железнодорожном городке. Гончарная улица...

- Как же, как же! - оживился Карпенко. - Крыльцо с двумя ступеньками... деревянный дом... Стало быть, Марина матерью вам приходится? Померла и она...

Карпенко рассказал, какие знал, подробности. Знал он немного. Мог только сообщить, что Марина умерла в больнице, Татьянка куда-то исчезла, не то скрывается где-нибудь у родственников, не то совсем уехала из Молдавии.

- А насчет шести эшелонов, товарищ Марков, я рассказал сущую правду, - добавил Карпенко. - Мы беспощадные мстители, мы знаем, что каждого из нас может постигнуть горькая участь, но никогда не отступим и будем бороться, пока не восторжествует правда.

- Что ж, Миша, - подошел к Маркову Криворучко, - все-таки лучше знать, чем не знать. По-моему, так.

- Да, - произнес Марков каким-то не своим голосом, - знать... И еще понимать, что от этих изуверов не жди хорошего...

- Какое там! - согласился Карпенко. - Одно слово: капиталисты.

- Палачи. Метко назвал Барбюс, - подтвердил Криворучко.

Он ужасно боялся, что Марков раскиснет, так как считал, что котовцы не должны падать духом ни при каких обстоятельствах. И он был доволен. Марков встретил известие как подобает солдату. Только сказал:

- У меня жена, вот Николай Николаевич знает, потеряла всю семью, всех односельчан в одну ночь. А я ее все утешал: освободим Кишинев, поедем к нам на Гончарную, мои родители будут и твоими родителями... Так-то ей все расписывал... а оказывается... что она, что я...

- У каждого из нас найдется, о чем горевать, - сдержанно сказал Карпенко. - Время такое.

- Опасаются, войны бы не было, - нахмурился Криворучко. - Конечно, война - дело суровое, что и говорить, но бывают и годы затишья, когда тоже лихо головы летят. Не угадаешь... Раз на раз не приходится...

Больше Маркову расспрашивать было не о чем, да и Карпенко заторопился. Они побеседовали еще о чем-то, выйдя на крыльцо, и Карпенко распрощался.

Марков и Криворучко долго сумерничали. Вечер был теплый, даже парной. Сидели у открытого окна и молчали. Вдруг колыхнулись ветви деревьев, по комнате промчалась волна влажного воздуха, и вслед за тем пошел дождь, тихий, теплый, даже какой-то ласковый и успокаивающий. Котовцы сидели и слушали, как хлюпает дождевая вода, как при каждом всплеске ветра шлепаются мокрые листья, как поет-заливается на все лады водосточная труба, как дождь настойчиво и музыкально барабанит по крыше.

На рассвете Марков уехал в Пензу искать Уклеевку.

6

Приятно въезжать в деревню, не стреляя на всем скаку, не выбивая из бань и овинов огрызающегося противника, не крича "ура", не улюлюкая, не размахивая клинком, а просто прогромыхать на тряской телеге, беседуя о том о сем с рассудительным бородатым дядей, охотно согласившимся довезти до Уклеевки.

- Вам как? Прямо к председателю? Али в сельсовет?

- Лучше бы к председателю, если можно. Это далеко?

- У нас тут все недалеко.

Марков довольно скоро отыскал Уклеевку. А в поезде наслаждался движением и

покоем в одно и то же время. Что много людей вокруг - это не мешало Маркову, и в дороге он как бы побыл сам с собой. Ему необходимо было подумать, поразмышлять и привести себя в душевное равновесие. Зрелище мелькающих за окном полей, речек, рощ и деревень действовало успокаивающе, перестук колес нравился и тоже умиротворял.

К концу пути Марков уже с интересом слушал вагонные разговоры. Ему нравилось наблюдать завязавшееся дорожное знакомство паренька, едущего в Пензу, со смешливой девушкой, которой скоро выходить. Он все уговаривал ее проехать дальше, а она, отшучиваясь, советовала ему прервать свое путешествие, выйти с ней на ее станции, названия которой он никак не мог запомнить: не то Барабулька, не то Берендейка... И оба они до того друг другу приглянулись, и оба понимали, что еще час - и они расстанутся, чтобы больше никогда не встречаться...

Еще Маркову нравилось выходить на станциях и бродить вдоль рядов торговок - румяных, загорелых, бойких на язычок, расхваливающих свой товар: душистую антоновку, ярко-желтые дыньки, вареную картошку, свежепросоленные аппетитные огурцы...

До чего обрадовался Савелий! Он глазам своим не верил:

- Мишенька! Марков! Люди добрые, да вы поглядите, какой дружок приехал! Верно говорят, что гора с горой не сходятся, а люди когда-когда, глядь, и повстречаются. Проходи, гостюшка дорогой. Анисья! Гляди на него, это же Марков, Марков, с ним мы в долочке перед атакой лежали под престольным городом Киевом!

- Я как раз там был, оттуда и еду. На Здвиже побывал, все искал этот самый долочек... и мост...

Но Савелий не слушал.

- Ты ж подумай - Марков, а?! С ним мы горе горевали, с ним мы у самого Григория Ивановича службу несли... Сокрушили злодеи нашего соколика! Им бы смотреть да радоваться, что на российской земле такой ладный человече живет, так нет, им все наше хорошее - заноза в сердце, будь они неладны...

Маркова усадили, Маркова потчевали. И как пошел Савелий кружевные кружева плести, присказками сыпать, так и не замолкала эта музыка до самого расставания.

- Анисьюшка, краля писаная! Что есть в печи, на стол мечи. Вы, поди, горожане, нашим простецким-то и побрезгуете? Стюдень-то хорош? Еще скушай, Мишанюшка, ватрушечку! Сыт? Ну-ну. Душа меру знает. Что женушку-то не привез? Занята, говоришь? Работа? Ох-хо-хо, в девках сижено - горе мыкано, замуж выдано - вдвое прибыло.

Когда Савелий узнал, что Маркова Ольга Петровна послала и что Савельево письмо вслух читали, оханья и аханья, шуму и суеты еще больше прибавилось.

- Прежде-то я все Григорию Ивановичу писал, мы ведь все с ним советовались. Командир-то он был первейший, да и то надо помнить, что из агрономов, землю-то понимает, где мак, а где так - отличит. А теперь кому же? Мамаше нашей - Ольге Петровне...

- Ты дай человеку словечко вымолвить, - заступилась за Маркова статная, густо замешанная, проворная и сильная Анисья.

Но куда там! Савелий сыпал и сыпал, как зерном из пригоршни.

- Как жизнь, Савелий? Как идут дела?

- Хозяинуем. Полешко к полешку - вот и дрова.

Узнав от Маркова о судьбе его родителей, Савелий ничуть не удивился:

- Ты разве не знал? Слушок-то давно ходил про это, еще до того, как город Одессу брали. А что ты хочешь? Одно слово: капиталисты. Хорошего от них не ждать.

Марков подумал, что у Савелия все просто получается, все у него свое место имеет и свое назначение, все у него по-своему. Вон и о Котовском он как о живом говорит.

Марков находился под впечатлением того, что узнал от Карпенко. В дороге было рассеялся, а сейчас опять все время ловил себя на мысли об отце, об истязаниях, которые тот, видимо, претерпел, о матери, о том, почему же она очутилась в больнице, о Татьянке, которая исчезла бесследно, но ведь где-то она должна же быть? Бессилие, невозможность узнать что-нибудь точнее, подробнее были мучительны. Нельзя ни пойти справиться, ни

поехать искать...

Может быть, Карпенко напутал? Может быть, все не так? У Маркова была смутная надежда услышать от Савелия какие-то мудрые слова утешения, соболезнования, участия. Капиталисты! И Карпенко говорил "капиталисты". А Маркову от такого объяснения не легче. Отца замучили, мать умерла, всеми покинутая, на больничной койке... сестра пропала без вести... До каких же пор будут людей мучить, разлучать, истреблять? Какая-то ненасытная прорва, заглатывающая поколение за поколением!

Савелий рассказал, как воюет с кулаками да подкулачниками, отстаивает голь перекатную, бедноту, коллективизацию хочет проводить.

- Демобилизованные, старые солдаты - вот наша опора, без них хоть пропади. Мы единым фронтом двигаемся. Было тут такое дело: у нашего сельсоветчика кулаки дом спалили. Шила в мешке не утаишь, мигом разведали, кто к поджогу причастен: первый богатей Вараксин Андрей. Посоветовались мы промеж себя. До бога высоко, до суда далеко, давайте, мужики, своим умом разберемся. Вызвали Вараксина. "Ты поджег?" - "Не доказано. Кто видел?" Нашли, кто видел, приперли к стене, признался. "Так вот, говорим, Андрей, считай, что ты свою избу сжег!" - "Моя целехонька стоит!" Ладно. Комсомолия нас поддерживает. Молодость завсегда вперед смотрит. Пошли мы всем скопом, поздоровее ребят прихватили, Вараксина с бабами, с пеленками, со всей хурдой-мурдой забрали да на пепелище их - вот ваш дом! А сельсоветчику говорим: "Получай вараксинский дом, живи". Вой поднялся на всю губернию. А куда подашься? Сходом порешили! Закон! Ну, худо-бедно, Вараксин быстро заново отстроился да выпросил из своего же, значит, кровного - лошаденку да коровенку. С той поры чтобы поджогами заниматься ни-ни! На всю жизнь зарекся.

- То-то Ольга Петровна рассказывала, что у вас баталия идет.

- А как же? По слову Владимира Ильича, отменяем российский лапотный капитализм. Вчера не догонишь, от завтрева не уйдешь. Так-то, Мишаня.

- О каком же срочном деле в письме разговор шел?

- А насчет пчел. Хотим пасеку заводить, и все чтобы по-научному, по-советски. У вас там, в Ленинграде, все ученые собрались. Нам бы руководство какое получить. В Пензе шарил-шарил, книг много, а все больше неподходящие.

- Это, Савелий, обещаю. Непременно отыщу, все, что достану, пришлю.

- А сам опосля медку протведать приезжай.

- Ты бы приехал в Ленинград. А, Савелий?

- А я на сборы скор. Может, и приеду. Надо мне у вас там одно дело повидать.

- Какое?

- Слыхал я, есть у вас Медный Всадник, посередь площади стоит и конем управляет...

- Есть...

- Надобно мне его повидать. Беспременно надо, не хочу умереть, пока не повидаю. Мне о нем один верный человек рассказывал. Жди, Мишаня, выберется времечко - прискачу. Как скоро, так сейчас. Только адрес пропиши - и какая улица, и как проехать.

Дни летели. В конце сентября Марков был еще в Умани, а теперь и октябрь подходил к концу. Пора бы и трогаться, но Савелий и слышать не хотел об отъезде.

- Ты же тыквы еще не попробовал... Тыквенную кашу никогда не едал? И куда спешить? Поспешишь - людей насмешишь. Нельзя жить торопко. Ужо и в Пензу съездим, Пензу посмотришь. Живи!

Побывал Марков и на новой затее Савелия - общественном птичнике, и на полях. Послушал, какие песни расчудесные поют в Уклеевке вечерами. И все давал себе клятвы, что будет сюда наведываться почаще, и, давая клятвы, откровенно признавался себе, что вряд ли когда еще выберется.

- Хорошо у вас тут, Савелий!

Марков хвалил, и хвалил искренне, но сам уже смертельно соскучился по Ленинграду, по Оксане, по афоризмам Крутоярова и бурной декламации Женьки Стрижова.

Савелий усердствовал.

- А коровник-то! Коровник я не показывал. На научной базе устроено!

- Что ж, пошли смотреть коровник...

- Библиотеку-читальню я уже показывал? Али нет?

Батюшки-светы, чуть не запамятовал! Культурную революцию проводим, согласно указаний товарища Ленина. Не кое-как.

Маркову понравилась худенькая синеглазая библиотекарша. Она была такая маленькая, что еле доставала до верхних полок шкафа.

- Книга Михаила Маркова у вас есть?

- Вот, пожалуйста. И еще есть экземпляр, только сейчас на руках.

Марков осторожно взял свою книгу. Потрепанная! Читают! Это переполнило его гордостью. Было очень смешно, что Савелий только сейчас понял, что книгу эту написал он, этот самый Миша.

- Смотри ты! И в библиотеке! И твоя! - недоумевал он. - И что это на свете творится!

Библиотекарша, услышав, что Марков писатель, стала рассказывать о работе, показывала диаграммы, предложила просмотреть свежие газеты, сегодня привезли почту.

- Некогда нам, - заважничал Савелий. - Коровник иду товарищу из центра показывать.

Однако библиотекарша оказалась настойчивой. Она успела уже с кем-то перешепнуться, куда-то отослать одну юную читательницу. И вот в библиотеку стали один за другим входить старые и молодые, женщины и мужчины, а главным образом молодежь.

- Это они с вами хотят побеседовать! - решительно объявила библиотекарша. - А коровник как коровник, ничего в нем такого нет, можете и завтра посмотреть.

- Главное, вы нам про Котовского-то расскажите, - подошел к Маркову дряхлый-дряхлый старик. - Значит, вместях воевали? Скажи на милость.

- Так ведь и Савелий котовцем был.

- Савелий свой, нам это без интересу. А вы свежий человек.

Что ж, о Котовском Марков готов хоть каждый день рассказывать. Дали поудобнее всем расположиться, и началась у них беседа. А Савелий разве утерпит? И он стал вспоминать. Посыпались вопросы. Больше всего мальчишки спрашивали: и что это за гимнастика, которую делал Котовский, и какие сражения были, и какие кони... Спрашивали и во все глаза на рассказчика таращились.

И всплыло все пережитое в памяти Маркова, разволновался он, ведь свежо все, только ворохни... Охваченный светлой грустью, распростился он с библиотекаршей, с сельчанами и вышел на деревенскую улицу вслед за Савелием, упоенным своими успехами в хозяйстве.

На улице, широкой, поросшей гусиной травой, но в тени уже подернутой инеем, играли в войну ребятишки, целясь друг в друга из самодельных ружей и посильно изображая выстрелы: "Пу! Пу!"

Савелий шугнул поросенка, преграждавшего им дорогу. Поросенок сначала заупрямился, потом вдруг задал стрекача, брыкаясь и отчаянно визжа, как будто его резали.

Через несколько дней Маркова провожали на станцию Савелий, жена Савелия, синеглазая библиотекарша, одноногий солдат - секретарь ячейки - и новые друзья Маркова - молодежь, чубастая задорная комсомолия.

Марков был доволен, что всюду побывал, ко всем съездил. До сих пор что-то над ним довлело, было такое ощущение, что начал читать интересную книгу, оторвался и осталась недочитанной первая же глава - как-то ни то ни се. Теперь порядок! Можно перелистнуть страницу и с любопытством заглядывать, о чем же там дальше.

Как и все люди его возраста, Марков считал себя бессмертным. И хотелось, чтобы побыстрее летело время, чтобы отрывать, отрывать, отрывать календарные листки, чтобы жить, жить, жить... С аппетитом! Со смаком! В полную меру! Во всем участвуя! Во все вмешиваясь! Во все залезая по уши!

7

Предсказания Детердинга о сроках войны не сбылись. Но тучи над горизонтом не

рассеивались. Густели тучи. Все небо заволокло.

Когда писатель Бобровников выпустил свой роман "Бескровное вторжение" и поехал преподнести книгу Ивану Сергеевичу Крутоярову, тот сказал:

- Готовьте второй том. Вряд ли решатся мирным путем все разногласия и противоречия. Что называется, вечный мир до первой драки. Боюсь, не пришлось бы вам рассказывать о кровавых, страшных делах на страницах нового романа.

- Я не баталист, - грустно вздохнул Бобровников. - И потом - надо же дать дорогу новым дарованиям, пусть они дерзают. Редактор издательства "Круг" Воронский утверждает, что писатели родятся сейчас, как грибы. Вот! Им и карты в руки. А мы с вами... как это сказать? История литературы.

- Ну, ну, не прибедняйтесь. Мне кажется, и у вас новое рождение?

- Что да, то да. Переживаю вторую молодость. Вы это точно подметили. На самом-то деле: можно ли оставаться хладнокровным? То, что я успел посмотреть, - непостижимо! Днепрогэс... Магнитогорск... Я, вероятно, походил на иностранного туриста, когда лазил по бетону плотины, бродил по дну Днепра, стоял на том месте, где когда-то шумела Запорожская Сечь... По-моему, некоторые инженеры даже пытались заговаривать со мной по-английски.

- Ничего удивительного, в вас еще сидит Париж, это не скоро выветривается, это как нафталин. Страшно рад вас видеть! Страшно рад! Молодейте, это у нас полагается. Кстати, хотите, познакомлю с новым поколением? Михаил Петрович! Михаил Петрович! Вот честь имею представить: это - писатель Бобровников, это - Марков. Котовец, кавалерист, скакал на коне, и рубал, а сейчас мирно издает книги.

- Да?! - И Бобровников воззрился на Маркова, как на девятое чудо. - В самом деле?

- Можно бы демонстрировать наряду с Днепростроем и Сельмашем, если бы не одно: сейчас вся писательская смена такова. Сюжетные люди.

- Очень рад познакомиться! Марков? Читал, читал. Да, я читаю. Нахожу отвратительной привычкой, что писатели не читают друг друга. Раньше этого не водилось.

Тут Крутояров ловко направил разговор на эмиграцию, на парижскую жизнь, и Бобровников рассказал много интересного.

Как только Бобровников ушел, Марков насел на Крутоярова, выпросил роман "Бескровное вторжение" ("Не сразу же вы за него приметесь, Иван Сергеевич!"), прочел его одним залпом и помчался к Стрижову рассказывать о впечатлении.

По прочтении любой книги Марков прежде всего приходил в восторг. Рассказывал всем содержание книги, читал вслух отдельные места. Затем он начинал вдумываться в прочитанное, и тогда только выяснялось, на самом ли деле понравилась ему книга.

- Да ведь ты восторгался? - упрекал его Стрижов.

- Мало ли что. Просто новинка. А теперь вижу: концовка - пришей кобыле хвост. А герои? Разве это люди? Ходульно. Схема. Зря только бумагу извели.

Зато уж если книга выдерживала испытание временем, он ее рекомендовал всем и каждому: Оксане, Надежде Антоновне, Стрижову, случайному собеседнику в парке, трамвайной кондукторше. Книга приобреталась и торжественно водружалась на книжную полку.

Кажется, "Бескровное вторжение" ожидала именно эта участь.

Стрижов, оказывается, книгу читал и тоже хорошо о ней отзывался. С его мнением Марков очень считался.

Дружба у них была теперь крепка и нерушима. Свободного времени у обоих в обрез, зато как повстречаются, отводят душу.

Стрижов рассказывал, что на заводе у них работа идет успешно.

- Конечно, ты можешь на слово и не поверить. Но если бы началась война, ты мог бы получить отзывы о наших изделиях от противника.

- Какие же именно отзывы?

- Такие, что после применения наших изделий на фронте некому будет в окопах

противника давать отзывы.

Чувствовалось, что уж до того хочется Стрижову похвастаться теми изделиями, которые изготовляются на их заводе! Но Стрижов всякий раз прикусывал язык. Он был строг в этом отношении.

Вообще, как заметил Марков, партийность сильно сказалась на формировании характера Стрижова. Он стал вдумчивее, серьезней. Меньше декламировал. Меньше дурачился. Параллельно с заводом шла учеба. То, что узнавал сам, старался передать Маркову, и если бы послушать их со стороны, можно было бы подумать, что это два студента готовятся к зачетам по историческому материализму.

Стрижов часто повторял:

- Сейчас политически неграмотный человек автоматически переводится с переднего края в обозники революции!

Не желая приписывать эту мысль себе, Стрижов называл преподавателя, который говорил об этом у них на занятиях.

Теперь вместо стихов Марков слышал от Стрижова цитаты, формулировки, рассуждения о единстве противоположностей... о прибавочной стоимости... Когда это происходило в присутствии Анны Кондратьевны, на ее лице можно было прочесть быструю, как кадры кино, смену настроений: сначала она умилялась, потом удивлялась, потом была озадачена, потом переставала что-нибудь понимать и теряла всякое терпение. Тогда она отмахивалась, как от наваждения, и уходила в кухню, ворча:

- Боже милостивый, прости меня, грешную, битый час говорят - и хоть бы одно словечко понятное! Ну и молодежь пошла! Чур меня, чур, слушала-слушала, аж голова вспухла!

- Слава аллаху, - говорил Стрижов после пятнадцатого съезда партии, очистились от скверны! Ведь еще когда Ленин предупреждал о Зиновьеве и Каменеве, еще до Октябрьского переворота. А сколько валандались с Троцким? Теперь порядочек. Из партии вон и будьте любезненьки убраться за границу. Пускай там, на Принцевых островах, свой четвертый интернационал сколачивает и брызжет ядовитой слюной сколько влезет! Пустая мельница без ветра мелет. Говорят, телохранителями себя окружил, а сын у него - Лев Седов - на побегушках.

- Но все-таки почему так много оппозиционеров?

- Разве это много? Семьдесят пять крикунов вычистили, семьдесят пять гнилых интеллигентов. А что такое семьдесят пять? Мелочь. В партии и с партией - миллионы.

Взгляд на часы, не опаздывает ли на занятия:

- Нам дискуссиями заниматься недосуг.

Накидывая пальто и нахлобучивая кепку:

- Мама! Запри. Приду поздно. Эх, Мишенька Петрович! Одним бы глазком взглянуть, что будет еще через пятьдесят лет? А? Мороз по коже подирает! До того охота!

- Хватил - через пятьдесят! Через десять - и то интересно.

- Вот ведь сейчас: кажется, успехи? Армия сильна. Строим кое-что. Пятилетку затеяли - тоже не фунт изюму. Но я так думаю... (пауза, спуск по лестнице с нарастающей скоростью, через одну, через две ступеньки) - даже ничегошеньки похожего не будет через пятьдесят лет на то, что сейчас. (Давай махнем через проходной двор, скорее будет!)

И уже шагая мимо Екатерининского сквера к Толмазову переулку, чтобы выбраться к остановке трамвая:

- Такую житуху закрутим - диво-дивное! У нас тут лекция была: "Техника будущего". Мы рты поразевали. Вот, дьяволы, башковиты! Ку-у-да!

8

После каждой такой встречи у Маркова вспышка вдохновения. Оксана так уж и знает, что теперь Миша ночь напролет просидит за письменным столом.

Но работа-работой, а они поставили за правило: каждый год ездить друзей навещать, вдоль и поперек по стране мотаться, с людьми дружиться, на их дела смотреть, а то, чего

доброго, превратишься в чужестранца у себя-то дома. Одних только новых городов сколько возникает, не угонишься. Какие и раньше были города - и те переименованы.

Возникло новое знакомство - стали бывать у Орешниковых на Васильевском острове. И такая дружба повелась! Вова уже требовал от Маркова рассказов о лошадях, о войне, о Котовском. Оксану он до тех пор называл тетей Саной, пока и все не стали ее так называть.

Оксана сдружилась с Любашей. Марков понравился Капитолине Ивановне, так как неизменно хвалил ее варенье, и достиг расположения Лаврентия Павловича, так как терпеливо и с неподдельным интересом выслушивал до конца его рассказы о старой Москве и его молодости.

Кажется, именно Вовины расспросы натолкнули на мысль всем сообща нагрянуть в Киев, к Ольге Петровне. Причем обязательно с Вовой. И обязательно с Любовью Кондратьевной.

За все существование поросшего травой Десятинного переулка здесь не случалось слышать столько шума, смеха, возни. Создавалось впечатление, что приехало не пятеро, а целая экскурсия, целый детсад, целый полк. В садике, во дворе, на улице перед окнами - всюду кричали, бегали, смеялись, появляясь одновременно и там и тут. Играли в мяч и выбили оконное стекло в первом этаже. Ходила делегация приносить извинения.

Что было еще? Орешников очень удачно изображал кавалерийскую лошадь и поочередно катал Вовку и Гришу на закорках. Елизавета Петровна бегала следом, пронзительно крича:

- Осторожно! Довольно! Уроните!

Четырехлетняя Леночка была величава, как королева. Орешникову она важно заявила, что "таких лошадёв не бывает". А он-то воображал, что совершенно перевоплотился в четвероногое!

Марков удивился, что Ольга Петровна полна энергии, все бегом да бегом.

- Мне иначе нельзя, - говорила она, - у меня дети.

Ну и, конечно уж, вечерами, когда ребят укладывали спать, начинались бесконечные воспоминания, воспоминания... иной раз до утра.

9

Вскоре после возвращения из этой очаровательной, какой-то благоуханной, светлой поездки Оксана увидела на листе бумаги красиво выведенное название:

"Нас вел на врага Котовский" - роман.

- Решился все-таки? - спросила она. - Как трудно-то будет! Ой, матенько!

- Не могу я, - ответил Марков, как бы оправдываясь и вместе с тем подбадривая себя. - Чувствую, что не могу не писать это. Пока не напишу, не успокоюсь.

- Разве я не понимаю? Обязательно пиши. Только я заявляю как медицинское лицо: человек днем не спит, ночью спит. Так он устроен. Зачем же шиворот-навыворот? Ясно?

- Ясно, - ответил Марков.

Прошло несколько дней. В одно удивительно солнечное утро Оксана проснулась оттого, что яркий свет бил прямо в лицо. И тут Оксана увидела, что на письменном столе не погашена лампа, зеленый абажур светится, но слабо, потому что вся комната залита утренним солнцем, на полу солнечные полосы и отчетливый узор тюлевой занавески, окно открыто настежь, и слышно, как трамвай погрохатывает по Литейному мосту.

А Миша? Да вон он, как сел вечером, так и сидит, склонившись над листами бумаги.

Оксана вскочила, босыми ногами коснулась горячего, нагретого солнцем пола.

- Мишенька! Ты чего же? Забыл свое обещание не полуночничать?

- Понимаешь, Ксана... думаю... все думаю, думаю...

- Сколько же можно? Надо меру знать. Утро ведь уже! Ты посмотри, любчик мой, какое солнце!

- Солнце? - рассеянно переспросил Марков. - Да, в самом деле. Понимаешь, Ксана. Тут нельзя, чтобы сел да написал. Тут надо так написать, чтоб сердце содрогнулось.

- Конечно! - согласилась Оксана и притулилась около Маркова на стуле. - А то как же?

Так и пиши, ты ж у меня золото! Ты ж у меня все можешь!

Солнце теперь переместилось и освещало стену и кусок книжной полки. Оксана вся лучилась и улыбалась так ласково и светло. Миша был серьезен.

- Вот ты, например. Ты думала, что такое Котовский?

Оксана растерялась. Вот это вопрос! Что же она могла думать о Котовском? Она просто любила его и преклонялась перед ним.

- Прочтут книгу, - продолжал Марков, - скажут: сильный Котовский, ловко совершает побег из тюрьмы, как влитой сидит на коне, здорово бьет врагов, большие совершает подвиги. А все это будет неверно, все это будет не то, если не понять главного. А главное что? "Если жить только для себя, то вообще не стоит жить". Он сам так говорил! В этих словах весь Котовский!

Солнце поднялось выше, и теперь вся комната наполнилась светом. Стоял июнь - самые короткие ночи, самые длинные дни в году.